

801-15
520

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

Ташкентский Альманах

382
147

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Х. Алиджана, Вс. Иванова,
И. Ложнева

ГОСИЗДАТ УЗССР • ТАШКЕНТ 1942



2010456002

XXV-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

☆☆☆

ПИСЬМО УЗБЕКСКОГО НАРОДА ВЕЛИКОМУ ПОЛКОВОДЦУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Тебе, вождю боевому, привет!
Тебе, отцу дорожному, привет!
Нависла опасность, и день суров,
К великой Москве рвутся орды врагов.
Отчаянье, злоба, звериный страх
В их диких и судорожных прыжках.
К тебе, на битву зовущий нас,
Пути победы ведущий нас,
К тебе это слово сынов твоих
Несется в грохоте дней боевых.

Нам ясен умысел черный врага,
Нам виден шаг тлетворный врага.
Наемный палач — ягненок пред ним,
И хищник бешеный с ним несравним.
Невинность юных бесчестит бандит.
Седины старых он кровью багрит.
Со смехом он вешает, жжет матерей,
Зевая, в клочки раздирает детей.
Где ступит, там крови озера стоят,
Пустыней становится розовый сад
И где, пламенея, смеялся тюльпан,
Пожарище стелет багровый туман.
От века род не бывал людской
Терзаем язвою страшной такой.
Фашистов, коричневой этой чумы,
Бездонную мерзость постигли мы.
Их черное дело — народы душить,
Их клич — истребить нас, поработить.
К надежде народов, к Москве в эти дни
Недаром так яростно рвутся они.

Но пусть узнает зазнавшийся вор,
Что ждет его грозный, железный отпор.
Раздавим дракона, загубим его!
Кровавые лапы отрубим его!
Развеем по ветру прах черный его,
Навеки сотрем след позорный его.
Врагу под Москвой не сносить головы,
Защитников много у нашей Москвы.
Украинец, русский, казах и грузин,
Таджик, белорусс и туркмен, как один,

Фашистских бандитов станут разить,
Огнем и мечом их палить и рубить.
И мы рядом с братьями в битву пойдем,
Все разом расплатимся с подлым врагом.

Одно у нас мщенье, один у нас враг,
Один у нас дом и единый очаг.
Надежда одна наполняет нам грудь,
Одна у нас цель и один у нас путь,
Отвагу и доблесть, на горе врагам,
Оставили деды в наследство нам.

И твердо мы знаем с младенческих лет:
Ужаснее рабства участи нет.
Чем жить чужими в стране родной,
Уснуть отрадной в земле сырой.
Орлу на утесе, на воле житье.
Отточим же снова оружие свое!
Как вихрь налетим на хвастливых врагов,
Запомним они силу наших клинков.
За землю колхозов, за кровь батырей,
За муки младенцев, за стон матерей,
За вдовы страдания, за девичий плач —
Сторицей возмездье получит палач.
Пошады от нас пусть проклятый не ждет,
За кровь нашу — кровью он весь изойдет.
Укройся он диким кабаном в лесах,
Иль дымом зловонным клубись в облаках,
Иль спрутом заройся под толщу воды,
Иль втиснись металлом в глубины руды —
От нашего гнева не скрывается ему,
Пред нами за все попадется ему.
Заплатят поганой своей головой
И Гитлер и свора цепная его.
Знай, вождь наш любимый! Узбекский народ,
Который возвел ты до светлых высот,
Сын верный великой советской семьи,
Всем сердцем с тобою, с Москвой каждый миг.

Услышите нас, герои Москвы!
Услышите нас, Ленинграда львы!
Мы с вами дышим стремлением одним,
Сердца наши бьются биением одним.



42-29238

В недавние годы от рабских цепей,
От ханского гнета, от орд басмачей,
От мрака и бед нас избавили вы,
Вы, львы Ленинграда, герои Москвы!
Что крепче, надежнее дружеских плеч?
Вы дали нам в руки и светоч и меч.
Того не забудет узбекский народ,
Пока в нем хоть капля крови течет.
Теперь же для всех испытания час,
Враги точат нож и на вас и на нас.
Не сбыться их замыслам грязным вовек,
Идет рядом с вами сражаться узбек!
Долг дружбы мы, как мужи, вернем,
Узбекский народ клянется в том.
Москва — нашей воляности цитадель,
Москва — нашей радости колыбель.
Кремль — сердца нашего алая кровь.
В Кремле наша слава, наша любовь!
Дела покажут, не только слова,

Как нами любима родная Москва,
Как дорог нам тот величавый гранит,
Что Ленина свято в груди хранит.
Не быть мавзолею под вражьей пядью!
Все ринемся в ярый, неслыханный бой.
Скорее падем, чем сдадимся врагам.
Но знаем: победа верна будет нам.
За Сталиным, полководцем великим
Священной отечественной войны,
Вперед на фашизм кровожадный и дикий!
Вперед за свободу Советской страны!

Письмо единодушно принято на общегородском митинге трудящихся Ташкента, на котором присутствовало 300 тысяч человек.

Письмо изложено в стихах поэты:
Хамид Алиджан, Уйун, Лахути, Чусты.
Амин Умари.

Перевод с узбекского Ц. Бану,

ПРИВЕТСТВИЕ ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА ОТ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ГОР. ТАШКЕНТА

Друзья побед, геройских дел друзья,
Отизны доблестные сыновья!

Дорога ваша — как дорога львов.
Твердыней станьте на пути врагов.

Бойцы, джигиты, мастера огня —
Вы родины могучая броня.

Вы родины испытанный булат,
Богатырям ли отходить назад!

Вы защищаете свой отчий дом,
И каждый должен быть богатырем.

На вас глядит с надеждой вся страна
И повторяет ваши имена.

Она о вашей доблести поет
И подвиги, и жертв великих ждет.

Она достойна их: родную мать
Не каждый ли обязан защищать?

Она вам молоко и хлеб дала,
Пусть не коснется смерть ее чела.

Пусть не ужалит ядовитый змей
Святую мать всех наших матерей.

Мы четверть века провели в труде,
Чтоб нашей яркой пламенеть звезде,

Чтоб нам сияла с высоты она
И горем не была затемнена,

Чтоб нашу землю нашей звать всегда,
Чтоб наши на лугах паслись стада,

Чтоб мед вкушали мы от наших пчел,
Чтобы тюльпан среди пустыни цвел,

Чтобы подпаску инженером стать...
И это все враги хотят отнять!

Они хотят нас в цепи заковать,
Но этому вовеки не бывать.

Иначе — тесной станет нам земля,
Иначе — каждому грозит петля,

Иначе — каждому беда грозит,
Безумный враг убийствами не сыт.

Еще нам рано опускать мечи,
Еще грозят свободе палачи.

Сам Чингиз-хан лишь бледная их тень,
От их деяний светлый меркнет день.

Они предпочитают ночь. Их страсть —
И убивать, и растлевать, и красть.

Они враги искусств, враги наук,
Их идеал — дикарь, им — дьявол друг.

Культуре человечества — враги,
Советского отечества враги.

Исчадие ада, порождение тьмы,
Они — чума, они страшной чумы.

В союзе с ними горе и беда.
Они — шакалы, трупы — их еда.

Их глотки крови жаждут вновь и вновь,
Но жажду их залить не может кровь.

От нашей крови палачи пьяны.
Они — враги и солнца и луны.

Они враги весенних теплых дней,
Они враги и женщин и детей.

Они враги свободных цветников,
Они — враги, и хуже нет врагов.

Разите их! И не сдавайтесь им:
Вы знаете, их плен невыносим.

В темнице омерзительной своей
Они казнят полуживых людей.

В застенках отвратительных своих
Они терзают мертвых, как живых.

Не хватит у любых народов слов,
Чтоб заклеймить позором этих псов.

Над ними занесите острый меч,
Чтоб когти вместе с лапами отсечь.

Наш край велик, родимый край широк,
Но нет для отступления дорог.

И нет у нас ни горсточки земли,
Которую отдать бы мы смогли.

Стеною станьте, поясом стальным,
Мы устоим и — значит — победим!

Как буря налетайте на врага!
Свою страну спасайте от врага!

Свобода или смерть! Других путей
Нет для героев и богатырей.

Крушите змей прикладом и штыком,
Давите змей и танком и конем!

Вы, охраняющие Сталинград —
Оградой станьте крепче всех оград.

Чтоб не был южный город осквернен —
Свидетель славы сталинских знамен!

Так говорит разгневанный народ:
„Враг только пулю пусть у нас найдет.“

И, если нашей он земли хотел,
Сажень земли — ему навек в надел.“

И так народ приказывает вам:
„Порог Кавказа — кладбище врагам!“

Не алчная, презренная война,
Нас подняла священная война.

Хоть враг свиреп, хоть он еще силен,
Да будет сил и жизни он лишен!

Разливу бед плотинной стать должны
Единого отечества сыны.

Смелей гоните в бой коней своих,
Уничтожайте хищников лихих!

Вы — всей страны защита и оплот,
И вся страна свой проливает пот,

Сил не щадя для вас и день и ночь,
Трудом своим стараясь вам помочь...

Крутым утесом высится она,
Родная наша, братская страна.

И цель ее высокая светла,
И благородно-высоки дела.

На небесах истории они
Взошли зарей надежды в наши дни...

Мы — крепкая семья народов. Мы
Хребет сломили решили духу тьмы.

Да вечно будет наша дружба жить,
Ее осадами не удушить,

И утопить ее в крови нельзя,
И сжечь огнем — такой любви нельзя!

На всех фронтах — отважно, как и вы,
Сражаются с врагом и наши львы:

Кучкар, Сиродж и тысячи других
Богатырей узбекских, молодых.

Они друзей не предадут в беде,
Врагам пощады не дадут нигде...

И, разделяя бремя братских стран,
Вам отдает свой труд Узбекистан,

Производя оружие для вас
И множа хлопка и зерна запас

И подвиги научные творя,
Исследуя, ища, сверля, буря,

Светила знаний, недр знатоки
Закладывают шахты, рудники

И — здесь угля, а там — железа пласт,
Все нам дает земля, и все нам даст,

Чтоб нашу мощь военную крепить,
Чтоб вражью силу бить и истребить.

Всех под ружье поставила страна:
У нас воюют — кисть, перо, струна.

У нас, всем вражьи козням вопреки,
К труду вернулись даже старики:

Во дни войны, презрев преклонность лет,
Они — герои трудовых побед...

Мы с вами побратались не спроста —
И совесть наша братская чиста:

Сирот в обиду не дает узбек,
Отечески призрел сирот узбек,

И ваши дети здесь нашли приют,
Нашлись отцы и матери им тут!

Душой мы с вами слиты, что ни час
И что ни миг — полны забот о вас.

Щит Сталинграду — вы отчизне щит,
С надеждою за вами мир следит...

Мы вам подарки шлем, — они скромны,
Но — да не будем мы посрамлены,

И в капле — солнце иногда горит,
И малое о многом говорит.

Так бейте вражью погань — гибель ей!
Забывать нельзя заколотых детей,

Друзей, которых завтра ждет топор,
И обреченных на позор сестер!

От нас возмездья требует народ:
Пусть смерть с лица земли врагов сотрет!

За каплю крови — мстительной рукой
Должны вы вражью кровь пролить рекой;

За нашу голову — должно почечь
Сто, тысяча голов с фашистских плеч!

Так, страх презрев и жертвуя собой,
Идите в бой — и выиграйте бой,

И, дьяволов коричневых губя,
Вы родину спасете и себя..

Так выше поднимите стяг побед!
Добиться можно только так побед!

Назад — ни шагу! Смерть и смерть врагу
На каждом вашем боевом шагу!

Земля, что немцами разорена
Да будет кровью их удобрена!

Так, с именем великого вождя,
Сражайтесь, жизни вашей не щадя.

Обрушьте гром победы на врага,
Потоком — смерть и беды на врага!

Кто с именем вождя стреляет, — тот
Во вражье сердце пульей попадет.

Кто с именем вождя наставит штык,
Того от гибели избавит штык.

Кто с именем вождя клинком махнет,
Косою смерти над врагом махнет!..

Вперед, за ваших жен и матерей,
За юных дочерей — вперед, храбрей!

За оскверненный гроб Толстого — в бой!
За жемчуг пушкинского слова — в бой!

Вперед, чтоб не был осквернен вовек
В гробнице самаркандской Улуг-бек,

Да не сожжет дикарь германский книг,
Что монументом Навои воздвиг!

Во имя нашей родины — вперед!
Смерть первой жертвой труса изберет,

А храбрый будет храбростью спасен,
И — жив иль мертв — но славою вознесен.

Пусть вечной славою имена горят,
Всех тех, кто грудью стал за Сталинград!

Победы день все ближе с каждым днем.
Так думайте о нем и лишь о нем!

Всем, кто вступил на смелый путь побед,
От нашей трудовой страны — привет!

Автор узбекского текста — Миртемир.
Перевели с узбекского Николай Ушаков
Лев Пенниковский

Письмо-приветствие зачитано и принято на собраниях интеллигенции г. Ташкента 16 октября 1942 г.

¹ Улуг-бек — известный узбекский хан-просветитель и ученый астроном XVI века.

Анна Ахматова

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя донесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

1942 г.

Виктор Гусев

Я РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Люблю на Кремль глядеть я в час вечерний.
Он в пять лучей над миром засверкал.
Люблю я Волги вольное течение.
Люблю сибирских рек медлительное пенье.
Люблю, красавец мой, люблю тебя, Урал.

Я русский человек, и русская природа
Любозна мне, и я ее пою.
Я русский человек, сын своего народа,
Я с гордостью гляжу на родину свою.

В годину бурь она всегда бывала
Единой, негнбаемой, стальной.
Навстречу битвам Русь моя вставала
Одной дружиной, грозною стеной.

И по призыву Дмитрия Донского,
По зову Минина, она шагала в бой
Навстречу битвам, грозно и сурово,
Взымая знамя славы над собой.

Так и теперь, страна моя родная,
В годину бурь, в ужасный час войны,
Так и теперь, — от края и до края,
На смертный бой идут твои сыны.

И дело чести, права и свободы
Они в жестоком отстоят бою.
Я русский человек,
сын своего народа,
Я с гордостью гляжу на родину свою.

Гремят в ночи ветра и бури фронта.
Но мы идем. Горит огонь в груди.
И как восход за гранью горизонта
Зарю победы видим впереди.

И что ни миг — то крепче наши силы.
И что ни час — сильнее наш удар.
И что ни день — светлее над Россией
Горит красноармейская звезда.

ПЕСНЬ О МАТЕРИ

(Из поэмы)

Войди в бомбоубежище на миг,
Взгляни в глаза, в которых гаснет разум.
То мать сидит, удерживая крик,
С ребенком на руках, с противоголозом.
Сидит всю ночь бледна, полумертва,
Недвижный взгляд глубокой полон муки.
Усталая поникала голова,
И цепенеют сомкнутые руки.
Все та же мать — в Москве сидит она,
В Париже, в Осло, в Лондоне, в Каире,
Она везде — все та же и одна,
Одна лишь мать во всем огромном мире.
И этот страх — один у матерей,
Страх перед зверем, воющим свирепо
От Африки — до северных морей,
От Нарвика — до Кипра и Алеппо.

И мать глядит — и ширятся глаза.
Они растут. И каждый глаз — как море.
Какая в них рождается гроза!
Какая буря дышит на просторе!
И лоб растет, но то не лоб — о, нет!
То не бессильной старости морщины,
То высятся гигантских гор хребет,
То лег туман в глубокие ложины.
То не лицо, то древний лес возник —
То не ресницы, волосы и брови,
То европейский вырос материк,
То мать-Европа в океане крови.
Она растет, кругом растут моря,
Материки встают во мгле туманной.
Так, плоть живую в землю претворя,
Ты, мать, Землею стала первозданной.

О, мать-Земля! Для матерей земных
Ты образ их, ты символ их гигантский,
И лишь одной нет места среди них,
Одной проклятье — матери германской!
Вовеки страшным проклято судом
То чрево, где зачатые совершилось,
То чрево, что чудовищным плодом
На посрамление миру разрешилось —
Чей волей злобой этот страшный век
Узнал разгул безмерных преступлений,
Увидел, как растоптан человек,
Отравлен мир и опозорен гений —
Как мертвецы, почуяв бойни смрад,
Среди могил в веселье пляшут диком,
И в страхе полумертвые дрожат,
Скрываясь в норы с приглушенным криком.

Что ярость гуинов, что Немврод и Кир,
Вандалов тьмы, татарских орд лавина,
Чумы индийской смертоносный пир
Пред кровавадной свастики Берлина!
Германия! Что сделали с тобой!
Ты стала ямой свалочной, притоном!
Насилье, голод, гибель и разбой
Швырнула ты смятенным миллионам.
Чудовище! Кто породил тебя!
Как, разрешась отродием звериным,
Какая мать, страдая и любя,
Проклятый плод назвать посмела „сыном“!
Сын! — средоточье тысячи путей,
Слиянье крови тысяч поколений,
Наследье тысяч пламенных страстей,
Падений, взлетов, чаяний, томлений!

И над землей сменяются века:
Вот раскаленный Нил и Пирамиды,
Песнь Ли-Тай-Пэ, и Желтая река,
И плоть нагая мраморной Киприды.
Вот вечный Рим, — столетний буйный спор...
Ворвался гуинов в незыблемые стены,
Вот к небу встал готический собор,
Спешит Вийон по набережной Сены.
Вот гуманизма пламенный восторг,
Угроза схоластическим кумирам,
Расцвет наук, неистовый Нью-Йорк
И радио, гремящее над миром.
Мятеж России, свергнувшей господ, —
О, как твой путь широк и триумфален!
Свободный мир, ликующий народ,
И надо всем сияет имя: Сталин!

И превратились в новые мосты
Пучины океанов роковые.
И новой жизни пышные цветы
Вдохнуло человечество впервые.
И враг увидел: мир расцвел как сад.
Тогда он выполз алчный, мутноглазый,
Чтоб в этот мир извергнуть новый ад,
Чтоб заразить нас черною проказой.
Идут немецкой матери сыны, —
В пучине смрадной черного потопа, —
В неукротимом бешенстве войны,
Ползет огромным кладбищем Европа.
Пред ней, черта кровавые листья,
Позорище напуганной планеты,
В такую бездну павшей с высоты! —
Идет народ Бетховена и Гете.

Но молния настигнет палача,
Душителя отпор достойный встретит,
Кто поднял меч — погибнет от меча,
Кто пролил кровь, тот кровью нам ответит!
Когда свирепый зверь неукротим, —
Тем горче месть, возмездье тем суровей!
И кто виновен — все ответят с ним
За этот стон, за море слез и крови!

Ты просчитался, гнусный каннибал:
Народ России спас опять Европу!
СССР стеной громадной встал,
Преградою тевтонскому потоку.

Иосиф Уткин

ПЕСНЯ О РОДИНЕ И О МАТЕРИ

Так уж водится, наверно,
Я давно на том стою,
Тот, кто любит мать — наверно
Любит родину свою!

И в народе неделимо
Счастье радости одной.
Счастье родины любимой,
Счастье матери родной.

И мать встает, избыв кровавый бред,
Сияющим обрадована знаком,
Сликакая жизнь, гармонию и свет,
На битву с бурей, хаосом и мраком.
Пусть же смерть крылатая близка,
Пусть воют бомбы, рушатся строения,
Сквозь ночь благословенная рука
Указывает нам на путь спасенья.
Так познает грядущее мой дух,
Изведав силу русскую глубоко,
Так познает грядущее мой дух,
От Запада блуждая до Востока.

Перевел В. Левик

Султанов Иззат

ПОЛЕТ ОРЛА

(Отрывок из пьесы)

Пьеса „Повет орла“ посвящена М. В. Фрунзе, его деятельности в тот период, когда он был главнокомандующим Туркфронта и членом Туркестанской комиссии ЦК РКП(б) и ВЦИК (1920-й год). Внедрение идей советской власти в сознание трудящихся масс Средней Азии было важнейшей политической задачей того времени. Огромная роль, какую сыграл М. В. Фрунзе в этом деле, и получила свое отражение в пьесе.

В печатаемой ниже третьей картине пьесы „Повет орла“ показана первая встреча одного из героев пьесы — Умара Джураева — с М. В. Фрунзе.

Содержание предыдущих картин таково: командиру части особого назначения Бородину было дано ответственное задание — доставить большое количество оружия и боеприпасов частям, находящимся в городе Ош. Предатели — националисты Расулов и Алимов, засеявшие в Андижанском ренкоме, — всячески старались направить отряд Бородина по такому маршруту, который позволил бы басмачам захватить транспорт оружия. Но Бородин по совету своего верного и испытанного помощника Умара Джураева выбрал наиболее безопасную дорогу. Тогда Расулов поручил Алимову немедленно предупредить

дить об этом главаря басмачей Кенджа - Курбаши. Предательство Расулева и Алимова помогло басмачам окружить отряд Бородин и захватить большую часть оружия и боеприпасов. Бородину удалось выбраться из окружения, но Умар Джураев попал в плен.

По указанию Алимова, басмачи подвергли Умара жестоким пыткам, чтобы получить от него важные военные сведения. Умар не выдал своих друзей. Тогда Алимов пошел на новую провокационную проделку: он устроил встречу Умара с его отцом Джура, завербованным басмачами. Фанатически религиозный и темный старик Джура считает басмачей спасителями от "гнева неверных" и просит сына удовлетворить требования басмачей. Умар отказывается. Курбаши объявляет, что, если

Умар выдаст своих друзей, то ему будет подарена жизнь и он получит высокую должность, а если откажется, то будут расстреляны и Умар и его отец. Умар все же отказывается. Старый Джура отрывается от своего сына. Умара ведут на расстрел.

Случайность помогла Умару спастись и скрыться. Взбешенный неудачей Алимов решил погубить Умара иным способом: сам недавно завербовавший отца Умара в басмачи, он теперь пишет во все инстанции донесения о том, что Умар Джураев скрывает принадлежность своего отца к басмачам. Этим путем Алимов пытается дискредитировать Умара Джураева и подорвать доверие к нему со стороны командования.

КАРТИНА 3-я

Участвуют:

Фрунзе М. В. — главнокомандующий Туркфронта и член Турккомиссии ЦК РКП(б) и Всероссийского ЦИКа.

Бородин — командир части особого назначения. Рабочий. Друг Умара.

Умар Джураев — рабочий хлопзавода, где мастером работал Бородин. Боец части особого назначения.

Ваххабов — один из первых председателей ТуркЦИКа. Националист.

Расулев — председатель Андижанского ревкома.

Рубцов — военком Андижанского уезда. Настроен шовинистически по отношению к местному населению.

Секретарь Ваххабова.

Ташкент. Кабинет Ваххабова, председателя ТуркЦИКа. Заванес открывается в разгара спора между Расулевым Рубцовым и Ваххабовым.

Расулев (кричит). Это позор!

Рубцов (кричит). Удар по нашей репутации!

Расулев. Извращение национальной политики партии!

Ваххабов (стараясь успокоить их). Что вы горячитесь! Просту сесть! (Садится. Остальные стоят).

Рубцов. Мы этого не допустим!

Ваххабов. Зачем вы кричите на меня? Почему вы не кричали вчера на совещании?

Рубцов. Что мы могли, когда и Куйбышев, и Фрунзе, и все на совещании осуждали нас. Вот именно вам, товарищ Ваххабов, следовало бы выступить в нашу защиту!

Ваххабов. Нет, товарищи. — Я — глава местного правительства, следовательно я являюсь одновременно и представителем центральной власти. Было бы не тактично выступать перед публикой против линии Турккомиссии. Однако, в личной беседе с товарищами Куйбышевым и Фрунзе я выразил горячий протест.

Рубцов. И что же они сказали вам?

Ваххабов. Повторили то, что говорилось на совещании.

Расулев (нервно, иронически). То-есть: "Басмачество вдохновляют буржуазные интеллигенты, желающие свергнуть советскую власть". Так?

Ваххабов. Они это утверждают.

Рубцов. То-есть: "Во всех безобразиях Ферганы виновны провинившиеся в аппарат враги и тулупы". Так?

Ваххабов. По их словам — так.

Расулев. Почему же вы не объяснили положение вещей?

Ваххабов. Объяснял. Сказал, что называть интеллигентов буржуазными элементами — значит отталкивать лучших людей Востока от революции. Сказал, что для создания советской власти нам здесь приходится вести борьбу с народом.

Входят Фрунзе и Бородин. Все встают.

Фрунзе. Привет, товарищи! А Валерьяна Владимировича разве еще нет?

Ваххабов. Товарищ Куйбышев у прямого провода. Вызвал товарищ Ленин.

Появление Бородина удивило Рубцова и Расулева. Бородин в подавленном настроении, он кивком головы здоровается и молча стоит за Фрунзе. Фрунзе продолжает в дружеском тоне.

Фрунзе. Мы, кажется, помешали вашей горячей беседе? Как будто товарищ Ваххабов говорил опять о борьбе с народом?

Ваххабов (учтиво). Я информировал товарищей о нашем вчерашнем разговоре.

Фрунзе. Товарищи, конечно, согласны с вами и считают, что с народом нужно бороться?

Рубцов. Нельзя бороться. По-моему, Турккомиссия забывает о том, что Туркестан — самая отсталая окраина России. Кто хочет построить здесь советскую власть, тот должен показать свою силу, силу диктатуры пролетариата.

Фрунзе. В Фергане вы старались показать свою силу и чуть не превратили друзей во врагов. Покажите народу настоящее лицо советской власти. Тогда у миллионов откроются глаза. Тогда те, кто любит ловить рыбу в мутной воде, останутся одиночками.

Рубцов. Значит, вы предполагаете, что даже среди нынешних басмачей найдутся люди, которые могут стать на сторону советской власти?

Фрунзе. Это не предположение, а безусловная истина.

Рубцов. Вот именно, не истина, а только предположение.

Ваххабов. И то предположение сомнительное.

Фрунзе. Кто из нас прав — покажет жизнь. Во всяком случае, такова установка Турккомиссии.

Расулев. Товарищи из Турккомиссии еще мало знают местные условия и часто дают неверные установки.

Фрунзе (мягким тоном). Но среди членов Турккомиссии есть товарищи, которые родились и выросли в Туркестане.

Рубцов. Например?

Фрунзе. Например, некий Фрунзе из Пишпека (смеются). Я, кажется, забыл даже поздороваться. (Пожимает всем руки. Ваххабов учтиво уступает место Фрунзе. Все садятся).

Ваххабов. Допустим, что ваше предположение о басмачестве верно. Но почему же Турккомиссия не согласна сейчас созвать съезд советов?

Фрунзе. Прежде всего надо точно определить задачу съезда. Вы намерены созвать

съезд для того, чтобы объявить Туркестан Республикой тюрков. Не так ли?

Ваххабов. Так.

Фрунзе. Вот почему мы против созыва съезда. Объявлять сейчас Туркестан только Республикой тюрков — это значит насаждать узкий национализм. А некоторые господа нагло требуют вывода частей Красной Армии из Туркестана.

Расулев. Если Турккомиссия не согласна с нашей автономией, то где свобода, обещанная нам?

Фрунзе. Туркестан будет иметь автономию, но народную. Только автономия, основанная на принципах интернационализма, может явиться настоящей автономией. Свое мнение о Тюркской республике и тюркской компартии мы доложили Москве ЦК. В дальнейшем будем действовать только по указаниям Центрального комитета... Кроме того, по нашему мнению, съезд с точки зрения классовой подготовки недостаточен. Есть опасность, что огромное большинство делегатов будет представителями нетрудового народа. (Ваххабову). Товарищ Бородин может вам рассказать один интересный анекдот из работы Андижанского ревкома.

Рубцов (нервно). Жалоба двух дехкан на выборы. Понятно. Товарища Бородин всегда интересуют подобные анекдоты.

Фрунзе (серьезно). Товарищ Бородин привез не анекдоты, а очень печальные известия.

Рубцов (испуганно). Что-нибудь с оружием? (Бородину). Как же вы очутились в Ташкенте?

Бородин. Оружие и боеприпасы попали в руки басмачей.

Рубцов. Как?

Расулев. Что случилось?

Бородин (подходит к карте). Когда мы подошли к Ханабду, нас окружил большой отряд басмачей. Это был отряд Кенджа-Курбаши. Из-за их численного превосходства пришлось отступить в Андижан. Мы сохранили только часть оружия. Я считал нужным немедленно выехать к товарищу Фрунзе.

Расулев. А Умар?

Бородин. Ох, Умар... Он так и не вылез из окружения басмачей.

Рубцов. Так я и думал! Вы лучше скажите, что он перешел к басмачам. Значит, он недаром настаивал на маршруте через Ханабд.

Расулев. Это, конечно, предательство Умара...

Фрунзе. Товарищ Бородин расскажет, как Умар выручил нас.

Бородин. Выбираясь из окружения, мы разбились на две группы. Умар, чтобы дать нам возможность увести оружие, должен был отвлечь большинство басмачей. Я быстро выбрался из беды, но в кишлаке Бешкапа басмачи снова налетели на нас. Тогда Умар повернул обратно и опять вступил в бой. В кишлаке Курпа снова пытались задержать нас, и Умар опять вернулся и стал между нами и басмачами, прикрывая наш отход. Когда басмачи одолели Умара, мы уже были далеко. Дороги размокли, пыли не было, и басмачам не удалось установить направление нашего отхода. Но Умар... Словом, большая часть оружия попала в руки басмачей.

Расулев. Вы сами видели, что Умар несколько раз приходил на выручку?

Бородин. Это было видно по ходу операций.

Ваххабов. Значит вы не видели, вы только предполагаете?

Бородин. Я достаточно опытен в военных делах, чтобы сделать верные выводы.

Расулев. Беда в том, что вы очарованы Умаром. *(Входит секретарь)*.

Секретарь. Товарищ Рубцов, вам телеграмма.

Рубцов *(принимая от секретаря телеграмму)*. Вот именно: беда! Вы не хотите, чтобы на безупречную репутацию вашего любимца упала хотя бы пылинка.

Фрунзе. У товарища Бородина есть кое-какие основания для этого. А какие же у нас с вами основания не доверять Умару?

Рубцов, наконец, вскрывает телеграмму, читает ее и начинает торжествующе ходить взад и вперед.

Расулев. Вот вам конкретные основания: почему же Умар остался у басмачей, если он верен нам?

Фрунзе *(задумавшись)*. Можно ли утверждать, что Умар остался у басмачей по собственной воле?

Рубцов. Вот именно, остался по собственной воле. Пожалуйста. *(Подает телеграмму. Фрунзе читает, поражен. Смотрит на Бородина взглядом, полным упрека и злости. Передает ему телеграмму)*.

Бородин *(медленно читает вслух)*. „Считаю своим коммунистическим долгом довести до вашего сведения, что по проверенным лично мною данным, отец Умара Джураева является видным басмачом в отряде Кенджа-Курбаши. Алимов“.

Фрунзе *(Бородину)*. Такой факт был вам известен?

Бородин. Нет. Рубцов. И вы защищаете человека, не зная о нем основного!

Расулев. И защищаете даже тогда, когда из-за этого человека наше оружие попало в руки басмачей.

Фрунзе. Неудача с перевозкой оружия могла быть просто оперативной неудачей. Родители человека могут быть кем угодно. Если он верен нам на деле, он — наш. Но когда человек неискренен, когда он скрывает что-то от советской власти, это что-то означает, и тут у нас к нему не может быть никакой пощады.

Рубцов. Вот именно: никакой пощады!

У порога появляется Умар. Голова и руки у него забинтованы. В изнеможении он прислоняется к двери, замирает. Его видят удивленные Фрунзе и Ваххабов. Ваххабов нервно звонит. Входит секретарь.

Ваххабов. Что это значит? Зачем вы пустили этого молодого человека?

Секретарь *(испуганно)*. Простите, он сам зашел. Я отлучился на минутку.

Бородин *(увидев Умара, бросается к нему)*. Умар!

Умар. Александр Петрович! *(Обнимаются, Ваххабов изневым жестом удаляет секретаря)*.

Бородин. Михаил Васильевич, вот Умар. Умар *(обрадованно)*. Здравствуйте, Михаил Васильевич *(протягивает руку Фрунзе)*.

Фрунзе *(не подавая руки, холодно)*. Здравствуйте.

Умар, обессиленный, падает в кресло, сидит молча.

Фрунзе. Ему дурно. Позовите врача.

Умар. Не беспокойтесь, Михаил Васильевич. Я немного ослабел. *(Бородин подает ему воду. Пауза)*. Товарищ Фрунзе, не обижайте Бородину, он не причем. Я пришел, чтобы сказать, что во всем виноват я.

Фрунзе. Конечно, виноваты вы.

Умар *(Бородину)*. Как я волновался! Вместо меня могли казнить вас, человека совсем невинного! Я был в отчаянии, не знал, о какой камень удариться головой.

Рубцов. Напрасно волновались. Мы не торопимся наказывать, не выясним, кто виноват.

Умар. Я виноват. Расстреляйте меня.

Ваххабов. Очевидно придется расстрелять того, кто действительно изменник.

Фрунзе. Совершенно верно. *(Пауза)* А в чем вы себя, Умар, считаете виновным?

Умар. В том, что дал Бородину неправильный совет.

Фрунзе. Только? А как на этой дороге очутился Кенджа-Курбаши? Ведь он до сих пор орудовал далеко, за горами?

Умар. Не знаю.

Фрунзе. Не думаете ли вы, что Кенджа откуда-то узнал об отряде с оружием и быстро перебрался туда?

Все настороженно ждет ответа Умара.

Умар. Как он мог узнать? Во время совещания в Ревкоме, кроме товарища Расулева, Бородина и Алимова, никого не было. Все свои люди.

Расулев и Ваххабов чувствуют облегчение.

Расулев. Вы не сказали о себе.

Умар. Я вернулся сюда, и этим все сказано. Я пожертвовал жизнью своего отца.

Фрунзе. А что с вашим отцом?

Умар. Я встретил отца у Кенджа-Курбаши. *(Рубцов оживает)*. Повидимому, он был завербован недавно. Курбаши потребовал, чтобы я сказал, куда девался Бородин и сколько бойцов и оружия в городской крепости. Он обещал мне жизнь и награду. Я отказался. Тогда появился отец. Он тоже просил, чтобы я выполнил требование Курбаши. *(Рубцов смотрит на Фрунзе, как бы говоря: „Вот видите, каковы отцы?“)* Я отказался. Тогда Курбаши объявил, что он расстреляет отца, если я буду упорствовать. Я не согласился, и отец отрезал от меня. *(Рубцов опять делает какие-то знаки Фрунзе. Фрунзе молча, с волнением слушая рассказ Умара, жестом требует, чтобы Рубцов не мешал)*. Когда меня повели на расстрел, я бросился в реку и еле спасся. Отца, наверное, расстреляли. *(Тягостное молчание)*.

Рубцов *(иронически)*. Как вы думаете — ваш отец добровольно пошел в басмачи или...

Фрунзе *(гневно обрывает Рубцова)*. Достаточно! *(Подходит к Умару, обнимает его)*. Дайте руку! Простите! *(Бородину)*. Товарищ Бородин, надо показать врачу товарища Умара. Оба готовьтесь к выезду в Фергану завтра утром. *(Ваххабову)*. По-моему, товарищ Ваххабов, мы сделаем так: назначим товарища Умара Джураева председателем горревкома, а товарища Бородину — председателем уездного Военсовета. Как вы думаете? Пусть поработают вместе.

Умар удивлен, Расулев и Рубцов гневно, в ожидании ответа, смотрят на Ваххабова.

Ваххабов *(недовольно)*. Если хотите... Пожалуйста!

Умар. Вы шутите, товарищ Фрунзе. Я — малограмотный узбек. А для таких дел годятся только ученые люди, вроде товарища Расулева.

Фрунзе. Совершенно верно. Товарищ Расулев — человек ученый, поэтому учить его нечего. Задача советского аппарата состоит в том, чтобы учить управлять государством таких представителей трудового народа, как вы. Неправда ли, товарищ Расулев?

Расулев *(недовольно)*. Да, конечно.

Фрунзе *(Умару)*. Вы знаете товарища Сталина?

Умар. Слышал.

Фрунзе. Направляя нас сюда, он сказал: нужно массы далеких окраин поднять до понимания советской власти, а лучшую часть этой массы слить с советской властью. Мы для того здесь наступаем иным товарищам на мозоли, чтобы выполнить это задание.

Умар. Я совсем растерялся.

Фрунзе. Вот это хуже всего. Не теряйтесь. Чтобы работать в советском аппарате, от каждого требуются две вещи: верность и дерзание *(подчеркнуто повторяет)*: и дерзание! Вы помните узбекскую сказку об орле, о том, как он учит летать своего орленка?

Умар. Нет.

Фрунзе. Молодые орлята сначала боятся вылетать из своего гнезда. Тогда орел берет такого орленка в свои когти, взлетает на самую высокую вершину, сталкивает его оттуда, а потом, подлетая к нему то слева, то справа, учит его летать. Есть такой орел, великий русский народ. У него есть много орлят — угнетенные народы бывшей царской России. *(Дает Умару руку)*. Будьте смелы. Дерзайте!

Умар *(воодушевлен. Жмет Фрунзе руку)*.

Благодарю... Благодарю...

Фрунзе. Товарищ Расулев будет помогать вам, товарищ Рубцов останется при мне.

(Подает Бородину руку). Всего хорошего.

Бородин и Умар направляются к двери. Перешагнув через порог, Умар смотрит на Бородину, склонив голову на ладонь, как бы говоря: „О, друг, что с нами сделали!“ Бородин тоже пожимает плечами. Ушли.

Рубцов. Товарищ Фрунзе, что это значит? Фрунзе. Ничего особенного. Я реализую решение вчерашнего совещания.

Входят еще два-три участника заседания, здороваются, садятся.

Секретарь (входит). Товарищ Куйбышев просит передать, что задержался у прямого провода и не может быть на заседании. Он прислал товарищу Фрунзе эту телеграмму.

Фрунзе (быстро прочитывает телеграмму). Важные дела. Телеграмма из Москвы, от ЦК. Товарищи Ленин и Сталин полностью одобряют наши позиции. Туркестан объявляется не Туркской республикой, а республикой всех без исключения национальностей,

населяющих ее. (Высоко поднимает телеграмму). Компартия будет не туркской, а туркестанской. Следовательно, всю подготовку к съезду Советов придется провести заново... Ну, что ж, начнем заседание (Входит стенографистка и занимает место). Предлагаю изменить порядок дня. Первый вопрос — телеграмма Центрального комитета о принципах построения власти в Туркестане. Второй — о мероприятиях в связи с началом крупных операций против басмачества в Фергане.

(Гаснет свет. Занавес)

Шейхзаде

ЕДИНОКРОВИЕ

Говорят — в былые времена —
В крае, где сияет Медина,
Жили братья — семь богатырей,
Семь могучих сказочных царей.
В их руках блистал алмаз-булат,
Дрот не пробивал их светлых лат,
И об их стальные шишаки
Разбивались вдребезги клинки.
Остроумен был их разговор.
Дружеский следил за каждым взор;
В битвах их незримо берегли
Семь сестер-красавиц издали.
Если ранен был один в бою —
Рану сам зализывал свою.
Лишь бутыл с лекарством доставал —
В рану капли три его вливал, —
В миг единый исцелялся он,
Гибели не покорялся он.
В той бутылки кровь сестры была,
Кровь подруги друга берегла.

В наши дни влетевши, как стрела,
Древняя легенда ожила.
Говорит герой среди огня:
„Кровь народов в сердце у меня!“
Цельно сердце родины всегда,
Словно о пяти лучах звезда.
И не семь, не семьдесят подруг,
А сто семьдесят народов вдруг,
С искренностью братьев и друзей,
Кровь дают сердцам богатырей,

Наполняя мужеством сердца,
Морем сил без края и конца.
Эта сила сокрушит врага,
Как пожар, испепелит врага!
Женщины, мужчины, старики,
Наподобье сказочной реки,
Воду жизни, кровь из жил своих,
Шлют на фронт для братьев боевых,
Влаге драгоценной говоря:
„Мощью одари богатыря!“

В лад сердца в нас, как одно, стучат,
И у нас — народ народу брат.
В русском сердце — кровь грузина есть,
В жилах сына Украины есть
Армянина и калмыка кровь,
Как вино, кипит таджика кровь
В белоруссе, силою дыша;
Кровь узбека — в жилах латыша.

Сердце у СССР — одно,
Целый мир вместит в себе оно.
Дум родством спаяла нас страна.
Цель у нас великая — одна.
Строй наш боевой нерасторжим.
Дружбой мы сильны. Мы победим!
Наш могучий, вольный наш народ
В грозных битвах к цели путь пробьет,
И врага — дракона поразит,
И свободу миру возгласит.

Перевел с узбекского Вл. Державин

Борис Бобович

МОСКВА — ОСЕНЬ — 41 г.

Как верный товарищ, как друг —
Осеннее небо стоит над Москвой...
И вот разворочен затишья покров...
В ответ на сирену тревоги,
Раскаты гремят, тишину
распоров,
Вздыхаются шупальцы прожекторов:
Фашисты на нашем пороге!..
Стервятник метнулся и в
тучи нырнул,
Но, цепкими пойман лучами,
Пропущен сквозь гром, и раскаты,
и гул,
Еще отдаленный вначале.
То бьют батареи, то в огненный
круг
Захвачен коварный фашистский паук...

Он мечется, рвется, но следом за ним
Трассируют пули зениток..
Он рушится на землю, закутанный
в дым,
Он — пламенем свернутый свиток...
Он тлеет в объятьях осенней травы,
Пират, не увидевший нашей
Москвы!
... А утром, в свинцовом тумане
дождей,
Светла и прекрасна столица...
И в сердце отважных московских
людей
Упрямая воля таится..
И воля вещает,
и всходят слова:
Бессмертна столица,
Не дрогнет Москва!

Хамид Алимджан

МОСКВА

Ночь настает... На крыльях смерти неся,
С глазами, налитыми черной кровью,
Стервятники взлетают в небеса,
Как оборотни, рыщут над Москвою.
Врагу навстречу гневная Москва
В броне из стали, матовой от дыма,
Встает. Она бесстрашна и права,
И ненависть ее неукротима.
О, город мой! Забыта тишина.
Ты на чеку. И — ни на миг покоя,
В твоей душе сегодня страсть одна,
В твоём быту один обычай — боя!
Вот истребители — к звену звену —
Врагов таранят режущим полетом,
И реки бурною встают волной,
Чтоб задушить врага объёмом плотным.
Стервятникам не избегать нигде
Лучей прожектора, свинцовой силы —

Безмолвные просторы площадей
Развернутся и станут им могилой.

Москвы не знаешь ты, коварный враг,
И разобьешься об ее твердь,
И по ветрам развеется твой прах,
И память о тебе навеки сгинет!
Москва моя! Народов светлый дом!
Твоим щитом стоят бойцов отряды.
Пусть знает враг — за жизнь мы жизнь возьмем,
И кровь — за кровь прольем мы без пощады!
Москва моя!

Любой из нас хранит
Тебя, как сердце, как свое дыхание.
Неколебим навеки твой гранит,
Незыблемо знамен твоих сиянье!

Перевод с узбекского С. Соловой

МОЯ ПАРТИЯ

Ты в пламенных сердцах всегда горишь,— ты, партия моя!
Ты в жилах кровью бьешься и кипишь,— ты, партия моя!
С душой моей как совесть говоришь,— ты, партия моя!
Ты радость, гордость, славу мне даришь,— ты, партия моя!
Ты вдохновенье мне животворишь,— ты, партия моя!

Днем — солнце, в ночь — луна, ты — кругозор, зарей объятый, мой,
Ты — верный спутник, посох мой в руке, в пути вожатый мой.
Мой разум ты и твердый мой оплот, удел богатый мой,
Ты сила, счастье, красота, ты вождь крылатый мой.
И счастьем жизнь мою ты удлинишь,— ты, партия моя.

Как отблеск света яркого живешь в моей поэме ты,
Источник жизненный, руководишь и мной, как всеми ты,
И в каждом образе моих стихов, и в каждой теме ты,
И в музыке моих певучих строк со мной все время ты,
Когда перо устанет, ты живишь,— ты, партия моя!

Указывай мне путь, исполню все,— твой всей душою я,
Прикажешь ты, я на коня вскочу, тетрадь закрою я.
С тобою вместе радостную жизнь упорно строю я,
Держа перо иль острый меч в руке, всегда с тобою я.
Ты — командир, иду, куда велишь ты, партия моя!

В бой с именем великого вождя идет моя страна,
Препоны все коварного врага сметет моя страна.
Единой волей связана с тобой, живет моя страна,
С тобою радость мирных светлых дней найдет моя страна.
Все трудности со славой победишь ты, партия моя!

Но коль собьюсь я с твоего пути, пусть мне не жить тогда,
Утратить песен дар и славы блеск не сохранить тогда!
Коль мудрость я твою не оценю — певцом не слыть тогда,
Пусть сломится перо, Сабиром мне уже не быть тогда!
Но я дышу тобой, меня растишь ты, партия моя!

Перевел с узбекского Н. Ашукин

ПОЛКОВОДЕЦ СТАЛИН

Народов своей страны руководитель — ты,
Семьи трудящихся освободитель — ты,
Вдов и сирот отец и покровитель — ты,
Среди богатырей вождь-победитель — ты,
Великой армии душа и разум — Сталин!

Пусть сонмище врагов жестоких нам грозит,—
Не дрогнет Сталиным воспитанный джигит,
На нас напавший враг в крови ногой скользит.
Меч Красной Армии злодеев поразит.
Великой армии душа и разум — Сталин!

Враги обречены, их ждет везде конец,
На небе, на земле и на воде — конец,

Не ливни хлещут их, а пламя и свинец,
Отважен, как Рустам, у нас любой боец.
Великой Армии душа и разум — Сталин!

С презренным вороном орлу не до затей;
Отведай, ворон-враг, стальных орла когтей!
Разбитая орда не соберет костей.
Мир зацветет пышней, чем прежде, и светлей.
К победе приведет нас полководец Сталин!

Отчизна, стан мечом ты крепче опояшь,
Сокровища свои врагам ты не отдашь!
Да здравствует наш вождь и полководец наш,
Стоящий над страной неутомимый страж,
Великой армии душа и разум — Сталин.

Перевел с узбекского Владимир Державин



ПИСЬМО УЗБЕКСКОГО НАРОДА БОЙЦАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В светлый час зари от вас письмо пришло,—
Счастье да взойдет и да затмится зло!

Так писали вы — и, восхищая мир,
Гоните врага, весь очищая мир.

Каждую строку мы, как бодрящий стих,
Все читали вслух у очагов своих.

Как ликуем мы, как радуется нас всех
Утренняя весть про новый ваш успех.

Носят старики в шелку, как амулет,
На своей груди ваш боевой привет.

Полные забот о доблестных бойцах,
Девушки хранят в своих ларцах.

За подарки нас благодаря в письме,
Шлете вы привет, — он, как заря, в письме.

Пишете вы нам: „Мы немца бьем, тесним,
Враг еще силен, но мы покончим с ним.“

Пишете вы нам, чтоб силы не щадил
Наш народ в труде, крепя и фронт и тыл.

Каждый наш боец и каждый командир
Храбр, как Алпамыш, как Гор-Оглы батыр!

Пишете вы нам под огненным дождем:
„Мы в решительный, в последний бой идем.“

Русская зима врагу страшной чумы,
Но ему стократ страшнее сами мы.

Не оставьте нас заботами и впредь,
Чтобы нам врагов с лица земли стереть...*

Враг разут, раздет, в полях — мороз, пурга,
Стынет даже стон в поганом рту врага.

Разве может быть ближайший друг забыт,
Друг, с которым ты душой и кровью слит?

Каждый наш боец одет, обуто и сыт,—
Вражьи козни он, не дрогнув, отразит.

Разве может быть забыт любимый брат,
Если жертвой стать сам за него ты рад?*

Вождем возглавил нас — хвала ему и честь!
Окрыляют нас священный гнев и месть.

Мы послали вам на фронт не так давно
Скромные дары: табак, плоды, вино.

Мы — как ураган, как горный водопад,—
Ринемся вперед — и нет для нас преград!

Сами по себе — что сласти? Но они
Символом любви служили искони.

Украину всю, Прибалтику и Крым
Трупами врагов мы тучно удобрим.

Заверяем вас, что все, что нужно вам,
Заготовим здесь, отправим дружно вам.

Родину свою, свободный наш народ
Превратит в цветник, изгнав фашистский сброд.

На большой сундук Узбекистан похож:
Ценностей, что в нем скопились, не счесть.

И весь мир тогда навек очистим мы
От коричневой неистовой чумы... —

Но живет страна по-новому теперь:
Тыл и фронт снабжать готовы мы теперь.

Мы каналами избородили край,
Урожайми обогатили край.

Роем мы сейчас еще один канал,
Чтоб он жизнь и свет бесплодным землям дал.

Тысяч пятьдесят гектаров под зерно!
Щедрый урожай нам принесет оно.

Много мы пустых освоили земель,—
Обеспечить вас, вот ныне наша цель.

Хлеба, хлопка вам в избытке мы пошлем,
Мы завалим вас узбекским текстилем.

Табуны коней от нетерпенья ржут,
Седел боевых себе на спину ждут.

Много тысяч вам мы выделим коней,
У врагов — таких не видели коней:

По глазам — газель, павлиньи шея, пег,
Звездолоб, а бег — архаров горных бег!

Тайны, что в земле покоились, дремля,
Ныне — явь для нас: отверзла грудь земля.

Роем рудники — не остановишь нас,
Сколько ждет еще в земле сокровищ нас!

Кровь стальных сердец — нам нефть дает земля.
Даст Ахангарон миллиарды тонн угля.

Есть железо, медь и олово тут есть,—
Всё фашистским псам на голову — тут есть.

Наш Узбекистан не только земледел,—
Заводским гудком он зычно загудел.

Сам себе сказав: „Дела войны освою“, —
Круто повернул он к фронту повод свой.

Яблоки послать всегда мы рады вам,—
Счастливы теперь послать снаряды вам.

Пушки делаем и минометы мы,
Дадим танки здесь и самолеты мы.

Коротко сказать — узбекская страна
Производит всё, что требует война.

Ваши просьбы мы все выполним, а вы
День за днем врагов терзайте, словно львы.

Истребите их, втопчите падаль в грязь,
Воронам клевать оставьте эту мразь!..

Но пока еще не кончен смертный бой,
Может пострадать и среди вас любой.

Это помним мы — и заверяем вновь,
Раненым бойцам давать мы будем кровь.

Скажут: „Сердце дай — и ты спасешь бойца“, —
Вырвем из груди — и вам пошлем сердца...
...

Часть отечества захвачена врагом.
Стонут братья там под вражьем сапогом.

Враг от крови пьян и закопел во зле,
Враг пытал, казнил людей в любом селе.

Хищный зверь — он знал давно в убийствах толк
И куда ни шел, — он шел, как жадный волк.

Дикая свинья, клыки ощерил он,
В торжество свиньи, как в бога, верил он.

На копытах нес огонь, как мерзкий чорт,
Цветники сжигал и зверством был он горд.

В пепел города сжигал, осатанев,
Но под ним горел святой народный гнев.

Стонет белорус, украинцу невмочь,
День в Прибалтике теперь темней, чем ночь.

Материнский вопль всё омрачил окрест,
Зверь взбесившийся насилует невест.

Дети, потеряв родителей своих,
Бродят, одичав, среди лесов глухих.

Слышите ли вы проклятья бедных жертв?
Слушайте, ведь все мы — братья бедных жертв!

Братья кровью мы и голосом сердец,—
Братья мы, и Сталин — наш родной отец.

Нас отчизна-мать в страданиях родила,
Общая у нас судьба, борьба, дела.

Чуткость и любовь от века чтит узбек,
И в пословицы их воплотил узбек:

„Друг твой жизнь презрел, — смерть для него
презри.
Грозный час тебя потребует — умри.“

„Друг в беде — себя ты в жертву приготовь.
Друг погиб — умри, но оправдай любовь.“

„Путника прими, — пусть будет гостем он.
Накорми его, радушья чти закон“.

„Обними того, кто стал на твой порог, —
Около него кружись, как мотылек“².

„На ночь на замок не запирай ворот.
Гость ночной придет, — не рви зевотой рот“.

„Человечий лик, как солнце, сияя.
Не скупись — накрой для гостя дастурхан“³.

„Родич навестит — собаку привяжи.
Если в горе гость — утешь и удружи“.

„Кто людей бежит — не человек, а волк“.
„Человеком быть — твой высочайший долг“.

„Не забудь своих страданий, человек“...
Вот, что изложил в пословицах узбек.

...

Вспомни, как с тебя снимал оковы друг,
Как забила кровь в затекшем теле вдруг;

Как твоей слезой отравлен был твой хлеб,
Как — в слезах — на мир глядел ты, полуслеп;

Вспомни солнце то и как оно зажглось,
Осушив твои глаза от вечных слез;

Вспомни, как потом вновь наступила тьма.
Как тебя косила „белая чума“.

В ком себе тогда нашел опору ты,
Так, что сокрушил несчастий гору ты?

Вспомни эмират и Алимхана гнет⁴,
Как ты сбрасывал с себя тирана гнет;

Кто помог изгнать тирана и с тобой
Рядом был, судьбу связав с твоей судьбой?

И когда Анвар⁵ тебя в когтях держал,
Кто вручил тебе восстания кинжал?

Кто привел тебя к победе в дни, когда
Джунаид⁶ Хиву покинул навсегда?

И когда совсем дошел ты до сумы,
Выводил тебя какой мудрец из тьмы?

Вспомни — и тогда перед тобой пройдут
Все, кто за тебя боролись, гибли тут.

Не сочтешь могил (да знает стар и мал!)
Тех, кто за тебя по доброй воле пал...

Сможешь ли теперь ты не гореть душой,
Если старый друг в такой беде большой?

Нет, не сможешь ты, не умолчишь, узбек, —
Совести своей ты кары б не избеж.

Братский твой союз не лицемерен был,
Клятве дружеской ты свято верен был.

Если б ты молчал и другу не помог,
На тебя позор клеймом бы черным лег.

Завещало нам древнейшее перо:
„Зло за зло воздай, а за добро — добро“.

Муж достойный тот, кто мудрость предков
читит,

Кто постиг ее и начертал на щит:

„Если ты хоть раз поел в чужом доме,
Сорок дней потом ты кланяйся ему“.

Вот, что завещал тебе твой мудрый дед, —
Поступая так, пойдешь путем побед.

...

Братья, что в рабов превращены врагом,
Помним вас! Вы — в нашем кличе боевом.

Думая о вас, мы по ночам не спим,
Непрестанно днем о вас мы говорим.

В битву шлем за вас красавцев, удалцов,
Храбрых, словно львы, богатырей-бойцов.

Величавый строй, как тысяча орлов.
Смерть они несут на головы врагов.

Далека стезя, но для сердец близка,
Братья! Наш союз незыблем на века!

Дружбою дано бессмертие ему,
И не разорвать той дружбы никому!

...

Ненависть к врагу бушует, как пурга.
Наш повседневный труд — могила для врага.

То о вас, бойцах, слагают песнь бахши⁷,
Пастухи поют высоко, от души.

То для вас спешит рабочий на завод,
То для вас в полях колхозник плуг ведет.

Вас, герои, славим мы стихом своим,
Ваши имена у сердца мы храним!

...

Дело здесь еще мы начали одно.
Ясным из письма да будет вам оно:

Детки ваши вражьи не дались когтям,
Прибыли они благополучно к нам.

По-отечески мы, как своих родных,
Приласкали их, утерли слезы их.

Разобрали мы детей по одному,
Без печали пусть растут у нас в дому.

Мы клянемся вам, что сохраним детей!
Удалцов воспитаем, посадим на коней.

Сердце за детей пусть не болит у вас,
Мы беречь их будем, как зеницу глаз.

Все мы отдадим, что надобно для них.
Как весной толпа агняток молодых, —

Будто никогда беды не испытывал, —
В радостях они растут среди забав.

...

Братья! Наша дружба разгромит врага!
Наша дружба — смерть, погибель для врага.

Соколу у нас летать пора придет —
Крылья мы ему дадим, пошлем в поход.

В бой пойдет герой — коня ему дадим,
Не камчой его, а саблею снабдим.

На кушак навесим патронташ тугой.
На коня чепрак накинem дорогой.

Выкормим зерном, чтоб ржал он горячо.
Чтоб не мерз боец — овчину на плечо!

По стальным следам за всадниками вслед,
Бронепоезда помчатся в путь побед.

...

Вход пускай, герой, оружие в боях!
Вход пускай, чтоб землю грыз от страха враг!

Бей врага повсюду, где найдешь его,
Чтоб он проклял час рождения своего.

Бей врагов повсюду, выжидай до тла,
Пусть парша и гниль покроют их тела.

Пусть их жалят змеи, обсыпают вши,
Бей без передышки! До смерти души!

Тысячей себя считай, бросаая в бой,
Тысячу врагов побьет из вас любой!

С каждой срубленной тобою головой,
Становись храбрее, сильнее, мой герой,

Чтобы шла грозой, гремела бы вдали
Сказка о тебе от неба до земли!

На медведя ты ходил и тигров бил, —
Мощь в тебе медвежья и тигриный пыл.

Без боязни в бой бросайся, как Рустам⁸,
Реки хлынут — чашей поднеси к устам!

Как Фархад с Хосровом⁹, говорить умей,
Словно Алпамыш, врага нещадно бей.

Враг — свирепый зверь, ты — человек, ты —
свет!

Убивать зверье у нас запрета нет.

Бешеных врагов ты беспощадно бей,
Чтоб не перешла зараза на людей.

Больше их убей — потомок будет рад, —
Исцеленье миру — каждый твой снаряд.

...

Обезглавь дракона огненным мечом, —
И сокровища откроются кругом.

Выври мира ключ у дива¹⁰ из когтей!
Зеркалом волшебным счастья овладей!

Так гони к победе скакуна, герой!
На тебе — народа пояс золотой.

Будущее всей земли в руках твоих,
Слава и почет — на всех путях твоих.

Помни: этот бой, последний грозный бой.
Иступленный враг стоит перед тобой, —

Не убьешь, так будешь сам убит врагом,
Сына твоего он сделает рабом.

Так сровняй врага с землею, истреби!
Где ни повстречаешь — в клочья изруби!

Если ж головы лишишься ты в бою,
На века веков прославим смерть твою!

Оживешь поэмой, движущей сердца,
В океане строк без края и конца.

И покуда мир незыблемо стоит,
Во вселенной ты не будешь позабыт.

...

Слушай: Ленин шлет тебя на правый бой!
Узел бед разрубит лишь кровавый бой.

Ленинское знамя плещет над тобой,
Сталин — мудрый вождь и полководец твой.

За вождем идет железный строй полков,
Партия бессмертная большевиков,

Сталинская воля, как скала, крепка,
Мужество его — могучая река.
Глубже бездн морских — глубины дум его,
В мире нет меча острее, чем ум его.
Человечность, правда — тот чудесный меч,
Им решаешь ты исход жестоких сеч.
В сердце тем мечом врага ты порази,
Черной ночи грудь, как молния, пронзи!
Демона, как море лавы, поглотил.
Факелом до дна пучину осветил.
Помни каждый миг великий наш завет:
Истреблять врагов, смести с земли их след.
Скалами драконьи трупы заваляй,
Чтобы никогда им больше не жить!
Вырос ты в седле, знаком тебе полет.
С именем вождя вперед, герой, вперед!
На врага лети, как буйный суховей,
Пепел Гитлера ты по ветру развеи!
Нет, не по ветру, а прочь — в небытие!
Невредим вернись на родину к семье.
Счастье всей земли, герой, в руках твоих.
Миллионы взглядов на путях твоих.

Газыл Юлдаш

В БОЙ, ХРАБРЕЦЫ!

Во имя Ленина — богатыря,
Низвергнувшего навеки трон царя,
Во имя Сталина, страну свободы
Ведущего под стягом Октября,
За родину, чье имя нам святыня,
Где в светлый сад превращены пустыни,
За счастье, за свободу — в бой! Вперед!
Врагу не покорится наш народ!

Враги, как стаи яростных зверей,
Как миллионы ядовитых змей,
На нас напади, чтоб ярмо неволи
Надеть на наших братьев и детей.
За путь великий в радостные дали,
Что Ленин нам и Сталин указали,
За счастье, за свободу — в бой! Вперед!
Врагу не покорится наш народ!

Послушай наставленья старика:
Как прежде наша жизнь была тяжка,
Как беки нас и ханы угнетали!

На фашистов рушащие кыямат¹,
Армиями их свергающие в ад,
Сталинские соколы, живите сотни лет!
От всего народа, братья, вам привет!
Бьющим на лету врага орлам — привет!
Удальцам, бойцам, богатырям — привет!

Письмо изложили в стихах поэты
Гафур Гулям, Халид Алимджан и Чусты
Перевели с узбекского
Лев Пеньковский и Владимир Державин

Март 1942 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Алпамыш и Гор-Оглы — богатыри, герои народного узбекского эпоса.
- ² Т. е. все время хлопочи, ухаживай за гостем.
- ³ Дастар-дан — скатерть. В переносном значении — накрытый стол, угощение.
- ⁴ Алимджан — последний бухарский эмир.
- ⁵ Анвар — Эмир паша, главарь турецких интервентов.
- ⁶ Джунаид — главарь хорезмских басмачей.
- ⁷ Бахши — народные певцы.
- ⁸ Рустам — герой «Шах-Намэ» Фирдоуси. Богатырь.
- ⁹ Фархад и Хосров — герои поэмы Навои «Фархад и Ширин».
- ¹⁰ Див — злой дух восточной мифологии.
- ¹¹ Кыямат — светопреставление, страшный суд.

...

За нивы и сады родного края,
Где ты в отцовском доме рос, играл,
За честь свою, за счастье — в бой! Вперед!
Кто храбр — врагу не покорится тот!
Как жили деды! В рабстве и в нужде.
Брели веками от беды к беде.
Но Ленин им принес освобожденье!
Вставайте же, свободные сыны!
За Ленина и за его ученье,
За Сталина и за его ученье,
Во имя их забот — на бой! Вперед!
Врагу не покорится наш народ!
Как куша рос, цвела страна моя.
Ее могучий яркий цвет поля,
Науки вечный кладetz мы изрыли,
Ее заботливые сыновья.
За честные мозолистые руки,
За подвиги и труд мужей науки,
За знание, за культуру — в бой! Вперед!
Врагу не покорится наш народ!
Бесчисленные вороны на нас,
Как тучи налетели в черный час.
— Эй, соколы! Вперед на силу вражью!
Наш полководец отдал нам приказ.
И в нас огнем горят слова приказа!
Чтобы исчезла черная зараза,
Вставай, родной народ! На бой! Вперед!
Потомство льва главу змеи сотрет!
Не взять ли меч мне в руки, вместо саза,
Не взвиться ль с вами в боевой полет?
Кто, как орел, не рвется в бой
В строю орлов —
Тот подлый трус!

Хасан Пулат

Кто перед вражеской ордой
Вздвнеть готов —
Тот подлый трус!
Кто не рискует головой
В огне боев —
Тот подлый трус!
Кто беспощадною рукой
Не бьет врагов —
Тот подлый трус!
И кто не мстит за край родной,
За отчий кров —
Тот подлый трус!
Кто беспощадною рукой
Не бьет врагов —
Тот подлый трус!
И кто не мстит за край родной,
За отчий кров —
Тот подлый трус!
Лишь тот герой, чей гнев в боях
Бушует, как поток в горах.
Отважен будь и дрогнет враг.
Души его! втопчи во прах!
Кто не погонит вражий рой
С земли отцов —
Тот подлый трус!
Мужайся, силы укрепи
И выхрем —
В смертный бой!
Тесни в лесах, гони в степи
Врага перед собой!
А кто перед врагом бежал,
Тот проклят и презрен!
Кто кляты храбрых не сдержал,
Тот проклят и презрен!

Перевел с узбекского Владимир Державин

ВЕСНА

Приходи, дорогая —
дороже всех милых —
Весна,
Сладко благоухая,
бегущая в розовых жилах
Весна!
Отрази в набегающих каплях
твоих утренних рос,
На сверкающих саблях
И на лезвиях кос —
Дали,
Море огня,
где грохочут бои

И себя
И меня
И тюльпаны твои.
Подымись
всей громадой
твоих
грозовых
облаков,
Половодий прохладой,
Лавиной твоих лепестков,
Гулом горных ручьев
и обвалов!
Мы ударим с тобой

На убийц и воров,
К нам ворвавшихся в дом,
Чтоб согнать нас ярмом,
превратить нас в рабов.
Не бывать тому —
как не бывало!
Наша ясная твердь,
Наши степи
и горная высь,
Наше сердце,
любовь,
наше счастье и жизнь
Обрекли их на смерть
сызначала!
Я хочу —
чтоб трава молодая твоя
Как кинжалы
Пронзала подошвы врага!
Я хочу —
чтоб на злобные стаи зверья
Ты из туч — не дожди,
не снега,
Не росу —
А пылающий град
низвергала!
Я хочу —
чтобы каждая ветка в лесу,
Как пощечина,
Морду врага обжигала!
Я хочу —
Чтоб из завязей
груш и гранат
Бомбы вывели,
связки гранат,
Чтоб — победа
в садах выростала!
Я хочу —
чтобы в воздухе этом густом
Медь гремела
И сталь клокотала!
Так вставай же
в могучем
расчете своем!
Мы знаменами зори твои
разовьем!
Половodyми
полчища вражий
зальем!
Подымись, —
Наше время настало!
И холмами тюльпанов
засыпи тела
Тех, чья кровь
за народ
за свободу
Текла!

Я хочу,
чтобы шумные воды твои —
водопады, ручьи,
весь твой синий от влаги простор —
На привале любуя
Новой силой
Бойцов наливала!
Помогали б с любовью
Работе сестер:
К жизни
раненых наших бойцов возвращать,
Доброй лаской
страдания их облегчать.
Так вставай!
Огневые крыла разверни
Поле грозного боя собой осени!
По лесам,
где вчера
грохотали бои,
Пусть поют
голосистые птицы твои
Свою звонкую
Песню победы!
Пусть — холодная темень
И сырость и дрожь, —
Ты, Весна,
в нашем сердце
бессмертно цветешь,
И с тобой мы сломаем все беды!
Кто из боя
последнего
выйдет живой,
У костра,
На поляне с измятой травой,
В круг друзей
Победителем сядет, —
Пусть твой лес
Молодую веселой листвою
Тихо машет
Над потной его головой,
Пусть твой ветер
Лицо его гладит!..
Так идем же,
красавица,
радость,
Весна,
В бой —
с проклятою силой нечистой!
Нам — победу и жизнь
предсказала страна,
И — позорную гибель —
фашисту.

Перевел с узбекского Владимир Державин

Чусти

ЗВЕЗДА ШАХИМАРДАНА

Над крутизной горы Шахмардана звезда
взошла,
И как огонь горящего хирмана¹, она была.
Как всадник, выпрыгнувший из вулкана на
твердь села,
Она вздымалась на скале! Багряна клубилась
мгла.
И от камчи² ее — кривая рана скалу прожгла.
Казалось, это сам воитель неба, седой Бахрам³,
Сам бог войны заносит ногу в стремя, грозя
врагам.
И рубит тучи меч его, покорный стальным
рукам,
И будит горы клнч его, подобный родным
громам.
Звезда войны в горах Шахмардана в ту ночь
взошла.
— Народы звезд! — так обращался к людям
Бахрам седой. —
Поток кровавый опалил нам ноги своей волной,
Народ беды идет на наши земли, грозя бедой.

¹ Хирман — стог сена или хлопка.
² Камча — плеть.
³ Бахрам — название звезды (Марс) и одновременно
имя известного героя богатырского эпоса.

Коней седлайте! Меч точите бранный! На бой!
За мной!
На бой, джигиты гор Шахмардана! — Звезда
звала.
Покуда враг не сжег тебя — пожаром сожги
врага!
Покуда враг не смял тебя — авралом сомни
врага!
Души, дави, топчи копытом ярым! Громи врага!
С плеч отруби стремительным ударом башку
врага,
Иначе свет в горах Шахмардана закроет мгла.
И над горами, бешеным карьером скалу гоня,
Казалось мне — Хамза⁴ джигитом первым сед
на коня,
Казалось, он зовет своим примером, зовет меня,
Зовет на бой! И в гневе непомерном клинком
звения,
Чусти идет из гор Шахмардана на зов орла!

Перевела с узбекского Светлана Солова

⁴ Хамза — первый советский поэт Узбекистана,
долго живший и похороненный в Шахмардане.

Иосиф Уткин

КЛЯТВА

Клянусь: назад ни шагу!
Скорей я мертвый сам
На эту землю лягу,
Чем эту землю сдам!

Клянусь, мы будем квиты
С врагом... Даю обет,
Что кровью будут смыты
Следы его побед!

А если я нарушу
Ту клятву, что даю,
А если вдруг я струшу
Перед врагом, в бою, —

Суровой мерой мерьте
Позор моей вины:
Пусть покарает смертью
Меня закон войны!

РАССКАЗЫ ИВАНА СУДАРЕВА

НОЧЬЮ, В СЕНЯХ, НА СЕНЕ

Русский человек любит высказаться, — причину этого объяснить не берусь. Иной шуршит, шуршит сеном у тебя под боком, вздыхает, как по маме родной, не дает тебе завести глаз, да и пошел мягким голосом колобродить про свое отношение к жизни и смерти, покуда ты окончательно не заснешь. А бываю и такие, — за веселым разговором вдруг уставится на рюмку, да еще кашляет, будто у него душа к горлу подступила, и ни к селу, ни к городу — лачинает освобождать себя от мыслей...

А мыслей за эту войну накопилось больше, чем полагается человеку для естественного существования. То, что наши деды и отцы не додумали, — приходится додумывать нам в самый короткий срок, иной раз — между двумя фугасками... И делать немедленный вывод при помощи оружия... Непонятно говорю?

Дед мой был крепостным у графа Воронцова. Отец крестьянствовал ни шатко, ни валко, жил — беспечно, как трава растет. Что добудет — прогуляет, зазовет гостей, и ему ничего не жалко, к рождеству все подчистит: ни соломинки на погребине, ни курей, ни уток. А он — знай — смеется: «Веселому и могила — пухом, чай, живем один раз...» Ох, любил я папашку!.. Советская власть потребовала от него серьезного отношения к жизни, — папашка мой обиделся, не захотел идти в колхоз, начались между ним и советской властью трения, продал он корову, заколотил избу и вместе с мачехой моей уехал на Дальний Восток... А мне, его сыну, уже пришлось решать государственную задачу и решать — не кое как, а так, чтобы немец меня испугался, чтобы немцу скучно стало на нашей русской земле... Он стою в бою, я — стойче его, я его слышу, а не он меня... Он, как бык, прет за пищей. Ему разрешено детей убивать. Он — похлебник. Я же руку наму, погуляв клинком по немецким шеем, как было в феврале, и этой же рукой пишу стихи...

Давеча вы правильно заметили, что я пишу стихи. Печатались во фронтовой газете... У тебя, Сударев, — это личные слова редактора, — тематическое и боевое крепко выходит, а лирику надо бросить... «А и верно — ну ее в болото. Завел я тетрадь для таких стихов, но в походе пропала вместе с конем Беллерофонтом, — такой у меня был конь... До сих пор жалко этого коня... В марте ранило меня

в обе ноги без повреждения кости, думаю — лягу в госпиталь, кто напоит — накормит коня? Доказал врачу, что могу остаться при эскадроне, и в самом деле, легко поправился... А он, Беллерофонт, понимает — животное — чего мне стоит в лютый мороз с простреленными ногами от колодца к конюшне с ведерком ковылять — в лицо мне дышал и губой трогал... Стихов не записываю, лирику ношу в груди.

Не так давно видел в одном частном доме картину средней величины. Ничего в ней не было особенного, кроме одного: представляется — лесок, реченка, самая что ни на есть тихая, русская, и по берегу бежит тропинка в березовую рощу. Вглянул я и все понял, — ах, сколько жил и не мог словами выразить этого!.. А художник написал тропинку, и я чувствую на ней следочки, тянет она меня, умру я за нее, это — моя родина... Опять непонятно говорю?

Представляется: в деревне на завалянке сидит старушка худая, древняя, лицо подернуто могиальной землей, один глаза живые. Я сел рядом. День апрельский, солнышко, а еще снег кое-где, и ручьи...

— Ну, бабушка, — спрашиваю, — кто же победит?

— Наши, красные, победят, русские. — Ай да патриотка, — говорю, — почему же ты, все-таки, так уверенно думаешь?

Долго бабушка не отвечала, руки положила на клюшку, глаза, как черная ночь, уставила перед собой. Я уж уходить собрался.

— Давеча петухи шибко дрались, — ответила, — чужой-то нашего оседала и долбит, крыльями бьет, да слез с него, да закукуречет... А наш-то вскочил и давай опять биться, давай того трепать и загнал его — куда и хозяйка не найдет.

Да, верит наш народ в победу, по стишкам гадает... Эта бабушка — была молодой — бегала по тропинке над речкой, березу заламывала, шум лесной слушала... Теперь сидит на завалянке, путь ее кончен, впереди — земля разрытая, но хочет она, чтобы ее вечный покой был в родной земле.

Вам, вижу, спать тоже не хочется. Как только зенитки кончат стрелять, мы заснем. А пока расскажу несколько правдивых историй. Пришлось видеть немало, — из каких только речек мой конь воду не пил и по эту и по ту сторону фронта... Подойдут рассказы — печатайте, сам-то я за славой не гонюсь...

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Вот они!.. Поползли гуськом — один, другой, третий, с белым кругом, как кошачий глаз, с черным крестом... Прасковья Савишна перекрестилась, стоя за спиной Петра Филипповича. Как только загромыкали танки, он подскочил на лавку к окошку, прилип к стеклу, но, когда она перекрестилась, живо обернулся, усмехнулся редкими зубами в жесткую бородку. За танками прошли по грязной сельской улице огромные грузовики, набитые ровно сидящими солдатами. Из-под глубоких шлемов — в сером влажном свете — немецкие лица глядели пустыми глазами, — тоже — серые, мертвенные, брюзгливые.

Шум проходящей колонны затих. И снова стали доноситься очень далекие, громовые раскаты. Петр Филиппович отвалился от окна. У него смеялись все морщины у глаз, сами глаза, чуть видные за прищуренными веками, поблескивали непонятно. Прасковья Савишна сказала:

— Господи, страх-то какой!.. Ну, что ж, Петр Филиппович, может, теперь людьми будем?

Он не ответил. Сидел, стучал ногтями по столу, — небольшой, рыжий, с широкими ноздрями, пашивый. Прасковья Савишна хотелось заговорить с ним, но рот у нее был запечатан робостью. Всю жизнь боялась мужа, с того дня, как ее, в четырнадцатом году, взяли из бедной семьи в богатую, старообрядческую. С годами, как будто, и обошлось. Этой весной, когда Петр Филиппович вернулся, отбыв десятилетний срок наказания, она опять начала его бояться, и теперь ей было это очень обидно: для чего такой страх? Он не бьет ее и не ругает, но — как ни повернись, — на все у него — усмешка, все у него — усмешка, все у него какие-то загадки. Прежде в доме не знали, как и книги читают, теперь он приносил из сельской библиотеки газеты и жег керосин, читал книги. Для этого привез очки с севера.

Прасковья Савишна, ничего не высказав, стала собирать обедать, накрошила капусты, луку, овощей, налила в чашку жидкого квасу и сердито кликнула детей. Обедали с заплес-невелыми сухарями, — зерно, мука, копченая гусятина и свинина — все было припрятано на всякий случай от немецких глаз. Петр Филиппович, как обычно, раньше чем взять ложку, вытянул немного руки из рукавов, согнул их в локте и пригладил волосы

ладонями, — это была у него отцовская привычка. Когда он выкинул руки, Прасковья Савишна вдруг сказала с женской непоседливостью:

— Вывеску сельсовета-то содрали, должны теперь нам вернуть дом.

Положил ложку и подтирая фартуком слезы, она без передышки засыпала словами, — излилась в длинной, сто раз слышанной, жалобе. Петр Филиппович и дети, — мальчик, такой же рыжий, как отец, и двенадцатилетняя дочь, с молочно-белым, угрюмым лицом, молча продолжали хлебать крошанку. Наконец, Прасковья Савишна выговорила то новое, что томило ее:

— В селе Благовещенском уголовного одного, — это все говорят, — бургомистром назначили, дали ему дом на кирпичном этаже и лошадей... А у тебя, слава богу, заслуги-то выстраданные...

— А и дура же ты, Прасковья Савишна, всемирная, — только и ответил на это Петр Филиппович так убежденно, что она оборвала и затихла.

На другой день пришли грузовики с немцами уже не в шлемах, а в пилотках. Офицеры заняли хороший, под железной крышей, отцовский дом Петра Филипповича, что стоял через улицу, наискосок от избушки, в которой он жил сейчас, солдаты разместились по избам. Еще за несколько дней до этого, почти вся молодежь, — девушки и пареньки — подростки, — скрылись из села: кто-то их сманил. Немцам это очень не понравилось. На дверях комендатуры и у колодца они наклеили объявление, — на двух языках, на хорошей бумаге, — правила поведения для русских, с одним наказанием — смертной казнью. Потом начались повальные обыски. Перепуганная Прасковья Савишна рассказала, что есть у них один солдат — специалист по отысканию спрятанных поросят: тихонько зайдет на двор и начинает похрюкивать, и — не отличишь, хрюкнет и слушает. Действительно — на нескольких дворах ему откликнулись поросята, а уж так-то хорошо были спрятаны на чердаке... Уж так-то эти бабы потом плакали.

Немцы отбирали все, обчищали избы догола. Прасковья Савишна изныла, таская по ночам носильные вещи из сундука в подполье, оттуда — в зоу, в подпечье, или еще куда-нибудь. Наконец, Петр Филиппович закричал на нее, затопал ногами: «Сиди ты спокойно, или уйди,

умри где-нибудь, сгинь!.. Дом их был, будто под запретом, его обходили мимо. Наконец, явились, двое с винтовками. Петр Филиппович навалился на глаза каракулевый, еще отцовский, картуз и спокойно пошел между солдатами. У крыльца комендатуры он остановился и посмотрел, как длинный, в очках, вполне интеллигентного вида немец, подтащив к себе круглолицую девочку лет четырнадцати, обшаривал ее и щупал; она испуганно подставляла локти, шептала: „Не надо, дяденька, не надо“. Он притиснул ее между колен и большими красными руками сжал ей грудь. Она заплакала. Он толкнул ее в затылок, — она споткнулась, пошла, он поправил очки и взглянул на Петра Филипповича, — не в лицо, не в глаза, а выше. „Это и есть Петр Горшков?“ — спросил он, несколько задыхаясь.

Вслед за длинным немцем Петр Филиппович вошел в дом, где он родился, вырос, женился, похоронил отца, мать, троих детей; дом этот всю жизнь висел на нем, как лихо одноглазое на мужике, вцепившись в горб. Стены были свежо побелены, полы вымыты; в комнате — в три окна — пахло сигарами, — здесь в прежние времена по большим праздникам семья Горшковых садилась за стол. Второй немец, осторожно положив перо, взглянул на вошедшего Петра Филипповича, выше головы и сказал по-русски:

— Снять картуз и сесть на стул у двери. Этот немец был хорошенький, с темными усиками, с блестящим пробором; на черных петлицах — серебряные молнии (которые на древнем, руническом, алфавите обозначали буквы „с“ и „с“, а также главные атрибуты германского бога войны — Тора).

— Ваша биография нам известна, — заговорил он после продолжительного молчания, — вы были врагом советской власти, таким, надеюсь, продолжаете оставаться. (Петр Филиппович, с картузом на коленях, выставив бородачу, глядел на господина офицера блестящими точками сквозь морщинистые щелки). Что мы хотим от вас? Мы хотим от вас: полного осведомления о населении и особенно о связи с партизанами; заставления населения работать; русские не умеют работать; мы, немцы, этого не любим. — человек должен работать от утра и до ночи, всю жизнь, иначе его ждет смерть; на моей родине, у моего отца, есть маленькая мельница, на ней работает собака, — она день и ночь бегает в мельничном колесе; собака умное животное, она хочет жить, — этого я не могу сказать про русских... Итак, вы будете назначены бургомистром села Медведовки.

В понедельник вы будете присутствовать при казни двух партизан. После этого вы вступите в свои обязанности...

Петр Филиппович вернулся домой. Жена кинулась к нему:

— Ну, что сказали-то тебе? Отдадут нам дом?

— Как же, как же, — ответил Петр Филиппович, устало садясь на лавку и разматывая шарф.

— Что еще сказали-то тебе?

— Велели, чтобы ты мне баню истопила. Прасковья Савишна осеклась, поджала губы, таращась на мужа. Но переспросить побоялась... „А хотя и верно — сегодня ведь суббота, немцы порядок любят“... Надела сапоги и пошла топить баню на берегу реченки.

Петр Филиппович хорошо попарился, напился чайку и лег спать. А еще до света его уже не было дома.

Партизаны, о которых так беспокоился хорошенький немец с молниями на воротнике, имели штаб — не так далеко от села Медведовки, если считать по прямой, но попасть туда было очень трудно: дорожки и едва заметные тропинки, известные только местным людям, вели через густые заросли ельника, ольхи и другой лесной путаницы к болоту; посреди его на твердом острове помещался штаб; все подходы к нему охранялись секретами; немцы не рисковали сунуть и носу в этот лес. Зайди туда чужой человек — услышал бы он, как вдруг, где-то рядом, застучал дятел, ему далеко откликнулась кукушка, и пошли по всему лесу странные звуки, — постукивание и посвисты, воронье карканье, собачье потягивание... Жутко бы стало чужому человеку...

Сегодня в безветрии моросил мелкий дождик. В штабе партизан значительных операций не предвиделось. Небольшие группы — в три, четыре человека — ушли, как обычно, одни в разведку, другие — ставить мины на большаке. Особая группа еще с темна поджидала прохода воинского поезда. Там, по обочине железнодорожного полотна, залитого извещью, чтобы обнаруживать следы партизан, оттопыривали каждый свои два километра немецкие часовые, угрюмо и опасно поглядывая по сторонам. В десяти шагах от них, в болотце, в осике, под заломанными ветвями лежала наблюдательница — девушка, вооруженная карабином и двумя черными гранатами, величистой с гусиное яйцо; подальше, за вывороченным корневищем, сидел мальчик, — ему пришлось видеть, как всю семью, — мать, бабуш-

ку, сестренку, — серо-зеленые солдаты в шлемах затолкали в сарай с сеновалом, и ночью сарай запылал, и среди криков слышался голос матери... Лидо у мальчика было желтое, в старческих морщинах, он тоже не спускал глаз с немца, шагающего по полотну в глубоком надвинутом шлеме.

Когда один из часовых прошел то место, которое было помечено партизанами, за его спиной проворный паренек, в туго подпоясанной стеганной куртке, одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат, и тотчас другой паренек, так же бесшумно, кинулся из кустов и быстрыми движениями начал подкладывать под рельс сложный и страшный снаряд.

Грохоча по лесу, показался поезд, видный весь на завороте пути; попытывающие белые клубы дыма стали к земле, путаясь между высокими пнями и редкими тощими березками. Огромный, приподнятый над колесами, жарко дышащий паровоз приближался, — часовые сошли с полотна, показывая, что путь свободен. Перед паровозом раздался резкий взрыв, взлетел песчаный смерч, кусок рельсы, свиста осколками, отскочил в сторону, паровоз всей бурно несущейся тяжестью врезался в шпалы, сзади на его занесенный зад с треском начали громоздиться вагоны, двигаться один в другой, поворачиваться и тяжело опрокидываться под откос. Из них с воплями посыпались серо-зеленые человечки...

Кроме таких дел, у партизан было много и другой работы в это утро. Начальник штаба, Евтюхов, тихо беседовал с гостем, начальником конной разведки, Иваном Сударевым. Сидя около замаскированной землянки, на свальной сосне, под моросившим дождиком, они пили из консервных жестянок трофейное французское шампанское, воспоее еще Пушкиным. В такую сырость у обоих нyla старые раны. Евтюхов рассказывал о разных трудностях и неполадках, связанных с тем, что у него нехватает сведений о готовящихся операциях врага, о том, что происходит в немецких тылах. „Нужен глубокий разведчик, где его найти? Вот мое горе“.

— Твое горе основательное, — рассудительно сказал Иван Сударев и вылезнул из жестянки остатки слабого напитка. — Без глубокой разведки даже отважный дерется с завязанными глазами, а это есть абсурд.

Во время этого разговора заколебался седой от дождя ельник, осыпаясь каплями, и появились две девушки в потемневших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юб-

ках, в больших сапогах. Держа в руках винтовки с прижатыми штыками, они вели Петра Филипповича Горшкова. Глаза у него были завязаны ситцевым платком, он шел, протянув перед собой руки. Девушки, перебивая одна другую и оправдываясь, рассказывали, что этот человек взят ими в трех километрах отсюда, и непонятно, как он пробрался через секретры.

— Это жирный карась, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — В Медведовке я у него раз ночевал, умен и хитер, интересно, что он скажет.

Петру Филипповичу развязали глаза, девушки, перекинув за спину винтовки, с неохотой отошли от него. Петр Филиппович поднял голову, глядя на затуманенные вершины леса, вздохнул:

— К вам, собственно, я и шел, дело у меня к вам...

— Любопытно, какое у вас ко мне может быть дело? — ответил начальник штаба, пристально и холодно глядя на него. — Немцы, что ли, обижают?

— Наоборот, немцы меня не обижают... Я же десять лет отбывал наказание за вредительство.

— Вам известно, Горшков, что — вот вы, „не званный“, — пробрался сюда, но обратно вам будет трудно вернуться?

— Как же, известно... Я и шел на смерть... Начальник штаба переглянулся с Иваном Сударевым и подвинулся на бревно:

— Да вы садьте, Горшков, будет удобнее разговаривать. Зачем же вы избрали такой сложный способ для самоубийства?

Петр Филиппович сел на бревнышке, сложил руки под животом...

— Принял, принял в расчет, что вы мне не поверите... Податься было некуда, — вчера вызвали меня и, видишь, предложили должность бургомистра... У немчиков — круговая порука, вот и меня решили связать преступлением: в понедельник должен быть при казни двух ваших партизан...

Евтюхов не усидел на бревне... — Фу ты, чорт, — у него даже брови перекосило, когда, став перед Петром Филипповичем, он сверлил глазами его непроницаемые щелки.

— Сядь, это всегда успеешь, — сказал ему Иван Сударев. — Продолжайте, Горшков. Мы вас слушаем.

— Наперед вот что хочу вам сказать: действительно я был вредителем и осужден правильно. Ни в какой организации не состоял, это мне пришили, но — был яол и все... Не

верил, что мои дети будут жить хорошо, в достатке, в довольстве... Что я, старик, умру со светлым сердцем, простив людям, как полагается... Что похоронят меня с честью на русской земле... Не было у меня прощения... Ну, там, связался с одним агрономом. Дал он мне порошки... Подумал, подумал, — коровы, кормилицы, лошади — чем же они виноваты? Эти порошки я выбросил, этого греха на мне нет. Агроном то, все-таки, попался и на допросе меня оговорил... А я молчал со зла: — ладно, ссылайте...

— Странная история, — все еще не успокоившись, сказал начальник штаба.

— Чем же она странная? Русский человек — не простой человек, русский человек — хитро задуманный человек. Десять лет я проработал в лагерях, мало, что ли, передумано? Так: страдаешь ты, Петр Горшков... Ах, извините, прибавлю только насчет дома нашего, отцовского, под железной крышей, — беспокоится о нем Прасковья Савишна, но не я, это у меня давно отмерло... За какую правду ты страдаешь? В городе Пустозерске, что неподалеку от нашего лагеря, при царе Алексее Михайловиче сидел в яме протопол Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать; с отрезанным языком, сидя в яме, писал послания русскому народу, моля его жить по правде и сгорять за правду, даже и до смерти... Творения Аввакума прочел, — тогда была одна правда, сегодня — другая, но — правда... А правда есть — русская земля...

— Он убедительно говорит, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — Продолжайте, Горшков, давайте короче к делу.

— Торопиться не будем, подойдем и к делу. Немчик, офицер, вчера рассказывал про свою собаку, что умное и полезное животное, чего, говорит, нельзя сказать про русских. Смеются над нами немцы-то... А?.. — Петр Филиппович неожиданно разжал морщины и бесцельными, круглыми, тяжелыми глазами взглянул на слушателей. — Смеются они над русским народом: вон, мол, идет неумытый, нечесаный, дурак дураком, — бей его до смерти!.. Вчера другой офицерик на улице, при всем народе, шептал начал девочку, Киселеву Анютку, хорошую такую, милую девочку, задрал ей юбку, задыхается сам... Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась? Власть советская вооружила народ и повела в бой, чтоб перестал смеяться над нами проклятый немец!.. Становое дело вы делаете, товарищи, спасибо вам... Советская власть — наша, русская, мужицкая... Свой личный счет я давно закрыл и забыл...

Петр Филиппович облокотился, прикрыв ладонью лоб под козырьком каракулевого картуза:

— Теперь — решайте... Ведите меня в лес, расстреливайте... Я готов, только, ей богу, будет обидно... Или верьте мне. Предлагаю: давать о них все сведения, я все буду знать, в штаб армии к ним проберусь, — хитрости у меня хватит. Работать буду смело. Я смерти не боюсь, пыток не испугаюсь.

Иван Сударев и начальник штаба, Евтюхов, спустились в землянку и там несколько поспорили. С одной стороны трудно было поверить такому человеку, с другой — глупо не воспользоваться его предложением. Вылезли из землянки, и Евтюхов сурово сказал Петру Филипповичу, все так же сидевшему на бревнышке: — Решили вам поверить. Обманете, под землей найдем...

Петр Филиппович просветлел, встал, снял картуз, поклонился:

— Это счастье. Большое счастье для меня. Сведения буду посылать — куда укажете — через мою девочку... Сынишка-то в мать пошел, слабый, а дочка, Анна, в меня, — ребенок злой, скрытный...

Петру Филипповичу завязали глаза, и те же девушки увели его. В понедельник, такой же сырой и мутный, немецкие солдаты с утра стали выгонять жителей на улицу, крича им непонятное и тыча в сторону сельсовета. Там, на небольшой площади, где еще недавно был паисадник со статуей Ленина, снятой и разбитой немцами, стояла гимнастика, — два высоких столба с перекладиной. Теперь на ней висели две тонкие веревки с петлями.

Весь народ уже узнал, что будут вешать комсомольца Алексея Свиридова, — его немцы подстрелили неподалеку от села, в орешнике, и Клавдию Ушкову, учительницу медведовской начальной школы; ее также взяли в орешнике, когда она пыталась унести на себе Алексея Свиридова.

Солдаты, замахивая подбородками и покрывая, как на скотину, которую гонят по пыльному шоссе в город на бойню, теснили народ ближе к гимнастике. Дождь струился по их стальным шлемам, по морщинистым женским лицам, по детским щекам. Грязь чавкала под ногами. Только и было слышно, как кто нибудь слабо и болезненно вскрикивал, уколотый штыком.

Показался грузовик. В нем стояла учительница, простоволосая, бледная, как покойница, черное пальто растегнутое, руки связаны за спиной. У ног ее сидел полуживой Свиридов.

Был он убедительный и горячий паренек, на сесте его любил, — ничего от него не осталось, замучили, — сидел, как мешок. Позади грузовика шагали оба офицера, — длинный в очках, с фотографическим аппаратом и — хорошенький. Оба солидно посмеивались, поглядывая на русских.

Грузовик подъехал, повернулся и задом двинулся под гимнастику. На него вскочили двое солдат. Тогда Клавдия Ушкова, раскрыв глаза, будто от непостижимого изумления, крикнула низким голосом:

— Товарищи, я умираю, уничтожайте немцев, кланитесь мне...

Солдат сразмаха ладонью закрыл ей рот и сейчас же, торопливо и неловко, начал надевать петлю через затылок на ее тонкую детскую шею. Сидящий Алексей Свиридов закричал раздирающим хрипом:

— Товарищи, убивайте немцев! — другой солдат ударил его по голове, и тоже начал натаскивать петлю.

В толпе все громко плакали. Грузовик резко дернул. Ноги Клавдии Ушковой поползли, тело ее наклонилось, точно падая, и выпрямилось свободно, — она первая повисла на тонкой веревке, наклонив к плечу простоволосую голову, закрыв глаза.

На месте отъехавшего грузовика стоял Петр Филиппович, бургомистр. Весь народ с ужасом увидел, как он снял картуз и перекрестился.

Начальник штаба несколько дней после казни дождался горшковой девочки в условленном месте, — в сумерках, в овраге, в густом дубняке. Пришел сам Горшков. Начальник штаба весь трясся, глядя на него. Он же — присев на корточки, тихим голосом начал подробно рассказывать, как происходила казнь.

— Народ так это и понял, что ушли от нас великомученики, святые... Наказ их предсмертный у всех в ушах... Что же касается сведений, то будут они такие...

И он стал сообщать столь важные сведения, о которых начальник штаба мечтать не мог, он долго глядел широко разинутыми глазами на Горшкова:

— Ну, если ты врешь...

Петр Филиппович не ответил, только развел ладошками, усмехнувшись; из картуза вынул план, где крестиками были помечены немецкие склады бензина и боеприпасов.

— Ну, это ты оставь, — планы чертить, — сказал ему Евтюхов, пряча бумажку в кармашек, — запрещаю тебе сторожить, должен все держать в памяти... Никаких документов. И

больше сам сюда не приходи, посылай девочку...

Сведения Горшкова оказались точные. Один за другим немецкие склады взлетали на воздух. Угрюмая, белолицая девочка Анна прокрадывалась почти каждый вечер в овраг и передавала и важное и маловажное. Однажды она сказала, как всегда, бубнящим, равнодушным голосом:

— Панаща велел сказать: получены новые автоматы, ключи у него теперь, — вам первым он отпустит автоматы, приходите завтра ночью; только наказывал: в часовых никак не стрелять, а резать их беспрерывно...

Петр Филиппович работал смело и дерзко. Он, будто, измечался над немцами, доказывал им, что, действительно, русский человек — хитро задуманный человек, и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться с трезвым, вдохновенным, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом.

Оба офицера были уверены, что нашли преданного им как собака хозяину, смывленного человека. Жили они в постоянном страхе: под носом у них горели военные склады, происходили крушения поездов и таких, именно, в которых везли солдат, или особо важные грузы; им в голову не могло прийти, например, что в доброй половине полученных из Варшавы ящиков с оружием автоматов пистолетов уже не было и со склада из Медведовки на фронт отсылались тщательно закупоренные ящики с песком. Офицер, с молниями бога Тора на воротнике, не мог догадаться, что странное нападение в одну из непроглядных ночей на его дом имело целью похитить на несколько часов его полевую сумку с чрезвычайно важными пометками на карте. Сам он отдался испугом: когда среди ночи зазвенело разбитое окно, что-то упало на пол и рвануло так, — не лежи он в это время на низкой койке — случилось бы непоправимое. В белье он выскочил на улицу. По селу шла трескотня — солдаты выбегали из изб, кричали: «партизаны!» и стреляли в темноту. У крыльца лежали двое зарезанных часовых. Он только на утро хватился сумки, но ее вскорости принес, вместе с чемоданом и запачканным мундиром, Петр Филиппович, — он нашел эти вещи здесь же на огороде, очевидно партизаны бросили их, убежав.

Немцам дорого обошлось бурмистерство Петра Филипповича. Все же он попался, — на мелочи, вернее от высокомерной злобы своей к немчикам. Он похитил печать и бланк, взвел со склада немецкую пишущую машинку и по-

ехал в село Старую Буду, где партизаны отряд Василия Васильевича Козубского. Директор школы написал ему по-немецки пропуск в город, в штаб армии. Но Василий Васильевич, хотя и хорошо знал по-немецки, сделал ошибку в падеже. Это и погубило Горшкова. Его задержали и вместе с поддельным пропуском вернули в Медведовку. Оба офицера, длинный и хорошенький, не хотели верить такому непостижимому русскому коварству, но потом пришли в ярость: им все теперь стало понятно...

Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила их из сел и деревень. Медведовка была занята, первыми туда ворвались партизаны. На улице к Евтюхову подошла Анна, — волосы у девочки были, как колтун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечье, пыльное, платишко изодрано на коленях:

— Вы папашку моего ищите?

— Да, да, что такое с ним?

— Нашу избу сожгли немцы, маму, брата убили. Папашку моего четыре дня пытали, он еще сейчас живой висит. Идемте.

Анна, как сонная, пошла впереди Евтюхова к прежнему горшковскому дому под железной крышей. Обернувшись, с трудом приоткрыла зубы:

— Вы не думайте, папашка мой ничего им не сказал...

В коровьем сарае под перекладной висел Горшков, в одних подштаниках, с синими опущенными ступнями: искривленное туловище его было все исполосовано, руки скручены за спиной, ребра выпячены, с правой стороны в грудь был сунут крюк, он висел под перекладной, повешенный за ребро.

Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филиппович, видимо, уже не в себе, проговорил:

— Ничего... Мы люди русские...

...

Михаил Голодный

НЕНАВИСТЬ

Ненависть, тебя пою,
И тебе слагаю оду.
Кто не знал тебя в бою,
Тот не знал любви к народу.

Если сыщется такой,
Кто не мясо и не рыба —
Пни, как пса, его ногой,
Скажем все тебе спасибо.

Я под знаменем вождя
Жду тебя во имя чести.
Словно в засуху дождя,
Край любимый жаждет мести!

Словно засухе — гроза
Снишься ты полям и рощам.
Потерявшие глаза
Ищут путь к тебе наощупь.

Ненависть, пришел твой срок!
Ты — судья земле и небу.

...

Ты сожми в руке клинок,
Стань со мной и крови требуй!

Наноси удар! Рази!
Молнией мелькай летучей,
Чтоб у ног твоих в грязи
Враг стонал от боли жгучей!

Смейся, слыша хриплый стон,
И не верь — мне стона мало!
Вырывай из глотки вой
Окровавленное жало!

Пусть скользит в крови нога,
Пусть заносит снегом тело,
Бей, чтоб ведьма — мать врага
Дважды за ночь сиротела!

Ну, а если упаду
Вниз лицом в траву густую,
У народа на виду
Я клинок твой поцелую...

Уйғур

СНЕГ

Снег повалил, бушует буря —
С яростью северных завирух.
Будто все лебеди мира, слетаясь,
Бело серебряный сыплют пух.

Снег — затвердевший в холоде сфер,
Синего моря жидкий сапфир.
Снег — это жемчуг седых облаков,
Пандырь, которым блещет Памир.

Снег — это, может быть, — сладкий сок
Дни душистой, что капал с губ.
Может быть, снег — разлики слеза,
Если ты милой девушке люб.

Снег — арычок, что в колхозном саду
Слух твой журчаньем не раз пленял.
Снег — на алой розе — росой
Глаз твой, как яркий алмаз, пленял.

Может быть, в зелени свежих трав
Россыпью солнц мельчайших он был.
Может быть, в море белых цветов
Вздохом мечтаний сладчайших он был...

Чем он бывал, чем он станет — снег, —
Я — не проф ссор, людей не учу.
Но, чтоб фашистам саваном стал
Нынешний снег, — я очень хочу.

Перевел с узбекского Лая Пеньковский

...

Ра'но Узакова

ПОДРУГА

Кто верности глашатаями нас
Наименует —
если в грозный час
Опасности всеобщей
мы с тобой,
Подруга юная, не выйдем в бой?
Преследуй всюду, настигай врага,
Как львица, в битве растерзай врага!

...

Свободу нашу
не задушит враг!
Страну зари
не погрузит во мрак!
На помощь храбрым, льющим кровь в боях!
На бой, подруга!
Чужд нам подлый страх!
Преследуй всюду, настигай врага,
Как львица, в битве растерзай врага!

Враг с неба прилетит —
Ударь огнем!
Поднимется с земли —
Дави конем,

Чтобы не мог
ни ночью он ни днем
Ни отдохнуть, ни позабыться сном.
Преследуй всюду, настигай врага,
Как львица, в битве растерзай врага!

...

Есть утро у ночей
У зим — весна.
Долина роз —
Советская страна —
От гадин будет освобождена.
Победа храбрых ждет,
Близка она!
Гони, подруга, настигай врага,
Как львица, в битве растерзай врага!

Перевел с узбекского Владимир Державин

...

МЕСТЬ

(Из речи на антифашистском митинге женщин
Узбекистана)

Из садов Самарканда спешила я к вам,
Чтоб поведать о славе, о чести вам.

Есть пословица: „Кто не страдал никогда,
Тот возлюбленной не обладал никогда“.

Мы возлюбленную себе обрели,
Мы в страданиях ее, в борьбе обрели:

Это — родня наша, наша страна,
Что довольства и счастья была полна.

Но на нашу любимую вдруг напал
Этот Гитлер — бешеный этот шакал.

Он терзает ее, он ее грызет,
Не щадит ни святынь ее, ни красот;

Старикам он головы рубит, злодей,
Он об стены дробит черепа детей;

Жжет и режет и зарывает живьем —
Зверь, пощады на знающий в зверстве своем...

Но раздался призыв благородный: „Месть!
В бой за нашу свободу, за счастье, за честь!“

И вскипел в нашем славном народе гнев,
Грозный, словно река в половодье — гнев.

Он разлился и вышел из берегов,
Смертной ненавистью захлестнув врагов.

За столицы и села сожженные — мечь!
За сады, в пустыри превращенные — мечь!

За девичьи мечты оскверненные — мечь!
И за вас, живьем погребенные, — мечь!

За страдания матери жгучие — мечь!
За сиротские слезы горючие — мечь!

За героев, которых замучили, — мечь!
За кровавые реки текущие — мечь!

Кровь за кровь, смерть за смерть, огонь за
огонь!
Мчись без устали, мщенья бесстрашный
конь!

Перевел с узбекского Лев Пеньковский

...

Якуб Колас

ПЕСНЯ ПИЛОТА

(Посвящается бойцам-узбекам)

В лазурную высь улетает орел,
И клекот его в поднебесье ушел.

Я выше орла поднимусь в простор,
И громче орла запоет мой мотор.

Вершины средь туч, как алмазы, горят.
Им первым лицо умывает заря.

Туман голубой белоснежных высот
Оставит внизу мой орел — самолет.

На запад лечу я к любимой Москве,
Отчизны своей я исполню завет.

Живи, красота расцветающих нив,
Хлопковых полей беспредельный разлив!

Заботливый труд, в кишлаках процветай,
Водой-бирюзой по арыкам сверкай!

Звените сады и ручьев голоса,
Живи, свет очей, завитая коса!

Я крыльям моим дам могучий разбег,
Пусть знают враги, как летает узбек.

Перевел с белорусского Сергей Городецкий

...

Лев Горништейн

РОЖДЕНИЕ

Стоят вагоны. Небо все в дыму.
Загромыхало скошенное поле.
И в корчах женщина глядит во тьму.
Глаза застыли в ужасе и боли.

Звериных криков ей не побороть.
Она кричит, и вздрагивают плечи.
Ребенок бьется в ней. Он рвет ей плоть.
И снова стон. И крик нечеловечий.

Вагоны. Гром. И зарево. И ночь.
И небо рвется в грохоте и гуде.
И как свою единственную дочь
Ее выносят из вагона люди.

Они несут ее, полны любви. —
Над ними загудел бомбардировщик.
Они несут ее. Она в крови.
Они кладут ее на землю в роще.

И снова вопль над рощею в дыму...
И все младенца голос услышали...
О чем кричит? Взывает он к кому?
Не к этой ли воспламенной дали?

И тихо мать произнесла слова:
— Расти, мой сын! Ты будешь сиротой!
Сказала... и она уже мертва.
И люди перед ней притихли, стоя.

Тот побледнел. Тот головой поник.
Ребенок ищет материнской груди.
— Не плачьте! — произнес еврей-старик. —
Война — это война! Не плачьте, люди!

И он склонился — голубя белей —
Над трупом. Руку поднял он высоко:
— Как в старину, как предок мой — еврей —
Я верю — „Кровь — за кровь! за око — око!“

Ребенка в сыновья возьму себе,
Я имя дам ему, друзья, такое,
Чтобы кричало о его судьбе,
Чтоб люди забывали о покое!

Пусть имя в жизнь войдет, как смерти весть,
Такого не было, отныне будет!
Давайте назовем младенца: — Мечь!
Чтоб прошлого на забывали люди!

Перевела с еврейского Е. Тараховская

...

Даврон

Плакучей ивы тень. И дом,
И ночь. И тишина.
Мне этот город незнаком.
Душа мечтой полна:

Калитка настежь отперта.
Вон там, в саду чужом...
О, если бы калитка та
Вела в родимый дом!

Я б в дом вошел, я лег бы спать...
Постель моя мягка...
Луна глядела бы опять
В окно издали.

Сынок, я б увидал тебя,
Как прежде поутру,
Мы затевали бы, любя,
Веселую игру...

Здесь все чужое — дом и двор...
И сына нет со мной.
Похитил Гитлер — гнусный вор —
Покой и дом родной.

Всю ночь не сплю я напролет,
Постель моя жестка.
К отщепеню меня зовет,
И сердце и рука.

От мести, Гитлер, не уйди!
Конец тебе один!
Пусть по колена кровь в пути, —
Но мы войдем в Берлин!

Перевела с узбекского Е. Тараховская

...

НЕНАВИСТЬ

(Главы из романа „Прспект Ильича“)

ОТ АВТОРА

Лето 1941 года. Областной город Р. Немецко-фашистские войска стремятся захватить и захватить город. Его защищает Красная Армия, под командованием генерала Горбича. Население спешно воздвигает вокруг города фортификационные сооружения.

Как и всюду у нас, там, где некогда была окраина, за годы пятилеток вырос новый индустриальный центр с красивым Проспектом Ильича, с фабриками и заводами, среди которых выделяется гигант — СХМ, завод сельскохозяйственных машин.

СХМ спешно перестраивает свою работу. Вместо сельскохозяйственных орудий он стал выпускать артиллерийские, — противотанковые пушки. Много людей способствовало перестройке завода на военный лад: — здесь и директор завода, старый большевик, друг Ленина еще в годы сибирской ссылки — Рамаданов, и ученый артиллерист Деделов, по имени которого противотанковые пушки называются „дедловками“, здесь и конструктора, инженеры, рабочие. Среди рабочих-стахановцев особенно выделяется Матвей Ковалев, человек исключи-

тельного таланта, решимости и ума. За короткий срок, в течение четырех-пяти месяцев, он продвигает большой путь: от токаря-фрезеровщика, рекордсмена, к посту мастера, затем начальника цеха, а после смерти своего друга, Рамаданова, Матвей становится во главе завода.

Красная Армия и город Р. сражаются отчаянно. Все атаки врага тщетны.

Завод СХМ продолжает выпускать пушки. Осенью город Р. оказался окруженным. Но и тогда он не упал духом. Узнав, что с востока к городу приближаются новые части Красной Армии, генерал Горбич ведет свои войска навстречу этим частям. Соединение войск удалось — рабочие СХМ отбили столько пушек, сколько необходимо было для того, чтобы пробить огненную брешь в фашистских войсках. Блокада города Р. сорвана. „Красные обозы“ крестьян с хлебом входят в город. Немцы отступили. Но борьба с ними не закончена. Война продолжается. Народ и армия наша уверены в победе.

Таково содержание романа „Прспект Ильича.“

...
сти, лишний раз подтверждал, что он не ошибся. Вот почему он хотел перейти обратно фронт с Полиной, оказать ей помощь, если понадобится: все эти места, — леса, болота, камыши, — были знакомы ему с детства.

И они пошли.

...
У холма, близ села лежит мелкая и тонкая, словно голубая пелена, речушка. Белые пески плоских ее берегов похожи на подушки. В воздухе разлита такая тишина и благодать, что кажется, — деревья и кусты благодарят речушку за тишину, склоняясь на колени.

В детях любопытство часто превозмогает любой страх.

Толпа ребятишек лежала в кустах, глядя на провалившийся мост, возле которого много селян и несколько немцев в темных, отвесных машинных маслах на солнце комбинезонах, суетились у широкого танка, упавшего с моста в речку.

— Чего это они? — спросила шепотом Полина у ребятишек.

И хотя до моста было далеко и полный

голос едва ли долетал туда, тем более, что к мосту, шляхом, подходили немецкие танки с черными крестами на боках и длинными зелеными надписями, мальчишки ответили шепотом:

— Да, застрял! — Танку, видишь, дорогу загораживает, немец и велел пригнать мужиков и тащить...

— Веревки, веревки несут, — быстро подхватил другой мальчик.

— А какие веревки его вытащат, в нем, небось тонн двести. Тетенька, пойдем ближе кустами, а?

Любопытство мало понятно и очень заразительно. Полина и Матвей, не глядя друг на друга, поползли вместе с мальчишками по кустам. Несмотря на листья, ветви у кустов были теплые, и когда Матвей раздвигал их, остатки влажной прохлады, державшейся у корней кустов, оведали его лицо, а затем опять сухие лучи солнца, особенно почему-то палящие, охватывали его, мешая напрягать слух, держать себя настороженно и вообще принимать в расчет опасность.

— Дальше нельзя, — услышал он шепот Полины.

Они легли на живот, прижавшись лицом к земле. Полежав так несколько минут и словно бы набрав сил, они подняли головы и стали смотреть на мост и танк, который чуть приподнялся было, а затем опять сполз в какую-то рывину.

Послышался высокий голос немецкого танкиста. Полина закрыла рукой лицо.

— Что он? — спросил тихо Матвей.

Полина не отвечала. Он не повторил вопроса. Мальчишки, лежавшие позади них, вздрагивали от страха так, что шелестела трава, будто кто шел по ней.

Селяне, отступившие было от танка, вновь подгоняемые голосом танкиста, приблизились к машине. Меньшая часть отделилась и вступила на мост. Немецкий солдат роздал им топоры с короткими рукоятками. К мосту приблизилось несколько танков. В отверстие башни высунулся офицер и спросил что-то. Повзвонив боком к Матвею танк позволял разглядеть надпись:

— Что там написано? — спросил Матвей.

— Написано по-немецки: „Я брал Фермопилы“.

— Чего он брал?

— Проход такой горный есть в Греции. Там в древности греки отбили нашествие персов.

— Так разве ж персы шли с танками?

— Какие танки, когда было это едва ли не две тысячи лет назад.

— Ну так чем же хвастаться? Фермопилы ты, может, и взял, а вот попробуй, возьмем наш СХМ!

И, неожиданно, Матвей стал тихонько насвистывать какую-то песенку. Умиленье охватило Полину. Вот оно — искусство! И это умиленье поднялось еще выше, к самым глазам, когда сельские мальчишки, там, позади, в траве, подхватили свист Матвея. Полине захотелось встать, выпрямиться во весь рост, — и запеть. И она верила, что без микрофона голос ее разнесется далеко-далеко...

Матвей, словно понимая ее мысли, положил ей руку на плечо.

— Тихо!..

Машина на высоком шасси, с опущенным брезентовым верхом, окрашенная в желто-зеленую волну, вилая между танками, подошла к мосту. Четыре немецких офицера выскочили из нее и медленно, с достоинством шагая, взойшли на мост. Полина сказала:

— Вон тот, повыше, полковник фон-Паупель, командир танковых частей.

— А ты здорово в них разбираешься, — сказал с уважением Матвей. — Надо нам ползти обратно. Я не хочу рисковать твоей жизнью.

Он подался шага на три назад.

Полковник фон-Паупель вскочил на свою машину и затаился по ней. Машина, стоявшая на неровном месте раскачивалась, что-то бучало в ней и звякало, и эти звуки наверняка раздражали полковника. Он кричал, не дорожа своим голосом. На его крик сбегались танкисты, из леса направо вышли солдаты.

— Недолго они повоюют, если будут разоряться по каждому пустяку!

Полина сказала:

— Он нарочно. Я думаю, и крестьян нарочно согнали и нарочно дали такую задачу, которую нельзя выполнить. Ведь есть тракторы, можно вытащить трактором. Фон-Паупель ищет повод для „внушения ужаса“.

Полковник, дергавшись, выскочил из автомобиля и опять побежал к мосту. Палка подвернулась ему по дороге. Он споткнулся, а может быть, сделал вид, что спотыкается. Он наклонился, поднял палку и стал бить ею крестьян, стоявших на мосту: затем прыгнул в ручей и, шлепая по воде, подскочил к крестьянам, столпившимся возле танка, охваченного канатом. Матвей теперь не видел полковника. Чуть свистящие удары палки ложились во что-то мягкое, словно в глину. Иногда палка мелькала между уцелевшими перилами моста, и вслед затем тонкий старческий голос селянина выкрикивал что-то неразборчивое...

Матвей почувствовал руку Полины, разжимающую его пальцы. Он оглядел себя. Он стоял на коленях, и рука его лежала на заднем кармане брюк, куда он прятал револьвер.

— Пойдемте, Матвей Потапыч, — сказала Полина ласково и настойчиво.

— Что он приказывает? — спросил Матвей, опуская руку.

— Он приказывает повесить четырех за саботажем.

— Пойдем.

Матвей прыгнул в речку и стал карабкаться вверх по откосу.

— Матвей Потапыч, нам в противоположную сторону!

Матвей повернул к ней искаженное лицо с трясущимися губами. Облизывая губы, он сказал.

— У меня нет противоположной стороны от той стороны, где вешают моих братьев. Я убью этого полковника!

2

Успех в войне и „естественной добыче ее“, как полковник называл грабеж, зависел, по его мнению, от многих причин, а одной из важнейших для танковых войск было пребывание на одном месте ровно столько времени, сколько умные люди высчитали, а едва ли не самым умнейшим полковник признавал себя. Вот почему на повешение крестьян и на „демонстрацию ужаса“ полковник для села Низводящего и его района определил полтора часа, вместе с водружением виселицы.

Фон-Паупель приказал:

— Проведите, лейтенант, приговоренных вдоль линии собравшихся крестьян. Возможно, среди них есть еще обнаруженные коммунисты, которые должны на своей шее почувствовать приговор истории. Тот, кто выдаст коммунистов, получит помилование!.. — Он покачал головой, не одобряя своего мягкого сердца, которое постоянно вовлекало его в ошибки. — Нет, о помиловании ничего не говорите, а скажите, что им будет оказано снисхождение. Раб, которому обещано снисхождение, уже видит в этом помиловании!

Полковник фон-Паупель привык, из-за грохота танков, сопровождающих их всю свою жизнь, говорить громко. И сейчас, на площади села Низводящего, он говорил громко, отчетливо выговаривая каждое слово.

Полина и Матвей стояли во втором ряду крестьян. Полина поняла слова полковника. Она взглянула на Матвея. Он стоял, вытянув

шею к виселицам и мигая в такт шагам полковника, который шел к толпе.

Приговоренных вели впереди полковника. — Крайнего видишь? — спросил, чуть шевеля губами, Матвей. — То — Семен Сухожильнов, комсомолец, вместе на курсах были...

Он не успел договорить, на каких курсах они были вместе с Семеном. Приговоренные остановились.

Полковник спросил по-немецки. Лейтенант, плохим русским языком, крикнул в сторону Матвея:

— Полковник спрашивает: где плачет?

Полковник смотрел в стоящее за ним лицо пожилого крестьянина. Полковник, видимо, наслаждался тем ужасом, который внушал его взгляд крестьянину. Лицо крестьянина стало землисто-черным, дыхание столь прерывисто, что Матвей обернулся к нему. Матвей подумал, что крестьянин не выдержит и выдаст кого-нибудь:

— Я не понимаю по-немецки, — сказал Матвей.

— Я говорю по-русски! И ты должна знать немецки!

Полковник перевел взгляд на Матвея. Крестьянин, за спиной Матвея, охнув, упал в обморок. Матвей стоял спокойно, чуть припав на ногу и приподняв плечо. Поза эта казалась полковнику дерзкой. Он спросил у переводчика, что говорит русский мужик. Переводчик сказал, что русский мужик дерзит, и не столько словами, сколько тоном своих слов!

— А в психологии, как известно, господин полковник, самое главное не слова, а тон.

Полковник раздвинул мужиков. Лейтенант положил руку на кобуру револьвера, ожидая, что полковник прикажет пристрелить мужика. Но полковник хотел показать силу своего кулака. Как и все немцы, он не разглядывал лицо Матвея, для него неважно было — то или другое перед ним лицо, важно лишь то, что оно было русским. Он, так сказать, бил в идею, а не в личность, ибо разбираться в лицах ему не было времени.

Полковник, чуть прижав на цыпочки и наклонив туловище, ударил кулаком в лицо Матвея, который стоял, заложив руки за спину.

— Он не понимает? — сказал полковник. — Ты должен понимать новый порядок!

Матвей даже не пошатнулся под ударом. Нижняя губа его чуть опустилась, и тонкая струйка крови упала в пыль.

Рука его легла на щель заднего кармана.

Но другая рука, рука Полины, сняла его руку. „Вы погубите все те ценные сведения,

которые мы с вами добыли!“ — говорил этот жест ее.

Полковник был недоволен своим ударом. Мужик ведь стоит, как стоял раньше! Полковник отвел руку назад. Но второго удара не понадобилось. Русский мужик, оказывается, просто остолебел от силы удара, и — упал две-три секунды спустя.

Матвей упал, потому что стоявший позади него и оправившийся от обморока пожилой селянин дернул его за ноги.

— Лежи, Коваль, — сказал он, — моя смерть!

Полковник приказал повесить мужика, которого он ударил, вместе с остальными приговоренными. В конце концов, как видите, у полковника имелось некоторое чутье. Однако, чутья этого оказалось мало: полковник не отличил от Матвея пожилого крестьянина, который, нарочно прихрамывая, вышел медленно из толпы и направился вместе с другими к виселице. Да и то сказать, откуда полковнику фон Паупелю было запомнить лица всех тех французских, бельгийских, датских и греческих крестьян, которых он бил и тела которых болтались на веревке по его приказанию? Он играл в карты и войну, — и ему удивительно везло так, как не везло ни одному его предку, ни одному крестоносцу, ни одному рыцарю! Естественно, что, как всякий счастливый убийца, он был слаб памятью на лица.

3

Если тысячи русских и украинских людей, залегших в блиндажи и окопы вокруг своего города, каждый по-своему думали и верили, что именно каждый из них вот здесь, на двух метрах земли или бетона решает судьбу сражения, то тысячи немцев, итальянцев и румын, медленно оцепявших город на танках, самолетах и конях, думали и верили совсем по-другому. Во-первых, они знали, что их четверо или пятеро больше, чем русских. Во-вторых, танков или орудий у них шестеро или всемеро больше. И, наконец, в-третьих, — они могли получить за успех этого сражения сотни гектаров великопленной русской земли с ее изумительными нивами, среди которых они шли с раскрытыми от удивления ртами. Они могли получить фабрики, заводы и шахты и стать заводчиками и фабрикантами, как обещал им фюрер Гитлер. Они могли получить даровую рабочую силу — русских рабов. Без особых хлопот они могли получить даровых русских женщин, стройных, красивых, румяных... Это ли не благо!

Генерал Гёрбич был прав: полковник фон-Паупель был действительно, знающий солдат, и он превосходно понимал состояние своих подчиненных. Еще ночью, перед самой артиллерийской подготовкой, побеседовав с десятком солдат и офицеров, он уловил элементы какой-то странной перемены, свершающейся в войсках. Он объяснил ее тем, что стоявшие на соседнем участке румынские и итальянские части обдали запахом гнилья превосходные германские части, как труп обдаст издали вас запахом, и вы долго, давно обойдя этот труп, морщитесь и пожимаетесь. К тому же, в последнее время чересчур много говорили солдатам о наживе и мало о чувстве германца-патриота! Поэтому в приказе о наступлении полковник фон Паупель подчеркнул нужно уничтожать славян для того, чтобы германцы могли расселить излишек своего населения на славянской земле!

— Никакого альтруизма! Да царит с нами жестокость! Убивайте, убивайте, убивайте, во имя Германии и фюрера!

Исполняя этот приказ, сотни тяжелых, средних и легких танков, пестро раскрашенные и укутанные гирляндами зелени и издали похожие на огромные блюда, занимали исходные позиции, чтобы с разных сторон атаковать город.

Со середины ночи канонада немецкая усилилась. Все ждали атаки.

Приблизительно за час до рассвета прибежал помощник Никифоров и сообщил, что директор завода Рамаданов „приказывает комиссии направиться на переднюю линию обороны, чтобы проверить действие противотанковых пушек, выделяемых СХМ, а в частности действие детали „6-ЮД“: очень в ней Рамаданов сомневается“.

— Конструктора смонтировали, соединили в одну шесть деталей. Как бы не дала отказа...

Матвей спросил:

— Кто в комиссии?

— Я, вы, Матвей Потапыч, и конструктор Койшауров. Вот волнуетесь!

Матвей посмотрел на его лицо и подумал: „Да и ты, брат, волнуешься не меньше“. Проверил и себя: „Тоже, пожалуй, волнуюсь“. Но итти надо, да и действительно, ему хотелось посмотреть, не мешает ли работе противотанковой пушки деталь „6-ЮД“. К тому же он поддерживал на производственном совещании предложение Койшаурова, застенчивого и робкого.

— Ну раз пошли, так пошли!

Низенький, упитанный, с широким затылком и выражением удивления в черных, на

выкате, глазах конструктор Койшауров ждал их поотдадь, возле кучи щебня.

— Как вы долго! — сказал он жалобно. — Это далеко?

— Через мост налево, километра два-три. Туда снаряды везут, прихватят, — ответил Никифоров.

Мост был пуст. Грузовики медленно ползли по нему, вдоль отмеченной белой краской линии. Матвей смотрел по ту сторону белых полос, на трамвайные рельсы, поблескивающие в лучах рассвета, на серовато-тусклый асфальт и думал: «Неужели, если грузовик свернет туда, то все сейчас: снаряды, радиатор, запяленные крылья, сам шофер, надвинувший пилотку на брови, все это взлетит на воздух? Не может быть!»

Вдруг сигнальный замахах красным флажком, стоящий в конце моста красноармеец зашвырнул в новенький свисток. Показались самолеты.

— Противник? — спросил Койшауров, оставаясь и разевая рот.

Матвей хотел потопорить его, но Койшауров посмотрел на Матвея строго. Ни капли испуга не было в этих дообнаженности черных глазах. Он сказал:

— СХМ летят бомбить? Сегодня, кажется, нашим пушкам придется поработать. Вот тут-то я и докажу: мои выкладки были правильны!

4

В 05,15 немецкие ведущие танки прорыва атаковали наши противотанковые орудия на переднем крае оборонительной полосы.

В 5,30 Матвей и его спутники появились перед командиром переднего края оборонительной полосы. Это был молодой капитан, лет двадцати пяти, рослый, решительный, с повелительным и резким голосом. Удивленно подняв брови, он выслушал толковое разъяснение Матвея и сказал только:

— Генерал-лейтенант Горбыч позволил?

Помолчал и добавил:

— Отойдите пока в глубину командного пункта, а там увидим.

Никифоров и конструктор отошли. Матвею казалось невероятным, что им все время боя придется стоять здесь, где ни пушек, ни снарядов, а только три землянки, радисты и телефонисты, у ног которых в пренебрежительном беспорядке лежат станковые пулеметы. Командир, видимо, думал, что Матвей хочет дать разъяснения, почему конструктор, начальник цеха и сменный инженер должны проверить

на передовых позициях работу противотанковых пушек, и вопросительно посмотрел на него.

Матвей понял его мысль. Улыбаясь, он сказал:

— Подобная комиссия — обычное дело. В гражданскую войну рабочие в Царицыне дали пушки и тут же везли их на фронт пробовать.

— Вот тебе и Царицын! — закричал вдруг командир и, схватив Матвея за шею, бросил его рядом с собой на землю.

Над командным пунктом бреющим полетом, осыпая холм пулями, пронесся немецкий разведчик. Телефонисты бросились к пулеметам. Капитан, догадавшись, что местопребывание командного пункта открыто, а может быть, и смущенный доводом Матвея, сказал связному, чтобы «инженеров СХМ» проводили на шестую батарею, добавив: «Быть там полчаса и закончить все изыскания».

Матвей, до колен измочив ноги росой, бежал какими-то канавами, пересек овраг, обогнул противотанковый ров, в котором упавший и сгоревший немецкий танк чадил, наполняя воздух смрадом горящего мяса, и, наконец, очутился перед часовым, который, выслушав сопровождавшего Матвея сержанта, указал им на пригорок, где, видимо, теперь и находилась шестая батарея.

Лейтенант, лежа на ящике, и поддерживая голову рукой, смотрел вдаль на свежее истоптанное и изрытое взрывами снарядов, пшеничное поле, — недавно, должно быть, желтое и плавное. Он не повернулся на голос Матвея, а только помахал левой рукой:

— Чего проверять? Какая там деталь! Вон они!

Койшауров спросил:

— Значит, деталь действует исправно?

Лейтенант отдал команду. Четыре пушки, одна за другой, выстрелили. Стоявший справа, в конце поля, высокий зеленый куст качнулся, взметнулся на дыбы и вдруг лег вверх брюхом, и тогда только Матвей понял, что это был замаскированный вражеский танк. Для лейтенанта это явление, видимо, не было удивительным, он не радовался, потому что уже десять минут назад он должен был сбить этот танк, но ему было приятно, что зрители — инженеры — охнули и заговорили быстро-быстро, так, что он не понимал их слов, и ему казалось, что они читают какие-то таблицы; уже полтора часа лейтенант был ранен в голову осколком снаряда — и не желал покидать поста! Его батарея была первой в социалистическом соревновании, и ему хотелось довести это соревнование и в боевом опыте до конца и победы! Стараясь

экономить силы, он лежал на ящике из-под снарядов и все время смотрел вперед: когда танки подпрыгивали на колдобинах, ему легко было находить расстояние и назначать прицел; тогда, несмотря на утреннюю дымку от испаряющейся росы, он отчетливо различал их плоскости и видел пушки. Он боялся только, как бы танки не прорвались в поле: там ровно, и они смогут развить большую скорость!

Лейтенант одну за другой выкрикивал цифры, подносочки вставляли в орудия снаряды, из дула вырывался огонь, и Матвей хватался за фуражку. Ему приятно было, что пушки бьют так сильно и что такая мощная волна воздуха обдаст его, приятно было также, что Никифоров и Койшауров, выпнув какие-то таблички, засекали на секундомерах время и, озабоченно глядя друг на друга, ждали выстрела.

Матвею хотелось подробно объяснить лейтенанту, зачем сюда приехали инженеры. Орудия делают поспешно, сверх плана, и вот, с целью еще более успешного...

Лейтенант вдруг повернулся к Матвею, и тот увидел широкое бледное лицо, лоб которого был окутан марлей, с проступающими сквозь нее пятнами крови. Кривя это лицо, лейтенант закричал:

— А, вы еще... здесь?.. Немедленно покинуть... Что, вы не видите: танки дают пулеметы... Уходите!

Он с трудом лег обратно на ящик, и не помышляя должно быть, что ему тоже пора покинуть батарею.

Матвей вернулся к спутникам. Напуганные не столько словами лейтенанта, сколько его страшным окровавленным лицом, конструктор и инженер ничего не поняли. Тогда Матвей сказал:

— Такое приказание надо исполнять. Пошли. Никифоров шагнул к выходу от батареи.

Койшауров же спросил:

— Куда?

— Домой.

— Позвольте! Но мы же не проверили действие машин на остальных батареях...

Матвей указал на край поля. Если он мог ошибиться и, несмотря на его величину и звуки, не узнать танка, то пехоту он разглядел мгновенно. Немцы достигли первого рубежа! Возможно, что они уже где-то прорвали его, и батарея лейтенанта, случайно, оказалась не подавленной.

Когда они побежали с пригорка и перепрыгнули канаву, чтобы скрыться в лесу, прикрывающем батарею, они услышали сзади

звуки немецкого пулемета. Матвей приказал ложиться. Метров триста — катились они до леса, кувирком, роняя выкладки, портсигары, перочинные ножики и платки. По звукам справа и слева можно было понять, что ведущие танки дают орудия, а сопровождающие бьют пехоту. Наши пехотинцы, время от времени кидались в атаку. Нестроение и быстро замолкавшее «ура» говорило об этом. Тогда отдельные выстрелы переходили в гул, который шире и дальше разливался по лесу.

Они бежали, прячась между деревьями, хотя прямо по ним уже никто не стрелял.

Конструктор все спрашивал:

— Противник? По моим?

Он хотел сказать, по моим пушкам, но язык не поворачивался у него.

Они выбежали к реке.

Немецкая артиллерия уже перенесла свой огонь сокрушения с первой линии на противоположный берег реки. Пузыри пламени и дыма, похожие на те, которые всакивают в луже, когда контакется дождь, наполняли лесок и все выше поднимались по скату. Матвей понимал, что, если они сейчас не переберутся через реку, полчаса спустя будет поздно. Несколько легко раненых красноармейцев показалось среди дубов. Они напряженно смотрели в реку, среди которой разрывались снаряды, разметывая металлические находы, выворачивая бревна, открывая пасти противотанковых рвов на берегу реки. Иногда в реку падал снаряд, от которого шел густой и, казалось, влажный дым. Наверное, немцы думали, что их пехота уже подошла, и они пробовали дымовые снаряды.

— Ну, господи благослови! — сказал Матвей, прыгая в реку.

5

Вглядываясь в бурные волны земли, поднимаемые взрывами, майор Выпрямцев сказал Матвею:

— По данным разведки, часть противника прорвалась вверх, к Проспекту Ильича.

— Как к Проспекту!

Позади себя Матвей услышал истощенный голос библиотекаря Силигуры, нивесть как попавшего сюда:

— Прорвались уже, сволочи, прорвались!

Без шапки, с длинными волосами, облепившими его лоб, с трясутыми бледными губами, с расстегнутым воротом выцветшей и много раз штопанной рубашки, открывавшей костистую и жалкую шею, стоял перед ними, высоко подняв руки, библиотекарь:



— Как же вы, работники культуры, позволяете себе гадать — ведь они прорвались! Они к библиотеке прорвались, к статуе Ленина! Они дворец его имени взорвут, зажгут, поймают!!

И не веря, должно быть, что слова эти могут быть поняты Матвеем, он закричал ему:

— Как раз в том крыле, где радиоузел! А там и Мотя, и Полина. Молодые девушки, поймите, Матвей Потапыч! Неужели вы позволите?!

Он опять, вздев руки, кинулся к майору, которого явно раздражал проповеднически-неистовый голос Силигуры.

— Противник какой численности? — спросил строгим военным тоном майор.

Силигуру нельзя было пронять никаким военным тоном. Хватая всех, кто пробегал мимо, он вопил о культурных ценностях, которые зажгут немцы, о ста тысячах томов библиотеки, о том, что гибель этой библиотеки подорвет репутацию всей армии Горбача... Майор, наконец, сказал:

— Товарищ Ковалев, возьми два взвода и выбей этих немцев.

И добавил, строго глядя на Силигуру:

— Только вы, товарищ, проводите...

— А как же! Я с радостью... И Силигура кинулся жать руки майору. — Я все места укажу!

Майору некогда было любоваться или негодовать на странного библиотекаря. Майор сказал Матвею:

— В полчаса локализовать противника и вернуться.

6

Директор СХМ Рамаданов хотел пойти по цехам, как только началась артиллерийская подготовка. «Успею везде побывать», — уговаривал он сам себя. — Я старик, и когда бы я ни вышел, всегда для меня получится рано». И, рассердившись на воображаемого собеседника, который как бы упрекал его в частых ссылах на слабость и старость, Рамаданов, стукнув кулаком о стол, крикнул сам про себя: «Нет! Я все-таки старик. И, по милости этих идиотов-немцев, мне придется ходить по цехам и делать вид, что у меня не устали ноги. Я пойду, милостивый государь, когда найду нужным!»

Все предчувствовали, что на этот раз, после артиллерийской стрельбы, последует атака. Рамаданов решил: «Пойду, когда они пойдут». Однако же «старик» не усидел в

кабинете, и часа за два до атаки немцев, собрав вокруг себя виднейших инженеров и конструкторов и пошутив, что «хоругви подняты», жалуясь на слабость и старость, пошел по цехам.

Едва он прошел два-три пролета, едва вгляделся в лица стоящих за станками, как ему стало неловко, и он подумал: «А я собирался вдохнуть в них дух бодрости и доблести». Лица рабочих были такие же, как и всегда: сосредоточенные, углубленные в свое дело до такой степени, словно они не понимали, что происходит, или же словно они желали подсмеяться над «стариком». Но стоило ему перебраться с ними несколькими словами, как он почувствовал, что они превосходно сознают ту опасность, которая идет к ним из-за реки, жуткое, и винтовки, стоящие возле каждого станка, стоят недаром. Один рабочий, пожилой, лет пятидесяти, на прямой вопрос Рамаданова ответил:

— Да ведь, как не бояться? Бойшьяся. А ведь рассуди: бросишь станок, убежишь, тогда еще страшней!

Второй, шедший мимо, с длинными закрученными вверх седыми усами, остановился и сказал:

— Сынок у меня, с бутылкой, в окопе стоит. Хм! Непьющий! Всегда, вишь, думал, отброшу бутылку и спасусь. Хм м!.. Не знаю, Ларивон Осипыч, надолго ли нас хватит... а хватить мы «его» хватим!..

— Человек не бутылка, хватит подольше! — сказал Рамаданов, который входил в цех с тем чувством, когда в лицо тебе повеет переменный ветер, — наверное, жди потепления. Слова седоусого принесли большое и светлое тепло на его сердце. Усталость, которой жаждал он, не приходила. Он шел от станка к станку, от машины к машине, радовался на цифры, отмечающие успехи стахановцев, радовался улычкам, и сам улыбался такой улыбкой, что рабочие, вслед ему, весьма одобрительно кивали головами, как бы говоря: наш старик не подведет, бой-старик!

Рассветало.

Скатали черную бумагу. Окна открылись. Хлынул свежий воздух. Солнце явилось уже чуть поврежденное началом осени, словно оно состарилось в эту ночь яростной бомбежки. Бумага трепыхалась от взрывов, и, надувшись, летела вдоль рам обрывки ее. Сыпались остатки недобитых стекол. Рамаданов громко сказал:

— Я говорил нынче по телефону с наркомом. Заводу, на его Узбекском филиале, нужен

молодой, крепкий и толковый директор. Местной общественности необходимо увидеть, что к ним переселяются не только люди... Переселится большая техническая культура! Если Узбекистан осознает такое положение, — мы не удивим, мы учтем и продукцию. Ведь что получается: удваиваем здесь, и удваиваем там... Как вы думаете, Коротков?

— Здесь удвоим, а там — не знаю.

— Вот вы поедете туда директором и узнаете. А узнав, удвоите продукцию.

Инженер Коротков поблел и весь выпрямился. «Ну, и честолюбив же дьявол», — с удовольствием подумал Рамаданов. И ему понравилось, что Коротков не стал ломаться, говорить, что он не сумеет, не справится, а просто и ясно заявил:

— Трудность там та, что у них плохо с металлургической базой.

— Другого подходящего места, куда бы направить наш завод, нету. Металла нехватит? Создайте металл. Металлургов нет? Научите! Мы же рабочие. Мы дорогой мой Коротков, Робинзоны на этом острове, который называется планетой...

В ворота цеха словно кто ударил тяжелым молотом.

Ворота упали.

Ливень осколков, щебня, волны земли — ринулся в цех, калеча и ломая людей, засыпая грязью и пылью части пресса.

Рамаданова ударило о какой-то ящик, перевернуло и снова ударило. Колющая нестерпимая боль пронеслась по всему телу. «Нет! Нет! Нет!» — подумал Рамаданов. — Не может быть, чтоб такой большой конец!»

Он привстал на локте. Над ним склонились лица Никифорова, Короткова, мастера Привалова, конструкторов. По железной лестнице сверху, из кабинета начальника цеха, бежал врач, размахивая санитарной сумкой. Луч солнца, освещавший лестницу и игравший на ее отшлифованных ступеньках, упал на эту сумку и осветил узенькую медную застежку.

— Ранен! — спросил Рамаданов.

Лица отступили.

Теперь Рамаданов видел только лицо Короткова. Оно было смертельно бледно, и на эту бледность было крайне неприятно смотреть, потому что она проступала сквозь пыль и сор, брошенный на Короткова взрывом и который он, видимо, не успел стряхнуть.

— Ранен?

— Слегка Ларион Осипыч, — сказал, глодая слезы, Коротков. — Сейчас перевяжут.

Рамаданов закрыл глаза. Боль все увеличивалась и увеличивалась. Рамаданову хотелось, пока боль не захватила все сознание, сказать самое главное. Но позади, словно какие-то плавающие смутные острова, наплывали совсем ненужные мысли, превращаясь то в камни с сухими длинными метелками, то в длинную, режущую ноги, траву... Куда он идет? Куда он торопится?.. К Матвею? Да, Матвея надо выручить!..

— Осторожней поднимай, осторожней, — услышал он вдруг и подумал, что эти заботливые люди напрасно. Кажется, стараются поднять его, лучше, пожалуй, поскорее поднять пресс «Болдин».

Глаза слипались. Рамаданов с трудом открыл их, — и сразу же сознание его прояснилось, и он вспомнил то самое главное и важное, что ему хотелось сказать Короткову. Движением бровей он придвинул к себе его лицо и, глядя не на лицо, а на руки врача, которые с невероятной ловкостью и проворством шныряли где-то у его живота, сказал:

— Самое главное... Да.. Чем все это кончится?.. Да... Я знаю... победой... но как?.. где?..

Боль стихала. «Да, кажется, теперь конец», — подумал Рамаданов. — Раз такое, значит конец. Он не бывает большим... Глаза слипались в медленной, neodолимой слабости. Рамаданов открыл их. Опять он глядел в мокрое и молодое лицо Короткова. «Чего это он? Чему, чудак?» — подумал Рамаданов. И ему стало немного, но совсем немного, жалостью великой с пушинку, жаль Короткова.

— Несите меня... домой...

Он закрыл глаза. Кто-то осторожно дотронулся до его ног, и он почувствовал, что они отяжелели. Мир отдалялся, но был еще близко, и ему очень не хотелось расставаться с ним. С усилием он открыл глаза и увидел теперь перед собой лицо парторга Бронникова, его короткие подстриженные усики, белесые, двойной подбородок и потный лоб в глубоких морщинах. Настойчивый, но тупой человек! Рамаданов часто ссорился с ним, потому что Бронников, как думалось Рамаданову, постоянно стремился все сделать по-своему, и постоянно плохо. Вот теперь, наверное, понесет директора в партийную организацию, устроит прения... А как дела на откосе? Должно быть, не так плохи, раз они все здесь?

Рамаданов твердым, как ему казалось, голосом сказал:

— Несите меня домой.

Матвей оглядел своих подчиненных.

— Пробритесь через библиотеку в правое крыло Дворца. Выбить оттуда фашистов,— сказал он.

— Есть: пробраться через библиотеку в правое крыло Дворца и выбить оттуда фашистов,— ответил за всех Арфенов.

...В то же, приблизительно, время генерал Горбыч, долго и мучительно размышлявший и советовавшийся — на какой же шаг решиться, наконец приказал начальнику штаба: ввести в дело все пехотные и танковые резервы и при поддержке всей авиации бросить их к участку сражения возле СХМ и Проспекта Ильича...

Отдав приказание, Матвей понял, что этого мало: теперь надо показывать самому, как же осуществляется такое приказание.

Гендм из Дворца обстреливали видимое им пространство. А видели они многое и многих. А стреляли они уверенно, в каждый патрон вмещая именно ту смерть, которую он должен вместить. Короче говоря Дворец заняли снайперы. Немецкий обстрел породил в среде Матвея нехорошее чувство. «Кто же и как пропустил их сюда? Не измена ли?» — думал он, подобно многим командирам полагая, что случись ему быть здесь пораньше, подобного не произошло бы.

Однако по мере того, как он пробовал пролезть ко Дворцу во все щели, допускаемые сражением и случайностями войны, по мере того, как падали и умирали его люди, он стал понимать, что в данном случае немцы не могли не попасть во Дворец: слишком он громаден и слишком стратегически важен, равно как и то, что умный и расчетливый майор Выпрямцев послал его сюда не подкреплять окружающие Дворец наши силы, а чтобы показать этим силам: столкновение на откосе развивается для нас успешно и «будьте уверены, немец потерпит убытки». И все, глядящие на Матвея, так его и понимали. Лица их веселели, и даже одежда на них становилась другой более изящной и красивой.

Отряд Матвея прополз через пролом в кирпичной стене. За углом должен был находиться вестибюль Дворца... Круглая яма возле пролома стонала. Раненые немцы, скинув каски, отчего лица их стали бледными и крошечными, зывали, опираясь руками о тела убитых.

Он напряженно вглядывался в трупы убитых, прислушивался к стонам раненых немцев. Два или три мертвых офицера особенно при-

влекли его внимание. Одному из них воздушной волной, должно быть, валили шлем в плечи. Он лежал на животе, раскинув руки и ноги, и походил на краба. «Неужели в бою не увижу я лицо врага?» — в тоске подумал Матвей. Раненые, — воющие, молящие, стоющие, — не вызвали в нем ненависти. Мертвецы были просто омерзительны.

Но едва лишь он отчетливо и со всей силой задал себе вопрос: встретит ли он здесь врага, лицом к лицу, этот враг встал перед ним во весь свой высокий рост. О, с этим врагом не так то легко разлучиться. На него глядел мужчина с желтоватыми птичьими глазами, в фуражке, надвинутой на лоб, изрезанный такими широкими морщинами, словно их проводили гусеницы танков. Тяжелый, как обух топора, подбородок чуть опущен, обнажая прокурненные острые зубы, которые не отчистишь никакой щеткой. От него, как от мясника, пахнет свежей кровью. Он понимает тренированный, привыкший к убийству кулак, наклонная вперед всю свою высокую фигуру, чтобы ловчее и сильнее ударить человека, который...

Полковник фон-Паупель! Вы? Может быть, вы среди солдат? Может быть, вы во Дворце? Вам так лестно вбежать и взять Дворец, возбуждая собой восхищение в читателях ваших газет и в ваших родственниках, крестносцах. Ах, полковник фон-Паупель! Почему нас не произвели в генералы, вам было бы почетнее умереть в таком чине, ибо, если вы здесь, во Дворце, — то смерть вам, полковник фон-Паупель, смерть, смерть... Вы не убежите, фон-Паупель, не скроетесь, вам не помогут все ваши многосильные моторы, потому что у нас бьетса самый могучий и верный мотор в мире — сердце ненависти. Ух, тяжело тебе будет, полковник фон-Паупель, ты прочтешь еще перечень твоих зол. Смерть! Смерть!

Матвей почти задыхался.

Он вскочил. Отряд вскочил за ним. Какой-то командир с загорелым лицом и с рыжими усами закричал где-то в стороне.

— Куда? Там у противника миномет!

— Приказываю! — закричал Матвей, и у него нехватало дальше слов, да он и понимал, что их не нужно.

Прижимая к груди автомат и отталкивая Арфенова, который все старался выскочить вперед, он вбежал в вестибюль. Несколько беспорядочных выстрелов откуда-то сверху встретило их. Матвей бросил гранату вперед, в дым, вившийся среди темных колонн вестибюля. Дым этот легкой пеленой прикрывал убитых красноармейцев: караул, отстаив-

вавший вестибюль. Неподалеку от дверей лежал красноармеец, держа в мертвой руке несколько пропусков, — должно быть, вахтер.

Голова у Матвея кружилась. Что-то плавающее, как ритм стихов, билось в нем. Это было неудержимое стремление убивать. Убивать, убивать, убивать! Не стыдно, а нужно убивать и нести им смерть. Смерть врагу, смерть, смерть!! Он стоял, вытянув в правой руке автомат. Лицо его пылало, и редкие волны дыма, вливавшиеся в вестибюль из глубины Дворца, не утишали этого пылания, а только больше подчеркивали его. Мало-помалу, пламень с его лица как бы обрызгал собою лица его окружавшие, зажег их. Они приблизились к нему, тяжело дыша и тяжело ступая. Все их движения говорили, что он мог им заказывать любое, самое отчаянное действие, — и они исполнят его. Убивать, убивать, убивать. Умирать, умирать, умирать. Смерть врагу. Да здравствует свобода!

Он взглянул на Силигуру. Кто кто, а уж Силигура-то обладает взором. Он вглядывается. Сквозь дым он видит лестницу в библиотечный зал, падающие на столы балки потолка, горящие стеллажи с книгами. Огонь кажется ему одушевленным. Огонь перелистывает книги, рвет их корешки... Беспросветная тьма покрывала сердце Силигуры. Тьма и ненависть.

— Значит, вперед! — сказал Матвей.

Хватая друг друга за руки, они составляли какой-то странный хоровод. Силигура пожелал идти первым.

— Будем совершать обход по твоей библиотеке, — сказал Матвей. — Веди, Силигура, чтоб не в последнюю экскурсию.

Они погрузились в дым.

Жар и духота сгустились.

Пепел, теплый и едкий, оседал на глаза. Слезы текли в рот.

— Совершай, совершай, — кричал Матвей, чувствуя, что цепь рук дрожит и мучается. — Совершай обход, не к смерти ведет путь. Верно, дозорные?

Дозорные молчали. Шаг за шагом они шли, ощущая где-то совсем рядом со своей тонкой и почти пылающей одеждой жгучий и привязчивый пламень, — пламень смерти.

— А, хоть бы подохнуть... — услышал Матвей.

— Чего? Кто там стонет? Чихни, будет легче. Не видишь, Силигура нас вывел У него нюх. Силигура, есть у тебя нюх, борзая?

Самым поразительным событием этого и без того достаточно поразительного дня был ответ Силигуры. Откуда-то из тьмы донесся он:

— Приучайтесь к дыму, придется идти и через пламень.

И они вскоре, действительно, почти нырнули в пламень. Силигура был первым.

Кашляя, чихая, почти задыхаясь, выскочили они и уперлись руками в широкую, как ворота, металлическую теплую дверь. Силигура вывел их к боковому входу в главный вход, не находя здесь тяги. Дыма было меньше. Хотелось дышать, дышать... Но Матвей сказал, криво улыбаясь щеками, покрытыми пеплом:

— Сусанину приходилось куда легче, чем тебе, Силигура. Он хоть дышать мог...

Силигура, обожавший точность выражений и сравнений, сказал:

— Сусанину, извините, приходилось тяжелее. Ведь он-то вел врагов.

Матвей сказал:

— Вот и отдохнули, давай вперед. Вперед — легче, бой!..

Они распахнули дверь. Но боя еще не было. Их опять встретил дым, еще более удушающий, чем прежде. Пламя грызло потолок читального зала. Оно работало исправно. Одна за другой падали балки, валились книжные шкафы... Да, немцы создали позади себя превосходную стену.

— Вперед все-таки, Матвей Потапыч? — спросил Силигура, в котором вид горящих книг возбудил тоже желание убийства и смерти врагу.

— А как же!

— Тогда я поведу через антресоли.

Они спустились вниз по какой-то боковой лестнице, затем поднялись вверх по другой, приставленной просто к стене пожарной. Силигура нюхал воздух, чихал, крутил головой и как всегда, поправляла на плечах прорезанный плащ, который, казалось, он не сбрасывал, наверное, и в постели.

— Еще направо, еще направо! — твердил он. Позади каких-то, уже начавших гореть шкафов, они выбрались, наконец, на антресоли. Дым заволакивал их настолько, что они не видели своей руки, нащупывающей перила. Внизу бушевало пламя: горел читальный зал. Окна были выбиты, сквозь них, через дым, можно было иногда разглядеть очертания цехов и вспышки выстрелов на Стадионе, который, видимо, атаковали немцы. Отряд находился на последнем этаже. Отсюда, через чердак, на площадку, к подножию статуи.

Но вход на чердак оказался уже охваченным пламенем.

Они понялись.

— Куда теперь?

Силигура не ответил. Некуда, — говорил весь его вид.

В двух шагах от перил колыбалась железная балка, готовая упасть. Над нею, сквозь дым, виделось черное пятно.

— Там чердак? — крикнул Матвей на уху Силигура.

Силигура кивнул головой.

Матвей перебрал ногу через перила антресолей.

— Куда? Матвей Потапыч!

— За мной..

И все бросились за ним.

Они минували полосу дыма.

Они высочили в какой-то сырой и узкий коридор. Чердак остался позади. Они услышали чей-то незнакомый голос, кричавший незнакомые и сердитые слова. Широкая голова в каске показалась на лестнице. Матвей увидел обшлага темнозеленого, тесного, не по плечам, мундира, — и притупленная дымом и отчаянным положением ненависть и стремление убивать и убивать вновь с необычайной силой овладевали им.

— Мой! — завопил он, бросаясь вперед и хватая немца за горло.

Он слабо помнил, что происходило дальше. Он насканивал, стрелял, приказывал. Руки его горели. Плечо ныло, — шестой по счету хватил его в плечо штыком. Матвей перевязал на ходу носовым платком и даже не помнил: завязал ли он узел... Следующего немца он ударил кулаком!.. Затем откуда-то из продолговатого бассейна, — они дрались уже в гимнастическом зале, — высочил восьмой. Они дрались прикладами! Немец, видимо, забыл о своем револьвере, — и когда выхватил его, Матвей с окровавленной головой, с простреленным ухом и ссадной вдоль всей головы, — снизу вверх, — сидел на немце и тряс его за грудь.

Офицер с обвислым задом, подпрыгивая и визжа, бежал от него. Вокруг слышались выстрелы. Матвей бросил наотмашь, вправо, гранату, откуда, как ему показалось, спешили на помощь офицеру немцы.

«Только бы взглянуть в лицо.. только бы... Не полковник ли это фон Паупель? Ну, тогда вы получите перечень ваших дел, полковник!» Офицер повернулся, — и выпрыгнул. Фигура его приобрела достоинство. Он вытянул голову вперед, — и так как ему нечем было защи-

щаться, — паника охватила солдат при виде высочивших из пламени черных и ловких людей, — паника, следовательно, охватила и его и, вполне понятно, что он потерял оружие, то теперь офицер, стоя перед хромоухим, в крови и в ненависти, врагом, мог защищаться только плевком. Он хотел набрать сапоны, чтобы плюнуть. Он вытянул губы... плевком повис у него на мертвой губе.

Матвей побежал за следующим.

Он прыгал со ступеньки на ступеньку. Отстреливался, звал. Немцы разбегались от него. Матвей спускался вниз, поднимался вверх. Он уже забыл счет лестницам и дверям, которые он выломал и за которыми прятались немцы.

В большом и широком, залитом кровью коридоре, который вел к площадке со статуей, лежала едва ли не сотня убитых немцев. В конце коридора двери на площадку были забиты мешками с песком и обрезками балок. Убитый сержант, шесть мертвых и три раненых красноармейца, отстреливаясь из-за мешков, преграждали здесь путь к площадке — к Ленину! Раненый, отставшая в сторону ручная пулемет, сказал Матвею:

— Проходите, товарищ командир. Вам путь свободен!

И он смежил очи. Он дождался смены. Он мог теперь передать пост свой, который защищал от немцев почти три часа в смертельном бою.

Матвей вышел на площадку.

Бой заканчивался. «Дедловки» стреляли уже редко. Резервные наши танки, врезавшиеся в середину немецких машин, доколачивали их с тыла. Не помогла ни третья, ни четвертая волна танковой немецкой атаки!

Бой не изменил очертаний завода. Матвей глядел на них с наслаждением. Попрямому четкие и строгие, чуть разве поцарапанные, лежали цеха перед ним, внизу. Дворец падал к ним обрывистыми утесами. Направо, за уступом, поднимался и тянулся над Проспектом дым. Это горела библиотека. Но уже слышались шлепающие вздохи пожарной машины и шипенье струи... Тушили...

9

Когда все замаскированные рвы наполнились до краев, как мусорное ведро сором, разорванными плитами стали, исковерканными цилиндрами пушек, изогнутыми пулеметными торчащими еще лентами патронов; похожими на длинные челюсти гусеницами танков; ружья-

ми, револьверами, словом всем тем, что еще недавно убивало и калечило людей; когда с увеличенной яростью на изгибах рвов, из оскобых бетонных гнезд, вырывались пучки удрушающего и уничтожающего огня, фронтального и фланкирующего; когда попржнему знамя «Правды», принесенное из цеха в блиндаж, качалось от взрывов, но не падало; когда полковник фон-Паупель в великой тревоге отметил, что «бой присходит в недопустимо замедленном темпе развития», а генерал Горбыч прорычал в телефон: «Так их, хлопцы, так их!», когда, возле своего орудия и вместе со своим орудием, горел артиллерийский наводчик Птичкин, маленький, серенький, похожий на воробья и прозванный Воробышком; когда Матвей гонял вороватых и перепуганных немцев по всем залам и коридорам Дворца; когда на баррикадах города стояли с винтовками женщины и старики, стояли всю ночь, с опущенным от бессонницы веками, — тогда, вдоль цехов СХМ, по окопам, через бомбоубежища и газобуежища, то поднимаясь, то опускаясь на ступеньки, вырытые в сухой земле, несли в чересчур коротких носилках, с которых свисали его ноги, раненого Рамаданова. Иногда взрывы усиливались, — носилки ставили на землю. Земля тряслась. Все переглядывались, и какая-то сердобольная работница, пожилая и низенькая, в клетчатом платочке, дававшая умелые советы, куда и как поставить носилки, всхлиывая, спрашивала шопотом: «Откодит? Господи!» А затем, стиснув бледные кулачки, говорила яростно Короткову: «Как вам не совестно, затем вы мешаете человеку умереть, куда вы его несете?» А Коротков, бледный, испуганный, всплескивал руками над нею и восклицал: «Но ведь он приказывает, вы понимаете?» Сердобольная врид ли понимала его.

Рамаданов не чувствовал смерти. Наоборот, он чувствовал себя более сильным и бодрым, чем когда-либо. Правда, голова кружилась, и боль в боку возрастала, но разве здоровый человек не ощущает головокружений, — хотя бы от счастья, и разве не бывает случайной, затем исчезающей боли? Он лежал. Его несли. Но все же ему казалось, что он стоит, как хороший дом, который мало того, что опирается на стены, воздвиг внутри себя еще и столбы! Вдобавок душа его, как широкий дом в большой праздник, была полна народом и друзьями. Они говорили с ним, шутили. Он с ними говорил, шутил... Время от времени Рамаданов закрывал глаза и виновато улыбался, — так улыбается хозяин дома гостям, когда

его вызывают по делу на минутку. Взор его говорил: «Я бессилен в данном случае, извините, долг призывает меня, надо мне идти!»

Чем дольше его несли, тем чаще и чаще становились эти уходы. Подобно тому, как поросль у берега переходит в лес, так и уходы его в тьму удлинялись и переходили в нечто крепкое и высокое, что слегка тревожило его — ему хотелось обратно. Он открывал глаза. По выражению лиц, его окружавших, и по тому, что с каждым открытием глаз количество этих лиц возрастало необычайно, он понимал, что они очень беспокоятся о его здоровье и способны остановить носилки, пока не появится какой-нибудь авторитет медицинского мира. Ах, как не нужны, помешают все эти авторитеты! Ах, как он великолепно сам понимает состояние своего здоровья! Опасаясь, что они будут оживать профессора и авторитета, и желая дать им понять, что он превосходно чувствует себя, он говорил категорически:

— Несите меня домой!

Поднимались носилки. Врач, сопровождавший их, клал свисавшую с них руку обратно, на приятное, защитного цвета полотно. Сердобольная работница суешила у ног. Подходили сбоку рабочие, кое-кто глядел сверху с насыпи окопа. Тогда на плечи несущих падали куски земли. Сердитое выражение появлялось на их лицах, — Рамаданов невыносимо приятно было смотреть и на людей, и на окуп цвета светлой охры, и на лица знакомых рабочих. Однажды, сменяя инженера, к ручкам носилок подошел Никифоров. Увидав его, Рамаданов сказал:

— А краны?.. Любавскому?..

Всякая шелуха, окружающая обычно смысл человеческой речи, теперь, из-за напряжения, которое испытывали все, спала, и смысл того, что хотел сказать Рамаданов, был понятен с одного слова. Он говорил: «краны», — и все понимали, что он беспокоится о кранах, которых нехватает для демонтажа пресса «Болдвин». Любавский был инженер из НКВД, где, возможно, еще сохранились краны, и Рамаданов, таким образом, рекомендовал Никифорову обратиться туда за содействием. Никифоров почтительно снял фуражку. Никифоров почитал бокс, борьбу, всяческие спортивные соревнования. Он видал много стойких людей. Каждый из них по-своему здорово держался на ринге. Но так, как держится на ринге в борьбе со смертью этот старик, наверное было удивительно и для самой смерти!

Побежал конструктор Койшауров, тот самый, который ходил рано утром вместе с

Матвеем и Никифоровым на переднюю линию обороны. Он был бледнее, чем когда бежал от немецких танков. Рамаданов узнал его. Он пошевелил бровями и сказал:

— Опасность... опасно... — Затем, словно бы прополоскав горло, добавил: — Полторы тысячи тонн? Ладно!.. Впрочем...

Он, как понимал все, возражал Койшаурову. Он настаивал на своем предложении: Койшауров, опасаясь, что пресс "Болдвин" не дойдет в сохранности, предлагал сконструировать новый пресс, поменьше, в полторы тысячи тонн, и построить его в Узбекистане своими средствами. Рамаданов же: — Если уж на то пошло, — лучше придумать такой технологический процесс, где можно обойтись без применения прессы.

— Я о том же и говорю, что уже есть наметка, — крикнул ему Койшауров, прибежавший сказать, что у него в голове уже есть и приспособления, и технология, при которой можно обойтись и без прессы!

Врач остановил Койшаурова, Рамаданов, закрывая глаза, сказал:

— Несите меня...

Верные руки, послушные приказанию, подняли его. Они понимали, что "старик" не ищет укромного уголка для смерти, он вываливает смерть не как рыболов, он встречает ее как воин. Он требовал, чтобы его подчиненные несли его вперед, не обращая внимания ни на море огня, ни на горы земли, поднимаемые взрывами. — Через моря и горы нести меня! — говорил он твердый, хотя и слегка помутневший взор.

Рамаданова несли.

Его несли через окопы, цеха, мимо станков, печей, падающих молотов, прокатных станков, по складам в сборочном цеху, где, несмотря на бомбы и пожары, попрежнему, словно хронометр, конвейер отсчитывал одно за другим окрашенные в камуфляжные цвета противотанковые орудия. Лицо Рамаданова обдавали запахи красок, плавящегося железа, масла, распиленного дерева. Его несли мимо материи, которая именно здесь принимала все те причудливые и крепкие формы, которые способны защитить новое общество. Он улыбался этой материи, ее силе, ее форме.

Он открывал глаза и говорил:

— Большая котерга...

И все вспоминали его поговорку, которую он употреблял, когда сильно сердился, желая сказать, что для человека нашего общества нет предела в напряжении его сил: "Большая котерга для большой котерги".

Его несли мимо цветника. Толпа увеличилась. К нему бежали, не обращая внимания на сражение, на окрики мастеров и инженеров.

Солнце уже светило полностью.

Рамаданов покосился на цветник, о котором всегда заботился: под старость он любил цветы, в особенности резеду и гвоздику.

Цветник показался ему серым.

Он прикрыл глаза и стал проверять себя, не спеша и спокойно, как он проверял свои знания, когда, например, садился составлять какой-нибудь доклад. Рамаданов заставил себя пошевелить рукой. Она была почти недвижна. Он приказал ноге работать. В ноге чувствовалось окончение. "Надо спешить!" Он открыл глаза. За площадью, дымясь утренней дымкой, вставал Дворец. Сбоку, — бросив руку вперед, — шел на запад Ленин.

Он сразу узнал его. Как странно! Ведь еще совсем недавно Рамаданов говорил с ним, — ну да, на заводе Михельсона, — слушал его шутки... а затем, статуя, величие, особое величие вечности, которое чувствовалось в нем и тогда, но которое заслонялось тем, что... недавно еще, в Сибири, довелось сидеть с ним в уединенном низком домике, за самоваром, помнится, это было в субботу... деревянные полы были выскоблены, из соседней комнаты пахло шаньгами, смолистыми щепами и тулупами. Он взял стакан, желтая вага плеснулась... широкой полосой расплеснут Мечный путь... они вышли на безлюдную морозную улицу... Владимир Ильич сказал шутя: "Вот они, сибирские проспекты". И кругом стояли снега, и в небе стояли звезды, похожие на снежинки...

... Рамаданов открыл опять глаза.

Носиаки, на которых он лежал, вынесли на Проспект.

Он слышал за собой сильное дыхание большой толпы, сопровождавшей его носиаки. Он не любил пышности, но сейчас присутствие толпы было ему приятно. Отчего? Да оттого, что раз толпа, значит сражение окончено и окончено в нашу пользу! Неправда ли? Уж кто-кто, а Рамаданов знал людей. Эсхаэмовцы — народ, конечно, смелый, и они бы дрались с фашистами у станков, попробуй прорвись фашисты. Но надо быть трезвым, — вряд ли рабочие толпились бы вокруг Рамаданова, хотя он и умирал, будь фашисты на СКМ. Эсхаэмовцы тогда бы просто положили его на сиденье автомобиля... Несомненно, отбили немца, — подумал Рамаданов с торжеством. — Надо поприветствовать". Он видел Проспект, баррикады, разрушенные

дома, Ленина с простертой рукой... Над ним наклонилось лицо Матвея. Ну, конечно же! Ведь Матвей стоял на откосе и не мог покинуть его, пока не добьется победы. Рамаданов улыбнулся нечаянной радости встречи. Воображение его вспыхнуло последний раз. Он вспомнил цветистые и красивые разговоры, которые он вел недавно за кофе с Матвеем, и он сказал:

— Матвей... участок...

Он хотел сказать с витиеватостью, свойственной его интимной беседе: "Матвей Потапыч, участок дороги, на которой я сейчас стою, кажется, суть участок смерти. Вы молодцы, вам не след стать на нем. Прощайте".

Но этих его фраз никто не понял, а он сам не смог уже досказать их вслух. Перед его глазами мелькнул ветвистый орнамент, украшавший двери Дворца, в портале которого остановились его носиаки. Орнамент этот он спутал с грохотом и сверканьем поскакавших пожарных, которым Матвей тшкетно махал рукой... орнамент... дрожание лестницы... зеленые каски пожарных...

Рамаданов умер.

10

Итак, немцы отступили?..

Эсхаэмовские пушки пробили брешь в немецких войсках?..

Поковник фон-Паупель, тот самый, что брал Фермополи... —

— Где он? — спросил Матвей.

— Сейчас ключи принесу, — ответил политрук. — Мы его в винном подвале держим, место для него знакомое...

Как только политрук ушел, колхозники-партизаны, встретившие Матвея и его спутников у шоссе, наперерыв стали рассказывать о зверствах немцев, а в частности о зверствах полковника фон-Паупеля. "Разве можно существовать такому?" — звучало в каждой нотке их голосов, чувствовалось в каждом их движении...

Ненависть сотрясала Матвея.

Внезапно появившийся порученец принес депешу от генерала Горбыча.

— Депеша от генерала Горбыча, товарищ Ковалев! — воскликнул Силигура. — Разрешите вскрыть телеграмму.

Матвей резко сказал:

— Обожди.

Вышел политрук. Они пересекли площадь

и остановились возле длинного кирпичного сарая.

Дождь улегся. Слетели последние длинные лучи солнца. Пахло осенними листьями, и так приятно входили в эти запахи те запахи вина, которые неслись из сарая, где хранились некогда бочки с плодовыми винами, выделывавшимися в совхозе.

Политрук сделал знак рукой. Его помощник вставил многозубчатый ключ в старинный замок и толкнул во внутрь подвала низкую дверь, обитую железом. У порога внизу сверкнули тонкие серебристые полоски воды, скопившиеся здесь с дождя. Силигура не отрывая глаз от этих полосок, за которыми уже начиналась тьма подвала. Они напоминали ему след рыбы, метнувшейся из вечерней воды... Затем блеснули щегольские сапоги, и на пороге, прямо в луже воды, остановилась высокая фигура немецкого офицера.

Матвей достал револьвер.

— Позвольте, — сказал резко политрук, — вы что хотите делать?

— Убить, — ответил Матвей, глядя на генерала.

— У вас какие инструкции?

— Иди ты!.. К тебе не инструкция приехала, а Матвей Ковалев!

Матвей поднял револьвер.

— Ну, генерал, подходи! Не пришлось тебя в бою убить...

— Да, чего же, Матвей Потапыч, — сказал высоколобый старик, кладя руку на руку Матвея, — чего же на него советские патроны тратить? Ты уж позволь, мы его повесим! Он наших сынов-братьев вешал, а мы его! У него смотри, какая шея длинная, крепкая...

— Он хорошо висеть будет, долго!

— Наука!

— Всю эту Германию надо повесить, от мала до велика!

— Позвольте! — крикнул политрук, подбегая к Матвею.

Матвей оттолкнул его. Политрук упал на руки Силигуры. И тут тот вспомнил, что в руках его телеграмма Горбыча. Он разорвал ее. Сильно смеркалось, но все же он прочел: "Доставить, в случае пленения, генерала фон-Паупеля ко мне живым", — приказывал Горбыч.

Прочтя, Силигура огорчился. Ну, за каким дьяволом надо было читать эту телеграмму? Вот теперь, если ее огласить, то Матвей уже не только не повесит генерала фон-Паупеля, но даже и не пристрелит его! Силигуре раньше, по описаниям, был противен фон-Пау-

пель, а теперь, когда он увидел его, слегка склонившего направо голову и глядящего и смело и презрительно, он стал Силигуре совершенно противен. Но как же быть с телеграммой?

Высоколобый старик, скинув шинель, размахивал уже веревкой.

— Ну, так как, Матвей Потапыч, вешаем?!

Фон-Паупель, после тьмы подвала, отчетливо мог видеть тех, кто его собирался убить. Он видел высоколобого мужика с седенькой бородкой и черными усами. У него широкие плечи. В руках его веревка. Фон-Паупель глядел на политрука, о чем-то спорившего с хромоногим человеком, нервное лицо которого передергивалось.

«Ах, боже мой, как я побеждал!»

«Как побеждал! А теперь? Но разве одно поражение одной танковой части есть поражение всей Германии?» — с отчетливостью необыкновенной продолжал думать фон-Паупель, словно отчетливостью этой цепляясь за жизнь. — Да, поражение всей Германии, раз солдаты ее сочли возможным бросить знаменитого генерала фон-Паупеля! Значит, если он попал в плен, абсолютный дух победы и славы покинул Германию. Неверные сарадины побеждают».

«Побеждают?» — в ужасе от вопроса своего подумал фон-Паупель.

Он презирал русских, — как в последнее время он вообще презирал все народы, кроме германского. Ему казался совершенно невозможным какой-либо стратегически важный удар русских армий, а тем более на него, генерала фон-Паупеля! Да, умирают русские умирают, и умирают храбро, но они не умеют строить и умио двигаться, а движение в современной войне — самое важное. Сила, быстрота, плавность и стройность движения, — вот атрибуты победы, вот ее категорический императив!

Фон-Паупель, получив генеральский чин, решил ознаменовать его решительным ударом по русским. Он вновь, — в последний раз, — приказал атаковать город Р. со стороны СХМ и Проспекта Ильича. Последний и решительный раз! Конец городу! Нет пощады! Конец!

«Почему я не застрелился?» — все в возрастающем ужасе думал фон-Паупель.

А стояло! Во время последней атаки СХМ — он управлял ею лично — ему сообщили, что многие сотни русских орудий подкрались к войскам, охраняющим линию железной доро-

ги, — и атаковали их. Немцы не выносят чудовищного огня противотанковых... «К дьяволу психологию, умирать!» — воскликнул фон-Паупель, и ринулся к линии железной дороги.

Он не увидел линию железной дороги. Конвоировавшие его танкетки были уничтожены, а он сам... «Почему ты не застрелился?» — в яростном нестерпимом ужасе спрашивал он сам себя.

Он глядел в лица русских, окружавших его. Такими он видел их впервые. Перед ним словно бы раскрылись железные ворота сарацинских замков, и он — крестоносец — вошел туда невидимый, — и увидел истинные лица своих врагов. О, рыцари! О, крестоносцы! Прежде, чем биться с врагом, загляните за его забралом, разглядите его глаза, его волю. Дьявол его поberi, не от острых ли стрел минаретов родилась средневековая готика, и не сарадинам ли подражали рыцари, когда строили свои замки?

Фон-Паупель торопливо искал внутри себя презрение к русским, — и как проигравшийся игрок тщательно рассматривает свой бумажник, не находя ни гроша, так же тщательно были усилила фон-Паупеля! Не презрение, а нечто другое, — готическое, вассальное, страшное и унижающее, — находил в себе фон-Паупель.

Веревка? Неужели этот высоколобый старик хочет повесить его, генерала фон-Паупеля, как бандита, на веревке? Зачем разглядывает он деревья? И почему низки так сучья дубов?

— Я солдат, — воскликнул фон-Паупель. — Я имею право на пулю!

Но едва он воскликнул это, как последние капли мужества выпали из него. Внутренний голос сказал ему: «Да, ты имеешь право на пулю. Но почему же ты не застрелился тогда, когда крестьяне подбежали к твоей машине? Ах, ты отговаривал себя! Твердил, что это ошибка, что они бегут поздравить тебя с победой!»

— Прикажи начинать, Матвей Потапыч, — сказал высоколобый старик, желавший, чтобы все вышло по ритуалу: старший командир прикажет, а он с крайним удовольствием накинёт веревку на шею фон-Паупеля.

Матвей молчал.

Он глядел на генерала фон-Паупеля.

— Матвей Потапыч, — сказал Силигура. — Взгляните на депешу генерала Горбыча.

— Надо взглянуть, — подтвердил политрук. Матвей молчал.

— Значит, вешаю?

— Нельзя вешать! — воскликнул политрук. — Матвей Потапыч!..

Матвей молчал.

— Вести его к дубу, Матвей Потапыч?

— Эх, на осинку бы его вздернуть?!

Матвей молчал.

Как стремился Матвей сюда, чтобы отомстить фон-Паупелю, немецкому фашистскому офицеру, приведшему под родной город Матвея немецкие танки и войска! И вот сейчас этот офицер стоит перед Матвеем в жалкой позе, с каждой секундой сгибаясь все больше и больше, — и на душе Матвея только отвращение к нему.

Повесить? Пристрелить?

Фон-Паупель глядел на веревку.

Матвей глядел на него.

Друг фон-Паупель сделал движение, то самое движение, которое, по его мнению, есть мозг современной войны.

Раскрыв рот с толстыми синими губами, он бросился в ноги высоколобому старику, державшему в руках веревку.

Фон-Паупель припал к его ногам движением вассала. Этим движением фон-Паупель признавал все: свою ничтожность, свою ограниченность, свой ужас перед смертью, свое желание — жить!

И тогда Матвей захохотал!

Он хохотал, упершись руками в бока и откинув все тело назад.

Он вспомнил грозное лицо фон-Паупеля, его важный шаг, когда он выскочил из машины, — тогда, возле деревянного моста, — и, подняв палку, бежал к замученным и без того крестьянам. Затем Матвей вспомнил день с широкими белыми тучами, нестерпимо синее небо, — и толстое бревно виселицы, возвышающееся на площади села Низводящего. Он вспомнил комсомольца Семена, глядящего на него умным и твердым взглядом, крестьянина Охраменко, пожертвовавшего жизнью за жизнь Матвея, крестьянина, лица которого он даже и не разглядел тогда, — и опять деревянный

шаг фон-Паупеля и его недвижимое мраморное лицо всемирного победителя.

— Всемирного? Ха-ха-ха!..

Всемирного? Теперь это кажется удивительно и смешно, но фон-Паупель шел всемирным прусским шагом, так что звон от его железных сапог отдавался по всему миру.

А теперь?

Кто это лежит у сапог крестьянина, чтобы спасти свою шкуру? Не твой ли ученик, Гитлер? Не твой ли генерал, фюрер?..

Всемирный шаг? Ха-ха-ха!..

Матвей хотел неустойчиво.

Он хохотал то басом, то смеялся тонко-тонко. То он выбрасывал из себя смех отрывисто, а то хохотал такой ровной и длинной волной, что смех его шел по всему селу, и со всего села бежал к площади народ, как бы желая наполниться этим смехом.

В хохоте его слышалась насмешка, радость, восторг победы, — и надежда на главную победу, которой подвигнется века! Он радовался своей воле, своей сдержанности, — и даже, чорт возьми, — своей мудрости. Он понимал, что если он нашел в себе силы рассмеяться над генералом фон-Паупелем, то придет время, когда он будет смеяться над Гитлером. И, мало того, смеялся сейчас над фон-Паупелем, он смеется над Гитлером и его всемирным шагом! Ха-ха-ха!..

— Что пишет в депеше Горбыч? — спросил вдруг Матвей у Силигуры. — Велит отправить генерала фон-Паупеля в тыл? Угадал? Ну, что ж, отправить!

И он опять захохотал. И смех его был так убедителен, что захохотали все, и захохотал даже высоколобый старик, уронив веревку.

Хохотал и Силигура. Он хохотал с достоинством, как и подобает библиотекарю, да и кто, кроме библиотекаря, способен вспомнить в такие смешные минуты сентенцию о тех, кто будут смеяться последними, — а последними-то будут смеяться Матвеи!..

ГОРОД ЛЕНИНА

Твердыню славы
Над дымной Невой
В боях величаво
Стоит Ленинград.
Я с кровли собора
Глядел — изумлен —
На сказочный город,
На камень громад

И зодчества гений,
Глаза оторвав
От дряхлого мрамора
Александрий,
Глядел в изумленье
На облик его
В туманном сиянии
Слиянной зари.

Там в недрах огромных
Бессонных цехов

Гремит наливаясь,
Грозна и жива,
Стальными плодами
В железных садах
Расплавленная
Огневая Нева.

Здесь Ленина пламя,
Здесь Кирова дух
Воодушевленье
Даруют сердцам.
Как прежде во дни
Испытаний и бурь —
Опора они
Утомленным бойцам.
Два мощных крыла
У отчины — орла:
Те крылья зовутся: Москва,
Ленинград.

Два мощных крыла,
Два булатных щита
От черной грозы
Укрывают наш сад.

Величественно
Над Балтийскою мглой
Бессмертная
Ленина крепость стоит.
Не ползает змее
На груди у нее.
Смерть тысячам змей
Она в недрах таит.

Стоит она,
Несокрушима в огне,
Октябрьская крепость
В гранитной броне...

Перевел с узбекского
Владимир Джаринин

...

ЛЕНИНГРАД — УЗБЕКИСТАН

Ленина — город
Пушкина город,
Город — рассвет,
Город трудов,
Город боев,
Город побед!

Тебе я дары и привет наш — как зная — привез,
Я сердце свое и стихов своих пламя привез,
Я тоже — твой сын, твой любимец
и вскормленник твой.
Я душу отца узнаю благодарной душой.
За то и тебе я сыновнюю почесть воздам:
Ты — ад для врагов, для друзей ты — цветущий
Эрам*.

Когда загорелся Октябрь и растаяла тьма,

В бой мы спешим!
Рядом с твоим
Раскинем свой стан.
Знай, Ленинград,
Твой солнечный брат
Узбекистан!

Когда ликовали восставшей „Авроры“ грома, —
Страны моей сердцем, душой величавой
ты был,
Судьбою народов, сигналом и славой ты был!
Ты стал для узбеков взмывающим к небу
крылом,
И головы наши, ликуя, мы к солнцу несем.
За то и тебе боевая хвала воздана —
И доблесть твою воспевают моя Фергана!

Перевел с узбекского Кочетков

* Эрам, Ирам — райский сад.

КРЕПОСТЬ СЕВЕРА

О, крепость севера, свободы город.
Броней укывший твердь и воды город.
Замкнувший ордам тьмы все ходы город.
О, песня грозового года, город.

Твердыня славы, сколько носишь ты
В себе несметных сил и красоты.
Клубятся гады вокруг стальной пяты,
Но им не перейти твоей черты,
О, перл в венце родной природы, город.

Ты без числа в гроба врагов кладешь.
С землетрясением удар твой схож;
Бросает землю он и небо в дрожь,
Дрожит немецкий чорт, когда ты шлешь
На грозный бой свои заводы, город.

Стена батыров — дивный Ленинград.
Ты отразил ударов вражьи град.
Узбекистан — твой восхищенный брат.

Жизнь за тебя отдать я буду рад.
О, гордость моего народа, город.

Любовь к тебе горит в сердцах у нас.
Заплатит враг в последний грозный час
За кровь, что на стенах твоих лилась,
За каждую слезу из детских глаз,
За камни рухнувшего свода, город.

За все заплатит свора подлецов.
Куешь ты в битвах волю храбрецов.
Гром боя радует сердца бойцов.
С тобой Москва и вся страна отцов, —
А ты с Москвой — одной породы, город.

Народ гласит — лишь в испытанных мук
От живого отличен верный друг.
Тебя удав не обовьет вокруг,
Он сдохнет под ударом наших рук.
День блещет вслед за непогодой, город.

Перевел с узбекского Владимир Джаринин

...

ЗДЕСЬ ГИБЕЛЬ НАСТИГНЕТ ВРАГА

Здесь улиц разбег знаменитый,
Здесь блики, что янтари.
Здесь высекли мы из гранита
Багровые вихри зари.

Здесь ветер знамен алокрылых,
Здесь гибель настигнет врага,
Здесь русская слава покрыла
Широкой Невы берега.

Здесь камень последний нам дорог,
Здесь кленов зеленая речь...
И все это проклятый враг
Пытается рушить и жечь.

Так бейте их насмерть!
И станут
Могилой им наши луга.
Бей насмерть, бей грозным тараном
В крошечное сердце врага!

КЛЯТВА

Тишина. Призамолкла на час канонада,
Скрыто все этой режущей слух тишиной,
Рядом город бессмертный. За честь Ленинграда
Встали сосны стеной, люди встали стеной.

Тишина непривычной была, непонятной,
Предзакатною. Медленно день умирал.
И тогда вдоль рядов величавых, как клятва,
С новым воинским знаменем прошагал генерал.

Тишина перед боем. Враг, не жди, не надейся
Заберет тебя ночи чернее тоска.
Здесь готовые к битвам застыли гвардейцы,
Молодые победные наши войска.

Рядом были землянки, блиндажи в пять
накатов,
На поляне, в сосновом лесу, за Невой,

Обернувшись на Запад, на запад к закату,
Встала гвардия наша в полукруг боевой.

Знамя принял полковник. Снег на знамени
пеней.
Бахрому тронул иней. Даль застыла — строга.
И, охваченный трепетом, командир на колено
Опустился в глубокие наши снега.

И — клянемся — сказал он. И духом геройства
Вдруг пахнуло на рощи, поля и луга,
И тогда, без команды, опустилось войско
На колено в глубокие наши снега.

Тишина. Тишина. Все на миг онемело.
И тогда над холмом, за который деремса,
Над снегами, летящее ввысь прогремело,
Прогремело ответное слово:

— Клянемся!

...

Павел Герман

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДНИ

Снаряд попал в рельсопрокатный цех,
Разворотил пролет в подъемном кране,
Убил двоих рабочих на крыльце
И четырех осколками изранил.

Еще в цеху пожара стался чад,
Клубился дым угаром ядовитым,
Но слышно было: молотки стучат.
И входит жизнь походкой деловой.

...Весенний ветер сыростью дышал,
Чуть дребезжали стекла на Фонтанке,
Но город жил, работал и спеша
Чинил мосты, оружие и танки.

Работал цех, училась детвора,
Фиалки продавали у киоска,
Читали лекции профессора
И в клубе репетировалась „Тоска“.

Когда же в небе острые лучи
Туманность прошивали светлой ниткой,
Артиллерист профессора учил
Искусству управления зениткой.

...Так в эти дни, сквозь орудийный гром,
Сплошной обстрел и грохот канонады.
Отвагою, винтовкой и пером
Слагалась легенда Ленинграда.

...

Анна Ахматова

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ

И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг...
Но это был не городской
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат.
Но в грома влажность есть
Высоких свежих облаков
И вождение лугов —

Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить потому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

Ленинград. Июль 1941 г.

...

Шели в саду вырыты.
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!

Под землей не дышится,
Боль сверлит висок.
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.

...

Постучи кулачком, я открою,
Я тебе открывала всегда.

Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предаю никогда.

Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил,
Принеси же мне веточку клена
Или просто травинку зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой
Нашей невосковой студеной воды.
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

...

СТАТУЯ „НОЧЬ“ В ЛЕТНЕМ САДУ

В Ленинграде многие статуи для со-
хранности зарыты в землю возле своих
пьедесталов.

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой
Доченька!
Как мы тебя укрывали

Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры Любви.
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

...

ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДА

Невиданной славой
Увенчаны вы, —
Отважные дети
Великой Невы.
Мы в школе знакомились,
В те времена
Еще не шумела
Над нами война.
Тогда мы встречались
В Артеке не раз.
Забыть невозможно
Ни моря, ни вас.
Лишь месяц над Крымом,
Над морем взойдет,
Мы с чайками вместе

Вели хоровод.
Мы к морю — купаться —
Спешили с утра,
Чтоб вечером снова
Сойтись у костра.
Чтоб петь о прекрасной
Отчизне своей.
О разостном детстве
Счастливых детей.
Фашистские звери,
Проклятие вам!
Проклятие черным,
Неистовым псам.
Сказали фашисты:
"Возьмем Ленинград!"

Их черные крылья
Над вами свистят.
Вы держите стражу
На кровлях. И вот
Отбита атака,
Но враг у ворот.
И к новой атаке
Готовится враг.
Петлю приготовим
Для черных собак!
Оплатим за голод,
За холод, за кровь,
Чтоб в нашем Артеке
Увидеться вновь.

Перевел с узбекского Ник. Ушаков

ПОЛКОВОЙ УЧИТЕЛЬ

Маленький учитель, разговаривая с командиром полка, заслонялся от солнца рукой. Всадник смотрел на него, как с бичи. Конь был огромный. Под золотой шерстью, как зыбь по воде, играли мускулы. Конь перебирал длинными, шелковыми ногами. Он придвинул свою морду к самому плечу учителя и, скосив карий, веселый глаз, тронул его влажными ноздрями за ухо.

— Пошел вон, — отшатнувшись, вскрикнул Матвей Борисович.

Командир полка засмеялся и натянул поводья. Конь поднял голову и заржал.

Одуряюще пахла хвоя. Жег ноги песок. Небо было высокое, чистое. За стволами сосен бедела палатки.

— Вам будет трудно в полевых условиях, — сказал командир полка.

— Нет, я человек крепкой закалки, — возражал учитель. — О, когда-то я был видным парнем. Был крепкий, белый, как сахар.

После выпитого за обедом пива, которое учитель считал напитком неуклюжим и бесполезным, и выпил, чтобы не отличиться от остальных

мужчин, радовавшихся, что в столовую, наконец-то, привезли пиво, он был особенно решителен. «И на стрельбы я поеду, — думал он, — обязательно...»

Матвей Борисович знал, что может и не ехать, может спокойно провести ночь в палатке, под сосной, которую ему отвели, и утром, проснувшись от шороха веток над палаткой, смотреть, как под узловатыми сочленениями корней копошатся муравьи.

Но он решил ехать.

Он решил стерпеть все, — усталость и недоверчивое отношение командира полка, большую печень и грубости жены капитана Королева, которая, встретив его, спросила:

— Ой, товарищ учитель, и вы здесь?

Он с вызовом смотрел в небо. В реке купались красноармейцы. Они яростно колотили ногами по тихой воде.

Матвей Борисович решил тоже искупаться, аккуратно сложил на берегу свое белье, пошел немного, чтобы остыло тело, смочил себе подмышки, как делал когда-то его отец, входя в воду, и ринулся в реку с таким видом, словно это был океан, бурный и безбрежный.

Да, это было, как океан.

После тесной и жаркой спальни, после маленькой комнатки-кабинета, набитой пыльными книгами, где лежал его футляр со скрипкой и на стене висели портреты Бетховена — мощное, вопрошающее лицо — и матери, тихой еврейки в черном платке, заправленном за уши, после однообразной жизни, наполненной несбытymi мечтами, ссорами с начальством, наивными идеалами, заботами о хлебе насущном, — заночевать в лесу, слушать ночные шорохи, шелест берез, чуть белеющих в темноте, видеть над собой неясную россыпь мелких звезд в затуманенном небе, почесываться от укусов комаров, настойчиво насасывающих какой-то звук, напоминающий "си" на последней октаве расстроенного, старенького пианино.

Огромное н-бо над лесом, темное перед рассветом, предутренний холод, настойчивый крик ночной птицы, — волновали его. Он не мог сидеть на месте, бродил, смотрел, как устанавливаются на огневой позиции орудия, как связисты тянут провод через мокрый от ночной росы луг. На командном пункте, привалившись к насыпи, стоял лейтенант Бабченко. Капюшон плаща, накинутого на плечи, топорщился, как горб. Бабченко смотрел вдаль, на темный лес. Фонарь, стоявший на дне окопа, бросал тусклые отблески на его испачканные глиной сапоги.

— Как дела? — спросил Матвей Борисович, интересуясь подготовкой к стрельбам, но лейтенант не понял его и сказал:

— Очевидно, в условии была ошибка. Задача по ответу не получается.

— Удивительное дело, — раздраженно отозвался учитель, — я преподаю тридцать лет. И тридцать лет я слышу одно и то же: «Очевидно, в условии ошибка». Или: «Очевидно, в ответе ошибка». Решайте при мне, — он вытащил из бездонного своего кармана задачник. — Я вам докажу, что ошибки нет.

Бабченко послушно опустился на корточки у фонаря. Матвей Борисович заглядывал в тетрадь через его плечо.

— Ну, вот видите, вышла, — сказал он с удовлетворением.

Бабченко удивленно покачал головой. Начиная светать. Побледило небо. На дереве, проснувшись, завозились птицы.

— Мы с Соней решили пожениться... — вдруг сказал Бабченко, — осенью.. когда я вернусь из лагеря.

— С моей Соней? — переспросил Матвей Борисович.

Лейтенант посмотрел на часы.

Над лугом стоял легкий пар, — начало пригревать солнце. В траве мелькали желтенькие цветочки, как будто кто-то прошел здесь, закуривая, и одну за другой бросил на землю зажженные спички. На опушке стояла молодая, тонкая береза. Ветерок раскачивал ее шелковистые ветки, — и Матвей Борисович вспомнил Соню, когда она была маленькой, в белом платье с оборками, в желтых ботиночках, с бантом в распущенных, завитых волосах. В день ее рождения приходили в гости дети, и Соня, стоя на стуле, красная от волнения, читала в нос стихи. Такая же худенькая, такая же беленькая, как береза.

Матвею Борисовичу дали огромный бинокль, он приложил его к глазам, осмотрелся кругом, на зеленые кусты деревьев, темные — хвойные и светлые — лиственные, на поляны, проезжие дороги, поля.

Он не заметил, как подали команду, и услышал только гул разорвавшегося снаряда. На стеклах бинокля были нанесены деления; казалось, что сломянные деревья валяются на них, как на изгородь.

Медленно оседала поднятая взрывом земля. Орудия грохотали. Горизонт заволочко дымом.

Когда все стали расходиться по своим подразделениям, Матвей Борисович отозвал лейтенанта и сказал умоляюще:

— Я вас прошу об одном. Подумайте... Многие считают теперь, что любовь и брак это разные вещи. А когда становишься старше, тогда понимаешь, какое это благо — любовь. Если вы хотите жениться, то сто раз подумайте и проверьте — любите ли вы ее.

Матвей Борисович посмотрел строго в озадаченное лицо лейтенанта и почти крикнул:

— Можете мне верить, я знаю, что я вожу....

С лица Матвея Борисовича сошли морщины. Это заметил даже командир полка.

— Э, да вы у нас расцвели, — сказал он. — Сосна, — объяснил учитель.

Все уже привыкли к нему, к тому, что он неутомимо сует целый день по огромной территории лагеря. По вечерам он играл на скрипке в своей палатке. Вокруг под соснами собирались слушатели, они сидели на земле, обхватив руками колени. Матвей Борисович не видел их. Он, отбивая такт ногой, смотрел в небо, маленький и вдохновенный.

Дома он никогда столько не играл; жене его игра мешала спать. Она говорила:

— Матвей, мы тебе верим на слово.

И бесцеремонно убирала скрипку.

В воскресенье приехала дочь, — она была рассеянна и нетерпелива, недолго просидела с отцом, провела ладно по его редким водам, как будто погладила из вежливости чужую кошку, и ушла к Бабченко.

Соня похоронела — розовый румянец окрасил ее бледное лицо. «Любовь, — думал Матвей Борисович, — она его любит...»

Соня сняла пушинку с рукава Бабченко, и Матвей Борисович вспомнил, как ее мать сняла первую пушинку с его рукава, и он надеялся тогда, что полюбит ее, ее женскую заботливость и нежные руки. Ему хотелось, чтобы Бабченко полюбил Соню, он боялся, что тот не знает, какой у нее тонкий ум и математические способности.

Он хотел бы поговорить с ним, поближе познакомиться. Но Бабченко почти не бывал в лагере. Он проводил учения в поле, помногу часов не сходил с коня. Он назначал время для занятий с учителем — то в три часа ночи, то в одиннадцать часов утра.

В лагере все много работало.

Учитель редко заставлял командиров дома. Королева открывала дверь, прищурясь смотрела на учителя и грубо говорила:

— Его нет. Он в поле.

— Тогда я пройду к Кононенко, — настойчиво говорил Матвей Борисович и осторожно обходил Королеву, стараясь не коснуться ее тяжелого бедра.

— И его нет, — кричала Королева.

— Ничего, я подожду...

Он помнил, зачем приехал в лагерь: чтобы учить людей, чтобы урывать каждую свободную минутку, — все равно где — дома, на полигоне, у конюшни.

— Ну, и вездливый старик, — говорили ученики. Но они уважали и любили его.

...

Матвей Борисович вышел из палатки, луна стояла в небе, но уже светало. Летние ночи коротки. Он пошел по дорожке.

В конюшне беспокойно ржали кони. Под крышами амбаров ворковали голуби. Огромная рыжая кошка глядела на них с гребня крыши.

С дерева слетела птица, ринулась в траву и снова взлетела. И небо, и воздух были одного цвета — сиренево-синего. Синевата эта была плотная, густая, веселая.

Высоко в небе гудели самолеты.

Матвей Борисович пошел дальше, к реке. Песок на берегу был влажный. Матвей Бори-

сочит тщательно сгреб в сторону верхний слой, внизу песок был сухой и теплый. Он сел на песок и рассеянно пересыпал меж пальцами камешки, смотрел на тихие заросли за рекой. Камыш стоял неподвижно. Было уже часа четыре. Кто-то волновал воду в реке, не то плескалась шустрая рыба, не то ветер гнал волну.

Где-то далеко что-то протяжно ухнуло, чуть зашелестели на деревьях ветки.

«Гром» — подумал Матвей Борисович, но небо было ясное, ни единой грозовой тучи. А что-то рвалось за лесом, по земле катился гул. «Это стрельбы», — подумал снова Матвей Борисович.

Он долго еще сидел на берегу. Взошло солнце, стало тепло и весело, засверкала вода. На обратном пути уже было жарко, пришлось снять пальто. От бессонной ночи слегка гудело в голове, и Матвей Борисович не сразу понял, что происходит в лагере. Из конюшен вывели лошадей, вытаскивали орудия. Бежали люди. Проскакал на своем золотом коне командир полка. Матвей Борисович крикнул ему: «Доброе утро». Но тот не ответил. Учитель пошел к своей палатке, но палатки не было, торчали только колышки, и меж ними стояла чехоман.

И опять в небе запели самолеты, они шли низко, и Матвей Борисович долго не мог понять, почему самолеты вызывают в нем чувство тревоги. И вдруг он увидел, что самолеты черного цвета.

Это была война.

Матвей Борисович ощутил вдруг слабость в коленях и сел на свой чехоман с красными петухами, вышитыми на чехле. Но усидеть он не мог. Он побежал туда, где были люди, и узнал, что немецкие самолеты перелетели границу.

Командир полка сказал ему, что часть выступает к границе, а женщины и учитель будут отвезены в город.

— Почему же, — возразил Матвей Борисович, — почему в город? Я с вами...

Но командир полка закричал на него страшным голосом, и учитель присмирел. Он хотел хотя бы собрать классное имущество и побежал по ленинским углам отшпиливать со стен карты. Когда он вернулся, неся, как дрова, охапку свернутых в трубки карт, заведенный грузовик рычал, вздрагивая от нетерпения. Заплаканные женщины таскали в огромный кузов свои корзинки. Тоня Кононенко прижималась к мужу, он отрывал от себя ее тонкие руки, но она снова цеплялась и, перебирая ремни на его гимнастерке, твердила: «Володя,

Володя, не забывай». Королева в сапогах, с медицинской сумкой через плечо, оттащила ее от мужа и, почти подняв ее, перебросила через борт грузовика.

Машина тронулась. Учитель ткнулся в чье-то колено. Королева кричала вслед:

— Детей, детей в первую очередь соберите... Детей...

Она оставалась с частью.

Машина шла по ровной проселочной дороге. Высокие сосны смыкали наверху свои ветки, но откуда-то сбоку проникали солнечные лучи и устилали лес желтыми, веселыми пятнами. Машина выехала из леса на шоссе. По скользкому асфальту шли к границе колонны. — грузовики с пехотой, танки, прожекторные установки, орудия.

Шоссе повернуло к городу, в лицо ударил ветер, явственно запахло гарью. Рядом с шоссе шла трамвайная линия, звеня прошел трамвай с разбитыми окнами. Над городом стоял дым. С проселочных дорог сворачивали подводы с беженцами из пограничных сел, — мычали коровы, привязанные к телегам, пронзительно кричали поросята.

Горело предместье, боковые улочки, оттуда, как из печки, обдавало жаром. Ухватившись за борт грузовика, Матвей Борисович старался увидеть, что горит, но грузовик подбрасывало, он ничего не мог разглядеть, — только видел цепи милиционеров, пожарные машины, корыта, кровати и подушки, сваленные на мостовой.

На площади перед аптекой зияла огромная воронка. Асфальт разворотило. Дом, в котором помещалась аптека, был разбит, — дерево, стекло, камень, — все беспорядочно перемешалось, и только там, где был второй этаж, держалась полка с белыми аптекарскими пузырьками.

Жена заплакала, увидев Матвея Борисовича.

— Все еще спали. Так рано..., — твердила она, — я даже на базар еще не ходила.

Матвей Борисович прошел к дочери. Она лежала, закутавшись в платок, заплаканная, и рассматривала огромными глазами свои худые руки. Она вздрогнула, увидев отца, и поспешно спросила:

— Ты видел Колю?

— Видел, — ответил отец. — Он выступил с частью.

Соня помолчала и опять стала рассматривать свои пальцы. Потом она сказала:

— Я беременна, папа.

— Ну, и что же? — сказал отец, стараясь улыбнуться. — Очень хорошо. Тем лучше.

В комнату вошла мать.

— Я тебя снова прошу, я тебя снова умоляю, — торопливо говорила она, обращаясь к дочери. — Теперь не время иметь детей. Он может не вернуться, ведь это война. У меня есть знакомый доктор... Матвей, уйди отсюда...

Матвей Борисович вышел на улицу.

По радио передавали речь Молотова о войне.

Несколько дней Матвей Борисович провел, как в чужой. Он дежурил в домоуправлении, рыл траншеи-бомбоубежища, сидел на совещаниях. По ночам были воздушные тревоги, светили прожектора, били зенитные орудия. К утру все стихало, измученные люди вылезали из подвалов и траншей, веря, что это больше повториться не может. Но приходила ночь, и все повторялось с начала.

Матвей Борисович забыл о дочери.

Жена сказала ему виновато:

— Сонечке пришлось обратиться в больницу.

Матвей Борисович хотел затопать ногами и закричать на жену. Он только сейчас понял, что произошло, но голос прервался. Он вскрикнул. Он шел в больницу, ссутулившись, ему было стыдно, ему казалось, что все знают об его позоре.

Соня лежала на больничной кровати, измученная и жалкая.

— Зачем ты это сделала? — спросил отец. — Как мы ему посмотрим в глаза?

— Папа, это страшно... это так страшно... твердила она. — Хуже этого нет на свете...

Матвей Борисович не понимал, что говорила дочь, но ее страх и волнение передавались ему, он тоже плакал.

А в коридоре стонали раненые. Их везли с границы. Бежали врачи и сестры, сбиваясь с ног.

— Я как собака, — сказала Соня, — я никому не нужна. — Там люди с фронта... а я...

И она опять заплакала.

Матвей Борисович ушел из палаты уже вечером, когда Соня уснула. В коридоре было полумерно, стояли кровати, он пробирался меж ними, и вдруг увидел Королеву. Руки, голова его были забинтованы.

Матвей Борисович вышел на крыльцо. Луна светила, и ее ровный блеск лежал на холодных каменных ступенях крыльца. На крыльце сидела женщина. Ноги ее были раскорячены, спина согнута. Так сидят плотники после тяжелой работы.

— Мадам Королева, — сказал Матвей Борисович, — какое несчастье...

— Он выживет, — сказала Королева, — он здоровый, крепкий человек... Вы не знаете,

что за человек Королев. Этого никто не знает, кроме меня... От его батальона осталось не- сколько человек... Он один держал их два часа... я все видела в бинокль...

— Вы не знаете... как Бабченко? — спросил Матвей Борисович.

— Убит, — сказала Королева, махнув рукой.

— А командир полка? —

— Убит, — также махнув рукой, сказала Королева. И закричала грубо, как в лагерях: — Маленький вы, что ли? Не понимаете? Ну, ладно, сволочи, — крипало сказала она, — они нам за все заплатят, за все.

Она долго сидела, раскачиваясь и бормоча. Потом она умолкла и вдруг как будто это была не она, а другая женщина, сказала молодым, звенящим голосом:

— Как он меня любил. Королев. Я красивая была, полная. Как лебедь. Мое чувство к нему не переменялось. А его ко мне? Не знаю.

— Был бы только жив, — сказал Матвей Борисович, не зная, как он передаст дочери, что Бабченко убит. — А любит — не любит, это все пустяки.

— Был бы жив, это, конечно, — согласилась Королева. Но потом, как будто передумав, прибавила: — Нет. Я хочу знать, любит ли? Именно теперь хочу знать правду.

В городе завывала сирена, оповещая тревогу.

Где-то далеко разорвалась бомба, зазвенели стекла, захлопали двери. Больные стали переводить в подвал. Они выползали из палат, держась за стены. Плакали разбуженные дети.

Матвей Борисович взял на руки легкую Соню, но и эта ноша была тяжела для него. Он спотыкался.

В подвале он положил Соню на солому. Она молчала. Отец пожал ее руку и сказал, не зная, что сказать:

— Бабченко... замечательный человек.

Зенитки били густо, одна за другой, было нестерпимо трудно усидеть в темноте. Матвей Борисович пошел наверх. По коридору еще носили больных. Королева вела рослого красноармейца.

Матвей Борисович знал красноармейца, это был его ученик.

— Обопритесь на меня, Соколов, — сказал он и подставил плечо.

Он не помнил потом, сколько раз прошел с Королевой по палатам, она командовала, он подчинялся. Из операционной вышел доктор, руки его были в крови. Он прислонился к косяку двери и недовольно, стараясь не испачкать пипиросу кровью, закурил.

— Как Королев? — спросила жена.

— Плохо, — ответил доктор. И повторил: — плохо.

— Он крепкий, он здоровый, — поспешно сказала жена. И взяв доктора за руку, пыталась объяснить ему: — Он два часа один их сдерживал.

Матвей Борисович снова вышел на крыльцо. Темнота, стоны, звенящее от взрывов стекло, грохот — все это сводило его с ума, — он должен был увидеть небо.

Оно висело над миром, огромное и синее. Матвей Борисович поднял к нему руки, но душа его была пуста. В городе пылало зарево. Больница была на окраине, в огромном саду. Столетние сосны и вязы недвижимо стояли в темноте. Вдруг воздух заколебался, как в грозу, что-то толкнуло Матвея Борисовича в грудь, ослепило его, и он упал. Золотой конь командира полка проскакал над ним.

Он очнулся. Шелестели листья на сломанном дереве. Он лежал на траве.

Он не был ранен. Его оглушило.

Бомба упала неподалеку.

Матвей Борисович встал.

Корпус больницы был невредим. Он нашел свою дочь, она все еще лежала в темноте, на соломе.

Нужно было найти подводу и взять ее домой.

Город горел, пожарница дымились, копшились люди, собирая свой скраб. Тротуары были разворочены. Через центр нельзя было пройти, плавился асфальт. Матвей Борисович пошел по тихим, немощеным улочкам, с покосившимися домами, где он жил в детстве. Но и здесь все горело. Где-то в огне пищали котят. Матвей Борисович узнал свой дом, где жил в детстве, потому что на улице, у ворот, рос дуб. Женщины и дети шли по дорогам, навьюченные уздами. Матвей Борисович знал этих женщин, они учились у него когда-то, знал их детей.

Жена сказала:

— Надо уезжать... немец близок.

— Я не уеду, — сказал учитель.

Он стоял посреди своего маленького кабинета и смотрел на книги.

Жена громко сказала:

— Скрипку надо взять, она пригодится.

— Я не поеду, — закричал Матвей Борисович. — Я умру здесь...

Жена ломала руки. Ему вдруг стало жаль ее. Он вспомнил ее молодой. Она сняла пушинку с его рукава. У них были дети.

Он сдался.

Он достал подводу и поехал за Соней. Они долго сидели на вокзале, дожидаясь очереди на посадку в вагоны. Налетели самолеты и

обстреливали вокзал. Потом начальник милиции узнал Матвея Борисовича.

— Интеллигенцию мы эвакуируем в первую очередь, — сказал он.

Жена не преминула встать:

— Он никогда не пользуется своими правами. Он давно мог получить квартиру в новом доме, уверяю вас...

Ее мысли шли еще по привычному кругу, как ходит по кругу запряженная лошадь.

Люди лезли в вагоны, втаскивали мешки, кричали.

По дороге поезд обстреливали, состав отапливался. Пассажиры убежали в лес. Потом машинист давал гудок, и все собиравшись. Едкая летняя пыль забивалась во все поры, — пахло потом и горем. А навстречу шли воинские эшелоны, и красноармейцы, хмурясь, отворачивались от беженцев, как будто чувствовали себя виноватыми в том, что не подоспели вовремя на помощь.

Дыхание войны уже не чувствовалось. Кое-где убирали спелый хлеб. На полустанках продавали масло. На беженцев смотрели с любопытством и страхом, — они врывались в мирную жизнь, грязные, потные, в шубах.

Матвей Борисович, сидя на своей котомке, послушно ел, когда ему давали поесть, стоял в очереди за кипятком, когда его посылали, но все это он делал механически, не понимая, что делает. Он ничего не жалел, он не страдал от неудобств, он не страшился будущего. Но он не мог постичь того, что каждый поворот

колеса удаляет его от места, где остались его ученики, они дерутся, гибнут, — а он...

Мысли его были, как морской прибой, — однообразный, тревожный и неотвратимый.

А жизнь в эшелоне уже входила в колею. Как в большой корзине, все уминалось и перетряхивалось, сжималось, находило свои новые места.

Жена говорила с гордостью, как купец, расхваливая свой товар:

— Мы же семья военнослужащего. Ее муж — командир. И показывала на дочь.

А поезд все шел и шел.

Вагон мотало по рельсам.

Сын утратил свою обычную флегму, бойко бежал за кипятком и папиросами, аккуратно делил хлеб, выгодно обменивал полотенце на сало.

Жена вспоминала добро, которое она оставила. И во всем вагоне негде спрятаться было от ее голоса, которым она хвалила свои простыни и плюшевые одежды.

Дочь лежала пластом, не пила и не ела.

Вид Матвея Борисовича был страшен и отвратителен. Борода его стала серой, обвисла рубаша. Он ни с кем не разговаривал.

Наконец, он не выдержал. Он сошел на станции и пошел туда, где за косягом желтого поля, и мельница выставила на запад, как руку, черное, неподвижное крыло.

Матвей Борисович слышал как слабо, словно по обязанности кричала жена:

— Он сошел с ума, верните его, верните.

Он не оглядывался, и все шел, и шел, размахивая палкой.

М. Яновская

БУДУ ЖИТЬ!

(Рассказ старшего политрука С. М. Урицкого)

I

Недалеко от города Дубно, в густом сосновом лесу стояла наша дивизия. Там и застало нас известие о внезапном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз.

В дивизию принесли напечатанную на машинке листовку с речью товарища Молотова, и из нее мы узнали, что началась война.

Это было 22 июня в 14 часов. А в 18 ча-

сов был получен приказ командования войти в город Дубно и усилить находившийся там наш небольшой гарнизон. Вступив 22-го ночью в город, наша дивизия внезапно наткнулась на сопротивление изнутри, и нам пришлось сражаться не с немцами, а с организованной немецкими агентами группой фашистов.

Расправа была бы короткой, если бы к этому времени не подоспели немецкие танки. К сожалению, против этой машины сражаться

было труднее: танков у нас не было. Мы действовали только с поддержкой артиллерийских полков.

Трое суток длились бои за город Дубно. Много раз мы занимали город, и столько же раз нас оттуда выбивали. 25 июня командование приказало отступить и занять мосты, чтобы не дать возможности немцам переправиться через реку.

К концу второго дня мы впервые увидели немецкие самолеты. Летели они на большой высоте, и нас почему-то не трогали.

В этот же вечер стало известно, что в тылу у нас высадился большой десант, и в тыл отступать нельзя и что с обоих флангов движутся мощные танковые колонны немцев, итти им навстречу с нашими малыми силами тоже не было возможности. Мы оказались в окружении.

Два дня мы трижды пытались прорваться, но каждый раз вынуждены были возвращаться на исходные свои пункты, и каждый раз несли большие потери.

Утром 28 июня командование дивизии обещало создавшееся положение и возможный выход из него. Речь шла о том, что нужно уходить во что бы то ни стало, пока мы не подверглись нападению авиации противника. В это время сквозь гущу леса, в голубых просветах неба, показалось множество черных быстро увеличивающихся точек. Самолеты летели в направлении нашего тыла, поэтому они «мимоходом» сбросили на нас только зажигательные бомбы. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы сжечь и взорвать все машины дивизии. На них находилось имущество связи. Правда, людских потерь на этот раз почти не было. Уцелели даже наши связные собаки, но провода и телефоны погибли.

Наш обзор с продовольствием был отбит еще при отступлении за Дубно. Снаряды кончились, даже патронов оставалось мало. Ждать подкрепления — не откуда: от Шепетовки, где находились ближайшие военные склады, а не имея связи, мы не могли сообщить о своем положении.

Нужно было на что-то решиться. И у нас не было иного выхода, как итти напролом.

28-го ночью разведка донесла: немцы двумя плотными кольцами окружили нашу дивизию и какую-то еще, неподалеку от нас. Вражеские кольца расположены на близком расстоянии друг от друга. И именно в том месте, где кольца почти соприкасаются, — у Красной Гурки — нет танков.

Это была единственная возможность про-

рваться, «разломать переносицу очков», как сказал наш политрук.

Марш был назначен на 3 часа в ночь на 29 июня. Ночь выдалась темная. Итти лесом, когда тучи закрыли даже узкий серп луны, трудно. Мы шли молча и не очень быстро. Никто не стрелял. Немцы считали, что оторванные друг от друга и окруженные дивизии, у которых кончаются, если уже не кончились, боеприпасы, — находятся в их руках. А мы не стреляли потому, что для открытого боя у нас не хватало патронов, и нам важно было подойти к врагу вплотную, чтобы проложить себе путь штыком и гранатой.

Так оно и было. Дивизия приблизилась к линиям врага и штыками пробивала себе дорогу. Резня была долгая и кровопролитная.

Наша попытка прорваться, вероятно, казалась немцам таким безумием, что они даже сначала не приняли ее всерьез.

Только к 8 часам утра немецкое командование приказало открыть по нас ураганную артиллерийскую стрельбу. Но поздно — мы уже прорвались. Немецкие мины и снаряды поливали огнем только оставшиеся позади нас трупы.

Операция удалась. Но чтобы окончательно выйти из окружения, нужно было как можно скорее итти на соединение с частями Красной Армии.

II

Выяснилось, что командовать дивизией, собственно, некому. Ни командира дивизии, ни начальника штаба, ни начальника политотдела среди нас не оказалось. Из всего политического состава осталась одна я.

Кто же возглавит эту маленькую армию? Я сознавал, что не имею достаточно опыта, чтобы взять на себя военное и политическое руководство 800 бойцами. Но долго размышлять — значило погубить дело. И я решился.

Прежде всего я попытался объединить разобщенные подразделения. В разные стороны послал разведки.

Люди собирались по одному, по несколько, по десяткам. Не дожидаясь, мы все время двигались вперед, пробираясь лесом или густыми перелесками.

Часам к 12 дня один из разведчиков доложил мне:

— На бугре справа человек. В бинокль видно, что командир.

Это оказался полковник Песочин. Он командовал одним из полков нашей дивизии, но к исходной боя остался без людей.

Это был исключительно выдержанный коммунист. Чем сильнее опасность, тем спокойнее полковник. В боях за Халхин-Гол он был награжден орденом Красного Знамени.

К этому моменту нас собралось около тысячи человек.

— Товарищ полковник, вы явились, как нельзя более кстати, — сказал я. — Вы сейчас самый старший командир среди нас, и вы должны принять на себя командование частью.

Он стал возражать:

— Располагайте мною, как начальником своего штаба. Мои военные знания и опыт найдут применение и в этой должности.

— Товарищ Песочин, — ответил я, — мы оба с вами коммунисты, и все побочные соображения должны отступить перед интересами дела. Важно то, что вы будете лучшим командиром для нашей части, чем я, и это решает.

Тут же мы назначили начальника штаба и составили первый приказ командования сводного полка Н-ской стрелковой дивизии. Этим приказом я назначался комиссаром.

К вечеру мы собрали всех своих бойцов, ознакомили их с положением.

Не знаю, о чем думал в эту ночь полковник, но мне почему-то вспомнилось подполье, революционная молодежь нашего местечка, сходки в лесу. И слова Ленина: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, нам приходится почти всегда итти под их огнем». Я читал впервые эти слова еще совсем мальчишкой, тайком от своего отца, глухонемого еврея-сапожника.

С тех пор прошла целая жизнь. Из захолустного еврейского местечка я переехал в город, учился здесь ремеслу, стал заготовщиком обуви. Октябрьская революция, гражданская война, мое вступление в партию, партия, Красная Армия, бои с немцами...

И вот сейчас, после всего пройденного и пережитого, как бы повторяется далекое прошлое. Мы — тесная кучка бойцов — окружены со всех сторон врагами. Нам приходится итти под их огнем по трудному пути, на самом деле обрывистому. Мы с полковником Песочиним и со всеми бойцами крепко взялись за руки. Только бы нам не сбиться с пути, с Ленинского пути. И мы победим.

Мы расположились на отдых у опушки леса. Неподалеку, в темноте ночи вырисовывались могучие дубы. Они стояли на крепких ногах, и от них исходила бодрость. Ночь была удивительно спокойная. С неба на меня падали

звезды, и во сне они превращались в гигантские ракеты, освещавшие гигантские дубы.

Отдохнув, мы на утро наметили дальнейший путь. Решено было итти маршпутьем: Мизочь, Славути, Шепетовка. За это время к нам подходили все новые и новые группы бойцов. К 1 июля собралось уже около 5 тысяч.

Вечером двинулись. Ждать дольше нельзя было — все понимали, что вражеское кольцо сжимается все больше.

Все эти дни почти ничего не ели, если не считать продуктов, которые были в личных мешках.

Впервые удалось покормить бойцов только в Славути, да и то сухарями и соленой рыбой.

Я решил, опередив часть, съездить в Шепетовку и добыть на складах продовольствие.

Ясно было, что склады долго не уцелеют — все эти дни немцы бомбили и Славути и Шепетовку почти непрерывно.

Взял я в Славути три машины, договорился с полковником о месте встречи и поехал.

III

Армией командовал генерал-лейтенант Иванов. К нему я и явился с докладом.

Разрешите доложить, товарищ командующий армией, что остатки Н-ской дивизии из окружения выбрались!

Генерал вскоил и глянул на меня большими глазами.

— Где выбрались?

— Через местечко Мизочь.

— Ваша фамилия? Кто вы такой?

— Урицкий, бывший инструктор политотдела, ныне комиссар сводного полка Н-ской стрелковой дивизии.

— Покажите на карте, где вы проходили. Покажите точно! — приказал генерал.

Мы оба вынули карты, и я объяснил наш путь.

— Но здесь же нет дорог! — воскликнул командующий.

— А нам не нужны были дороги — с пулеметами можно и лесом пройти.

Командующий пожал плечами.

— Ничего не понимаю! Здесь стоят семь танковых дивизий противника. Как вы пролезли?

— Наша разведка нашла промехотку между танковыми дивизиями. Правда, промехотка была узким — я показал на карте, — но для нас он оказался достаточно широким.

— Но ведь это же сумасбродство! Впрочем такое сумасбродство можно простить! — Он

крепко пожал мне руку. — Кто вместе с вами проводил операцию?

— Полковник Песочин.

— Кто назначал?

— Я его назначил.

— Куда направляетесь сейчас?

— В Шепетовку.

— В каком виде люди?

А надо сказать, вид у нас был потрепанный! Шли дожди, приходилось нам пробираться в лугах, и камышами. Внешность наша, действительно, была далеко не воинская.

Генерал Иванов сказал:

— Не ходите в Шепетовку: ваш вид неприятно действует на население и на войско, которое находится там.

— Как прикажете двигаться? — спрашиваю я.

Генерал снова подошел к карте.

— Не доходя до Шепетовки есть поворот. Оттуда дорога ведет на Новоград-Волынский. Вот здесь, по этой ближней дороге — селение Котеленичи. Через него на Новоград-Волынский и пройдите.

— Есть! Товарищ командующий, дайте распоряжение на склад выдать нам продукты. Я убежден, что там найдутся мясные консервы, сахар, табак, свежий хлеб.

Генерал позвонил по телефону, и тут же при мне приказал:

— К вам придет старший политрук Урицкий. Дайте ему все, что он потребует.

Пожал он мне руку, и мы расстались. Я возвратился на машине к полковнику Песочину, предупредил, что Иванов приказал в Шепетовку не заходить, а идти на Котеленичи. Там по карте значится озеро. Можно разрешить бойцам выкупаться и постирать портянки. В Котеленичах же дожидаться моего возвращения.

Когда я со своими машинами въезжал в складской двор, на город налетело девять мессершмитов. Колонна автомашин, выехавшая навстречу нам со склада, на моих глазах была уничтожена.

Но все-таки я решил продукты получить. Нагрузив до верха свои трехтонки большим количеством продовольствия, я зашел в помещение склада расписываться в получении продуктов. Только я сел за стол, — взрыв! Такой грохот раздался, что все находившиеся в складе чуть не оглохли. Быстро поднимаюсь, выскакиваю во двор: из трех моих машин уцелели две: та, на которой я приехал, разлетелась в щепы!

Когда мы уже выезжали из города, мне сказали, что километрах в 25 от Шепетовки высадился большой немецкий десант и что туда направлены наши дивизии.

Мы ехали навстречу десанту. Поворот дороги, по которой нам надо было свернуть на Котеленичи, находился всего в пяти километрах. Я решил, что самое важное добраться до поворота.

По пути мы обогнали наши дивизии, шедшие на борьбу с десантом. Вид их успокаивающе действовал на возбужденные нервы. Доезжаем до поворота. Желтый шоссе-домик. Во дворе, за домиком, колодец. Останавливаю машины. Приказываю:

— Налить в радиаторы воду. Кто хочет есть, может пока подкрепиться.

А сам иду ноги размять немного. Засиделся. Огибаю домик. Подхожу к дубу — здоровый дуб, обхвата в три. Развесистый, тенистый. Прислоняюсь к стволу, закуриваю. Только хотел затануться, как вдруг кто-то вышибает папиросу изо рта. Обернулся — стоит около меня адъютант Захаров, рот у него консервами набит, а он не знает, то ли ему глотать, то ли просить извинения, что толкнул меня.

— Товарищ начальник, самолеты с фронта! — наконец выговорил он.

Глянул я на небо — три точки от Новоград-Волынска летят. По положению наши должны быть, а чувствую — враги. Смотрю в бинокль, но точки такие незначительные, что и в бинокль не видно, чьи это самолеты. Пока я соображал, рассматривал — самолеты уже были над нашими головами.

IV

С головного самолета отлетела бомба „РРАБ“ („чемодан“), разорвалась в воздухе и извергла из себя множество мелких бомбочек. Началась бомбежка дороги, по которой шли наши подводы.

Я покачал головой и подумал: „Так я и знал!“ Думал я это, вероятно, уже на лету. Меня подбросило с огромной силой... Под ногами я увидел вершину неправдоподобно большого дуба. Потом перед глазами замелькали дубовые листья.

Это было последнее, что я видел... Вниз я летел очень быстро, но показалось — долго... Упал на руку. На ладони ощутил кучку мокрых камешков. Это были мои зубы.

Я понял, что ранен в лицо. Но почему так темно? Ничего не вижу! Неужели я лишился глаз? Может быть, я потому не вижу, что ранен в лоб и кровь залила мне глаза? С трудом я вытянул руку и стал ею вытирать лицо. Чувствую сплошное мясо — ни носа, ни губ нету. Пальцами раскрываю веки... Ничего

не вижу! Значит ослеп! И тут я слышу крик Захарова: „Мотоциклисты!“ а потом приближающийся грохот автоматов. Нушупываю рукой левой верхний карман гимнастерки. Партилет со мной!

Я был в полном снаряжении. Когда я отвел руку назад, за револьвером, с плеча спустилась портупея. Рюкзак нагана я достал, а руку обратно вытащить не могу. Отчетливо помню все свои мысли в тот момент: „Скорее покончить с собой... Достать револьвер во что бы то ни стало и ударить обязательно в сердце... Прострелить партилет, не дать воспользоваться им для диверсионных целей“.

Вспомнил, что у меня тут на портупее пряжка и, если ее отстегнуть, рука освободится. Я повернулся набок, услышал крик: „Самолеты с тыла!“ И тут меня вторично ранило, на этот раз — в затылок. Я потерял сознание.

Очнулся я от того, что на меня лили струю холодной воды — тонкую струю, вероятно, из чайника.

— Ребята, добейте! — взмолился я.

Кто-то ответил:

— Брось, брось, товарищ политрук, мы еще с тобой повоюем!

Я протянул руку за наганом.

Слышу шопот: „Револьвер!“ Руку мою отбрасывают, и кто-то с силой вырывает из кобуры револьвер.

Меня перевязали, забинтовали все лицо, взяли за руки и за ноги и куда-то понесли. Я говорю:

— Поставьте на ноги — сам дойду.

До сих пор не понимаю, откуда у меня взялись силы, но до машины я все-таки дошел.

Машина тронулась, и я услышал, что нас обстреливают. По звуку я понял, что стреляют с самолетов.

В пути меня ранило еще несколько раз, и я потерял сознание. Потом оказалось, что ранен я в обе руки, в живот, в бедро, в спину — всего 24 ранения.

В течение девяти суток я много раз приходил в себя и снова забывался.

Помню, очнувшись я, где — не знаю. Лежу на земле, около меня трещит мотор самолета. Пошупал рукой партилет, сумку — все на месте. Слышу чей-то голос:

— Кто бы мог думать, что он выживет! Удивительно крепкий организм!

— Где мы? — спрашиваю. Женщина отвечает: „Летим в Житомир, здесь бомбят сильно!“ — Я хотел спросить, где это „здесь“ — не успел. Снова надвинулось забытие.

Очнувшись еще раз. Летим. Самолет сильно

болтает. Лежать мне удобно, покойно. И так мне захотелось посмотреть вниз — ведь я впервые на самолете летел, не приходилось как-то, — так захотелось, что я начал срывать повязки с лица. И снова потерял сознание.

Следующее, что я помню — свистки, гудение паровозов, шум, чей-то плач, крики женщин. Ощущение вокзала. Я на носиках возле поезда. Крикнул. Подошла женщина.

— Что вам, больной?

„Сестра, — думаю, — по обращению узнать можно. Значит, грузят в санитарный. А может наоборот — выгружают?“

— Где мы? — спрашиваю.

— На Житомирском вокзале. Эвакуируемся с госпиталем.

А лежу я в одной рубашке. Ни гимнастерки, ни сумки, ничего нет. У меня даже под ложечкой засосало.

— Где мой партилет? — крикнул я.

Сестра прислала ко мне политрука. А сама не уходит, чувствует, стоит поодаль.

— Товарищ политрук?

— Я.

— Где моя сумка и гимнастерка? В ней лежал партилет.

— Партилет у комиссара, сумка, вероятно, тоже.

— Позовите ко мне комиссара.

— Комиссар поедет с третьим эшеленом, а вас, как тяжело раненого, отправляют с первым.

— Я без партийного билета никуда не поеду.

— Товарищ, вам предстоят сложные и срочные операции. Вас нельзя ни на один лишний час задерживать, ваша жизнь в опасности.

— Наплевать мне на мою жизнь! Поеду с третьим эшеленом. Или давайте сюда комиссара!

— Сейчас придет.

Успокоился я немного. Жду. Вдруг слышу: шум, крики, стрельба. Самолеты над нами летят, и где-то недалеко ухают бомбы.

Спрашиваю политрука:

— Что тут происходит?

— Семьи военных эвакуируют.

— Может быть, тут и моя семья. Я здешний, житомирский.

— Как ваша фамилия?

— Я старший политрук Урицкий.

— Как! Урицкий! Миша!

Тогда я кричу:

— Кто ты такой?

Слышу свист, взрыв, совсем близко. Носилки мои подбросило, перевернуло, и я упал на землю. Снова кричу, позабыв о падении и

бомбежке. Так мне хотелось встретить кого-нибудь из близких.

— Кто ты такой?

Молчание.

Рассвирепев, в последний раз кричу:

— Отвечай!

Опять молчание.

Вне себя, начинаю вопить не своим голосом.

Подходит сестра с кем-то еще, поднимают меня с земли, кладут на носилки. Они подумали, что кричал я от боли при падении. Меня несут. Я начинаю шарить руками, нащупываю, кто этот второй, кто несет меня, помогаю сестре. Женщина!

Чуть не плача, обращаюсь к сестре:

— Сестрица, милая, возьми меня этого поллитру, он узнал меня! Кто он, где он? Я кричал ему, а он молчит! Это издевательство над раненым!

— Напрасно кричали, больной. Его уже нет. Убили.

Так я и не знаю до сих пор, кто это был.

V

Дальше началось мое путешествие по городам. Был я в Кременчуге, в Святогорске, в Чкалове. Валили мне много крови и спасилки. Только вид у меня, должно быть, был страшный. На девятый день удалось впервые влить мне немного воды в рот, но найти, где рот, долго не могли.

По-настоящему, так сказать, насовсем я пришел в себя в Святогорске.

И снова крепко засела в мозгу мысль о самоубийстве. Не оставило сознание, что я навсегда выбыл из строя. Много раз я пытался задушить себя, хотел перерезать вены. Но меня сторожили. Я стал требовать, чтобы меня повезли в Одессу к известному окулисту, профессору Филатову. Все надеялся на чудесное исцеление.

Ужаснее всего были ночи. Я не спал ни одной минуты!

Иногда мне удавалось вызвать в памяти лица близких друзей, жены, ребят. Но они скользили ненадолго. Их заслоняли от меня кружившиеся в воздухе дубовые листья.

Иногда меня охватывал такой животный страх перед моей могильной темнотой, из которой лет выхода, что я задыхался, срывался с койки, бегал по палате, сшибая все на пути, и выл... Выл по-звериному, как волк, падавший в капкан.

А утром приходил на осмотр врач и спрашивал:

— Опять весь в синяках?

Нечаянно я наткнулся на лекарство. В одну из таких безумных ночей я стукнулся лбом о металлическую ручку окна. И это прикосновение холода несколько успокоило меня.

Потом уж, как только приближался кошмар, я прямо шел к окну и прижимал свой взмыленный, липкий от пота лоб к оконной ручке.

Чаще всего по ночам я думал о своей никчемности.

Для чего жить? Чем заполнить свое нужное существование? Стать безучастным свидетелем неслыханных в истории событий и по утрам выслушивать прочитанную сестрой газетную сводку? Нет. Это не для меня.

Все чаще я вспоминал жену. Может быть, она помогла бы мне? Но захочет ли она оставаться женой такого изуродованного, беспомощного человека! Не скрою, вопрос этот все время волновал меня. Я прятал его поглубже, старался не думать, но он настойчиво всплывал в мыслях и мучил меня. (Пусть она простит меня за эти мысли, моя любимая жена, оказавшаяся настоящим человеком, женой и другом!).

Глаз у меня нет и не будет!.. А вдруг!.. Ведь в госпитале есть окулисты с мировым именем!

Очень слабая надежда, тусклая, как волосок лампочки в карманном фонарике, все-таки освещала наполнявший меня мрак.

Но вскоре и этот волосок перегорел!

Однажды поздно вечером, совсем в неурочное время, зашел ко мне наш доктор — окулист.

— Не хотите ли подзаныться немного? — спросил он.

— Чем это?

— Ну, хотя бы изучением системы письма и чтения по доктору Брайлю?..

И я оцепенел от ужаса. Слова доктора не оставляли и тени сомнения! Никакого «вдруг» не будет. Надо кончать!..

Я знал, что в моей комнате не оставляют острых предметов, ничего такого, чем бы я мог повредить себе. Но где-то около двери должен быть гвоздик — его всегда задевает тряпка, когда Ньюша протирает стены. Правда, прокалывать вены гвоздиком неудобно, но ничего не поделаешь!

Медленно, нарочно сдерживая движения, чтобы не шуметь, я встаю с кровати и осторожно поворачиваюсь так, чтобы итти по стенке. Сразу же натыкаюсь на ночной столик и больно ударяюсь бедром.

..Чорт! В палату могут войти!..

VI

Стискиваю зубы, чтобы не выругаться вслух, движениями пловца ощупывая вокруг себя пространство.

Стена. Иду по ней.

..Нет, гвоздик — чепуха! Попадется еще ржавый — умереть не умрешь, а заражение крови схватишь. Лечить будут!

Что-то хрустнуло под ногами. Нагибаюсь. Ощупываю осколки. Вчера я разбил склянку. Плохо подмели!..

И вдруг неподалеку от меня кто-то тоненько пискнул и зацарапал.

..Мышь!.. У меня волосы встали дыбом. Затаив дыхание, жду. Опять скребется.

Всю жизнь я боялся зубодробящего кресла и мышей. Не знаю, чего больше, но мышей я боялся страшнее!..

..Немедленно зажечь свет!

Шарю рукой по стене. Дверная рама. Где-то тут должен быть выключатель. Вот он, нащупал!.. — Щелк!.. Не горит. Снова поворачиваю — щелк!.. Темно! Еще раз!.. Света нет. ..Слеп!!

Никогда еще с такой болью я не ощущал страшного безнадёжного смысла этого слова! Я прикрыл рукой глазные впадины и сразу отнял руку: может быть, станет чуть-чуть светлее? Чернота, как всегда, обволакивала меня.

Хорошо помню, как я дошел до кровати и взял два полотенца, как тихо и поэтому мучительно долго открывал дверь, как добрался до туалетной комнаты, — вторая дверь по моей стороне! — как запер на крючок уборную.

Связал оба полотенца, сделал петлю и всунул в нее голову. Потом полез на ватер-стул и стал искать на потолке крюк, на котором висит лампа.

Шарю по потолку. С трудом удерживаю равновесие. Наконец, правой рукой нахожу крюк. Протягиваю вторую руку со свободным концом полотенца и... срываюсь.

Очулся я в палате. Женские пальцы, чуть-чуть вздрагивающие, держали мою руку повыше кисти.

— Сестра?

— Да, я. Лежите спокойно, больной. 61, 62... 72... Нормально.

Сестра до утра просидела около меня. Я думал: «Сторожит! Ничего не поможет — от смерти не устоишь!»

Но сердиться почему-то не хотелось. Сестру я не выгнал, на санитарку Ньюшу не кричал — «Убирайтесь поскорее с вашими тряпками!» — и даже удивил врача своей ленивой вежливостью.

Это была реакция. Мое физическое самочувствие немного улучшилось. Но от мысли о самоубийстве я не отказалась. Три самых больших ценности утратил я — трех китов, на которых держалась моя жизнь: зрение, партийный билет, семью. И жизнь потеряла для меня всякий интерес. Я досадовал на себя: неудача в уборной — целиком моя вина. Надо действовать осторожнее — все взвесить, рассчитать наперед, но раньше всего усыпить бдительность медицинского персонала.

Целый день я просидел на койке. Не хотелось есть, — странное было состояние! Сестра сидит около меня, а мне и не хочется, чтобы она уходила! Сидим оба — молчим.

После ужина заходит ко мне в палату больной один и очень робким голосом просит одолжить ему несколько листов бумаги.

А заходить ко мне в палату побаивались даже сестры и санитарки. Был я капризный, злой, никого знать не желал, просто бешеный был.

Удивило меня, что человек решился зайти. — Зачем вам бумага? — спрашиваю, а сам иду на голос и руку протягиваю.

— Здравствуйте, — говорит, а руки не дает.

Я привык к тому, что правой руки у многих раненых нет и говорю ему:

— А ты левую давай!

Парень молчит и руки не дает.

— У меня и левой нет.

— Как так?

— Да так, обе сгорели. В самолете. Я летчик. Мне по самые плечи отняли. Только кулачки остались.

— Как же ты жить будешь? — вскрикнул я и спохватился. Неловко стало. Чтоб замять свою бестактность — я спросил:

— Зачем тебе бумага?

— Я стихи пишу, — весело сказал летчик. — Доктор говорит, это, как корь у детей, у молодых бывает. А мне всего девятнадцать.

Мне стало не по себе. До сих пор я считал, что страшнее моего ранения и быть не может, а тут чувствую, трагедия побольше. У меня руки обе целы, и я ими что угодно делать смогу, а он!.. И главное — в голосе летчика никакой трагичности не чувствуется. Стихи пишет! Не знаю, что со мной случилось, но только такую нежность почувствовал я к этому мальчику, что, забыв про всякую тактичность, стал ощупывать его. Он не сопротивлялся. И даже как будто посмеивался!

Нашупал я остатки его рук и спросил:

— Как же ты пишешь?

— Хотите, покажу? Я теперь этим искусством полностью овладел — три месяца учился.

Он попросил меня вынуть из правого кармана его пишамы карандаш и бинт. Потом объяснил, как прибинтовать карандаш к руке. Я все это проделал, по совести говоря, не очень твердой рукой.

Потом пошли мы с ним к столу. Стал мой парень на колени у самого стола. Я положил руку на его правое плечо и по движениям чувствую — пишет!

Не знаю, какой у него был почерк, — не читал я написанного, но так меня потрясла эта встреча, что я от усталости свалился на кровать. Мне захотелось собраться с мыслями. Я попросил сестру оставить меня одного.

— Идите, опасность миновала. Даю вам слово, что ничего делать не буду и никуда не уйду.

Голос у меня был взволнованный, и сестра поверила.

Трудно теперь вспомнить последовательность моих тогдашних мыслей, трудно их высказать... Одно знаю — заразил меня этот чудесный юноша своим оптимизмом, влил в меня жажду жизни, и мне стало стыдно: «Двадцать три года партия и комсомол растили в тебе бойца, и как будто не зря — сумел целую часть у немцев из-под носа вывести. А теперь сдаешь! Не так уж трудно бороться, когда ты такой же здоровый и сильный, как все. А вот ты наберись мужества и воли и выкарабкайся из теперешнего ужаса. Научись видеть без глаз многое такое, чего не видят иные зрячие! Ведь ты коммунист. Жить можно без рук, без глаз! Важно только, чтобы мысль хорошо работала, и сердце, как прежде, билось за родину, за партию».

Не только можно жить, надо жить!

Ночь прошла горячая. Я лежал на спине и думал, думал. Конца не было моим мыслям.

Я потерял зрение. Но у меня обострилось осязание. Можно упражнять память, изощрить слух.

Безо всякой злости я вспомнил предложение окулиста воспользоваться системой Брайля. Надо изучить азбуку для слепых. Надо вооружиться терпением.

К утру все мои мысли собрались в одну, четкую, немногословную, решительную:

«Я буду жить!».

Долго в это утро никто не заходил в мою палату.

Я уже встал, добрался до окна и слушал шум просыпающегося госпиталя.

Зашла женщина-врач.

— У вас еще не убрано? А разве постель свою вы не сами собираете? — спросила она с удивлением.

Мне стало неловко.

«Надо будет все-таки собрать. Когда она уйдет».

Как всегда, мы долго беседовали с ней, сидя за столом.

Я скрутил себе папироску, пошарил в карманах и не нашел спичек.

«Наверное, лежат на столе».

Она, конечно, видит, что я иду, а не подает, как бы не замечает. Это меня рассердило.

— Дайте мне спички, они наверное на столе лежат.

— Да? А я их не вижу. Нету их.

— Как нету — раз не в карманах, значит на столе!

Пришлось самому искать.

Поискал, поискал и нашел — они лежали около нее.

Ко мне приходила дочка одного капитана — дружинница Женечка. Только она и могла выводить меня на прогулку — больше никого я не признавал.

Было это 10 августа — памятная дата. Вышли мы в сад, сели на свое обычное место, стал я ей жаловаться на доктора.

— Ну, хорошо, постель я кое-как сам собрал. Но вот сидим вместе, она видит, что я иду нужную вещь, видит эту вещь, а не подает мне. Это же возмутительно!

— А можно бы и не сердиться! Вы сами всегда говорили, что вас угнетает гаша полная зависимость от других.

— Это что, заговор?

— Да нет, почему бы вам, в самом деле, не попробовать постепенно отказываться от мелких услуг окружающих? Вы не подумайте, что мне надоело, но вам гораздо приятнее будет, когда вы сможете выходить на прогулку один, без моей помощи.

Это было жестоко! Думаю, ей самой нелегко было говорить, но очевидно, это действительно был заговор!

Очень задела и обидела меня последние слова Женечки, и я замолчал.

Сидим оба тихо, каждый о своем думает. Руки я на колени положил.

Вдруг чувствую около Женечки кто-то стоит. Потом слышу шопот, и по покачиванию Женечки корпуса, догадываюсь, что она рукой отгоняет кого-то.

— Кто здесь?

И вдруг крик — Миша! — и кто-то обнимает меня одной рукой.

Это был брат моей жены — Валя Перельман. Теперь, когда я вспоминаю подробности этой встречи, я понимаю, что встреча могла не произойти, а значит я мог бы так и не найти свою семью.

Валю Перельмана привезли в Чкалов 7-го числа и назначили в другой госпиталь. Ранен он был в руку, чувствовал себя хорошо и решил пройти по городу пешком, а не ехать со всеми в машине. Шел, шел он и пришел в наш госпиталь. Дело было в 10 часов вчере. А надо вам сказать, к нам, раненым, относятся в госпиталях необыкновенно тепло. Дежурный врач решил не отпускать Перельмана на ночь глядя, а так как в нашем госпитале были места, врач и предложил ему остаться — «не все ли вам равно?» — Вале и впрямь было все равно, и он остался.

И вот в течение двух дней он гулял в этом саду и только на третий решил заглянуть ко мне.

Узнал меня Валя, конечно, не по лицу, а по рукам. Все ждал, пока я заговорю, а я как на грех ни слова. Рискнул он подойти, ну и услышал мой голос.

Когда он обнял меня одной рукой, я вскрикнул: «Валя, где рука?».

— Рука-то ладно, а вот ты, Миша... — и замолчал. Может быть, он даже заплакал, не знаю.

Почувствовал я только, как Женечкин корпус снова поканулся — должно быть, она жестами приказывала ему замолчать.

— Ничего, Валя, я жить буду! Ты вот мне только семью помоги найти.

VII

С семьей я встретился уже в Ташкенте. Жизнь моя, да и я сам очень за это время изменились.

Как-то гуляя — все еще с Женечкой — в саду, я рассказывал ей — через много дней дружбы впервые рассказывал — свою историю.

Рядом с нами на соседней скамье сидели больные.

— Их трое? — спросил я Женю, кивнув в сторону больных.

— Откуда вы знаете? Говорит все время один.

— Я чувствую или слышу — мне трудно это разграничить — разные дыхания трех человек. Кажется, из них одна женщина?

— Правильно, — восхищенно воскликнула Женя. — А это как вы чувствуете?

— Ее дыхание легче.

— Поразительно.

Я улыбнулся.

— А знаете, Женечка, когда я рассказывал о Захарове, вы ведь побледили? Да?

Тут уж она просто испугалась.

— Вы колдун, Урицкий! Наверное я вздрогнула, а вы уж фантазировали.

— Нет, ничего я не фантазировал. Я смолчал тогда нарочно, потому что не могу вам объяснить этого! Понимаете, это какое-то неизвестное мне прежде чувство, и я сам не понимаю, как это происходит...

Я не уверен, что Женя поверила мне, но это было действительно так.

Довольно легко и быстро я научился писать и читать. Если б вы знали, с каким воодушевлением я прочел первые строчки первой книги для слепых:

«Кто видел Кремль в час утра золотой,
Когда лежит над городом туман,
Когда меж храмов с гордой простотой,
Как царь белает башни-великан?»

Я не только прочел это чудесное стихотворение, я увидел Кремль, увидел московское туманное утро! Честное слово, я был счастлив!

Стоит ли говорить о том, что по госпиталю я давно уже хожу один, что на своем столе да, пожалуй, во всей своей палате всегда все нахожу сам, и не было случая, чтобы я не взял нужную мне вещь сразу.

В последнее время я стал посещать наши госпитальные концерты, много читаю.

Жена моя давно приехала ко мне, ребята уже привыкли к марлевой занавеске на моем лице, «которую нельзя поднимать».

Впрочем, после оставшихся мне двух (пятой и шестой) пластических операций я приобрету, как говорят врачи, вполне приличный вид, и занавеска будет снята.

В госпитале я пробуду еще некоторое время. А там пойду учиться. Очень хотелось бы стать юристом. Трудно это будет, но думаю все-таки одолеть.

Недавно я встретила Урицкого в городе. Он шел один, без провожатого.

— А знаете, — сказал он, — нашелся и третий «кит» моей жизни: я получил свой партбилет.

КАПИТАН ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

1

Военно-медицинская комиссия. Председатель, раскуривая папиросу, искоса наблюдает, как женщина-врач пишет заключение.

Вопросительный взгляд женщины-врача.

Председатель кивнул головой, сказал:

— На пенсию...

Бросил взгляд на кабину, где шевелится ширма.

— Для него война кончена.

Поставил подписи на заключении и твердо приложил печать.

Ширма медленно раздвинулась. Из кабины вышел Георгий Львович Глаголин — капитан инженерных войск. Большой, застенчивый, с огромными плечами и руками, — он улыбнулся виновато на мгновение и в испуге смотрит на врачей.

Секунда неловкости. Старший врач нарочито пускает много дыма от папиросы и как бы мимоходом в клубах дыма говорит:

— Капитан инженерных войск, Глаголин Георгий Львович, мы вас решили освободить от военной службы.

Глаголин пошатнулся, но удержался на ногах. В руках фуражка с большим блестящим козырьком. Он смотрит на свою фуражку.

— Прикажете идти на пенсию?

На лбу у него выступил пот, обильный, крупный.

— В сорок два года прикажете на пенсию?

Врач хмурится, не отвечает, передает Глаголину бумагу.

Глаголин механически кладет бумагу в картуз. Картуз надет. Глаголин отдаст честь врачам. Выходит из комнаты тяжелой и развинченной походкой усталого и убитого человека.

Он в коридоре. Взглянул на молодого лейтенанта, который опирается на палку, увидел комиссара с огромным шрамом на лице. Проходит мимо них. Вдруг остановился, торопливо, жадно, слабо закурив.

И голос из-за плечей:

— А курить вы бросите.

Обернулся. За спиной старший врач.

— И пить не надо.

— Я не пью, — глухо ответил капитан.

Врач взял капитана под руку. Прошли к дверям на улицу.

— Езжайте в глушь... в лес, в горы... вам нужен год растительной простой жизни.

— Благодарю, благодарю.

— У вас большая травма.

— Я знаю.

— И вам еще жить бы, да жить.

— Спасибо за советы, доктор.

Он бросил папиросу. Козырнул. Спустился на улицу.

Тяжелая блуждающая походка.

Врач смотрит ему вслед. Сказал про себя:

— В такие годы инвалид. Погибший человек.

2

Он в своем госпитале в палате командиров. Поставил на стол легкий чемодан и огляделся. Ироническая и грустная усмешка.

— Майор Богров... — сказал капитан, — снимите с меня воинские знаки.

И вся палата с недоумением смотрит на капитана.

— Лично для меня война и служба кончены.

К нему идет майор Богров, молодой человек с прекрасным лицом. Он хромает и смеется.

— Вы в полной форме, капитан. Что случилось?

— Беда случилась, друг, беда. Врачи мне написали пенсию. Я инвалид.

К словам его прислушивается вся палата.

— Снимите знаки... а то мне самому... он взялся за свой воротник, — неловко это, неловко.

Майор в молчании взял бритву и осторожно со вниманием отрезал все, что надо, с воротника и рукава.

— Куда их деть?

— Возьму себе на память.

Глаголин быстро засунул в грудной карман отрезанные вещи. Подергиваются мускулы его лица. Привел в порядок свой костюм и что-то пересилил в себе, стал по-строевому.

— Прощай, Богров.

Палата взволновалась. Голоса с кроватей. Другие встали, идут к Глаголину.

— Почему же инвалид?.. Постойте, капитан... Врачи ни черта не понимают.

Глаголин сел на стол. Он в центре всей палаты — большой усталый, грустный человек.

Он говорит:

— Меня сожгла война, ребята. — Взял со дна картуза бумагу. — Тут написаны различные медицинские слова, статьи. Все это вздор. Я негоден жить. Вот в чем дело.

Люди переглянулись.

Майор Богров — мечтательный, мягкий — дотронулся до плеча Глаголина и сказал:

— Я тебя знаю, ты не пропадешь. Сейчас ты поезжай к семье.

— А где она, семья? Жена, ребенок, мать потеряны давно.

— Езжай к старым друзьям.

— А где они теперь?

Неся в руке картуз, Глаголин молча обошел палату, со всеми попрощался.

— Вы поправляйтесь, лейтенант. Еще повоюете.

— За вас, Глаголин, повоюю. Я злой.

— Прощайте, пилот.

— Прощайте, капитан. Вы не поддавайтесь...

— Попробую.

С иними молча.

И на пороге он поклонился всей палате. Сутулся и неловко он вышел в двери. За ним пошел майор Богров, следом.

Поровнялись в саду на аллее у выхода на улицу.

— Живи, Глаголин... — вдруг сказал майор. — Мечтай вперед еще на сорок лет. Загадывай себе надежды.

— Тебе, брат, только двадцать восемь. Мне сорок два. В такие годы не мечтают.

— А ты попробуй, — с наивной убежденностью сказал майор.

— Попробую, — Глаголин улыбнулся.

— Нет, ты серьезно. Это очень важно — мечтать, надеяться, стремиться.

— Спасибо, брат, спасибо.

Обнялись.

Глаголин пошел прочь.

3

Улица сибирского города. Глубокий тыл... Лето. Идет Глаголин с чемоданом, на руке шинель.

Играют в сквере дети, — «Сиди, сиди, Яша, в ореховом кусте. Тепло ли тебе, хорошо ли тебе?»

Глаголин против них садится на скамейку. Вынул портсигар. Поколебался, курить, не курить и закурил.

Достал из сумки какие-то бумаги, рассматривает. Рядом сидит какая-то личность — обитатель скверов, очередей. Лидо пройдох. Кепочка, помятый галстук.

Кашлянул.

— Демобилизовались?

Глаголин покосился и промолчал.

Личность, не смущаясь, следит за Глаголиным.

Глаголин перелистал книжку пенсионера и сложил, потом медленно разорвал на четыре части.

Личность ахнула.

Глаголин встал, пошел.

— Псих... — сказала личность. — Настоящий псих.

Глаголин выходит из сквера. За ним неслется песня детей:

«Сиди, сиди, Яша,
В ореховом кусте,
Грызи, грызи, Яша,
Орехов зерна.
Тепло ли тебе, холодно ли тебе?
Не обуть ли тебя, не одеть ли тебя?»

4

И в пение детей вливается разгульная сибирская песня под баян, перекрывает детские голоса.

Молодой и яркий живописностью фигуры человек, сидящий с вытянутой левой ногой в белой туфле, играет на баяне сибирскую песню.

Это обжитая российская теплушка с народонаселением в пятнадцать человек. И все они поют. Тут стол, самовар и водка и керосиновая лампа-молния над столом.

Теплушка эта в сборном составе подходит на вокзал, куда выходит Глаголин.

Под звонкий толчок паровоза теплушки стали против Глаголина. Сразу прекратилась песня.

Быстро спустились лестница.

Выскакивают люди, загорелые, по-дорожному одетые небрежно, и деловитые. Уносят ведра, чайники. Бегут на привокзальный торг. Кричат, беспокоятся. И только человек с баяном, неловко спустивши левую ногу, усаживается в расстворе и смотрит по сторонам, положивши подбородок на свой баян.

Он смотрит на Глаголина. Глаголин на него. Он живописен по костюму и лицом с резкими чертами, отразившими буйный темперамент. Как будто нагловат, небрежен от силы мускулистого сложения. Сейчас он в за-

думчивости, прямо, испытующе смотрит на Глаголина.

— Куда стремитесь, командир?

Глаголин нехотя ответил вопросом:

— А вам интересно?

— Конечно, интересно. Я тоже командиром был.

Глаголин глухо ответил:

— На родину хочу пробраться.

— На запад или на восток?

— На запад.

— Входите в наш курень. Доедем до Москвы.

— А вы — москвич?

— Нет, я байкальский.

— Зачем же едете в Москву?

— Ногу исправить.

— Не понимаю.

— Простое дело. Ногу дали мне в Иркутске. Ни к чорту не годится. Скрипит и портится. Хочу достать другую в Москве.

Говорит он грубо, простовато.

— Соединяйтесь с нами, командир. Тут все в Россию едут на запад. Народ у нас хороший. Дерьма мы не сажаем.

Он поднял от баяна голову и обернулся: — Эй, кто там... путешественники! Возьмите у товарища командира вещи. (Глаголину.) Соединяйтесь. Народ тут дружный, разнохарактерный...

В растворе показалась девушка.

— ...весь пострадавший от военной бури.

Девушка без промедления сказала:

— Давайте ваш чемодан и шинель давайте.

На девушке ситцевое платье с короткими рукавами. Бледное, открытое лицо. Глаза внимательные, с мягким выражением. Она нагнулась, протянула Глаголину руки, и он отдал ей свой чемодан и шинель.

Девушка скрылась в вагоне.

— Давайте для знакомства, — и этот человек протянул Глаголину руку. — Был старшим лейтенантом. Фамилия Кудрявин. А вы?

— А я был капитаном инженерных войск.

5

В теплушке нары, сплошные, в один накат. Сидит Глаголин отчужденно, присматривается. Глаза полузакрыты. У него бледное, неподвижное лицо. По стенкам пихта, ель, сосна, и на столе в горшке лесные цветы. Мальчишка лет пяти, голый, курчавый как амур, с венком из трав на голове, стоит против Глаголина, вы-

пятивши живот. Мальчишка с интересом рассматривает Глаголина.

Глаголин слабо улыбается.

В раствор вскакивает девушка. Она добавила в горшок цветов.

Мальчишка снял венок с головы и протянул его Глаголину. Глаголин отрицательно покачал головой.

Девушка засмеялась, бросила взгляд на Глаголина, тот тоже улыбнулся, взяла мальчишку на руки и унесла.

В глубине теплушки на накате, устроившись на чемоданах, покрытых одеялом, как на престоле сидит Андрей Кудрявин. Баян у ног. Кудрявин читает книгу "Робинзон Крузо". Задумчиво поднимает свои темные глаза от книги, обводит взглядом присутствующих и углубляется в чтение. В широкой позе, с вытянутой ногой, строгий и непринужденный, он царит над миром, окружающим его.

Тут ютятся фигуры второго плана, что-то делают.

И появляются в вагоне с двумя хлебами, с бутылкой молока, с мешком, откуда высыпались огурцы, пара молодых еще людей — супруги "Ю". Такова их кличка. Украинцы — Никола да Маруся, блистательные люди своим неуязвимым и полным счастья жизнеощущением.

— Вы познакомьтесь, капитан, — со своего престола говорит Кудрявин. — Супруги "Ю". У них нет дома, адреса, фамилии.

Глаголин с ними поздоровался.

— Вы демобилизованный? — спросил Никола. — По чистой?

— Да.

— Я тоже был демобилизованный по чистой.

Никола носит сапоги с голенищами, очень низко спущенными, с шикарной сборю. Штаны белые, просторные, рубаха украинская. Брит наголо. И кепка козырьком назад.

На секунду приподнял кепку и показал Глаголину страшный черный шрам на задней части черепа.

— Я думал, без головы останусь. Приклеили... (В сторону, с весельем.) Маруся, делай нам борща на ужин. Да, беритесь за свои дела. (Глаголину в упор.) Какую думку имеете, товарищ капитан?

— Хочу на родину.

— И далеко?

— Далече.

— А немцев там нема?

— Не знаю.

— А жинка есть?

— Всех растерял.

— Шо-шо, а жинка никогда не пропадет, найдется. Моя Маруся в Сибирь ко мне пришла. Пришла...

Он весь какой-то просторный, шумный, не разговаривает, а декламирует:

— Пришла и сказала мне: — «Никола, я твоя до самой смерти. Что хочешь делай, а я от тебя не уйду». А жинка... вы посмотрите сами... это ж вам женщина.

Оба они большие, статные, красивые. Маруся не смущается, не опускает глаз.

— Маруся едет в мой отряд. Смотрите на мою Марусю. Это ж вам женщина!

Глаголин спрашивает:

— Вы партизан?

— Начальник... Читали, может быть, в сводках — «Ю». А так зовут Миколу. Я артиллерист. Под Белой Церковью я получил осколок в голову. Мне дали чистую. Поехал до партизан. Опять поранили. А моя Маруся все меня шукала. Пришла ко мне в Сибирь. Теперь я буду со своею жинкою в отряде.

Теплушка двинулась. На фоне — девушка на столе режет коренья, малыш в венке грызет морковку, Маруся сечет кочан капусты. Кудрявин, отрываясь от книги, прислушивается к разговору и с озорством говорит:

— Вы, капитан, еще с Лизой не познакомились. Лиза, представьтесь капитану, скажите ваше ласковое слово.

Лиза вытерла руки. Кивнула Глаголину. У нее мягкое женственное лицо, глубокие доверчивые глаза. Первая подала руку.

— Листопадава.

— Глаголин.

— Вам нравится наша квартира?

— Мне люди нравятся.

— Да, мы все подружились.

И снова стала заниматься делом.

В растворе проходят сибирские леса — могучая таежная природа.

— Поедем ко мне в отряд, товарищ капитан, — вдруг говорит Никола. — Мы вам положим генеральское содержание. Что вы, контуженный, больной? Лес — самый подходящий

санаторий. Птицы, воздух, мед, говядина, сорок боченков итальянского вина, немецкий шоколад, французское варенье... Целые склады под землей. Свой самолет для связи. Двенадцать танков. Но нет у меня начальника штаба. А моя голова больная, покалеченная. Поедем ко мне в отряд, товарищ капитан.

Глаголин тяжело ответил:

— Я, брат, очень болен. Я нигде негодный человек.

— Равень?

— Что раны? Это пустое дело. Бывает хуже.

Лиза Листопадава вскинула на Глаголина свои глаза. Спросила:

— Вы устали? Хотите отдохнуть?

— Спасибо. Мне хорошо.

И вдруг со своего престола, потрясая растрепанною книгой, с буйным темпераментом сказал Кудрявин:

— Но жить-то надо, все равно! Я здесь читаю Робинзона... (Он добавил.) Крузо. Великий человек. Учитель жизни. Все мы — Робинзоны. Я потерял полжизни в двадцать восемь лет. Мне думалась петля. Пришел к жене на одной ноге и палке, целует, рада, говорит, — живи со мной. Я еду ногу получать. Вы можете понять такую комбинацию у человека.

С бесцеремонной мягкостью простого человека Микола подмышки сзади поднял и поставил на ноги огромного Глаголина:

— Лиза, скажите капитану... Разве он еще не капитан?

Стоит в смущении Глаголин.

Расхотался на своем престоле Кудрявин. Схватил баян.

Сказала Лиза, глядя прямо на Глаголина:

— Конечно, капитан.

Кудрявин заиграл какой-то туш.

Микола крикнул:

— Завербовали! Наш. Будет у меня начальник штаба. Маруся, скорей готовь борща.

Глаголин мягко и грустно сказал:

— Все равно. В лес, так в лес.

НЕТ, Я НЕ УМЕР

Прекрасны подвиги! Они имеют право жить:
Дела великие одни имеют право жить!

Имеет право обнимать просторы — свет один,
Лишь красный сокол в высоте высотам властелин.

Имеет право жить в веках лишь ненависть одна,
Имеет право жить любовь, и смерть ей не страшна.

Вовек бессмертье не умрет, не страшен славе рок.
Не говори, что умер тот, кто от тебя далек.

И что такое наша смерть? Забвение имен.
И умирает только тот, чей подвиг не свершен.

Нет, я не умер, нет, я жив, я между вас живу.
Зиме нельзя сорвать мою зеленую листву.

И если будет провожать меня твой нежный взгляд,
И если память обо мне соседи сохраняют,

И если спросят обо мне, я дам ответ такой:
„Пока живет колхозный строй — ваш не умрет герой“.

И если спросит обо мне рыбак, скажу ему:
„Я смертью храбрых пал, и смерть бессильна потому“.

И если спросит обо мне дехканья — друг полей,
Отвечу так: „Я пролил кровь, чтоб колос был полней“.

И если спросит обо мне печальная семья,
Скажу: „Герои не умрут, как не умру и я“.

И если спросит обо мне, звеня струной, невед,
Ему отвечу так: „Храбрец — вот рифма для сердец“.

Бессмертны честных имена. Высокий знает ум,
Что наша честь как бы дворец и слава — в нем ханум*.

Хотя в могиле я лежу, мой голос не угас.
Я — сокол в горной вышине: лечу и вижу вас.

Приходит жаркая весна, цветут мои края.
Тюльпаны красные в степи, и это — кровь моя.

И ненависть моя в любой из наших пуль жива.
В победной песне — и мои нетленные слова.

Живет дыхание мое в машинах новых дней.
Все лезвия и все клинки сплошь из моих ногтей.

*Госпожа.

Патроны пулеметных лент сплошь из зубов моих.
Я умер, но друзья живут, — бессмертно мщенье их.

Я умер, но в крови моей утонет каждый враг.
Я умер, но лежу в земле, чтоб был обилен знак.

Я умер, но рукой своей владею мастерски,
Сдавал я горло палачу, и не разжать руки.

И перед тем как умереть, взглянул я на восток.
И вздох я матери послал, поцеловав свой вздох.

И перед тем как умереть, на запад я взглянул.
И пулю западу послал, и свист пошел и гул.

И пуля звонкая летит в бездумной синеве,
И эхо звонкое висит и бездумной синеве.

И это эхо — вдовий стон и крик, и плач сирот.
И эту пулю каждый шлет вперед, вперед, вперед.

Она — военнопленных вопль. Она — тюльпан в огне.
Она — прабабка всех внучат, убитых на войне.

Всех мертвых женщин правый гнев как будто сплавлен в ней.
Она врагу грозит землей с могилы матерей.

Как завещание мое, она вперед летит.
Пусть я умер, — за меня отчизна мстит и мстит.

Пусть я умер, но живет моя святая месть.
Никто не станет отрицать, — что в жизни сладость есть.

Но лучше умереть, чем жить, оков не одолев.
Хотя живет живая мышь, — прекрасней мертвый лев.

Я поцелую не успев коснуться уст твоих.
Свой стих я родине дарю, хоть недописан стих.

Ты видишь, поцелуй скользит, взлетая над землей.
Ты слышишь, ветерок звенит мелодией глухой.

Скользит мой быстрый поцелуй — ташкентский акробат.
Канатоходец — поцелуй, а ветерок — канат.

Он — как струна, и поцелуй спешит к твоим устам.
Он повесть славную мою дарит твоим устам.

Пусть будет повесть обо мне тобой повторена.
Моих деяний пиала не до краев полна.

Я сеял. Дети у меня. И в них я буду жить.
Живу в мече, живу в пере, каких не затупить.

Сады в цветении — значит жив прилежный садовод.
Пылает факел — значит жив тот, кто его несет.

Взлетают крылья — значит взмыл под облака орел.
Звенят газели — значит взор красавиц не отцвел.

Арык лепечет — значит жив мираб — раздатчик вод.
Стихи читают — значит жив поэт и не умрет.

Сияет солнце — значит мир с его садами жив.
Разбита голова врага, и значит камень жив.

И если алый веет шелк — цвести родной странс.
И если помнишь обо мне — не умереть и мне.

Нет, я не умер, — жить и жить — мой радостный удел,
Еще от теплых уст моих мой дух не отлетел.

Не убирайте пиалы, пусть подождет она,
Еще красавица моя мне поцелуй должна.

Жизнь не угаснет. Наша мысль — как бы огонь живой.
Моя свободная страна не может быть рабой.

Все государство — плоть моя, и мне границы нет.
Не лучше ль день свободным быть, чем в рабстве жить сто лет

Засышав громкий голос мой, смутился Азраил*).
Он улетел, и значит я бессмертье заслужил.

Изображение мое республика хранит.
До слуха моего дошло, что стал я знаменит.
Нет, я не умер...

Перевел с узбекского Ник. Ушаков

*) Ангел смерти.

...

Хасан Пулат

КРОВЬ

Смерть обвила, как неподвижный змей,
Фашистов коченеющие ноги.
И льется кровь родной земли моей,
И кровь течет по миру без дороги.

Из капли крови, пролитой в боях,
Взойдут на завтра красные тюльпаны.
Они — твой цвет, о, родина моя,
Они — огонь твоей горячей раны!

И дети выйдут на цветущий луг,
И, голосу пролитой крови внемая,

Они припомнят нашу песню, друг,
Они за нас долюбят нашу землю!

И знаю я, что по крови моей
Пройдут мои товарищи в атаку,
Что эта кровь в сердцах моих друзей
Родит неистребимую отвагу.

Мой голос к вам придет издалека,
Он прошумит в полях моей отчизны...
Я буду жить, став жизнью цветка!
Я буду жить в победном марше жизни!..

Перевела с узбекского Светлана Сомова

...

Н. Ушаков

В СТЕПИ

Спят они,
не подложив шинелей,
позабыв и страх, и злость, и боль;
под луной мерцает еле-еле,
может быть, —
роса,
быть может, —
соль.

А быть может, —
соль с росой вместе...
батальоны — тысячи солдат —
от горящих
городских предместий

на ночлег последний
в степь спешат.

Могут выпастись солдаты вволю:
есть где лечь —
широк простор степной.
Пробегает перекати-поле,
только мертвых
видя пред собой.

От одних к другим перебегает,
заглянув в лицо и видя кровь, —
немцев и румын оно считает
и, сбиваясь,
начинает вновь.

...

Тимур Фаттах

ГОЛОС КРОВИ

Как рано в этом году,
Плоды созрели в саду!
Я спрашиваю о милом
У них — как в сад ни приду.

Свод яблонь над головой,
Склонясь, шелестит листвою.
И в шелесте их унылом
Я слышу: „жив милый твой...“

И радость в сердце моем
Стоцветным вспыхнет огнем.
Надежда встречи с любимым
Слетит крылатым конем.

... И вот на чудном коне
Лечу я, словно во сне,
Невидимым легким дымом
На запад, к другу, к войне.

Над миром — куда хочу —
Я быстрой птицей лечу.
Где слышится грохот боя —
Там милого я ищу.

Там с черной силой — грозна,
Героев бьется стена.
Земля полей подо мной
От вражьей крови черна.

Искала друга везде,
На суше и на воде.
Всю ширь земли оглядела —
А милого нет нигде.

О! куст моих роз в снегу!
Мороз на моем лугу!
— „Иль ты, — с моих уст слетело, —
Иль сдался ты в плен врагу?..“

Всего, что хотела я
Сказать, не успела я.
— „Взгляни!..“
Я вдруг услышала, —
И вниз поглядела я.

Не слышать бы мне того,
Не видеть бы ничего!
Я кровь у ног увидала,
Кровь милого моего.

Она ко мне подтекла
И ноги мне обожгла,
И — я услышала внятно —
И тихо произнесла:

— „Защитник ДОТа — я был,
Врагов без счета я бил.
Пред их ордой необъятной
Не дрогнул, не отступил!

И враг меня окружил
И, круг сужая, душил.
Взорвал я себя! и много
Врагов с собой уложил.

Чем жалким пленником быть,
Не лучше ль вовсе не жить?
Но в смертный час свой жестоко
Сумей врагу отомстить!

Но ты жива — жив и я!
Надежда мне — жизнь твоя.
В твоей беспощадной мести
Воскреснет сила моя.

Пусть пули твои разят
Врагов, как огненный град!
Чтоб ног отсель не унести им —
Бей их! Ни шагу назад!

Чтоб каждый удар твой лег,
Губителен и жесток,
Во вражью черную гущу,
Как смерч, как горный поток!“

...Все смолкло. И в тишине —
Где кровь текла, — как во сне,
Куст роз зазелел цветущий.
Но слышалось еще мне:

„За друга, за жизнь, за честь
Сверши священную месть,
Чтоб тьмы не стало гнетущей,
Чтоб мирно уснул я здесь!“

Перевел с узбекского Владимир Державин

...

Х. Гулям

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА

Поры грозовой не забыть никогда,
Пылающий бой не забыть никогда.

Друзей, чьи сердца закалила война, —
Всех призванных в строй не забыть никогда.

Волнение врагов, их смятение, страх,
Наш пыл молодой — не забыть никогда.

Глаза, словно уголь, в котором сверкнул
Огонь золотой, — не забыть никогда.

Победу мы вырвем! Но наших друзей,
Что спят под землей, не забыть никогда.

Им вечная слава, — да здравствует жизнь! —
Наш клич боевой не забыть никогда.

Перевел с узбекского Ник. Ушаков

...

Б. Мейлах

ПИСЬМА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

Наши письма — важнейший документ развита.

Герцен

В сводках Советского Информбюро мы почти ежедневно читаем письма немецких солдат и офицеров, захваченные частями Красной Армии. Попадают и письма, посылаемые гитлеровцам из Германии. Во всех этих письмах, как в зеркале, отражается звериная морда фрица и его жадной, тупой гнетухи. Гитлер сумел морально растлить не только своих солдат: с помощью фюрера потомственные прусские помещики расширили свои „горизонты“ до расуждений о степени „полноценности“ той или иной нации. Писала же осенью 1941 г. одна из таких помещиков фельдфебелю Эйгену Кроненбергу: „Говорят, что русские стали крепко драться. Трудно себе представить, чтобы такой невоспитанный народ требовал от нас столько жертв!“ В последнее время мир узнал о новой теме в немецких письмах: фрау рассказывают о купленных ими русских рабниках. Все эти письма — великолепный материал для изучения немецкого варвара образца 1941—42 гг., его непостижимой для нормального человека психологии, неустойчивости его настроения, колеблющегося между экзальтацией садиста и отчаянием труса, который уже предчувствует неизбежность своей гибели.

И в то же время, каким благородством, какой моральной чистотой отличаются письма

советских людей, посылаемые с фронта и на фронт! Сколько в них мужества, священной ненависти, вдохновляющей на подвиги! Советские люди скромны: интереснейшие для читателя письма, рассказывающие о героизме и несокрушимом единстве фронта и тыла, обычно остаются лишь достоянием тех, кому они адресованы, и редко попадают в печать. Будущий историк найдет и опубликует эти письма с теми же чувствами, с какими мы публикуем письма русских людей, повествующие о наших Наполеонах в 1812 г.

Однако, наша эпоха — особая эпоха. Творцы истории становятся летописцами: слишком велики масштабы битв, значение переживаемых событий. И было бы ошибкой не запечатлеть сегодня всего того, что позже может быть восстановлено лишь с большим трудом, а во многих важных подробностях и вовсе не восстановлено. Именно поэтому необходимо тщательно собирать письма советских людей с фронта и на фронт.

Многие из писем, переданных мне в копиях адресатами или авторами, исключительно интересны.

Ниже публикуется несколько из собранных мною писем.

...

1

Жил в Ленинграде художник Г. Он преподавал во Всероссийской Академии Художеств, знакомил студентов с сокровищами Эрмитажа и русского музея. Человек, горячо преданный искусству, он сменил сейчас палитру и кисть на винтовку.

Вот его письмо, адресованное академику Д. в Фергану:

13 П. 1942 г.

Дорогой А... И...!

За все время, что мы знаем друг друга, первый раз в жизни мы столько времени не встречались, не переписывались. Я не знаю

точно, где Вы находитесь, как живете; не знал, что с Вами. Только два дня тому назад я, наконец, узнал, что Вы находитесь в Фергане. Я получил Ваш адрес, а вместе с тем и возможность написать Вам — моему дорогому старшему другу. Много недель подряд я ведь совершенно не знал, где Вы, и признаюсь, сильно за Вас беспокоился.

... С первых дней войны я вступил добровольцем в ряды нашей Красной Армии и уже в первых числах июля был на передовой линии фронта под Старой Руссой. В течение июля и первой половины августа я прошел в боях весь путь от Старой Руссы до Новгорода и в числе последних оставил Новгород. Я видел, как этот наш древнейший город, город вече-

вого колокола, город Александра Невского и Васки Буслаева, город, где каждый камень говорит живым языком нашего далекого прошлого, подвергался беспощадной бомбежке и ураганному артиллерийскому огню. Я несколько ночей перед этим провел во рву под обломками стенами Детинца и, несмотря на грохот бомбежки и визг снарядов, любовался по утрам прекрасным кобальтово-синим силуэтом Софии. А через неделю строго-спокойные, прекрасные формы Детинца неузнаваемо изменились. «Жемчужина северного русского зодчества» гнила под ударами гуннов XX века.

Я увидел тысячелетние стены изрешеченные артиллерийскими снарядами, увидел обезглавленную Софию.

То, чего не сделали татары, сделали немцы.

Я видел развороченные стены Федора Стратилата, пожарище Спасо-Преображенского собора, покосившуюся звонницу. Я видел выжженные дотла деревянные кварталы города, где вихри пепла крутились между торчащих дымовых труб; видел, как свинцовые воды красавца-Волхова кипели от взрывов в вражеских бомб.

Да, многое я видел за это время.

Видел, как немцы с самолетов расстреливали наших мирных жителей, переселявшихся из прифронтовой полосы. Видел, как они бомбили поезда с нашими ранеными, несмотря на опознавательные знаки красного креста. Видел изуродованные ими трупы наших красноармейцев и мирных граждан. Кошмарные сновидения, ставшие явью.

И поневоле задаешь себе вопрос. Неужели немцы считались когда-то одним из наиболее культурных народов Европы? Неужели из Германии шло, когда-то, плодотворное веяние философии, науки, искусства? Неужели из их среды вышли Кант, Гегель, Гете, Бетховен?

Не веришь этому.

Современные немцы, отравленные ядом фашизма, развращенные Гитлером, не могут быть наследниками и носителями этой культуры.

Кем нужно быть, чтобы в гряду развалин превратить город-музей — Великий Новгород? Кем нужно быть, чтобы разрезать на части великолепного «Самсона» и отправить его бронзу в переплавку? Кем нужно быть, чтобы, проломав стену, втащить в «танцевальный зал» петергофского дворца орудия? Кем нужно быть, чтобы ободрали «янтарную комнату», заломать неповторимые «камероновы» паркетные, выжечь расстрелянные — тронный зал и антикамеры? Кем нужно быть? Дикарем?

Нет! Хуже! Дикарь не понимает ценности творения гения, а это животное понимает и потому пакостит. Может быть, моя ненависть к врагу носит несколько профессиональный характер, но я ненавижу его всеми фибрами души.

Даже не верится, что еще совсем недавно я водил Ваших и своих студентов по этим «священным» для меня местам. Совсем недавно еще мы проходили великолепной анфилады Екатерининского дворца, слушали окаменевшую фугу «Грота» и «Эрмитажа», восхитившую водяной симфонией «Самсонова ковша». Все это было еще совсем недавно, но уже кануло в далекое прошлое.

Да! Многие за это время изменились. Я сам стал другим. Если раньше все мои внутренние потенциалы были направлены на созидательный труд, творчество, непрерывное накопление знаний, то теперь мои мысли и чувства заполнены войной. Я крепко свылся с фронтовой жизнью, с окопами, с грохотом бомбежки, с вигом снарядов, кашлянием мин. Я побывал в ночных разведках, участвовал в облавах на «кукушек», не раз переправлялся через реку под артиллерийским и пулеметным огнем. Я ходил в штыковые атаки и привык к ощущению какой-то особенной внутренней собранности, которую испытываешь в этот момент. Я убедился, что мой организм хорошо справляется со всеми невзгодами фронтовой жизни.

Враг дважды чуть было не вывел меня из строя. Первый раз я был ранен осколком мины в левую руку; рана довольно быстро зажила, и я снова вернулся к товарищам на фронт. Второй раз я был контужен в спину. Здесь дело оказалось более затяжным, и я задержался в госпитале. Из госпиталя я пишу Вам это письмо. Ну, во всяком случае, немцы у меня в долгу, а не я у них. Двум немецким жеманам я помог овдоветь.

Велика сила привычки. Я и здесь, в госпитале, не мог оставаться без дела. Я стал рассказывать раненым о страшном звере-фашисте-завоевателе, о том, сколь тягостна для народа потеря его национальной независимости, о том, как можно, не жалея жизни, сражаться за свой язык, за Пушкина, за новгородскую Софию, за нашу культуру, за наше государство, за Родину. Я рассказывал им о «черных годах» на Руси былых времен, о том, как русский народ умел переживать «лихолетья», как он умел отражать удары всех и всяких захватчиков и никогда не покорялся врагу.

За последнее время я дважды побывал в Ленинграде. Город мужественно переживает все тяготы вражеской блокады, проявляя ис-

ключительную моральную стойкость. Я вспоминаю картину Рериха — «Град обреченный»: город, опоясанный телом огромного пятиногого «змия». Таким был Ленинград; только на головах рериховского змия нехватаю свастик. Но ленинградцев нельзя задумывать. Они разжимают кольцо фашистского змия, город дышит свободнее, и недолго тот час, когда он вздохнет полной грудью. Тяжелому испытанию подвергся город-герой, но устоял и теперь бесспорно устоит.

Я побывал у С... М... и матери. Они теперь сроднились как никогда; поддерживают, поддерживают друг друга всеми силами. Мы просидели до поздней ночи при свете копилки: за окном настороженно спал заснеженный город. Мы говорили о городе, о мужестве его граждан, о приближении часа разгрома фашистской сволочи под его стенами. Мы вспоминали, как когда-то собирались все вместе за столом; как мы, — Ваши ученики, — провозглашали тост за нашего учителя; как с увлечением рассказывали и слушали друг друга. Придет время, и наши «сократические встречи» — возобновятся.

... Я зашел на свою квартиру. Возле нее разорвался немецкий снаряд. Стекла вылетели вместе с оконными переплетами; мой письменный стол и книжный шкаф запоролось снежком, корешки книг поселились от инея. Мне было жаль только книг: они для меня — близкие, живые друзья. Моя жена в гор. С... Скушает и тоскует в одиночестве. А разлука еще кончится не скоро. Вся страна наша надеда сейчас красноармейскую шинель. И я не сниму своей шинели, пока наша земля не будет очищена от немецкой мрази.

Я шел по берегам широкой Невы, любовался заиндевелыми дворцами, колоннадой биржи, туманным силуэтом Петропавловского собора. Я на короткое время вновь встретился с прекрасным городом. Он был все так же прекрасен, — может быть, несколько более суров. Никогда нога врага не ступала по его улицам и площадям, — ни разу — с момента его возникновения. И теперь можно с уверенностью сказать — не ступит!

... Многие хотелось бы еще порассказать Вам, многим поделиться. Но письмо и так длинно. Сделаю в другой раз.

... Жду момента, когда нас с Вами удасть вновь увидеться. Думаю, что это время не за горами. Час освобождения Ленинграда приближается.

Крепко Вас обнимаю и целую, мой дорогой.

До свиданья. Ваш Сергей.

II

Следующие два письма не были получены теми, кому они адресованы. Так пусть же будут прочтены они людьми, чья воля и мужество, чья гордая благородная любовь и острая ненависть отражены в этих немногих строках.

Первое письмо было написано одной из ленинградских женщин.

Ей перевалило за пятьдесят, этой одинокой учительнице, не имевшей ни семьи, ни родственников, кроме брата в далекой Якутии. Труд рано состарил ее, отдавший около тридцати лет школе. Ученики заменили ей семью, они любили ее, воспитавшую много хороших честных людей. Они иногда заходили к ней, многие писали ей письма, вспоминая вдовственные уроки, на которых впервые постигали великую тайну слова и впервые знакомились с величественными образами русской литературы. Ее звали Вера Павловна, так же как и героиню романа Чернышевского «Что делать?», который она так любила. Казалось, что и сама она является героиней еще ненаписанного романа, эта русская женщина с гладко зачесанными назад волосами и прямым, открытым взглядом голубых глаз, слегка выцветших от многолетнего ночного чтения ученических тетрадок.

Жизнь в осажденном городе, из которого она не хотела уезжать, надломил ее изнутри. Для нее были губительны не только трудности быта, не только продовольственные лишения. Обладая необычайно тонкой психикой, восприимчивая ко всем радостям и горестям, которыми так обильна жизнь, она переживала каждое происшествие, случавшееся у знакомых и даже чужих ей людей, как свою собственную радость или собственное горе. Всегда в заботах, то веселая, то грустная, но неизменно внимательная ко всем, Вера Павловна, казалось, не отдыхала. Она настойчиво добивалась своего участия во всех будничных делах женщин фронтового города, начиная от дежурств ПВХО и кончая шитьем теплых вещей для красноармейцев.

И вот однажды Вера Павловна заболела. Обеспокоенная тем, что у ребенка соседки не прекратилась дизентерия, она еще с утра отправилась на край города в поисках целебной гранатовой корки. В этот день шел дождь, и все же одна за другой следовали воздушные тревоги. Вера Павловна промокла и, к тому же, много времени провела в холодных бомбоубежищах. К вечеру она вернулась домой, отдала соседке лекарство и слегла.

У нее не было недостатка ни в уходе, ни во врачебной помощи. У постели Веры Павловны постоянно дежурили друзья, но спасти ее было нельзя. Она лежала в своей постели похулевшая, точно девочка, с багровыми пятнами на щеках и заострившимся носом. Кризис наступил на четвертый день болезни, вечером. Электричество было выключено в этом районе — нехватало угля. Кончился и керосин. В час ночи она сказала:

— Я хочу умереть при свете.

Где-то у дворника достали фонарь „Летучая мышь“, предназначенный для аварийных работ. Фонарь поставили у ее изголовья. Она то забывалась, то, встреपунувшись, испуганно оглядывалась вокруг, как бы проверяя свое ощущение окружающего, как бы желая убедиться, что она еще жива. В три часа ночи она слабо сжала руку сидевшей рядом соседки и прошептала:

— Письмо под подушкой...

И ее рука бесильно соскользнула вниз. Она не успела закончить это свое последнее письмо, написанное в дни болезни. Она не успела написать и адрес на конверте. На двух вырванных из тетрадки листках неровным почерком было написано:

„Дорогой Володя, любимый сын мой!

Я называю тебя так потому, что все вы теперь наши родные. Ты рос у меня на глазах, и я помню, как твой почерк изменялся от робких детских каракуль до аккуратных цепочек строк, которые я так люблю читать. И когда в эти страшные дни ты уезжал на фронт, мне было больно, и гордилась я тобою, точно мать.

Дорогой Володя, это мое письмо, может быть, последнее. Мне очень плохо. Сердце мое горит от всего виденного в эти месяцы. Для того, кто знает, что бомбы и снаряды падают на улицы Ленинграда, вслушайся — Ле — нин — града! — кто слышал испуганный тихий плач детей около убитой осколками матери, кто видел в лазарете красноармейца с вырезанным фашистами языком, для того уже не может быть покоя. Если бы я не была слабой старухой, часы которой уже сочтены, если бы я имела силы молодости!.. Ты помнишь, родной мой, когда ты была в восьмом классе, я читала вам горьковскую легенду о Данко, который вынул из груди свое сердце, чтобы осветить людям путь к свободе. Помни о Данко. Пусть его сердце светит тебе в темную морозную ночь, когда ты лежишь в своем заснеженном окопчике, обдуваемом морозным

ветром и пронзительным ветерком вражеских пуль. Пусть его сердце светит тебе и тогда, когда ты идешь в бой за нас, русских людей, которые ни одного племени не обидели и которых враги наши хотят уничтожить.

Я умираю спокойной за будущее, за тебя. Моя память слабеет, и я не помню, как звучит любимое мое место из Чернышевского. Там говорится о том, что нужно всегда ясно представить себе будущее, приблизить к себе насколько только можно завтрашний день, и тогда будет легко. И я спокойна за тебя, потому что я представляю себе, вижу, как в день победы будут встречать тебя с цветами измученные войной женщины и девушки наши и ясно вижу их радостные лица. Береги себя, дорогой мой, не подставляй без надобности свою русую голову. Вы не можете не победить, потому что жизнь не может прекратиться, потому что факел наш неугасим, и если он выпадет из одной руки, его подхватят сотни других, и все-таки он будет гореть!

Я устала, мне трудно дышать, и письмо беспорядочное. Закончу письмо...

Докончить письмо не удалось. Оно осталось оборванным на полуслове. Так никто и не узнал бы, кому оно адресовано, если бы утром почтальон не принес конвертик с треугольной печатью „красноармейское письмо“.

Друзья Веры Павловны вскрыли его. Оно было коротким:

„Дорогая Вера Павловна!“

Через час я иду в жестокий бой. Ни один из нас не уйдет, Вера Павловна, пока не выполнит задание. Смерть или победа! Или, вернее, победа для жизни, хотя бы ценою жизни. В общем — врага в Ленинград не пустим, Вера Павловна!

Я представляю себе ясно, как вы сидите одна, в нетопленной комнате и при свете лучинки или копилки все читаете и читаете. Напишите, Вера Павловна, правда ли, что вы плакали, когда писали мне предыдущее письмо? Тогда почему же на нем расплылись строчки? Я отомщу и за ваши слезы!

Прощайте, Вера Павловна, или нет, до свиданья! А если со мной что-либо случится, вы, конечно, сможете поговорить с мамой.

Ваш Владимир Новиков“.

III

В январе этого года, мне довелось на несколько дней заехать в Чкалов. На вокзале, в ожидании поезда, я познакомился с женщи-

ной, прodelывавшей длинное и трудное путешествие из Орла в Среднюю Азию. Наше знакомство началось с того, что она попросила меня написать адрес на конверте письма мужу, в действующую армию („Я плохо пишу, медленной пойдет, а то и не разберут адрес“ — сказала она, мотивируя свою просьбу). Мы познакомились, и она рассказала мне свою потрясающую историю. Она разрешила мне сделать выписки из ее письма.

Вот оно, письмо Паши Захаровой своему мужу, танкисту Н-ской части Николаю Никифоровичу Захарову:

„Здравствуй, будь здоров, дорогой Коля! Давно я тебе не писала. Несло меня по свету из родного угла сама не знаю куда. Как вышла, как ума не лишилась, как еще хожу, как руки на себя не наложила. Пишу, а руки дрожат, слезы глаза застилают. Не узнаешь теперь, Коля, своей Паши. Никто моих лет не даст: как старуха стала, седею, морщавая. Другие говорят, не пиши ему правду, не поможет. А мы с тобой как сговорились правду писать, так я и хочу. Знай уж все как есть. Хотя в разных местах погорюем, кто еще так пожелает.

Так что, дорогой Коля, нет больше нашей доченьки, дорогой Марусеньки. Шлю тебе в письмо прыдочку ее волос, все что осталось. Как немцы Орел стали брать, я уложила кое-что, чтоб уходить. А тут с Марусенькой горе, в три ручья плачет, мама, куда, мама, боюсь, мама, дома хочу. А тут снаряды посыпают, кругом горит. Схватила я Марусеньку и пошла. Было нас 11 человек, вместе думали уходить, и с нами Поля, ее муж в партизанах, она и вела куда знала. Вещи сложили на тапки. Только немного прошли, слышим, стрельба. Все обмерли и смотрим, немцы бегут и стреляют. Убили Валю Павлову и ее Мишку. Подходит к нам офицер и заругался, куда идем и грозит всех перестрелять. Вещи на тачках велел солдату увезти, а нас прикладами разогнал по домам. Что было, всего горя не описать, но горе впереди. А вот когда немец Марусеньку увел на прививку, почувяла я копей. Как в ногах валялась, ни просила, такой, говорит, приказ для вашей пользы. И за ним ходить не велел, сам приведу. Но я пошла, и он меня кулаком, и я свалилась без памяти. А потом в глаза врет, дочка твоя паршивая, слабая, померла от прививки. Коля, я узнала у Тони Сергеевой, они у Марусеньки всю кровь выкачали для раненого офицера. Ручку перетянули жгутом, так всю и перекачали, пока перестала кровь течь. Она уже потом

охнуть силенок не имела, лежала бледенькая, с открытым ротиком и как рыбка воздух хватала губками. А потом в пустые жилочки шприц вкололи, чтоб скорей померла. А потом выдали мертвенную и, говорят, худая, от прививки померла. Уж как я убивалась и не брала меня смерть. А немец зубы скалит, ты, говорит, молодой фразу, пригодишься.

... Спасибо выбралась из Орла, помогли...

... Пишу тебе письмо на станции Оренбург. Сегодня поезд дальше, к Зине в Фергану. Ты пиши сразу туда ответ, а я оттуда напишу. Дорогой Коля, дави своим танком немцев, чтоб кости их вонючие хрустели, чтоб змеиная кровь ручьями текла, как нашей Марусеньки кровь текла. Коля, и еще напиши, как мне на фронт попасть Господи, хоть бы мне одного немца убить, а там уж и помереть можно.

... Целую тебя, Коленька, родненький мой. Одна осталась теперь. Я жива, здорова, хоть не думала перенести.

Останюсь вечно твоя Паша“.

IV

Письмо инженера Н-ского завода Л. в Действующую Армию своему другу Т.:
15. IV-1942 г.

Милый Сережа!

Ты все просил почаще писать тебе о нашем тыловом житье-бытье. А сам? Ты с фронта скуп на письма, а Валя волнуется. Таня теперь также на нашем заводе работает. Люська уже понемногу чего-то болтает. Все говорят, что „вылитый отец“. Она ведь, не забывай — исторический ребенок, родилась ровно 22 июня!

...Что ж тебе написать о нашей жизни? Иногда, когда я закрываю глаза, в ушах все еще стоит шум колес, и мне кажется, что я еду и еду. Сколько пережито за это короткое время! Мы работали на старом месте до последней возможности. Снаряды втащали в цех, но люди не уходили. Таня частенько к концу работы приходила встречать меня, как встречают летчиков их жены. Нас, правда, здорово обстреливали, и бывало, что кто-либо и не возвращался домой. Мне лично повезло. Раз, за несколько минут до того, как ко мне на стол упал здоровенный осколок, я вышел из комнаты. Испортили, черти, стол и погибла моя любимая ручка „Паркер“, которую ты все стачить хотел.

Но настали дни, когда пришлось эвакуиро-

ваться. Работали день и ночь, чтобы не только вывести завод, а вывезти так, чтобы быстро восстановиться. Мы взяли с собой все до мелочей и не только водопроводные трубы, но даже закопченную карту Европы, висевшую в нашем цеху, и даже табельные доски. Последний эшелон уходил, когда в другой конец города уже врвались немцы. В последний раз обошли мы пустые помещения, попрощались. Не скрою, в руках многих замелькали носовые платки... Даже Никитич, на что уж суровый, не выдержал.

Когда-нибудь я расскажу тебе подробно о нечеловеческом труде, который сухо выражается в двух словах: восстановление завода. Первые недели все — от главного инженера до чернорабочего — жили в страшной горячке, одним только — сделать, и никаких гвоздей! Мы высадились почти на поле. Так и жили первое время на воздухе, ели как в походе из полевой кухни и звонили по полевым телефонам, до одурения накручивая ручку. Территория завода представляла собой участок, огороженный колючей проволокой. Но цех, который строился почти два года, мы восстановили и пустили через два месяца после выезда с прежнего места. Пойми, через два месяца! Мы забывали, что есть на свете сон и отдых. Бывали минуты, когда мне казалось, что я от усталости падаю без сознания. Но я оглядывался вокруг и вновь начинал бешено работать. Общий подъем точно скидывал меня на гребень волны. И на 64-й день у меня на столе лежали штучки, которых ждали на фронте. План первого квартала мы выполнили за 59 дней. Получили благодарность от наркома.

Ты спрашиваешь о моем здоровье? Я и забыл думать о нем. Живу, как все, только одной мыслью, поскорей бы расширить проклятых колбасников. Посмотрел бы ты, как у нас нажимают, какие люди! Какие руки! Бывает, по полторы, по две смены выработывают. Есть два слова, вроде волшебного заклинания действуют: „Для фронта!“ Вроде скатерти-самобранки, только гостинцы несъедобные. А иногда подумываю, что пора бы и мне на фронт, будет в тылу. Я заикнулся директору, а он, чудак, взъелся. Говорит — „от трудностей бежите“. Это я-то!

...Ну, Сережа, расписался я. Наши все спят, все набегались за день. Не то, что дома, где все под рукой. Пиши, голубчик, почаще,

мы тебя все время вспоминаем. Будь здоров, дорогой. Крепко жму твою лапу.

Твой Алексей*.

V

Письмо из Действующей Армии красноармейца И:

..27.П

Леля, девушка моя любимая!

Наверно ты удивилась, что я зачастую тебе писать. Но, во-первых, я сегодня твое хорошее письмо получил, будто я твой голос слышу... Во-вторых, хочу тебе рассказать кое-что. Если б ты меня вчера видела, то до упаду бы хохотала.

Недавно выполнял я одно задание, залег в секрете. Мороз трескучий. Смотрю, что-то ползет в нашу сторону. Никак не пойму, старуха что ли? Пухлое, трепанное, во все стороны концы торчат. Подождала, пока оно стало ближе, потом вскакиваю и кричу: „Стой, руки вверх!“ Тогда оно вскокило и бормочет: „плен, плен“. Ага, думаю, немец! Батюшки, что на нем наматано! Голова и плечи обмотаны широченным шерстяным платком. Щетина рыжая, рожа прыщавая. А поверх шинельки напялено что-то вроде салопы, да не простого, а модного, со шнурочком. Слямзил где-то.

Повел его к командиру, все честь-честью. А потом, когда пришло время в разведку, думаю — пойду в этом маскараде. В случае чего, за своего примут. За выдумку похвалили. Напялил я на себя весь маскарад по форме. Ребята чуть со смеху не померли. Пошел, задание выполняю, узнаю огневые точки. Вдруг вижу, двое немцев крадутся. Увидели меня, руками замахали, может быть, подумали, что тот в салопе. Тут я их прикончил и прибыл благополучно назад.

Смех смехом, Лелечка, а еще двух немцев уничтожил, это факт. А я так думаю, каждый немец как верстовой столб, когда едешь. И чем больше столбов прошло, тем скорее приедешь домой и скорее буду я опять с тобой, мое солнышко.

Вот и весь мой рассказ. А из новостей еще: получил в честь годовщины Красной Армии в подарок посылочку и письмо хорошее из Джамбула от незнакомой девушки.

...Кланяйся Марье Павловне и отцу.

Виктор*.

Айбек

ВСЕ ОТЧИЗНЕ ОТДАЙ!

(Другу, уходящему на фронт)

Клялся родину ты защищать от врага.

Эту землю целую,
Ты клятву скрепи!
Сердцу сына да дадут
Как жизнь дорога
И сухая былинка
В родимой степи!

Необъятная родина,
Свет наших глаз,
В темном мире
Горящая ярко звезда,
Счастье нам приносящий
Волшебный алмаз,
Свежий сад нашей речи,
Любви и труда!

Мать великая наша —
Родная страна!
Нас вскормили —
Детей ее — Солнца сосцы.
Наша грудь к ней сыновней любовью полна.
Так умрем за нее —
Если надо,
Бойцы!

Ленин здесь
Свои орлиные очи открыл,
И отсюда —
До крайних пределов земли —
Светом истины
Сумрачный мир озарил,

И свобода, и счастье, и честь
расцвели!

И в саду колоссальном,
Что Сталин взрастил,
Дышит радостью
Каждый цветок и листок.
Это — мы! Мы — народ,
Средоточие сил!
Мы — могучий,
Бессмертный
творящий поток!

Мы на небе своем
Ни единой звезды
Не дадим
Черной вражеской туче одеть.
Ни единой песчинкой,
Ни каплей воды
Не дадим
Ненавистным фашистам
Владеть!
Землю родины
К векам своим приложим!
Где ни встретим врагов —
Истребляя,
убивая,
Жги в огне их дотла,
Окружи, задуши!
Жизнь и кровь и любовь,
Все отчизне в жертву отдай!

Перевел с узбекского Владимир Державин

...

Амин Умари

ПОБЕДА НЕ ПРИДЕТ САМА

Победа не придет сама, мой друг!
Ее добудешь потом ты и кровью,
Не усташась трудов и жертв и мук,
И дорожа свободой, как любовью!

Победа не придет сама, мой друг!
Стан в нападения львом — ее добудешь,
Душа врага в тисках железных рук,
На поле боевом — ее добудешь!

И знай: лишь за победой вслед придут
К нам мирный труд и отдых и обилие,
И вновь живые крылья отрастут
У тех, чьи в битве перебиты крылья.

Победа осушит потоки слез,
Вернет народу дни счастливой жизни,
Победа озарит миллион звезд
Великий путь, завещанный отчизне.

Победа не придет сама собой,
Ты в море пламенном ее добудешь.
Ни шагу вспять! Лишь стойкостью стальной,
Терпением каменным ее добудешь!

Ни шагу вспять, боец! Гляди вперед!
Ждет от тебя твой брат освобождения!
Кровь мучеников на тебя падет,
Коль ты за них не совершишь отмщенья!

Пусть каждый отвоеванный тобой
Вершок земли — стеной железной станет!
Пусть каждый твой удар и выстрел твой,
Бьет наповал врага иль на смерть ранит!

Ты за свободу обнажил свой меч,
Да ржа его позорная не тронет!

А труса, что уходит с поля сеч,
Родная мать с проклятьем прочь прогонит.

Когда же вражьи сил падет оплот —
Твоя над миром слава грянет звонко,
И птица счастья песню запоет
Над колыбелью твоего ребенка.

Победа не придет сама, мой друг!
Кровь проливая, ты ее добудешь.
На пире чести, севши в братский круг,
На сазе*) петь о ней ты будешь.

Перевел с узбекского Владимир Державин

*) Саз — струнный музыкальный инструмент.

ПИСЬМО С ЮГА

Из обугленных черным пожаром степей,
С Дона, руслом которого кровь потекла,
Я пишу ненаглядной подруге своей
Эти быстрые строки тоски и тепла.

О, любимая! В этой жестокой борьбе
О тебе я мечтаю, надежду тая.
Мое мужество — вечная нежность к тебе,
Моя сила — далекая ласка твоя.
Я о родине думаю — ты предо мной
По узбекскому полю проходишь весной.

Как она далека, золотая пора —
Наши светлые ночи, веселые дни,
Шелестящие пышной листвой вечера,
И в вечерней тиши мы за книгой — одни.

Ты припомни — стояла звезда над холмом,
И райхон*) густолистый качался в цвету,
„Тихий Дон“ мы читали у лампы вдвоем,
И подолгу молчали, смотря в темноту...
Было тихо. Ты рядом со мною была.
Но позвали дороги. И юность ушла.

Нас баюкала ранняя жизни весна
В заповедном саду, в мире песен и роз.
О, тогда мы еще не познали сполна
Сладость жизни и горечь непролитых слез.

Мы не знали, что счастье приходит в бою
Каменистой тропой, по колено в крови,
Мы не знали великую силу твою,
Первозданная ярость, праматерь любви!
Школу жизни прошел я, фашиста убив,
Кровью вражеской Дон голубой обогрив.

В чайхане предвечерней — напевы струны,
Поседевшая прядь материнской косы.
Голубые потоки моей Ферганы,
Горный мед золотой на фарфоре касы*)

И тоскующих горлинок „кюи — кювьи“
В тишине, в темноте виноградных ночей,
И озябшие детские руки твои,
И сиянье твоих огорченных очей,—
Все во мне оживает и в сердце стучит,
„Защити нас от гибели!“ — сердцу кричит.

*) Каса — большая пиала.

Испытанья, невзгоды — пусть будут они!
Без привала походы — пусть будут они
Пусть горят на мне волосы в буре огня,
Коршун пусть по клочкам растерзает меня —
Даже став придорожным курганом седым,
Даже глиной болотною — мы победим!

„Путь врагу прегради!“ — Волга шлет мне наказ,
И Некрасов над ней свои руки простер,
„Путь врагу прегради!“ — повторяет Кавказ,
Руставели ко мне обращает свой взор,

А земля как вулкан под ногою кипит,
И металл дребезжит, раскален добела.
Даже нам, очевидцам неслыханных битв,
Битв, страшнее которых не знала земля, —
Горсть земли, что отбили в бою у врага,
Никогда еще так не была дорога.

Нет дороги врагу! Нет дороги врагу!
Я штыком ему грудь проколю на бегу,
Подползу и изрежу его на куски,
Задую его в тине глубокой реки,
Сердце вырву свое, высоко подниму —
И гранатой брошу под ноги ему!

Если немца сегодня, сейчас, не убью,
То меня он убьет, то убьет он тебя,
Дом родимый сожжет, искалечит семью,
Истребит все живое, зубами скрипя.
Если штык мой фашиста к земле не прибьет,
Пусть отныне запретна мне будет любовь!

Пусть отец мой навеки меня проклянет,
Пусть свернется во мне материнская кровь,
Пусть тогда долгожданные губы твои
Для меня станут ядом гремучей змеи!

Если я не сумею врагов истребить,
Этой клятве великой смогу изменить,
Ты исполни священную волю земли —
Ты сама приезжай и меня застрели!

... Из объятых пожаром донецких степей,
С Дона, ставшего черным в крови и дыму,
Я пишу ненаглядной подруге своей,
Дорогому народу пишу своему.

Перевела с узбекского Светлана Сомова

Уйгу

ТЮЛЬПАНЫ

(Другу на фронт)

Перед тобой пунцовые поля:
Цветут тюльпаны, полагаешь ты,
Но ошибаешься — в крови земля,
Перед тобою вовсе не цветы.

Но можно думать так: — Здесь жизнь цвела.
Здесь май стоял в цвету, и цвел июль,
И пламенел в степи тюльпан — лола,
И щелкал в роще соловей — буль-буль.

Но мирных соловьев здесь больше нет,
И степи не в тюльпанах, а в крови,
На Украине миллионы бед,
И в рощах пули, а не соловьи.

И реки крови льются без конца,
И это — кровь и женщин и детей,
Кровь брата твоего, и кровь отца,
И кровь сестры, и матери твоей.

Но если хочешь, чтоб лола сияла
И прославляла буль-буль твои пути,
Священной мести подыми фиал
И отомсти, и дважды отомсти.

Но если хочешь смыть всю кровь с земли,
И если хочешь, чтоб цвели луга,
Возьми винтовку и патрон дошли,
Прицелься лучше и убей врага.

Перевел с узбекского Ник. Ушаков

*) Райхон — род мяты.

ПОРТРЕТ

„Пусть я онемею за слово лжи,—
Пришли свой портрет — я утешусь им...“
Так пишешь ты мне. Но мой портрет
Тебе неужели необходим?
Ты хочешь лицо мое повидать,—
Оно — как луна — точь в точь, — погляди,
Ты хочешь кудри мои увидеть,—
Не спи, — на безлунную ночь погляди.
Ты хочешь брови мои увидеть,—
Как тоненький новый месяц они.
Ты хочешь мои глаза увидеть,—

На самые светлые звезды взгляни.
Ты щеки хочешь мои увидеть,—
Отправься гулять на тюльпанный луг.
Ты хочешь губы мои увидеть,—
Взгляни поутру на розу, мой друг.
Ты хочешь зубы мои увидеть,—
Поведай жемчугу просьбу твою.
А чтобы всю меня повидать,—
Старайся быть первым героем в бою.

Перевел с узбекского Лев Пеньковский

...

Хамид Алимжан

ЛЮБОВЬ

Пришла смущенная — с букетом роз:
„На память сохрани“ — сказала ты.
В моих глазах застыл тоски вопрос,—
Мне руку обожгли твои цветы.

„Сегодня молодость — слуга войне,
Судьбу любви решит судьба войны.
Проверить на святом ее огне
Все чувства наши мы теперь должны.

А если не вернусь.. Мой милый друг...“
И влагой грусти взор твой налился.
„Ты не забудешь обо мне“... И вдруг —
С твоих ресниц закапала роса.

Я удержать не смел тебя, не мог,
И сердце в западне забилось вмиг.
Мне в нежности твоей звучал упрек,
Я совести своей услышал крик.

Да, нам теперь пути другого нет,
Бескровной нам нельзя шагать тропой.
Как солнце месяцу выходит вслед —
Я на войну ушел — вслед за тобой.

Нас разлучила грозная война,
Но в сумке я твои цветы держу,
И родины и милой имена,
Скача в атаку, с нежностью твержу.

Как бешеных зверей, врагов губя,
Жестоко мстя за родину свою,
С клинком в руках — стремлюсь к тебе,
любя;
Струна любви не молкнет и в бою.

Чем горячее бой, чем он грозней,
Чем яростней врагов крошу клинком,
Тем поцелуй мой мысленный нежней,
К тебе летящий легким ветерком.

А может быть — скитальцами в веках
Стать нашим поцелуям суждено?
Но любящим сердцам, презревшим страх,
И в гибели бессмертие дано.

И землю обогрив — такая кровь
Страну родную оплодотворит,
Она возвысит дружбу и любовь,
Пути побед грядущих озарит.

Нет, не исчезнут наши имена!
На празднестве победы — будет час! —
С живыми неравне почтит страна
Овеянных легендами — и нас!

Вновь Украины расцветет краса,
Позолотит она поля свои,
В зеленые российские леса
Слетятся петь нам славу — соловьи.

И колосом пшеничным встану я,
И заискрюсь горячей кровью вин,
И заиграет в розе кровь твою,
Речную гальку превратит в рубин...

Нет, жизни храбрых — смерть не отберет,
Любовью смелых озарится мир.
Любимые друзья! Родной народ
Победы ждет! Мы явимся на пир!

Перевел с узбекского Лев Пеньковский

...

ДЕРЕВЦЕ

Друг мой далекий! Весною в саду
Дереvence ты посадил,
Дереvence это гляди на звезду,
И набирается сил.

Дереvence стало высоким как ты —
Пышным, как майский рассвет.
Белые мне протянуло цветы,
Словно от друга привет.

Ночью, когда в задремавшем саду
Травы окутает тишь,
К деревцу я в темноте подойду:
„Тоже не спишь? Грустишь?“

Солнце над садом затихшим встает —
Дереvence думает — ты,
Лунная ночь по тропинкам идет —
Дереvence думает — ты.

Ветер летит — и в зеленой листве
Нетерпеливая дрожь:
Кажется — ты по шумящей траве
К дому родному идешь.

Дереvence клонит верхушку свою,
Светлые ветви шумят,
И лепестки на дорожку твою
Белою стаей летят.

Яблони, вишни и весь голубой
Сад у родимой реки,
Где бы ты ни был, следят за тобой,
Слышат твои шаги.

Нет, не цветы, не деревья, не сад —
Я истомилась, любя.
Скоро ли, милый, вернешься назад,
Скоро ль увижу тебя?

Бейся, джигит мой, в любом из боев
Гибель неси врагам.
Пыли шепотку с твоих следов
Мне бы прижать к глазам!

Мне бы в ручье между темных ив
Образ увидеть твой!
— Друг мой далекий! Врага победив,
Мчись поскорей домой.

Перевела с узбекского Светлана Сомова

...

САДОВНИК ДАЛЕКО

Когда я тебя провожала, любимый,
Стояли морозы. А нынче — весна:
В саду распускаются нежные розы..
А сердце с тобою, а сердце без сна!..

Чуть солнце зардеется, в сад выхожу я —
„Скажите мне, розы, скажи мне, мой сад:
Где добрый садовник ваш, где он?!” А розы
Раскроют бутоны и так говорят:

„Садовник далеко. Он там, где бушует
Метелица злая, где нету весны.
Он там, твой любимый, он там защищает
Великое дело великой страны,—

Чтоб нивам сожженным, чтоб сломанным розам
Восстать, возродиться, расти и цвести,
Чтоб в дыме пожарниц мятущимся птицам
В гнездовья вернуться и гнезда сплести,

Чтоб ложь перед правдой смирилась навеки,
Чтоб девичьи очи не гасли от слез,
Чтоб юноша девушке нежные розы
Рукой, победившей врага, преподнес.

Он там, твой любимый, он там, где герои
За дело свободы сражение ведут.
Так пусть же отважным героям народным
Их девушки розы свои отошлют.

И ты отошли нас в подарок герою,
Гонцами негаснувшей страсти пошли,
Чтоб в непогоду злую, в лихую опасность,
Любовью твоей мы его сберегли,

Чтоб нежностью нашей, чтоб нашим дыханьем
Дышать ему в тяготе дымных боев,
Чтоб львиная в сердце вливалась отвага,
Чтоб слава с ним рядом — навеки веков!”

Вот так, на рассвете, я слушала речи
Цветов обновленных, и, сердце раскрыв,
Припала я к розам, тобою возвращенным,
Всю душу мою в поцелуй перелив.

Перевел с узбекского В. Липко

ДРУГУ НА ФРОНТ

Жизнь твоя с моей слилась навеки,—
Навсегда союз наш заключен.
Думать о любимом человеке
И не знать, не ведать — где же он!

Где же ты? Скажи,— в какой ты части,
Тронут пулей или невредим,
И какое горе или счастье
Делишь ты с товарищем каким?

Я стирала бы рубашки ваши,
Чтобы чистых был у всех запас.

Я сварила б самой лучшей каши
Для тебя и каждого из вас.

Если б мы попали в окруженье,
Я б тебя, прощаясь, обняла.
Я б с честью вышла из сраженья,
Или так же честно умерла.

Ногтем нацарапала бы, милый,
На винтовке лишь одну строку,—
Справа бы налево начертила:
„Умираю,— не сдаюсь врагу!”

Перевел с еврейского Ник. Ушаков

ПЕСНЯ О РУКАВИЦАХ

Быстрые мелькают спицы.
Дело близится к концу.
Мировые рукавицы
Вяжет девушка бойцу.

Вяжет, вяжет, слово скажет,
Пригорюнившись слегка.
Словом ласковым обяжет
Красной Армии стрелка.

Говорит: „Вяжите, спицы,
Дело движется к концу.

Отошлю я рукавицы
На позиции бойцу.

Чтоб колющие метели,
Чтобы илы быстрых выюг
Отступили — не посмели
Тронуть милых теплых рук.

Чтоб зима снежком лебяжьим
По равнинам улеглась,
Чтобы прямо в сердце вражье
Пуля каждая неслась!”

...

ШЕСТЬДЕСЯТ АРШИН РЕРЕВКИ

СКАЗКА

В давние времена был у одной страны лютый
враг. Когда он неожиданно нападал на эту
страну, люди оставляли все свои дела и шли
на поле битвы.

Однажды старуха, жившая со своим сыном
на окраине города, у подножия горы, сидела
и доила козу. Вдруг до нее донеслись крики:
„Враг напал!” Старуха быстро поставила гор-
шок с молоком на землю, вбежала в дом и
разбудила крепко спавшего сына.

— Вставай, сынок! На город напали враги,
весь народ поднялся на борьбу с ними,— сказала
она.

Сын молчал, только гневно сверкнув гла-
зами, схватил тугой лук и умчался быстрее
ветра.

А старуха тотчас же взяла единственную
свою подушку, спокойно распоролла ее, достала
из нее верблюжью шерсть, палочками взбила
ее как пух и начала вить из нее веревку.

Уже шестьдесят аршин веревки свила ста-
руха, как из-за забора ее окликнула со-
седка:

— Слушай, соседка, что это с тобой стало,
кто же в такое время вьет веревки? Вставай,
побежим скорее, враг уже приближается!

Старуха от гнева даже взвизгнула.

— Чем бежать от врага,— сказала она,—
не лучше ли нам с тобою, соседка, лечь в
темную могилу! Неужели тебе не стыдно го-
ворить такие слова? Если враг близок, так
пойдем и выдерем ему бороду по одному во-
лоску.

Сказав это, старуха взяла веревку под
мышку и пошла по дороге. Соседка устыди-
лась и тоже пошла вслед за ней.

Шли они, шли, дошли, наконец, до поля
битвы и видят, что враги забрались на гору
и бросают оттуда камни в жителей города.
Вокруг стояли лужи крови, лежало множество
трупов. Юноши метали стрелы с высоких хол-
мов и деревьев, метко поражая врагов, но тех
становилось все больше и больше. Защитники
города хотели обойти врага и напасть на него
сзади. Но пока они это сделали бы, враг успел
бы войти в город и не оставил бы там никого
в живых.

Как ни старался сын старухи взобраться
на гору, это ему не удавалось,— ноги сколь-
зили по камням, и он скатывался. Наконец,
удалось ему вскарабкаться на одну из скал.
Стоит он на скале и растерянно думает, как

бы поднять сюда и других. Увидала это старуха, и сердце ее загорелось от гнева. Влезла она на верхушку чинары и бросила сыну конец веревки. Он быстро прикрепил веревку к скале. Другой конец веревки старуха протянула соседке и сказала:

— Держи, соседка, висни всей тяжестью своего тела!

С этими словами старуха слезла с чинары и подозвала детей. Стали старуха держать конец веревки, притягивая его к земле, а юно-

ши полезли на скалу по веревке и взобрались на гору.

На горе закипел бой. Враги кубарем полетели вниз.

Сын старухи спустился с горы. Он легко поднял на руки свою старую мать, и прижал ее к своему сердцу.

Весь народ той страны, избавившийся от своего лютого врага, оказал старухе великий почет и устроил в честь ее пышный пир.

Л. Чуковская и Л. Жукова

ДЕТИ О ВОЙНЕ НА ОЗЕРЕ

Озеро я увидел издалека. Там баржа вмерзла в лед, а кругом трупы лежат, и обломки в снегу.

Мы долго еще ехали лесом. Машину перекачивало на ухабах. Над нами кружились наши провожающие ястребки. Я больше сидел с закрытыми глазами. Ветер и острый снег били в лицо. А если глаза открою, то вижу кузов передней машины и головы в платках.

Это впереди ехали наши мамы. Они сами так захотели: детей посадили в задние машины, а сами сели в передние.

— Поседем, — говорят, — впереди. Лучше уж мы погибнем, а дети чтобы живые остались.

Этот день был девятое января. Мороз тогда стоял градусов на сорок. Мама так туго меня укутала, что шею не повернешь. Мы ехали вскорости после того, как открылся путь через Ладогу. Правительство тогда приказало вывезти перво-наперво семьи убитых. У нас двое убитых было. Я дома часто слышал — отец с братом говорили: «умрем, а Ленинграда не отдадим». Они и верно так сделали: умерли, но Ленинграда не отдали... И никогда ведь его не отдадут, правда?... Отец был полковник, а брат — помощник капитана на военном корабле.

Недолго мы ехали спокойно. Немцы из леса начали обстреливать. Снаряды ложились близко, с левой стороны, но ни один не попал в нас. Где снаряд уткнется в снег, там снег взлетает копыной, и вихрь дует.

Озеро было такое большое, пустое, белое. На озере машинам труднее стало. Снаряды нагромодили лед горами, колеса скользят, и снег залепляет глаза.

И вдруг я услышал треск. Это уже от того берега было недалеко. Я увидел, как кузов передней машины ушел под воду. Женщины кричали: «погибаем! погибаем!», но никто не кричал «спасите!», потому что они знали, что нельзя их спасти. Это они попали в полынью, где вчера бомбили, льдом затянулось сверху и припорошило снежком. Наша машина пошла в объезд полыньи. Там была черная вода, плавали маленькие льдинки и чемоданы — верно, те, которые полетели.

На морозе больно плакать. И мы все были такие слабые, что плакали очень мало. Где другие машины с мамами и с моей мамой — мы не знали. Не видать было за метелью. Теперь моя машина шла впереди всех, и если проваливаться — то наша первая очередь.

Когда мы выехали на берег и снова поехали лесом, на нас налетели три фашистских самолета. Они стали бросать бомбы, но в нас не попали, а попадали в лес, выворачивали деревья вверх корнями. Наши ястребки сшибли одного немца. Мы видели, как он трахнулся в лес, а другие повернули и полетели прочь.

Поздно вечером мы приехали на станцию. Там мы закричали: «Сколько прибыло с женщинами машин?» — «Ни одной», — отвечают. Все взрослые машины, значит, пошли под лед.

На станции нам дали горячего супа и по 500 граммов хлеба. Нам объяснили, что опасно его столько съесть, но раз мы его видели, то уже не могли удержаться. А утром нас эшелоном отправили на Бологду.

Я только об одном жалею: что немцев разобьет до меня, мне самому бить их не придется. Я бомбы зажигательные сам тушил, но это не в счет. Бить их не бил и не успею бить —

не вырасту... А правда ведь — никогда не отдадим Ленинграда, пусть хоть что с нами делают! Немцы очень на него зарились. В Ленинграде нужны заводы, порт, и улицы такие красивые, как в сказках пишут, а в настоящих городах таких не бывает...

(Толя Захаров, 12 лет, из Ленинграда.
Записано 4. VI-42 г. в Ташкенте)

НАС БЫЛО ШЕСТЕРО

Мой папа был кустарь — чистил обувь. Мама — так, ничего себе, домашняя хозяйка. Еще две сестры, я и маленький братик.

Мы спали утром и проснулись от взрыва. Выбежали во двор, видим — бомбы свистят.

Пока мы бежали в бомбоубежище — папу осколком убило.

А в бомбоубежище люди стали разговаривать, что тут дом слишком высокий, и немец обязательно сюда начнет бомбы бросать. Глухости говорили, конечно, — а мы знаем? — мы послушались и начали бежать на другую улицу.

Как народ посыпался, так немец спустился пониже и начал из пулемета обстреливать. И матери в голову попало. Кровь с головы пошла у мамы.

Я, маленький братик и две сестры — мы взялись за руки и побежали дальше. Мы забе-

жали в простой подвал. Мы там сидели с полчаса, а потом я и братик пошли на двор. Когда хотели войти обратно — было шагов 30 от подвала — бомба ударила в этот дом. Мы к стенке двое так и пригнулись. Потом мы вползли в подвал. Смотрим, сестры убитые: одна сидит мертвая, к стенке прислонившись, а другая лежит. Я про одну думал: она живая. Я ее пошатал рукой, — нет, молчит, падает. Я и ушел. Я уже плохо понимал, потому что полно мертвых было.

Мы с братиком побежали за город. Там один военный взял нас в машину.

(Боря Столяр, 14 лет, из Минска.
Записано 3. VI-42 г. в Дедоме № 27,
в Ташкенте)

МЫ ВЕРНЕМСЯ!

Мама мне сказала: «Вставай, Клара! началась война».

Я сразу вскочила. Мы с мамой разбудили брата. Папы не было: он как раз за неделю пошел в военкомат, и его куда-то отправили.

Мы побежали к соседке. Она старенькая, и уже пережила одну войну. Мы думали, она научит нас, что надо делать. Но она сказала: «Станьте на колени и молитесь богу».

Мы выбежали на улицу. А там снаряды грохочут, и с неба падает пепел. Мы снова вернулись домой. Легли на пол и лежим.

Мы лежали долго. Потом мама нам говорит: «Дети, весь город в огне, а орудия сей-

час не грохочут. Пока передышка, надо выбраться за город».

У нас была соседка — не религиозная, а другая — ей трудно было ходить, потому что она была беременная. Я взяла ее трехлетнюю девочку на плечи. Брат взял ее корзину, а мама — наши пальто.

Мы пошли садом. Толкаем, толкаем калитку, а она не открывается. Мы толкнули ее сильнее и отодвинули по земле то, что там лежало. Это был мертвый человек.

Уже стало светать. А раньше, в темноте, все небо было красное. Теперь видно, что провода висят оборванные. Всюду валяются мертвые лошади. Женщины с детьми бегут по

улицам, но почему-то никто не кричит. Женщины тащат, несут, ведут детей, и у них совсем не такие лица, как всегда, но никто не кричит и не разговаривает, а все молчат.

Мы подошли к бетонному мостику через овраг и сели туда под мостик. Там многие отдыхали. И вдруг бежит мальчик и кричит: «Немцы заняли вокзал!» Тогда мама сказала: «Ой, пойдёмте скорее, все равно куда, только бы на восток». В эту минуту как раз взошло солнце. Мы и пошли на солнце — на восток.

На одной улице стояла грузовая машина. В нее влезали женщины с детьми. Мы стали просить: «Возьмите и нас!» Они протянули руки, и мы вскарабкались. Шофер сразу тронул. Но он, верно, был молодой, или города не знал, или боялся, но только он никак не мог выехать из города. Дома горят, всюду обломки и трупы, а он все ездит и ездит по одному месту и никак не может с него съехать. Сидит за рулем весь бледный. На улице нам уже встретились немецкие патрули. Мы стали кричать шоферу: «Поезжай скорее», и он от этого еще больше запутался и снова обкружил тот же квартал.

Наконец, он привез нас в какой-то тупик, забор со всех сторон. Тогда мы слезли и побежали пешком.

В первый день к вечеру мы дошли до Кобриня. Я все время несла девочку на плечах. Она была очень странная — хоть стреляют, хоть бомбят, она не плачет и почти всегда спит. Даже, если на землю ее спущу, чтобы сама побежала немного — она бежит ножками, но личико все равно такое, будто спит. А мне не

нравилось, что она спала, потому что, как заснет, так потяжелее вдвое. Я ее будила.

Скоро мы встретили наши танки, которые двигались на запад, и тогда нам смелее стало от этого, и мы решили отдохнуть. Мы легли в рожь и сразу заснули. Но мама не дала нам спать больше 20 минут. Какой-то мужчина, шедший с нами, разделал свой творог и свой хлеб, и мы поели.

К утру мы пришли в одну деревню. Мы теперь шли не одни, а с военными, которые догоняли свои части. Их было 7 человек. Женщины-крестьянки так плакали, так просили их, чтобы они не уходили, и клали им под ноги, даже подушки вынесли и клали им под ноги, когда они легли на траву отдохнуть. Женщины их уговаривали: «Мы только и жили эти два года, как красные пришли, зачем же вы уходите?» — «Мы вернемся», — говорили военные. Женщины хватали их за полы, дети плакали: «Не уходите!» Они нанесли нам и масла, и сала, и свежего хлеба, прямо из печки, теплого. Мы ничего не могли взять с собой — тяжело, но голодать нам нигде не пришлось, потому что крестьяне везде очень хорошо встречали нас.

Так мы прошли километров 200. Потом, на одной станции, мы увидели товарный поезд с цистернами и ледниками. А в одном вагоне ехали раненные. Они были легко раненные и сидели на тамбуре. Они нас приняли к себе.

(Клара Недосекина, 15 лет, из Бреста.
Записано 3. VI 42 г. в Детдоме № 27,
в Ташкенте)

МОЙ БЕККЕР

Мой рояль, мой Беккер, остался на старой квартире. Оттуда все ушли. Она была пустая. Потолок там обвалился, штукатурка сыпалась кресла, ковер, книги, но рояль стоял, как святой.

Я ходила туда играть. Я старалась придти до бомбежки. На углу Фонтанки лежал разбитый бомбой троллейбус; он был, как затертый льдами корабль. Я всегда далеко обходила его, боялась споткнуться о длинные оледенелые провода.

В квартире было еще холоднее, чем на

улице. Я включала чайник и уют, чтобы хоть немного согреться, и сразу садилась за рояль — в шубе и в ушастой шапке, только не завязывала ушей, чтобы слышать себя. Я начинала гаммы — простые и расходящиеся.

С консерваторцами я не уехала случайно: у нас папа в эти дни заболел. И, когда они уехали, я сначала думала, что жизнь моя кончена: они там, в Ташкенте, смогут каждый день играть, а я здесь все забуду. Но потом я привыкла к бомбежке, к обстрелам и играла, как прежде, — каждый день. Я играла концерт

Шопена. Там в первой части есть такой пассаж терцовый — в правой руке терции через ноту, а в левой — октавы, и каждый раз на этом месте меня заставляла тревога.

Как только дойду до пассажа — сирена.

Я посижу, дождусь, пока она отзовет.

Начали бомбить — начинаю играть. Прямо с того же пассажа.

Мне от музыки становилось нестрашно.

Осколки стучат по крыше — а я играю.

Штукатурка сыплется — а у меня уже мелодия вступает.

Я не могла бросить. Я не хотела отстать от моих консерваторцев.

(Сусанна Иванова, 15 лет, из Ленинграда.)

Записано 16 июня 1942 г., в Интернате одаренных детей Ленинградской
Ордена Ленина Государственной
Консерватории, в Ташкенте)

А. Дорогойченко

РАССКАЗ ГЕРОЯ

Всякие видал я виды! — сказал Александр Петрович, медленно, с трудом, приподнявшись на локтях: голова ушла в плечи, брови сдвинулись, и глубокая складка прорезала его квадратный лоб. Александру Петровичу неудобно и очень трудно держать свое туловище в таком напряженном полувисячем положении.

Но ему надоело лежать все время на спине. Сначала он лежал пластом, долго не мог пошевеливаться. Совсем недавно стал приподниматься на локтях. А теперь пробует сдвинуться, повернуться на бок — переменить как-либо положение своего тела на постели. И поэтому Александр Петрович то и дело переступает локтями, вытягивает шею, крутит головой и болезненно морщится.

Глядя на этого человека, чувствуешь, — какие богатырские силы напрягает он, чтобы оторваться от мягкого ложа. Но непомерно толстая загипсованная нога, как жернов, упрямо тянет его назад.

Словно прикованный Прометей, лежит Александр Петрович на глыбах подушек в большой массивной кровати красного дерева. Острый взор его направлен куда-то поверх белоснежного Эдбруса: двойная исполинская гора ясно, как картина в светлой раме, видна в окне.

Может быть, Александр Петрович, напряженно глядясь в прозрачно-голубую даль, снова видит все свои тридцать пять воздушных боев: видит одиннадцать подбитых им фашистских стервятников, облитых пламенем и черным дымом, свержающихся в бездну.

Может быть, Александр Петрович вновь переживает те смертельно опасные положения, в которых не раз приходилось в воздухе быть ему...

— Да, всякие видал он виды... — подумал я и, не выдержав молчания, спросил:

— Вы, наверное, помните все свои воздушные бои? Расскажите!

Александр Петрович улыбнулся, от этого лицо его совершенно изменилось: глаза мягко заискрились, и стало заметно, что он очень еще молод.

— Да разве их запомнишь, все-то? И разве можно об этом рассказывать!.. В бою, как в бою: кто кого! Вот и все. А детали, когда их много, забываются. Да и когда их там запоминать-то? — Александр Петрович махнул рукой, помолчал и прибавил другим голосом: — А вот случая — простого, одного — забыть не могу. И хочется мне, — он снова нахмурился, резко двинул локтями, как бы отталкиваясь от подушек, — хочется поскорее встать!..

Он оперся на один только правый локоть и начал осторожно поворачиваться набок, прикусив нижнюю губу. От натуги на его смуглом лице и на шее ярче обозначаются следы недавно заживших ожогов. На носу и в подглазьях они проступают словно плоские рябины, а на левой щеке сливаются в сплошной белесый треугольник. И щека от этого кажется припухшей, а все лицо надутым-строгим. Туловищем он повернулся уже в полоборота, но правая нога попрежнему лежала недвижимо, как чужой и непосильный груз, и Александр Петрович со стоном откинулся на спину.

— Не со мной и не в воздухе: на земле это было, — прервал он сам молчание. — Как сейчас стоит перед глазами эта картина. И не могу я чувствовать себя спокойным...

Было это на юго-западном фронте. По спешному делу мне пришлось на автомашине

выехать с аэродрома в город, расположенный на левом берегу реки Н. Высоты правого гористого берега были заняты противником.

Вся левобережная равнина — просматриваемая с этих высот. Вражеским наблюдателям, конечно, было видно — как по дорогам из города и прилегающих деревень уходило в тыл, эвакуировалось наше мирное население. Фашисты прекрасно различали, что перед ними толпы женщин, детей и стариков, что войск не было перед ними, кроме небольшого заслона в самом городе. (Наши войска в это время, скрытно от врага, накапливались вверху и внизу по реке, готовя переправы для удара с флангов). И все же, несмотря на это, фашистская артиллерия начала расстреливать безоружных и беззащитных мирных людей.

Наша машина, когда мы возвращались из города, беспрерывно оббегала толпы бегущих. Шоссе вспыхивало, дымилось от частых разрывов снарядов. Крики, стоны — гам. В общей суматохе мы старались как можно быстрее проскочить открытое пространство. Шофер мне попался здоровый и спокойный парень, украинец.

Мчимся по линии огня и — видим: за канавкой шоссе, на бугорке, женщина сидит, вздернув голову, а в объятьях у нее — двое детей. И так она спокойно, так неподвижно сидит: словно изваяние.

Мы с шофером невольно переглянулись. — Дити! та яки ж воны малесеньки, — нараспев удивился шофер.

— Возьмем! — крикнул я, и оба вмиг выпрыгнули из кабинки.

Подбегаем. Женщина не двинулась, даже головы не повернула. Широко раскрытыми круглыми глазами она смотрела перед собой, и рот ее застыл полуоткрытый. Левою рукой, откинутой назад, она обнимала мальчика лет четырех. Мальчик, неплотно, боком — в каком-то неестественно изогнутом и очень неудобном положении — повис на обхватившей его руке: казалось, он рухнул из материнских объятий. Справа была девочка около годика. Она доверчиво всем телом прильнула к маме, и мать плотно-плотно прижала ее голову к своей груди.

— Что вы делаете? Вы задушите ребенка! — крикнул я, перепрыгивая канавку. Женщина молчала. И все так же в одну точку смотрели немигающие глаза. Видим: неладное с ней что-то... А может быть, просто глухая? Но чего-то нам было разбираться: такая суматоха, вокруг снаряды рвутся, машина прямо на виду стоит, и нужно мне спешить на аэродром.

Я подошел вплотную и крикнул настоящей:

— Отпустите мальчика, он не хочет... Отпустите их!

— А ну, пусти!.. — приблизился и мой силач-шофер.

Вдвоем пробуем забрать у нее детей и ничего не можем поделать: железные объятия матери не выпускают детей. Тогда мы волоком кое-как дотащили до машины сразу всех троих.

Александр Петрович схватился за края кровати, снова приподнялся и оперся на локтях, пробуя сдвинуть правую ногу. Заходящее солнце прощально осматривало комнату: наступали южные короткие сумерки.

— На аэродроме мы ближе рассмотрели наших необычайных пассажиров, — продолжал он. — Мать совсем еще молодая. Ее платье внизу по подолу было изорвано в лохмотья, выпачкано грязью и зеленью трав. Кисти рёпьев, вцепившись в платье, свисали с подола. Обута — на босу-ногу, и полные икры исцарапаны в кровь. Женщина, похоже, долго без дороги бежала лугами и полем.

Дети были одеты умелой и любящей рукой. Сразу видно, что матери доставляло немалое удовольствие — наряжать любимых сына и дочку. На мальчике были новые коричневые ботиночки и темносиний матросский костюмчик. Девочка была в легком белом платьице. Набегавший ветерок развевал кудрявый пух волос на ее головке. Но лица у обоих детей были одинаково бледны, глаза совсем закрыты...

На животе у мальчика сквозь курточку и брюки проступало мокрое пятно, на темном нем оно казалось совершенно черным. Осколок снаряда ударил мальчика в бок и запутался в кишечнике. А у девочки перебило шейные позвонки, головка не держалась. Вот почему так крепко обхватила ее мать: она прижимала к груди мертвую голову дочери.

Женщина была жива. Только взгляды у женщины не менялись: в ее круглых остановившихся глазах стоял недоуменный ужас. Я долго смотрел в эти страшные глаза. Они как будто молча спрашивали:

— За что? За что моих детей убили? И неужели некому отомстить за них?

Кто была эта женщина, откуда, как ее фамилия, — я до сих пор не знаю. И теперь не узнаешь никогда. А в тот момент — мой истребитель уже был готов к вылету. Садясь в машину, я только слышал, как врач наш говорил:

— Больная находится в глубоком ступоре. Такое состояние резкого психомоторного угнетения бывает при внезапном помешательстве.

Пройдет ли этот ступор и когда пройдет, — неизвестно.

Вот эта немая группа — мать и дети — все время перед моими глазами. И не могу я чувствовать себя спокойным. И хочется мне, чорт возьми, как можно скорее встать и поехать еще немножко!..

Александр Петрович потряс в воздухе сжатым кулаком, потом уперся руками в края кровати, скрипнул зубами, и толстая загипсованная правая нога медленно сдвинулась и поползла.

Александр Петрович недоверчиво посмотрел на нее, как на что-то постороннее. Потом, почувствовав свободу, быстро сел в кровати, пригнулся к своей ползущей ноге, обнял ее обеими руками и, бережно и любовно поглаживая и улыбаясь ей, — опустил ее на пол: — Стой! — шутиливо погрозил он.

Нога стояла — по колену в гипсе. Александр Петрович, не спеша, по-хозяйски, осмотрел открытую часть ноги и на этот раз, видимо, остался доволен.

— Вот новость: пальцы шевелятся. Уже сколько лежу, — этого не было. Совсем оживает моя нога!

— Очень хорошо! Приветствую... — послы-

шалось за его спиной: это лечащий врач — старик — вошел в комнату.

— Хорошо? — морщась от боли переспросил Александр Петрович.

— А скоро будет отлично: ходить начну! начну! Вот увидите завтра...

— Ну-ну, молодой человек! Без увлечений! — старик пригнулся к "окну", оставленному в гипсе, и деловито понохал: — Переведемся?

Словно облако — вся в белом, с грудой ваты и бинтами — вошла сестра. Александр Петрович терпеливо переносил боли, плотно сжав толстые, мясистые, но резко очерченные губы. Упрямый лоб и коротко остриженная круглая голова победно возвышались над постелью — впервые за долгие месяцы болезни. Острый и жесткий взор смягчился, лицо по-молодело, порозовело румянцем. Даже полосы от ожогов на лице и на шее стали как будто нежнее, менее заметны.

Так сидел он: двадцатистилетний, полный сил, несмотря на рану, — полный неизрасходованных физических и духовных сил — рабочий парень с Урала — трижды орденосец — Герой Советского Союза — Александр Петрович Пьянков, капитан.

Корней Чуковский

ОДОЛЕЕМ БАРМАЛЕЯ!

ОТ АВТОРА

Мне хотелось внушить даже маленьким детям, что в этой Священной войне бой идет за высокие ценности мировой культуры, гуманизма, демократизма, социальной свободы, что этими идеалами вполне оправданы огромные жертвы, которые приносят свободолобивые страны для сокрушения гитлеровщины.

О нравственной основе борьбы с осатанелым фашизмом мы слишком мало говорим нашим детям. В этой грандиозной эпопее их зачастую прельщает лишь эффектный задор молодчества. Идеальные цели войны слишком часто ускользают от них. Чтобы рельефнее представить эти цели, я и вывел знакомого им Айболита, который издавна является в их глазах

воплощением доброты, самоотвержения, верности долгу и мужества, и противопоставил ему разрушительную и подлую силу фашизма.

Живет доктор Айболит в Айболитии — крошечной стране, расположенной у подножья Синей горы. За Синею горою — Свирепия, царство Бармаля и его лютых зверей. Вдали за широкими реками находится великая страна Чудославия, страна правды, свободы и счастья, которая и спасает (уже не в первый раз!) маленькую страну Айболитию от угрожающих ей лютых варваров.

Сказка у меня вышла длинная. Здесь, в этом сборнике, мне поневоле приходится многие ее эпизоды излагать для краткости прозой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Злая-злая ядовитая змея
Молодого укусила воробья.
(Больно воробышку, больно!)

Захотел он улететь, да не мог,
И заплакал, и упал на песок.
(Больно воробышку, больно!)

И пришла к нему беззубая старуха,
Пучеглазая зеленая лягуха.
(Жалко воробышка, жалко!)

За крыло она воробышка взяла
И больного по болоту повела.
(Жалко воробышка, жалко!)

Из окошка высунулся еж:
„Ты куда его, зеленая, ведёшь?“
„К доктору, миленький, к доктору!“

„Подожди меня, старуха, под кустом,
Мы вдвоем его скорее доведем
К доктору, к доброму доктору.“

Дорога была долгая и трудная. Лишь поздно ночью путники добрались до своего любимого доктора, и он тотчас же начал лечить воробья. Воробей был так сильно болен, что, казалось, будто он умирает.

И плачет, и стонет больной воробей,
Он с каждой минутой слабей и слабей.
Пришла к нему смерть воробыная.

С этим тяжелым больным доктору пришлось повозиться всю ночь, и к утру воробышек выздоровел. Он вылетел в окно и, громко чирикавая, горячо поблагодарил доктора за свое чудесное спасение.

А у доктора уже другие пациенты. Одни злые и хищные — горилла, акула, волчица, а другие добродушные и слабые:

Хромой лягушонок с больным животом,
Худой кукушонок с подбитым крылом.
И зайцы, волками искусанные.

Доктор лечит слабых и маленьких. Злые недовольны:

Рассердилась волчица:
„С ними нечего возиться,
С индюшатами, с ежами,
Да с козлятами.
Если кто и околеет,
Их никто не пожалеет!“

И сказала бегемотица:
„Ишь нашел о ком заботиться!
Это весь простой народ,
Не беда, коли помрет“.

И акула Каракула
Рот широко распахнула:
„Ты лечи моих детей,
А воробышков не смей“.

И оскалился шакал,
И зубами застучал:
„Нам не надо докторишек
Для каких-то воробышек!
Мы сейчас тебя съедем,
Никому не отдадим!“

Но смело глядят
На врагов Айболит:

„Ну что же! Я в вашей власти
Рвите меня на части!
Хватайте меня
И глотайте меня.
Но знайте, злодеи, несметная рать
Будет меня защищать,
Она не простит, отомстит,
Она за меня постоит!“

А лютые звери все злее и злей,
Не будет пощады от лютых зверей.
Ужасны их зубы, рога и копыта,—
Они растерзают, убьют Айболита.

На помощь этой маленькой кучке зачинщиков и разжигателей войны пришли из соседней Свириели целые дивизии диких зверей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Война! Война! Со всех сторон
Дом Айболита окружен!
В саду моржи, а на дороге —
Гиены, тигры, носороги!

„Ну, доктор, выходи-ка в бой!
Теперь сразимся мы с тобой!“

И поставили злодеи
Девятнадцать батарей,
У двадцатой батареи —
Сам разбойник Бармалей.

Он стоит и не шевелится,
В Айболита прямо целится.

Шестьдесят четыре пушки
Он поставил на опушке,
И с акулою вдвоем
Схоронился за ручьем.
И смеется и хохочет
И кривую саблю точит:
„Ну, теперь-то Айболит
От меня не убежит!“

Отвечает добрый доктор:
„Погоди же ты, зверьё!“
И скликает добрый доктор
Войско верное свое.

„Вы, кузнечики,
Разведчики,
Побегите по полям
К тем зеленым тополям,
И спросите поскорей
У сорок и снегирей,
Где пехота бегемота,
У реки иль у болота,
Чтобы наши журавли
Разбомбить ее могли.“

И поставьте у калитки
Дальнобойные зенитки,
Чтобы наглый диверсант
К нам не высадив десант!

Ты, лягушка-пулемётчик,
Схоронись за кусточек,
Чтоб на вражескую часть
Неожиданно напасть.

Вы, орлицы-партизанки,
Сбейте вражеские танки,

И пустите под откос
Бармалеев паровоз!

Ты же, милый воробей,
В поле вылети скорей,
И лети, лети стрелою
За мохнатую пчелою,
Чтоб мохнатая пчела
Бармалея прогнала!“

Злобно хохочут акулы и волки:
„Нет, Айболит, не спасут тебя пчёлки.
Мы навсегда захватили твой дом
И никогда из него не уйдем!“

Но с жужжанием веселым
Из окошек и дверей
Налетели пчелы, пчелы,
Пчелы, пчелы, пчелы, пчелы
На испуганных зверей.

И давай колоть их жалами,
Словно острыми кинжалами.

Укусили бегемота,
И от боли бегемот,
Рот разинув, как ворота,
Так и грохнулся в болото
И белугою ревет.

А они не унимаются,
Пуще прежнего кусаются.

Испугались носороги,
Побежали по дороге,
И в испуге носорог
Носорогу сел на рог.

А над ними пчелы тучею,
Так и жалея, так и мучают.

А на веточке веселый
Распевает воробей:
„Ай да пчелы! Вот так пчелы!
Всех зверей они сильнее,
И умнее, и храбрей!“

И звенят над ними птенчики,
Словно звонкие бубенчики:

„О, хвала тебе, хвала!
Трудовая, боевая
Беспощадная пчела!“

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Победа, Победа! Но враг не разбит!
Злодей Бармалей за рекою стоит.
Он стоит, Бармалей, и позывает.
На цветы луговые поплывавает,
А слюна у него ядовитая:
Где ни плюнет, там змеи и ящерицы.

Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми,
Вкруг него павианы поганые.
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над веселыми селами,
Над полями стоит он веселыми
И бормочет бессмысленным голосом:

„Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей, ни детей
Никого не щадить!“

А за ним крокодилы с гориллами,
С кабанами его тупорылыми
Повторяют и ночью и днем:
„Загрызем! Исклечим! Убьем!“

Долго доктор Айболит
На разбойника глядит:
„Делать нечего! Придется
С этой гадиной бороться,
А иначе весь народ
От чудовища умрет,
Лишь акулы да тигры останутся“.

2

Но тут прилетели четыре дрозда,
Четыре дрозда из большого гнезда.
Они закричали: „Беда! беда!
Бегите скорее в убежище!“

И сразу во тьме, как четыре гудка,
Вдали замычали четыре быка:
„Тревога! Тревога! Тревога!“

Вышел доктор на балкон,
Тихо в небо глянул он.
„Да над нами самолет,
В самолете — бегемот,
У того у бегемота
Скорострельный пулемет.“

Он летает над болотом,
Реет бреющим полетом
Чуть пониже тополей,
И строчит из пулемёта
В перепуганных детей“.

Ой, беда! Беда! Беда!
Мчатся дети кто куда.

И зайчата бегут
За ежатами,
И кричат, и режут,
И визжат они.

Он взлетел под небеса,
Черным вороном взвился
И бросает бомбы, бомбы
На луга и на леса.
И вздыхает и грустит
Добрый доктор Айболит:

„Кто же, кто же мне поможет?
Кто пирата уничтожит?
Кто взвонится и собьет
Этот черный самолет?“

„Я!“ — чирикнул воробей,
Прыгая среди ветвей:
Иль погибну я в бою,
Или я его соблю!“

3

И помчался воробей
Мимо вражьих батарей:
„Вылетайте же за мною,
Восемнадцать журавлей!“

И взлетели над полями
Журавли за журавлями,
И в атаку понеслись:
„Ну, проклятый, берегись!“

Налетели на зверюгу,
Окружили самолет,
И захрюкал с перепугу
Ошалелый бегемот.

Над темными равнинами
За ним они летят,
И длинными-предлинными
Носами журавлиными
Долбят его, долбят.
Всего его истыкали,
Истыкали, как пики,
Истыкали, изранили,
Проткнули, протаранили,

И все еще долбят его,
Долбят его проклятого,
Долбят, долбят, долбят:
„Так вот тебе! Так вот тебе!
Бессовестный пират,
Чтобы не смел расстреливать
Беспомощных ребят!“

И глядите: закружился,
Завертелся самолет,
И свалился, и разбился
Стопудовый бегемот.

И доктор с поклоном сказал журавлям:
„Спасибо, спасибо, отважные, вам“.

Потом удалому сказал воробью:
„Вовек не забуду я службу твою“.

И птицы в ответ: „Мы служить тебе рады,
Скорее бы сгнули лютые гады!“

...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Но бой не стихает. И вот поутру
На тихой поляне в сосновом бору
Веселое слышится радио:
„Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гисн.
Захватили десять дотов,
Восемнадцать самолетов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед.“

Нам достались трофеи:
Сто четыре батареи,
Триста ящиков гранат,
Полевой аэростат
И сто двадцать миллионов
Нерасстрелянных патронов.

А когда врага мы гнали
До Лазоревых Межей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей:
„Не хотим служить бандиту,
А послужим Айболиту!“

Отступая, враг поджог
Лебединый городок,
Но орлицы без усилий
Всё крылами погасили.
А у города Эн-Эн
Всех горилл взяли в плен
И спасли пятьсот тюленей
Из разрушенных селений.

Правда, враг еще силен,
Так и прёт со всех сторон.
У него на левом фланге
Лютые оранг-утанги,
А на правом сто полков
Бешеных волков.

Но близка уже победа
Над ордою людоеда.
Скоро, скоро будет он
Побежден и сокрушен
Окончательно!“

Но борьба с Бармалеем чрезвычайно трудна.
Бармалей жесток и коварен. Удастся ли
победить его в одиночку? Тут к Айболиту
прилетают журавли и сообщают ему великую
радость:

Чудесная есть на востоке страна,
Державою славы зовется она
(Слушайте! Слушайте! Слушайте!)

В этой героической стране — в Чудославии — живет доблестный русский витязь по имени Ваня Васильчиков, всегдашний защитник угнетенных и слабых. Он великодушно предлагает Айболиту свою боевую поддержку. Отныне Айболит не одинок. Его маленькая страна Айболития обрела могучего союзника. Теперь Айболит может смело выступить в бой против всего этого несметного полчища. „Да здравствует Ваня Васильчиков!“

От своей шпионки лисиды Бармалей узнает очень важную военную тайну: все боевые снаряды Айболитовой армии хранятся в далекой пещере на Синей горе. Бармалей тотчас же посылает туда отряды своих лютых шакалов и приказывает им немедленно взорвать этот тайник динамитом. Как же будет Айболит воевать, если у него отнимут снаряды?

Без снарядов воевать невозможно. Айболиту пришлось отступить.

А злой Бармалей изо всех батарей
Палит и палит все сильнее и сильнее.

И справа и слева проклятый палит,
И вдруг зашатался седой Айболит
„Я ранен... я ранен... и в ногу и в грудь...
Сейчас упаду я... мне тяжело вздохнуть“.

Что делать? Айболития в опасности. Но
мужественный доктор ни на миг не теряет ве-
ры в свою окончательную победу над лютым
врагом:

Буду биться до конца,
Одолею наглеца.

Он не забывает, что у него есть защитник,
и посылает верного воробья в Чудославию за
Ваней Васильчиковым.

Ваня Васильчиков придет и поможет про-
гнать Бармалея. Но Чудославия далеко, а
помощь нужна сегодня, сейчас. О, если бы
добыть те снаряды, что спрятаны в пещере
на Синей горе! Не отрывая глаз, смотрит
Айболит на Синюю гору, и с ужасом видит,
что Бармалеевы звери уже там, наверху. Сей-
час они взорвут скалу динамитом. Не пройдет
и минуты, как пещера со снарядами взлетит
на воздух.

Но нет... поглядите.. о счастье! Летит он,
летит над скалами,
Летит сизокрылый орел, летит со своими
орлами!

И прямо на них — на шакалов! — клюет их и
крыльями бьет,
И падают, падают, падают злые шакалы с
высот.

Разбились, погибли проклятые звери,
И ни один не пробрался к пещере —
Хвала вам, орлы сизокрылые!

Теперь у Айболита есть снаряды, и он
снова переходит в наступление. Но победить
звериное полчище ему нелегко. Бармалей от-
чаянно защищается. К счастью, тут прилетает
на самолете из Чудославии доблестный Ваня
Васильчиков и обращает Бармалея в бегство.

Бармалей помчался в гору
По крутому косоугору,
Чтоб оттуда как-нибудь
В темный лес улепетнуть.

Но Ванюша за пиратом
Через поле, через рожь:
„Нет, проклятый, никуда ты
От расплаты не уйдешь“.

И грозит он Бармалею
Острой саблею своею.

И зарыдал Бармалей,
И пред Ваней упал Бармалей;
„Не губи ты меня,
Не руби ты меня,
Пожалей ты меня, пожалей“.

И сказал Васильчиков злодею Бармалею:
„Нет, тебя, чудовище, я не пожалю.
Ведь за то, что тысячи ты сгубил людей,
Мало тебе, лютomu, тысячи смертей“.

И Ваня пырнул людоеда штыком,
И тот покати́лся с горы кувыркoм
И в лужу, как чучело плюхнулся.

И глянуло солнце с небес веселей:
„Издок Бармалей, околел Бармалей,
Уж нет Бармалея проклятого“.

И смеются медвежата,
Улыбаются моржи,
И с мохнатыми зайчатами
Кувыркаются ежи.

Рада, рада вся земля.
Рады рощи и поля.
Рады синие озера
И седые тополя.

„Нет на свете Бармалея,
Кровожадного злодея!
Сгинул гадкий Бармалей,
Стало в мире веселей!“

И вороны над полями
Вдруг запели соловьями,
И ручьи из-под земли
Сладким медом потекли.

Куры стали павами,
Лысые — кудрявыми.

И корова весела
Поскакала вдоль села.

Рады, рады, рады
Светлые березы,
И на них от радости
Расцветают розы.

Рады, рады, рады
Темные осины,
И на них от радости
Растут апельсины.

То не дождь пошел из облака
И не град,
То посыпался из облака
Виноград.

Столько пряников и яблоков
И сластей
Вдруг посыпалось из облака
На детей,
Что ребята три недели
Ели, ели, ели, ели,
И с набитым животом
Завалились под кустом,
А потом давай сначала
Наедаться до отвала.
Да и то еще много осталось
Леденцов с орехов несъеденных.
Над дубами, над березами
Громко грянуло ура,

И глядите: с паровозами
Заплясали трактора!

Пляшут гуси с индюками
И ромашки с васильками.

Даже мельница — и та
Заплясала у моста.

Даже плачущая ива
К небу ветки подняла,
И смотрите — вот так диво! —
Засмеялась счастливо
И отплясывать пошла:

„Нет на свете Бармалея
Кровожадного злодея!
Сгинул гадкий Бармалей,
Стало в мире веселей!“

...



Ислам Шаир

ПОТОМОК НАШИХ ЛЬВОВ

(Кучкару Турдыеву)

Авиза самого отвагою затмишь,
В бесстрашии тебе уступит Алпамыш,
Ни с кем ты не сравним, когда врагов
Потомок наших дней — прославленный Кучкар.

Найдет ли должные слова поэт — Шаир,
Чтобы воспеть тебя, боец, герой, батыр?
Пусть мужеством твоим всегда гордится мир,
Потомок наших львов — прославленный Кучкар.

В огне святой войны ты рос и возмужал,
Где ты врага встречал — там вражий труп
лежал.
И славу ты себе всемирную стяжал,
Потомок наших львов — прославленный Кучкар.

Без трепета, один ты вышел на врагов
И, крепость их взорвав, сгубил их вожakov
И разогнал солдат и мелких слуг. Таков
Потомок наших львов — прославленный Кучкар.

Зовешься ты — Кучкар — так будь же впереди,
Свершая подвиги, других вперед ве-ди,
Ведь у тебя звезда героизма на груди,
Потомок наших львов — прославленный Кучкар.

Под красным знаменем твоя борьба свята —
Из цветников гони немецкого скота.
Жизнь за тебя готов отдать Ислам-ата,
Потомок наших львов — прославленный Кучкар.

Перевел с узбекского *Лев Пеньковский*

• • •

A. Καχαρ

КУЧКАР ТУРДЫЕВ
1. ГЕРОЙ ИЗ ДАРДАКА

1. ДАРДАК

Какие есть живописные места в Узбекистане и какой там чудный воздух! Как верно сказал поэт:

Вы видели кишлак Дардак? Он в Аимском районе. Если не видели, поезжайте — посмотрите, а если видели — вспомните холмы, один красивой другого, и белеющие за ними горы.

А как сверкает здесь вода, бегущая из бурных источников, как змеится она по жаркозеленым полям! А земля какая! А-я-я! Неужели может быть такая земля? Клянусь тысячу раз, если вы здесь зароете ступку колеса, вырастет зеленый карагай.

Взгляните повнимательней на новые дороги, вырытые арыки, посевы. Разве весь кишлак не похож на сад очень трудолюбивой и дружной семьи? В самом деле,

весь кишлак — достояние единой семьи: кто постарше из колхозников — старшие братья, кто помоложе — младшие братья.

Если пригласять к работе и прислушаться к словам всех старых и малых, мужчин и женщин, которых вы встретите здесь на дорогах, в полях и в кишлаке, то невольно вы зададите себе вопрос: а как выглядел бы этот благодатный край, если бы он прожил еще лет десять без войны? Люди, словно пчелы, кружатся в цветнике труда над каждым цветком и создают жизнь, сладкую, как мед. Но почему такое прекрасное место до сих пор называется «Дарканд»?

Один восхитительный кишлак, похожий на „Дардак“, до сих пор называется „Беш-кяпа“ („Пять шалашей“). Кто видел этот кишлак, тому тоже будет неприятно услышать его название.

Почему Бешкяпа?

В прежнее время в этом Бешкляе все земли к востоку от кишлака до самой реки принадлежали ходжаабадскому баю Обид-Ходже. Между Ходжаабадом и Бешкляной было расстояние около 16 километров, а если идти прежними окольными дорогами, то и больше. Ежедневно проходил такое расстояние, чтобы обрабатывать землю, конечно, нелегко. Поэтому исполщики Обид-Ходжабая, приходявшие сюда ранней весной, ставили себе шалаши, в которых и жили до поздней осени, когда возвращались домой. Оттого ли, что байские исполщики сначала построили 5 шалашей, или оттого, что пять — круглая цифра, как бы то ни было, а это место стало называться Бешкляной („Пять шалашей“).

Туфанисо Мелиева, — по выражению счетовода колхоза «Янги Турмуш», — единственная женщина в Бешкапа, которая все понимает на сто процентов», так говорила, высказывая свое недовольство названием кишлака: «Когда говорят „Бешкапа“, перед моими глазами встает разорившийся дехкан помещик-ростовщик, ссужавший их весной зерном, и мой покойный отец в дымчатом халате и швейной дешевой рубашке, говорящий: „один конец мира Ходжабад, а другой — Бешкапа“. А теперь что от них осталось? Почему наш кишлак называется по-старому? Из нашего кишлака вышли агроном, машинист, командиры, депутаты. Бригады колхоза „Янги Турмуш“, Угьлайов, прославилась на весь мир. Из Коканда, Ассаке, Термеза, Оша, Махач-Кала и еще какого-то города к ней сватаются женихи; все они в своих письмах присылают ей свои карточки. У ледя Эргаша рассудок помутился, когда он

увидел велосипед, а теперь его внук Надыркул прилетал сюда на аэроплане, обрызгивал рисовое поле".

Подобная история есть, конечно, и у Дардака. А кто из уроженцев Дардака считает теперь неподходящим такое название и хочет доказать это, тот, гордо выпятив грудь, прибавляет к доказательствам вроде тех, которые привела Туфанисо, еще одно: „Из Дардака вышел герой Великой Отечественной войны Кучкар Турдыев“.

2. НА СВОЕЙ РОДИНЕ, КАК НА ЧУЖБИНЕ

Двадцать пять лет тому назад, на месте склада колхоза имени Жданова, стоял двор Мадраима-ока, — один из многих обыкновенных дворов Дардака того времени. Выходящая на улицу стена его дома одним краем наклонилась вперед, другим назад, словно раздумывая, в какую сторону ей упасть, а подгнившие жерди каркаса торчали, как ребра дохлой лошади. В сырую погоду со стен и потолка падали капли с характерным звуком «чик-чик»! летом эти звуки издавали ютящиеся там ящерицы, как бы говоря: „Что терпел ты в этой обители нужды, то будешь терпеть и дальше. Беги скорее из этих мест“.

Мадраим-ока и сам был готов покинуть совсем свой двор, но считал это малодушием.

Теперь уже забыли, в каких трагических случаях, от каких тяжелых ударов судьбы покидали люди свои дома, а молодежи даже странно и подумать об этом: — «Как же, мол, уйдет человек? — Оставит свою семью и уйдет?»

В старые времена одна женщина от печалей и горестей, от страданий и мучений лежала при смерти. От каждого ее вздоха с потолка сыпалась пыль. Она пожаловалась на свои горести одному старику, много пережившему. Старик сказал ей: «Эх, печальница, пойди в то место, где стоит старый чинар, расскажи ему о всех своих несчастиях, и прежних и теперешних. Если чинар не издает ни звука, тебе станет легче, а если он затрепещит, значит, твоя судьба такая». Женщина все сделала, как сказал старик. Пошла к чинару и стала изливаться свои горести. Не успела она рассказать и половину, как чинар с треском переломился. У женщины прибавилось к горю — горе, к мучению — мучение, однако она все вытерпела, прожила свою жизнь до конца и умерла естественной смертью.

Вот и слова „уйду совсем“ говорят такие

* *Чик*—выходи, уходи.

люди, жалоб которых даже дерево не выдерживает, ломается с треском. Наш Мадраим был тоже из таких горемык.

Однажды с самого утра, не переставая ни на минуту, лил дождь, и к вечеру пошел снег. Карнизы крыш, навозные кучи, — все побелело. Воробышки попрятались по дуплам. На улице галка не пролетит.

У Мадраима на ногах коуши* из гладкой кожи с задниками, на которых набита жесь, и с выстилкой из рисовой соломы. Пряча нос в истрепанный рукав своего халата, он вышел со двора, дошел до перекрестка, смел полой снег с лежавшего там камня и сел на него.

— Другого выхода нет, как благодарить бога, — подумал он. — О, господи, теперь помоги ты!

Слышно было, как где-то кололи дрова. Доносился запах накалившегося льяного масла.

Мадраим-ока поднял голову и посмотрел вокруг: на улице всюду топкая грязь, по ней там и тут набросаны ветки и жерди для пешеходов; размокшие от сырости и готовые упасть дуvalы; кругом снег; облака словно хлопья ваты.

— Откуда пахнет маслом? Если бог даст, жена-бедняга благополучно разрешится, хорошо бы немного поесть горячего. Шурпы бы, да чтоб луку было побольше... — думает Мадраим-ока.

Его взгляд остановился на красной железной крыше дома, виднеющейся издали из-под широкого огромного тополя.

Из кирпичной трубы идет густой дым, который, точно ударившись о нависшее обтрепанное небо, опускается и стелется между деревьями.

Хамробай — очень мягкий человек... Столько лет я ему служу, ни одного плохого слова от него не слышал. Только недогадивил он. Будь он подогадивей, разве не сказал бы: «Поди сюда, Мадраим! Сколько лет ты мне служил! На, возьми вот это, подкормись немного со своей семьей!»

Хамробай был, конечно, очень догадлив и отлично все понимал, но недаром говорят: «Чем жирнее курица, тем труднее ей нести яйца». Этот человек, как кошка, которая спит — не спит, а мурлычет, до такой степени скуп, что попади ему в шурпу муха, он ее обсосет прежде, чем выбросить. Такой скряга, что даже чаю жалует своим рабочим: человек напиивается двумя пиалами, а давать больше — из-

лишний расход», — говорит он. А для себя не только вскипятил целое ведро, но еще соль полижет, чтобы побольше выпить чаю.

Мадраиму-ока, конечно, и в голову не пришло пойти к нему чего-нибудь попросить. Он посидел немного, поднялся и направился домой. Только открыл он калитку, как его дочка Хошияхон встретила его словами:

— Папа, с нас подарок за радостную весть... Мальчик родился.

— Хорошо, что благополучно разрешилась, — проговорил Мадраим-ока, потом подошел к двери своего дома, остановился и, схватившись за голову, прибавил: «Другого выхода нет, как благодарить бога».

Сегодняшняя радость семьи Мадраима, жившей на своей родине, как на чужбине, предвещала в ближайшее время еще большую нужду и лишения.

Повитуха назвала новорожденного ребенка Кучкорбаем.

3. ЛЮБЯЩИЕ РОДНЫЕ

Слово праздник говорит о дне радости, но никогда не наполняется сердце бедного человека такой горечью, как в утро праздника.

Представьте себе безмолвно сидящего вечером в углу улицы одинокого беспомощного скитальца. По тому, как он сидит, по его взгляду, даже по его словам не узнаешь, какой тоской и болью исполнено его сердце. Бедиль, иранский поэт, сказал: «Я бессилен рассказать о своем страдании: мой рассказ будет похож на стон больного, а по стону больного нельзя узнать, что у него болит».

В старые времена у таких страдальцев слышалось с языка: «Потрясешь дерево, и ты посыплешься бедой», или: «Зажи я светильник в своем сердце, и то не посветит в нем». «О, небо!» — восклицали они. Но все это говорило о причинах их душевной скорби столько же, сколько стон больного.

А скорбь, которая наполняла сердце бедняка на заре праздника, была в тысячу раз сильнее горя того одинокого скитальца, которого мы привели в пример. Огорчали ли его причитания женщин над покойниками или тяжелые обстоятельства, не позволявшие весело провести дни праздника, который бывал только раз в год? Эта скорбь — громадная река, питаемая множеством маленьких родников. Один из падавших в водоворот такой реки безвестно погибал, другой терял рассудок, третий становился наркоманом, а большинство успевало себя спасти «судьба» и жалко утешения от других.

Вот если таких людей вы поздравляли с праздником, они улыбались, стараясь показать себя тоже веселыми в эти дни.

Таким-то печальным праздником для семьи Мадраим-ока и было появление на свет Кучкорбая. Поэтому на слова дочери, попросившей подарок за радостную весть, Мадраим сказал себе: «Другого выхода нет, как благодарить бога». Или уже так не по силам ему было кормить ребенка? Нет, конечно нет! Но Мадраим жалел, что ребенок родился в такой нищете. Как он вырастет? Что ему придется перенести и вытерпеть? Вот от каких мыслей он невольно схватился за голову.

Однако настал день, когда у Мадраима-ока посветлело на сердце при мысли о будущем Кучкора.

В те годы у детей была игра в «ружье». Один мальчик выстрелил из своего «ружья», сделанного из гильзы, и попал в ногу другому ребенку. Собралась толпа, Мадраим пришел позже других, когда раненого мальчика уже унесли. В чайхане он услышал, как один из владельцев дома с железной крашеной крышей говорил, обращаясь к посетителям:

— Мальчишка не виноват. Такое время настало... У меня есть знакомый охотник. Как-то он был в горах, смотрит, катится вниз камень величиной с дуvalный колобок. Он подбежал, взял его и принес в Андижан. А из Андижана колобок отослали в Москву. В Москве самый главный из большевиков разломал его и смотрит, а там белая, как вата, рука. Так он, этот главный большевик, со смехом искрошил саблей руку святого.

Этот рассказ Мадраим слышал раньше от одного джизахца, участвовавшего в восстании 16-го года и бежавшего в Дардак от преследования карательного отряда Николая Джизахский беглец говорил не «мой знакомый охотник», а просто «один охотник» и не «главный из большевиков», а «белый падишах», то есть русский царь. Что же это значит? Почему бай присвоил себе рассказ джизахца? Почему «белого падишаха» подменили «главным большевиком»? Не порочит ли он большевиков? Не держит ли сторону белого падишаха? Ведь в одну сторону до Кашгара, а в другую — до самой Москвы, у него дом под красной железной крышей... Почему он порочит большевиков?

Мадраим тотчас же разгадал тайну рассказа ба.

— Жена, — сказал он как-то своей Курбан-биби. — А ведь ты ничего не знаешь. Мы-то прожили с тобой без земли, а у нашего Кучкорбая будет земля. Я это не нагадал на бобах,

а говорю верно. Мой покойный отец говорил: «Если народ подует, поднимется ветер». Как раз теперь и дует народ.

Услыхав слова мужа, тяжело больная Курбан-биби, которая уже часто теряла сознание, широко открыла глаза, провела языком по пересохшим от жара губам и хотела что-то сказать, но только прижала к груди маленького Кучкорбая и поцеловала его в лоб.

Вскоре от дуновения народа «поднялся ветер», и действительно начал сдувать обитателей домов под красными железными крышами, сосавших кровь народа. В чайханах, на улицах бая распространяли слухи, клевета на большевиков и вместе с тем исподтишка действовали. Хамробай тайно доставлял басмачам лошадей. Чем больше тревожил сь бай, тем ближе становились светлые дни, о которых думал Мадраим-ока.

Но Курбан-биби не пришлось увидеть светлую жизнь. После долгой болезни она умерла. Когда, покачивая их на плечах, вынесли из ворот погребальные носилки, покрытые старым светло-желтым молитвенным ковриком и поношенным халатом, Мадраим-ока разрыдался, как ребенок. До этой минуты смерть жены казалась ему невозможной, он не верил, что Курбан-биби так и умерла, не дожив до хороших дней. Невольно зарывав, Мадраим-ока сейчас же овладел собой.

Кучкорбай был как раз в том милом детском возрасте, когда только что появляется у ребенка речь. Говорят, что солнечные затмения, большие наводнения, землетрясения, разрушающие города и кишлаки, даже большие кровопролитные войны забываются, да еще как забываются; но если умрет младенец в той поре, когда он уже начал говорить своим милым забавным языком, это горе, эту потерю никогда не забыть. И правда: эту утрату нельзя ни с чем сравнить. Но если ребенок в том возрасте, когда его лепет бесценен, как песня соловья, когда он радостно бегает около матери, потеряет мать, то, не понимая всего горя этой потери, он сидит печальный, а как услышит голос, похожий на голос матери, ищет ее глазами. Это тоже не малое горе, этого тоже никогда не забыть.

Когда Мадраим-ока вернулся домой с одеялом, снятым с табути и завернутым в желтый молитвенный коврик, Кучкор спал, положив голову на колени старухи-соседки. Мадраим-ока опустил свою ношу на нары и сел на корточках у стены. Потом, взглянув на Кучкора, молча стал тереть свой лоб. Глядя на надувшиеся жилы на висках отца, страда-

* Кожаные галоши.

от горя и сдерживая подступавшие к горлу рыдания, Хошияхон подошла к Кучкору, тихонько подняла его и прижала к груди. Будь ее воля, она сейчас же сказала бы отцу: «Дада, я не дам почувствовать братцу, что у него нет матери, я сама буду ему матерью». Но чтобы так сказать, нужно согласие мужа.

Турды-ока, муж Хошияхон, подобно Мадраиму-ока был одним из тех рабов, которые и сыты не были и от голода не умирали. Если кровь Мадраима-ока сосал дардакский Хамробай, то кровь Турды-ока сосал ошский бай Мухаммад Сыддык. Турды-ока служил у этого бая тринадцать лет и не нашл даже тринадцати медяков. Согласится ли он, у которого своя семья, взять Кучкорбай?

Но когда Хошияхон тихонько завела об этом разговор, Турды-ока, не задумываясь, весело сказал:

— Столько лет я работал, а что я нашл? Возьми сюда Кучкору и воспитай его! Вырастет и он вместе с твоими детьми. Будет ему матерью!

И Хошияхон заменила Кучкору мать. Прошло несколько лет, и Мадраим-ока тоже умер. Турды-ока заменил Кучкору отца.

4. СЧАСТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Когда Турды-ока поступил на хлопковый завод в кишлаке Ойиме, его семья переселилась из Дардака в Ойим.

Хошияхон стала членом колхоза „Большевик“.

Первоначально не только „Большевик“, но и многие окрестные колхозы походили на дворы только что прибывших переселенцев: всюду был беспорядок, хозяйство колхозов делало еще первые шаги. Люди, захватившие с собой благоприобретенное в старом дворе „добро“—эгоизм, мешавший идти путем настоящей жизни,—работали вяло, лениво.

Но за туманом обычных житейских мелочей большинство видело путь к светлой жизни и для достижения ее было готово рисковать жизнью. Пословица говорит: „Возделашь сад, будут и сало и виноград“. Преуспевая из года в год, „Большевик“ стал одним из передовых колхозов района. Спесивая земля, говорившая единоличнику: „Что тебе дам, то и получишь“,—колхозникам стала говорить, почтительно сложив руки: „Что захотите, то и дам“.

Не только единоличники, смотревшие с недоверием на колхозы, но и те, кто был против них, теперь решили: „Колышку, вбитую дружно всеми вместе, и камень даст дорогу“.

Кучкорбай работает в колхозе кетменем и учится в колхозной школе для молодежи.

Колхоз на его глазах родился и вырос, изменив жизнь всего кишлака. Эта жизнь теперь совсем не походила на ту, о которой говорится в старых печальных рассказах и грустных песнях. Здесь не тянет каждый к своему очагу, а говорят так: „Все сыты, и я сыт“. Поэтому счастье отдельного человека—счастье для всех, и счастье всех—счастье для отдельного человека.

Самоотверженно работая, Кучкорбай был несколько раз премирован. Он получал премии не только благодаря своей молодецкой силе и удивительной энергии, но и благодаря своему твердому убеждению, что обязанность каждого честного человека работать вместе со всеми и ни от кого не отставать. А когда человек всех перегоняет в труде и выполняет работу, которая служит примером для других, то он становится заслуженным.

По ярко-синему небу плавают белые облачка—предвестники весны, бросая тень на далекие холмы. От черной, как смола, земли и от грязи, сложенной в кучи по берегам арыков и канав, поднимается призрачно легкий пар. У арыков и канав сверкают на солнце мелькающие в воздухе кетмени колхозников. Арба и грузовые автомобили с минеральными удобрениями, навозом и глиной непрерывным потоком идут по прямой широкой дороге из Ойима в Дардак и поворачивают в поле. От опрокинутой сухой глины разносится по ветру и тихонько поднимается вверх желтоватая пыль. Свивший гнездо на старом широком тополе аист стоит на одной ноге, раскрыв одно крыло и, с наслаждением потягиваясь, гордо озирает окрестности.

Хошияхон и Кучкорбай идут с поля. Дорога между Ойимом и Дардаком—замечательная аллея необъятного сада. Сколько красоты придает окружающим местам эта дорога, идущая на восемь километров. В официальных сообщениях сказано: „В Узбекистане проведено столько-то тысяч километров новых дорог“. Мы не научились ясно представлять себе по цифрам живые картины действительности, да это иногда и трудно. А вот, идя по Ойим-Дардакской дороге в восемь километров или по Курган-Тепинской—в двадцать километров, вы можете представить себе нашу республику, где теперь несколько тысяч километров таких новых дорог со множеством новых арыков и каналов, с текущими на сотни тысяч километров новыми реками, вырытыми человеческими руками, и со множеством новых

кишлаков и городов. Разве только Дардак или Ойим походят на сад, вымощенный очень трудолюбивым и обладающим большим вкусом человеком?

Серебро этих рек, изумруды садов, Красота снежных гор и долин, и холмов, И уютный ковер плодородной земли, Песни счастья, что в дни золотые пришли, Нашей родины слава, величие дел— Поколения счастливых счастливым удел.

Хошияхон давно уже хотела о чем-то поговорить с Кучкорбаем и, выждав удобный момент, издали позвала речь:

—Теперь, Кучкорбай, наши дела поправились, нужды у нас нет.

—Да, теперь живем хорошо. Вы это говорите, когда увидали скороспелки, а весь виноград только теперь поспеет.

—Верно говоришь, виноград только теперь поспеет. Теперь из года в год будет лучше. Я хочу тебе сказать: в комнате, что ближе к каалитке, давай снимем дачу*) и поставим оконную раму. Теперь все так делают, а сделать для себя пристройку успеешь потом, это дело не убежит. Мы уже с отцом говорили, теперь не отказывайся.

Кучкорбай знал, о чем идет речь, но сделал вид, что не понял.

—О чем вы говорили с отцом? О том, чтобы вместо дачи поставить раму?

—Э-э, не притворяйся бестолковым! Под землей змея шевелится, и то ты учуешь... Еще в прошлом году нужно было сплести свадьбу, да ты в горы ушел. Мы уж так, не спорили, только потому, что уважили слово председателя. А он сказал, что без тебя дело не обойдется, что в горах очень много скота. Ну как? Есть ли у тебя кто на примете? Кучкорбай покраснел и засмеялся.

—У меня нет. А у вас есть?

Хошияхон взволновалась от радости:

—Нет... Да, есть! Есть у нас на примете... Хорошая девушка.

Насколько Хошияхон говорила серьезно, настолько Кучкорбай все обращал в шутку:

—Ну, тогда скажите той хорошей девушке, пусть едет на канал, когда начнется стройка. Там мы познакомимся поближе.

Хошияхон поняла этот ответ в том смысле, что Кучкорбай думает жениться, когда будет окончена стройка нового канала.

Начались работы на канале, кончились, Кучкорбай вернулся домой. Хошияхон ожидала, что он заговорит о свадьбе.

Однажды вечером Кучкорбай пришел домой очень веселый и поздравил сестру:

—Мама, поди сюда!

Хошияхон быстро подошла к нему, полная радостных надежд.

—Ну, что скажешь?—спросила она.

—Вот мы и дом хорошо поправили. И новую пристройку сделать можем, у нас хватит всего.

—Да, сынок, теперь мы зажили отлично.

Что ты хотел мне сказать?

Кучкорбай закусил верхнюю губу, чтобы спрятать невольную улыбку.

—А вы уже давно не говорили о горестях старого времени? Забыли их совсем?

—Забыть их—хорошо, сынок! Ну их! Что было, прошло; теперь никогда, никогда не будем так мучиться.

А если захотят вернуть то время?

—Кто?

—Кругом нас много врагов.

—А им позволяй?

—А кто запретит?

—Красная Армия! И все, все мы!

—И я?

—И ты! Почему спрашиваешь про себя?

Кучкорбай засмеялся:

—А я же стрелять не умею.

—Научишься.

—Когда?

Хошияхон подумала и сказала:

—Когда будешь служить в армии.

—А когда я буду в армии?

—Когда придет время.

—А когда оно придет? Когда враг перейдет нашу границу, разве он будет мирно любить ждать, пока я научусь стрелять?

Хошияхон молчала. Ей хотелось услышать от Кучкорбая, что не сегодня-завтра будет его свадьба, а после такого разговора у нее уже язык не поворачивался заговорить об этом.

Турды-ока еще утром слышал, что Кучкорбай идет в армию. Вечером, вернувшись домой, Турды-ока хотел осторожно сообщить об этом жене и успокоить ее, чтобы она не огорчалась. Но Хошияхон заговорила первая, и результат ее беседы с Кучкорбаем удивил Турды-ока.

На следующий день, когда Кучкорбай прощался со всеми родными, родственниками и друзьями, Хошияхон твердым, спокойным голосом сказала:

—Прощай, сынок!.. Поезжай и возвращайся благополучно.

Кучкорбай отправился в Красную Армию и стал защитником счастья своего поколения.

*) Дача—станин, почти до пола, заменяют окна.

II. ПРИСЯГА

Рассказ Героя Советского Союза Кучкара Турдыева

Товарищи задают мне много вопросов о фронте, особенно о тех боях, в которых я сам участвовал. Я уже неоднократно рассказывал о том, что мне пришлось видеть на фронте, но, рассказывая, я каждый раз чувствовал, что товарищи не удовлетворены: они как будто хотят сказать мне: „А самого интересного-то ты и не рассказал!“

Попробую еще раз вспомнить и рассказать о тех боях, в которых я участвовал, и пусть товарищи сами судят о том, что в моих рассказах является „самым интересным“.

Расскажу, как я оборонял танк.

В пяти километрах от того места, где мы стояли, находилось селение, которое немцы превратили в железную крепость. Жителей в этом селении уже не было: большинство убежало, а кто не смог убежать, тех немцы растреляли, не щадя ни стариков, ни детей.

Мы должны были выбить немцев из этой крепости.

Когда стемнело, подошли к выжидательным позициям наши танки, окрашенные в белый цвет. Завтра они должны будут подавить огневые точки противника. Сначала артиллерия выбьет врага из его гнезда, потом танки и пехота пойдут в атаку. Готовясь к атаке, наша пехота тихо подошла и расположилась с левой и правой стороны поселка. Я стоял на левом фланге.

Перед рассветом наша артиллерия — как бы говоря: „Какое место у тебя чешется?“ — начала обстреливать вражеские позиции. Когда стало совсем светло, я увидел, что белая снежная равнина превратилась в рябую от рытвин, произведенных разорвавшимися снарядами. Наши танки и пехота пошли в атаку. Среди огня и дыма можно было лишь смутно различать людей.

Вдруг вижу — один из наших танков, проорвавших линию обороны врага, повернул назад. Что случилось? Нехватило бензина? Или кончились снаряды?

Вражеская артиллерия, которая, как будто задохнувшись, на время примолкла, снова начала „кашлять“ без передышки. Один снаряд разорвался в пятидесяти шагах от танка, второй — еще ближе. Следующие снаряды засыпали танк землей. Когда улеглась пыль, я увидел, что наш танк накренился набок. Фашисты выскочили из блиндажей и, поднявшись во весь рост, побежали к подбитому танку, чтобы взять в плен его экипаж. Я огляделся —

близко около меня уже никого не было. Наша часть продвинулась вперед и вела бой около самого поселка.

Что делать? Открыть огонь из пулемета? А что будет дальше? А дальше будет то, что артиллерия врага заметит меня и откроет по мне огонь. А что будет с экипажем танка? Я был уверен, что экипаж танка ни в коем случае не сдастся в плен. А если экипаж не сдастся, фашисты подожгут машину. Раздумывать было нечего. Все — ясно.

Взяв на прицел подбегавшую к танку стаю фашистов, открыл огонь. Фашисты пришли в замешательство. Воспользовавшись этим моментом, я быстро перенес пулемет на другое место. Не прошло и двух минут, как два фашистских снаряда взорвались как раз на том самом месте, где я лежал за минуту перед этим.

Полагая, что от моего пулемета после обстрела не осталось и пепла, неприятель опять начал пододвигаться к танку. Я опять нацелился и открыл огонь.

Действуя таким образом, я не подпустил к танку ни одного человека из атакующей роты. Когда мои пулеметные ленты уже приходили к концу, ко мне подошла подмога. Подбитый танк был вывезен с поля сражения. Припоминаю еще один „интересный случай“.

Нужно было выяснить местонахождение огневых точек врага. Командир роты послал меня в разведку.

Темная ночь. Холод такой, что дыхание захватывает. Мне это было на-руку. Я знал, что немцы не любят мороза и темноты. Иду я по низкому месту, на каждом шагу прислушиваясь. Когда вышел из низины, пришлось ползти. Продвинувшись на большое расстояние, я заметил темные фигуры людей. Значит недалеко немецкий блиндаж. А потому недалеко, что немцы ночью не осмеливаются далеко отходить от своего гнезда. Я внимательно осмотрел окрестность. В ста метрах от меня виднелась какая-то возвышенность. Оттуда доносились голоса, затем хлопнула дверь, и голоса замолкли. Я понял, что это был неприятельский ДЗОТ.

Пробыв на разведке свыше двух часов, я собрал очень ценные сведения.

Вы спросите, были ли во время этой разведки „страшные минуты“. Может быть, товарищи, это тоже то „самое интересное“, что вы ждете от моего рассказа?

Бояться, значит думать о себе, о своей жизни.

Если бы я хоть минуту думал об этом, я забыл бы о сотнях моих товарищей, доверивших мне такое ответственное дело, которое, быть может, завтра решит вопрос об их жизни и смерти. Думать о себе, значит забыть о нашей Родине, о тысячах детей, жен и стариков. Если в страхе за свою жизнь я не выполню, как следует, порученного мне задания, то завтра, когда мои друзья бросятся на врага, быть может, тот самый ДЗОТ, который я не сумел как следует разведать, начнет поливать их свинцом, и многие из них погибнут. А если останусь в живых, то как я буду смотреть в глаза умирающих товарищей? Что я им скажу?

Я доложил командиру результаты своей разведки. Он слыл эти сведения с другими и сделал отметки на карте.

На рассвете наши тяжелые орудия загрохотали, потрясая небо и землю. В два счета были размечены те огневые точки, которые я заметил в разведке. Наша часть пошла в атаку. Все ближе и ближе неприятельские позиции. Мы прорвались к ним сквозь пули и взрывы мин.

Я прыгнул в окоп, соединявший два неприятельских блиндажа. Надо мной затрещал пулемет. Пулеметчик меня не видел и стрелял по нашим бойцам, приближавшимся к блиндажам. Если пропустит минуту, то сколько погибнет наших бойцов! Я нацелился из винтовки и угодил пулеметчику в висок. Пулемет замолк. Тут меня заметили двое фашистов. Один бежал к пулемету, другой выстрелил в меня. Пуля меня не задела, но подбила мою винтовку. Я

бросил ее и кинулся на врага. Фашист не успел опомниться, как я выхватил у него винтовку и прикончил его этой же винтовкой.

Особенно горячий бой разгорелся около ДЗОТ'а. Я бросил в ДЗОТ подряд три гранаты, которые были у меня за поясом. ДЗОТ умолк, но на это молчание нельзя было полагаться.

У стены прохода, ведущего в ДЗОТ, я заметил лежащего красноармейца.

— Ты ранен, друг? — спросил я.

Ответа не было. Я нагнулся посмотреть, жив он или нет, а в это время „красноармеец“ быстро выхватил из-под шинели револьвер. Это был переодетый фашист. Я ударил его по руке лопатой, которая была у меня за поясом. Револьвер отлетел в сторону. Фашист вскопился и набросился на меня. Я схватил его поперек туловища, поднял и ударил о землю.

В ДЗОТ'е оказались еще три немца: один офицер и два солдата. Все они не помнили себя от страха. Я взял их в плен.

В этих боях мне придавали смелость и силу любовь к Родине и к моему народу. Ведь, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я присягал, что до последнего дыхания буду предан своему народу, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству, что я буду мужественно, отважно биться с врагами, не жалея своей крови и жизни.

Сражаясь с фашистскими захватчиками, предательски напавшими на мою Родину, я только выполнял свою присягу.

Перевела с узбекского А. Соердотова

Хамид Алимджан

Посвящается Кучкару Турдыеву

ДЖИГИТ

Когда орел взмывает к тучам —

Вороны прочь летят,

Когда скакун бежит по кручам —

Уцелья вслед гремят.

Когда джигиты, ставши в стремя,

Вперед коней стремят —

Руби врага! Настало время,

Коси за рядом ряд!

Клокочет гневом сердце наше,

Так не щади врага!

Давно полна терпенья чаша,

Так не щади врага!

В боях отважен будь и страшен

И не щади врага!

Пусть наших рош, лугов и пашен

Злодеи не сквернят!

В лесах, в степях, под высью звездной

Врага-гиену бей!

Пока враги не сгинут в бездне,

В огне геенны — бей!

Пока весь род их не исчезнет

С лица вселенной — бей!

Твои дела в нетленной песне

Потомки сохранят!

Ты наш, ты рос под ясным небом
Отчизны дорогой.
Мы ждем тебя. Столь жданным не был
Для нас никто другой.
Рази врага, любимец боя,
Железною рукой!
Придешь ты — горы пред тобою
Седины преклоняют.

Разбей скорее орды вражды
И приезжай, — мы ждем!
С победой ждем тебя, отважный,
С победой — в отчий дом!
С твоей дороги глаз не сводим,
Считаем день за днем!
Сады, склонясь к журчащим водам,
Ждут, шелестят, не спят.

Перевод с узбекского *Владимир Державин*

Б. Лавренев

ГЕНЕРАЛ ПЕТРОВ

В последние дни 1917 года, когда с неудержимой быстротой разваливалась старая, казавшаяся, царская армия, ее офицерский состав, лишенный революцией классовых привилегий, был поставлен перед выбором: за или против революции, с народом или против народа.

Большинство офицеров встало на путь борьбы со своим народом, бежало на южные и восточные окраины страны, где белые генералы сколачивали контрреволюционные силы.

Но среди русского офицерства к концу войны были многочисленные выходы из трудных слоев города и крестьянства, студенческая молодежь, взятая по призыву в школы прапорщиков. Среди этой молодежи нашлось немало людей, которых боевая жизнь в окопах тесно спаяла с солдатами. Они ощутили величие развертывающихся событий, поняли правду учения большевиков. Эти люди с открытым сердцем перешли на сторону революции, чтобы выполнить свой долг перед народом, помочь ему в борьбе своими военными знаниями.

Бывший студент архитектурного класса Строгановского художественного училища в Москве — подпоручик русской армии Иван Ефимович Петров не колебался в выборе. Он остался со своим народом, он с первых дней зарождения Красной Армии встал в ее ряды, он твердо и сознательно вступил в партию большевиков. И в кавалерийских частях Красной Армии, дравшихся против белых генералов и атаманов, появился молодой комиссар, товарищ Петров. Он показал себя отличным организатором, стойким и преданным борцом

революции, завоевал авторитет у красноармейцев и командования и в 1921 году был уже комиссаром первой бригады 11-й кавалерийской дивизии, сражавшейся на западных границах государства.

Гражданская война закончилась. Но еще кое-где тлели очаги сопротивления недобитого классового врага. И всего больше было этих очагов в Средней Азии, где бушевали и мешали мирному советскому строительству разнузданные разбойничьи шайки басмачей, наемники и богачей — баев.

Нельзя было строить жизнь, не искоренив этих змеиных гнезд. И по приказу командования кавалерийские части Красной Армии двинулись в Среднюю Азию для ликвидации контрреволюционного отребья.

В начале 1922 года 11-ая кавдивизия прибыла из Гомеля в Самарканд и прямо с марша ринулась в горячую борьбу.

Обстановка была сложная. В Восточной Бухаре оперировал во главе крупных бандитских отрядов известный авантюрист, предатель турецкого народа, зять султана и личный друг немецкого кайзера — Энвер-паша. В Западной Бухаре кишели шайки головорезов и разбойника муллы Кагара. В самой Самаркандской области безобразничал третий главарь бандитов Ачинбек. Вся долина Зеравшана была охвачена огнем басмачества.

Борьба с подвижными, летучими басмаческими шайками была очень трудна. В любом кишлаке басмачи имели своих тайных друзей и помощников. Любое передвижение красноармейских частей немедленно становилось известным басмачам, и хорошо задуманные

удары обрушивались в пустоту: предупрежденные басмачи успевали заблаговременно удирать от разгрома.

Ознакомившись с этой сложной обстановкой, молодой комиссар бригады Петров предложил создать особый истребительный отряд. Для маскировки этого отряда от шпионских глаз — все бойцы его были не только переодеты в одежду местного населения, но получили и местных лошадей и седла и сбрую, что делало их самих с виду неотличимыми от бродивших по местности басмаческих отрядов и вводило в заблуждение шпионов, оперировавших в кишлаках.

Эта военная хитрость скоро дала ощутительные результаты. После скрытного сосредоточения конницы у Нуратына, истребительный отряд неожиданно обрушился на главные силы шайки муллы Кагара. В этом бою шайка потерпела крупное поражение и, хотя сам мулла успел вырваться из кольца и спастись бегством, но потерял весь обоз с награбленным имуществом и всех своих жен.

Продолжая неустанную погоню за разбойником, 62-й и 63-й полки кавбригады, совместно с бухарским конным дивизионом, после тяжелых переходов по безводным пескам застигли на рассвете банду Кагара у колодезя Кой-Кулак.

Произошла ожесточенная схватка, в которой погиб командир бригады Газе. Его тело было вырвано у басмачей лихой конной атакой, проведенной самим комиссаром Петровым, шедшим во главе бойцов. В результате боев банда была разгромлена и рассеялась окончательно, несмотря на то, что и в этот раз мулла Кагар успел бежать, бросив на произвол судьбы своих холопов.

С наступлением зимы бригада была переведена в Оренбург для переформирования. Используя боевой опыт в борьбе с басмачеством, И. Е. Петров всю зиму готовил бригаду к предстоящей летней кампании. Весной 1923 года красные конники снова появились в Самаркандском районе.

Им предстоял трудный поход в гнездо горного басмачества, в Гарм. Там засел крупнейший убийца, деспот и насильник, враг трудового народа Макум Файзула.

Экспедиция продвигалась по чудовищным дорогам, через горные перевалы Зеравшанского и Гиссарского хребтов. Это был неслыханный по трудностям поход. Дорога большей частью шла по оврагам. Гнулись и трещали тонкие доски, настланные на балки, вбитые в отвесные утесы. Под балками в сырой мгле

лежала бездна, в которой глухо ревела горная река. Если по этим чортовым тропам еще пробирались кое-как люди и кони, то продвижение обозов и артиллерии было сплошной мукой. Пушки шли по оврагам только одним колесом. Другое висело в воздухе над пропастью. Беззастенчивые смельчаки забирались на отвесные скалы над оврагом. Связанными вожжами они придерживали висевшие над обрывом колеса орудий и, переползая как ящерицы по камням, продвигали пушки со скоростью двух-трех метров в час.

И при этом поход все время проходил с боями. Приходилось на ходу сбивать арьергарды Макума, восстанавливать под огнем разрушенные басмачами дороги.

И везде и всюду, в самых трудных и опасных местах бойцы отряда видели спокойную, энергичную, уверенную фигуру своего комиссара, умевшего во время пошутить, сказать ободряющее слово, поддержать дух усталых.

Особенно ярко сказались организаторские и боевые таланты молодого комиссара бригады в бою на переправе через Дюшамбинку. Мост басмачи разрушили, бродов поблизости не было, а перейти реку требовали боевые задачи. Ширина ущелья достигала 30 метров. В пятидесяти метрах внизу кипела и ярсилась река. Прибрежные скалы подвергались басмачами бешеному обстрелу.

Специальной саперной команды при наших частях не было, не было и материалов для наводки моста. В эту минуту Петров заметил неподалеку в кишлаке два тополя. Их мгновенно срубил и подтащил к пропасти. Двадцатиметровые комли соединили вершинами, связали ремнями. Подняли это громадное бревно стоймя и, под огнем противника, осторожно перекинули через пропасть. По узкому и ненадежному мосту, на четвереньках, висая над провалом, кавалеристы переправились на противоположный берег и прогнали врага.

Все лето Иван Ефимович Петров водил свою бригаду в кровопролитные стычки с басмачами на левом берегу Вахша, на Гиссарском хребте, довершая разгром банд Макума Файзулы. К осени самаркандская область была полностью очищена от врагов. Бригада ушла на зимний отдых, и ее комиссар, закалявшийся в огне горной войны, почувствовал, что ему необходимо всерьез заняться своим военным образованием, чтобы получить возможность с наибольшей пользой применять полученный им боевой опыт. Осенью 1923 г. комиссар Петров был направлен на курсы усо-

вершенствования командного состава конницы. Он решил стать профессионалом военного дела, окончательно определив свой жизненный путь.

После окончания курсов Петров вернулся в Среднюю Азию, к которой уже привык и привязался, где продолжали работать и сражаться его старые боевые друзья.

Пройдя послекурсовую стажировку командиром эскадрона 1-й Туркестанской кавдивизии, Петров снова кинулся в бои с последними остатками басмачества. Теперь он бил и громил своих старых врагов во всеоружии военного знания, соединенного с огромным боевым опытом.

В 1928 году, за разгром афганских грабительских банд, пытавшихся под шумок гражданской войны в Афганистане совершать набеги на советские пограничные районы, Петров был награжден орденом Красного Знамени.

Едва завершив эту кампанию, он ринулся в пески Кара-Кумов, где последовательно, упорным и непрестанным преследованием распылал и ликвидировал отряды Джунгаид-хана.

Через год И. Е. Петров принял командование сводной Узбекской отдельной бригадой в Самарканде. Бригада считалась в округе отсталой, и Петрову предстояла большая работа. Здесь проявился во всем блеске его организаторский дар, умение выбирать людей, расставить их на места и руководить ими.

Он был исключительным педагогом и вырабатывал командиров, отдавая все свое внимание способным и даровитым людям. Для бригады нужно было создать кадры квалифицированных командиров узбеков, и Петров, как заботливая нянька, возился с каждым, стоившим внимания. Он взрастил целое поколение конников-узбеков. Многие из его воспитанников прошли путь от командиров отделений до командиров и комиссаров полков. Бывший комиссар узбекской батареи, талантливый Хасанов, вырос впоследствии в образцового начальника Политотдела узбекской дивизии. Энергичная деятельность дала отличные результаты. Сводная узбекская бригада стала передовой частью САВО.

С этой бригадой И. Е. Петров провел большую военно-политическую и агитационную экспедицию в момент коллективизации Узбекистана, когда снова вспыхнули контрреволюционные очаги, разожженные кулаками и провокаторами. Петрову удалось погасить эти очаги с помощью узбекской молодежи бригады, без единой вспышки, без кровопролития. Кулацкая агентура была изъята при помощи са-

мого же населения, и коллективизация прошла мирно и успешно.

Боевая деятельность бригады под командованием Петрова закончилась в 1930 году походом против прорвавшегося из Афганистана главного атамана среднеазиатской контрреволюции — бека Ибрагима.

И. Е. Петров зажал отряды Ибрагима по пути из Афганистана в Восточную Бухару, сдал их стальными тисками и закончил операцию сокрушительным поражением шаек. Сам Ибрагим-бек был захвачен в плен.

С окончанием войны против басмачей Иван Ефимович был назначен начальником Ташкентского пехотного военного училища имени В. И. Ленина.

Девять лет он воспитывал командные кадры Средней Азии. Знатоком боевых операций в горных и горно-пустынных районах, сам прошедший десятки раз труднейшими путями в боях против басмачей, он воспитал боевое племя командиров, подготовленных для ведения горной и пустынной войны. Кроме педагогической работы, И. Е. Петров за это время написал ряд военно-теоретических трудов и исследований о горной войне. Эти работы и советы И. Е. Петрова сыграли значительную роль в боевой подготовке войск САВО.

В 1940 году И. Е. Петров ушел из училища на должность инспектора пехоты САВО и в начале 1941 года был назначен командиром сформированного механизированного корпуса в Ашхабаде. Но корпус не успел развернуться.

С началом Отечественной войны Иван Ефимович уехал на юго-западный фронт командиром дивизии. Армии юго-западного фронта, упорно обороняясь от натиска превосходящих сил противника, отходили к Одессе. Когда начались ожесточенные бои на подступах к городу, Петров принял командование группой войск, непосредственно оборонявших Одессу. И тут в полном объеме развернулось его военное дарование, доставившее ему новые боевые лавры и снискавшее ему признание даже у противника. Имя генерал-майора Петрова стало символом неодолимого упорства и величия духа.

Со 2 августа по 8 октября защитники Одессы, под командованием И. Е. Петрова, героически дрались на подступах Одессы, нанося жестокие удары немецко-румынским дивизиям, отбрасывая их от рубежей обороны, покрывая одесские степи тысячами трупов за-

хватчиков. Когда командование Красной Армии дало приказ оставить Одессу, генерал-майор Петров ушел из города последним вместе с артергардными частями, прикрывавшими эвакуацию.

В Севастополе И. Е. Петрову вручили командование Приморской армией, сформированной из пехотных частей, находившихся в районе крепости. В эту новую армию входила и прославленная 25-я Чапаевская дивизия.

После тяжелых боев на Перекопском перевале и отхода Красной Армии к непосредственной обороне черноморской твердыни, Петров подготовил оголодело лезущим к городу немцам жаркую встречу.

Вместо трехдневного молниеносного штурма, о котором хвастливо кричали немецкие приказники, немцы, встретив жестокие удары Приморской армии, руководимой Петровым, засели под Севастополем на восемь месяцев и усыпали скалистые склоны крымских холмов горами фашистской падали.

Непрезвзойденный знаток горной войны, генерал-майор Петров устраивал засады в трудно-проходимых горных перевалах, громил врагов, истребляя их живую силу и технику. К стенам Севастополя от Перекопа немецко-румынские полчища подошли уже обескровленными непрерывными ударами советских бойцов, и первый штурм, наткнувшись на блестяще организованную Петровым сеть укреплений, потерпел полную неудачу. Немцы почувствовали, что во главе обороны стоит грозный противник.

Подтянув массу резервов, мощную авиацию и сверхтяжелую артиллерию, немцы 17 декабря открыли ураганный огонь, сопровождаемый бесперывной бомбежкой с воздуха севастопольских укреплений по всему фронту. После неслыханной по силе и концентрации огня подготовки — гитлеровцы кинулись на второй штурм крепости. Но Приморская армия не ждала, пока враг доберется до ее позиций, она сама встретила наступающих немцев яростными контратаками. Десятки тысяч немецких трупов летели под стенами укреплений.

Семнадцать дней длились кровавые бои, и встреча Нового Года в Севастополе, объявленная немецким командованием, не состоялась. Приморская армия и моряки, под командованием Петрова, сорвали немецкие планы. Обескровленные фашисты надолго застряли перед крепостью в своих сырых норах. Только 7 июня 1942 г., снова стянув все силы, немцы смогли восстановить активные операции против крепости. Двадцать семь дней длился на этот

раз непрекращающийся ни на минуту огненный ад. Еще 60000 немецко-румынских тел сгнили на севастопольской почве и не менее 100000 вышло из строя. Только 3 июля доблестные защитники Севастополя оставили город по приказу командования, выполнив поставленную перед ними задачу: приковать к крепости силы противника и тем самым сорвать сроки «весеннего» гитлеровского наступления.

С непрезвзойденным героизмом и доблестью дрались защитники Севастополя. В этих боях навеки прославил свое имя генерал-майор Иван Ефимович Петров, вставший рядом с незабвенными героическими образами славных предков, защитников Севастополя в 1854—55 годах, — адмиралами Нахимовым и Корниловым.

Бойцы Севастополя навсегда сохраняют в своей памяти подтянутую сухую фигуру генерала, легким шагом обходящего ежедневно передовые линии защиты крепости, подолгу, заботливо и внимательно беседовавшего с командирами и рядовыми, всегда умевшего найти для подчиненных ласковое слово, бодрящую шутку, от которой становилось легче на сердце, и появлялись силы для того, чтобы выдерживать непрестанные немецкие атаки, пережидать адские бомбежки, выворачивающие нутро земли.

Исключительную любовь и популярность среди защитников Севастополя заслужил герой его обороны, генерал-майор Иван Ефимович Петров.

В этом немолодом уже, но полном жизни и энергии человеке воплотились все лучшие качества русских полководцев суворовского и баграционного типа.

Беззаветная личная храбрость, простота, умение найти прямой путь к сердцу бойца, постоянная отеческая забота о нуждах подчиненных, отличное знание военного дела, способность мгновенно решить сложную задачу, найти выход из трудного положения — все это свойственно генералу Петрову, преемнику и наследнику великих традиций русской полководческой школы.

Суровый и жестоко требовательный в боевой обстановке, непримиримый враг разгильдяйства и небрежности, беспощадный к проступкам против дисциплины и воинского долга, Иван Ефимович Петров в то же время — подлинный любящий и заботливый отец своих подчиненных.

Любой командир и боец в любой момент имеет доступ к генералу по любому вопросу службы и личного быта.

К Петрову идут не только за командирским приказом, но и за отеческим, дружеским сове-

том. И всякий его совет выполняется беспрекословно: фраза „Иван Ефимович так сказал“ — действительно закон для всех, кто в личном быту соприкасался с Петровым.

Характерной чертой Петрова-полковника является его всегдашнее желание быть самому в курсе всей боевой обстановки, узнавать ее лично, не передоверяя другим. Он всегда в решающие моменты выезжает на боевую линию, сам ориентируется в условиях боя и назначает рубежи.

В период обороны Одессы, в самый разгар тяжелого боя, на позицию примчалась машина Петрова. В простой красноармейской шинели, без знаков отличия, генерал появился на командном пункте, осыпаясь градом стали, выслушал донесения командиров, выяснил обстановку, дал ряд неотложных указаний и умчался на другой рубеж.

Через полчаса на командный пункт к уставым и голодным людям прибыл гонец от Петрова с дружескими ободряющими записками и двумя громадными пакетами, набитыми продовольствием.

Это внимание и забота о людях никогда не оставляют Петрова. Он готов всегда разделить с подчиненными последний кусок хлеба.

Сейчас генерал-майор Иван Ефимович Петров получил ответственное назначение на один из важнейших участков фронта. Его нахождение на этом участке — гарантия того, что немецко-фашистские полчища не только будут остановлены на рубеже, где командует Петров, но и уложат там новые десятки тысяч трупов в безрезультатных атаках.

Ибо с именем Петрова связан беспредельный героизм, упорство и стойкость советского воина, патриота родины.

...

М. Юфит

У НЕЕ ЕСТЬ ВОЛЯ

Когда девочка родилась, отец записал в красный альбом: „Моя маленькая Зибя. Мама мучилась родами шесть суток. Я приходил в больницу утром и в полдень, в сумерки, ночью. Узкая луна стояла над тополями. Акушерка, стараясь успокоить меня, говорила: „Наверное это будет сын. Наверное это будет мальчишка“. Я сказал ей: „Мне все равно, сын это или дочь. Мне все равно, кто ты, моя маленькая Зибя...“

И теперь, стоя у окна, выходящего в маленький двор, как бассейн воды, полный лунного, прозрачного света, отец думал: „Мне все равно, кто ты, моя маленькая Зибя, мой отважный ребенок...“

На днях пришло письмо, повергнувшее его в печаль. Дочь ничего не хотела скрывать, она считала отца своим другом. Матери она просила пока ничего не говорить... Зибя ранена. Тяжелое осколочное ранение в область бедра. Она лежит в гипсе в госпитале. Командующий прислал к ней лучшего врача.

„Но ты не беспокойся, папа, мне уже лучше.“

Молодость победит, лед тронулся к выздоровлению“.

Она любит шутку, его веселая девочка! Она любит жизнь, его дерзкий ребенок! Она тянется к жизни, как цветок к свету...

Когда она была школьницей, товарищ Шакурова из Ташкентского дома творчества говорила:

— Гражданин Ганиев, ваша Зибя всегда делает то, чего не делают другие девочки...

Он отвечал виновато:

— Она умеет настоять на своем. Я не могу ей ни в чем отказать.

Разве откажешь, когда она, как солнышко, проведет ручонкой и согреет сердце? Разве откажешь, когда слеза ее дорожке жемчужины, смех, как кружка воды в знойный день, как сладкий виноградный сок?

Никто не знает своей судьбы. У отца были свои планы, свои надежды. Не всем им дано было свершиться. Разве знал отец, когда стояла под окнами больницы, что мать Зибы станет для него чужим человеком, что маленькая Зибя будет жить то у него, то у матери, что ма-

чека не всегда будет ей рада? Все бывает в жизни, и никто не знает, что будет завтра. Поэтому родителям хочется, чтобы дети делили их желания, продолжали их дело, чтобы они свершили то, что не сделали сами родители.

И отец Зибы тоже пытался настоять на своем:

— Ты будешь литератором, — говорил он.

— Нет, — отвечала упрямая Зибя, — я буду артисткой.

— Ты будешь литератором, Зибя, ты так любишь книги. У тебя богатое воображение...

— Нет, — отвечала Зибя, прижимая руки к сердцу, — я буду артисткой... Ты послушай...

И она часами читала ему вслух Пушкина и Лермонтова.

Вот здесь это было, в этой тесной комнате, за этим столом. Здесь рыдала она, когда отец не пускал ее в театр, из этой палаты пила чай, в это зеркало смотрелась, на этой кушетке спала. С этой этажерки брала книги. Сюда, в эту комнату вбежала она, крича:

— Папа, у меня отлично. Смотри...

И показывала тетради.

Сюда прибежала она ночью после выступления балетного кружка, чтобы, разбудив его, рассказать:

— Меня вызывали четыре раза... Вот...

И сделала при этом какое-то немислимое „па“.

Потом ее страсть к танцам утихла. Она стала ходить в аэроклуб. И, наконец, решила твердо:

— Я буду артисткой... Я поеду в Москву.

Он отпустил ее.

Из Москвы она писала ему письма. Ему не удалось их все сберечь, некоторые он отсылали матери. Она писала о подругах, о городе, о том, что научилась ходить на лыжах и участвовала в соревнованиях. Она сшила себе пальто, но денег на меховой воротник ей нехватало. Она больше не дружит с Сеидом, — он нехороший человек, не такой хороший, как ей казалось раньше. Она репетирует роль лэди Мильфорд из пьесы „Коварство и любовь“. Она скучает по солнцу. „Папа, пришли мне узбекских книг и фруктов, пожалуйста, пришли“. Она телеграфировала о том, что в институте ввели плату за правоучения и просила, чтобы отец сказал ей, как быть? А через три дня она вызвала его к телефону. „Папа, спасибо, деньги я получила. Но я буду отличницей, вот увидишь, мне дадут стипендию“.

Ей не всегда было весело.

Она присылала иногда грустные письма.

Это письмо от двадцать шестого апреля он не отослал ее матери. Он оставил его себе.

„Дорогой папа, мне уже скоро будет 18 лет, а мы с тобой так удалены друг от друга. Хотя ты отец, а я твоя дочь, но мы друг друга неплохо знаем. Пусть тебя не удивляет это странное письмо. Когда живешь в семье, то ведь не замечаешь, как дороги тебе отец и мать, еще иногда сердиться на них, но когда случится что-нибудь, нарушающее порядок обыденной жизни, радостное или горькое, тут начинаешь чувствовать, как они дороги, как близки и как без них жить нельзя. Вот и сейчас я это почувствовала. Папа, я хочу в тебе видеть не только отца, но и друга, с которым я могла бы делиться тем, что я думаю и чувствую. Ты только один сможешь помочь и показать правильный путь в жизни.“

Как ты знаешь, я выбрала своей специальностью быть артисткой. Я не каюсь, но боюсь, что не смогу быть ею. Тебе, конечно, известно, что такое искусство. Чтобы работать в искусстве, надо быть сильным человеком. А главное — быть упорным и трудолюбивым. Папа, хотя природа дала мне многое, но главного не дала — воли. Конечно, это вырабатывается, но все же я слабый человек.

Сейчас у нас в Москве погода ужасная — дождь, слякоть, я лежу в постели и пишу тебе письмо. Уже 11.30. Насиба зовет кушать, а потом буду стирать. Пиши мне.

Тебя любящая Зибя“.

Письмо взволновало его. Он представлял себе ненастный день, девичьи обиды, хандру, — маленькая Зибя тосковала без солнца. Что случилось накануне? Обидела ее подруга? Позавидовала она чужому успеху? Не справилась с ролью? Нет, Зибя не была мелочной.

Это была тревога о будущей жизни, о своем месте в ней, это были первые сомнения вступающего в жизнь человека. И чем талантливее он, чем честнее, тем больше у него сомнений. „Это неизбежно, Зибя, — думал тогда отец, — человек не может жить иначе... Только тушпы постоянно довольны собой...“

Он написал дочери об этом.

Они переписывались с дочерью часто. Почтальон шутил, что они как влюбленные.

— О, мы с дочерью — друзья...

Все это было до войны.

А когда началась война, Зибя написала:

„Я снайпер-разведчик. За несколько дней я истребила 11 немецких солдат, двух офицеров. Работа очень трудная, суровая жизнь, сам понимаешь. Война“.

Он понимал... Маленькая изнеженная Зибя сутками лежит в окопе на холодной земле. Подстерегает врага. Маленькая, гордая девочка, она не смогла усидеть в тылу, ушла на фронт.

А теперь она уже ранена вторично. Первая рана была легкой.

Запыхавшийся почтальон принес ему сегодня журнал "Огонек". На обложке — портрет Зибьи. Стройная фигурка в гимнастерке и сапогах. Пилотка. Нежный локон. Внимательный взгляд.

Она чуть согнула ногу в колене...

Почтальон сказал:

— Я несу этот номер подписчику... Но он подождет... Все равно говорят, что почта плохо работает...

— Почта действительно плохо работает, — сказал он. — Я послал телеграмму в госпиталь, спросил, как ее здоровье. И нет ответа...

— Так то телеграф, а не почта, — обиделся почтальон.

Но отцу было не до его обиды.

Он жадно читал скудные строчки о том, как Зибя Ганиевой приходилось со своей частью совершать тяжелые марши, бродить по топям, болотам, как ходила она в атаке.

... Под прикрытием танков пошла в бой советская пехота. Вместе с бойцами побежала Зибя, она падала на колени, прицеливаясь и разя немцев. Слабый голос ее звенел над полем. "Ура" — кричала Зибя. Повалился один фриц, второй, третий... Девятый... В азарте боя Зибя не заметила, что ранена, что кровь расплзлась бурыми пятнами по синему сунду. Она бежала вперед, туда, где танки давили немецкие ДЗОТЫ.

Г. Ленобль

ЗУФАР

Ранним утром, задолго до восхода солнца, пробирается к намеченному месту снайпер Зуфар Юсупов. Он идет к переднему краю нашей обороны, он переползает в нейтральную зону, иногда он устраивается в тылу у фашистов. На нем маскировочный халат. Вот он, незамеченный противником, добрался до цели.

Тишина стоит вокруг него — невозмутимая, непроницаемая. Грозная тишина, которая каж-

Об этом Зибя не писала домой. Сообщала кратко:

"Ранена в область бедра. Суровая жизнь. Сам понимаешь, война".

Он понимал.

Но он был отцом, а Зибя его ребенком, его балованной дочкой. Гордость и тревога наполняли его сердце.

Он молча вернул журнал.

Он не мог говорить, сдавило горло.

По этому дворику бегали ее маленькие ножки... На этой веревке сушились ее постиранные платица...

Он ушел в дом, чтобы соседи не видели слез на глазах отца Зибьи. Ведь Зибя теперь воин.

Днем прибежала Насиба Усманова, артистка, подруга Зибьи. Она бросилась на шею к отцу. Такая радость, такая слава, портрет на всю обложку, известность на весь Советский Союз. Он уже владел собой, он шутил:

— Ты такая толстая здесь, а Зибя на фронте.

— Я бы свою кровь за нее отдала, — кричала пылкая Насиба.

Наступила ночь. Уснули соседи.

Лунный свет до краев наполнил маленький двор. Отец стоял у окна и думал о маленькой Зибя, которая в этом доме поняла, что есть в жизни то, что всего дороже, — чувство долга перед родиной. В руках он держал только что полученную телеграмму — командование госпиталя поздравляло его с награждением Зибьи орденом Красного Знамени.

"Теперь она может не сомневаться в том, что у нее есть воля", — думал он.

...

косившимся сараем. Зуфар ждал, — настороженно, чутко; ширококулое лицо неподвижно, и лишь в глазах по временам вспыхивают злые огоньки. Так проходит час, другой. На именных часах, полученных от Военного Совета Ленинградского фронта, стрелка пробежала уже немалый путь. Не узнать Зуфара: живой, порывистый, непоседливый, — похожий на шарик ртути, такой же неутомимый, — он лежит угрюмый, не шевелится. Винтовка с оптическим прицелом все время наготове. Роса высохнет, и тени укоротятся и пропадут, и снова вырастут и удлинятся, но уже в другую сторону, а снайпер все еще не выпустил ни одной пули. Но когда появится мишень хоть на секунду, когда враг хоть на мгновение допустит оплошность, — ее моментально использует притаившийся снайпер. Он так свеж, так скор и так точен в движениях, как будто не было этого мучительного выжидания, и он заранее знал, когда немец покажется.

Для Зуфара Юсупова встреченные им немцы — это не только враги, это — вместе с тем — и номера. Он так и вспоминает их: сотый, тот первый... Всего Зуфар убил *сто тридцать семь* немецких оккупантов. Таковы последние имеющиеся у нас сведения. Но можно смело сказать, что эти сведения — неверные. Цифра "137", без сомнения, устарела и, что ни день, стареет все больше и больше. С каждым днем Зуфар увеличивает свой счет, и растет число покойников в немецких братских могилах.

Имя "Зуфар" Юсупов дал себе сам; родители назвали его по-другому — Мамадали. Однако молодому узбеку это имя не нравилось. Он от него отказался и стал Зуфаром.

"Человек, идущий к победе", тот, кто победит — так, примерно, можно перевести на русский язык слово Зуфар.

Зуфару Юсупову двадцать пять лет, он ровесник революции, и он хочет быть достойным сыном советского Узбекистана. Его старший брат — член партии, сам он — комсомолец, а раньше был пионером, и таким активным, что его даже посылали в столицу — в Москву.

Был такой случай, — о нем мне рассказала старая Рузуван-биби, семидесятилетняя мать знаменитого снайпера.

Было это давно, в небольшом городке Султанабаде, где впервые праздновался женский праздник 8 марта. Робя и не веря соб-

ственной смелости, упрятав лица под черными волосными сетками, нерешительно шли женщины на первое свое собрание. После долгих уговоров старшего сына, уже наполовину им убежденная, пошла с другими на митинг и Рузуван-биби. С лобопитством слушала она выступления ораторов о неотъемлемых правах узбекской женщины — вчерашней рабыни, ныне свободной гражданки Советского Союза. И вдруг короткое восклицание сорвалось с ее губ. На трибуне неожиданно вырос мальчик с пионерским галстуком, самый младший и самый любимый ее одиннадцатилетний сын. Конечно, он ни о чем ее не предупредил. "Не осрамится ли?" — мелькнула у нее тревожная мысль. Но мальчик стоял перед собранием уверенно и спокойно. Поблескивая веселыми черными глазами, без малейшего смущения, не запинаясь, не останавливаясь, сразу же находя необходимые слова, он призывал женщин отказаться от предрассудков прошлого и сбросить с себя позорную паранджу. Речь его текла так плавно и так увлекательно, что сердце матери наполнилось радостью и гордостью. "Ты прав, мой сын!" — поднялась она, когда он кончил. Тут же на собрании она сбросила паранджу, и ее примеру последовали многие. У Зуфара — прирожденный дар агитатора. Страстность его слов невольно захватывает слушателей. Это потому, что они чувствуют и знают: слово Зуфара с делом не расходится.

Зуфар выбрал профессию учителя. Окончив в Фергане педагогический институт, он стал учительствовать в родном своем Джала-Кудукском районе, в неполной средней школе имени Кагановича.

Недолго преподавал Зуфар, — он вскоре был призван в ряды Красной Армии, — но многие месяцы его работы в школе вряд ли когда изгадятся из памяти его учеников.

Три "предмета" вел молодой учитель. Они разнородны и свидетельствуют о многообразии интересов Зуфара, но в то же время все они направлены на одно. Три "предмета" эти: узбекский язык, Конституция СССР, физкультура. Это то, что особенно важно и поучительно для подрастающего поколения узбекского народа.

Любовь к родному языку, тому языку, на котором сагалал свои гениальные творения Алишер Навои, — ее в первую очередь стремился привить школьникам Зуфар. Он горячо любит свой язык — красочный и образный. Было время, когда юноша Зуфар мечтал стать поэтом. Он писал стихи о виноградинах, о пышных садах, расстилающихся кругом,

о необозримых полях хлопчатника с белыми и розовыми цветами, об арьках, в которых течет прозрачная горная вода. Он воспевал дерево на дворе своих родителей — дерево, усыпанное душистыми и сочными плодами. Обо всем, чем замечательна узбекская земля, хотел сложить песни Зуфар, и обо всем этом он рассказывал — с подлинно поэтическим вдохновением — своим ученикам.

И с той же взволнованностью приходил Зуфар на уроки по Конституции. Чем был Узбекистан раньше и чем он стал теперь? Бесправная колония царизма, край нищеты и произвола, Узбекистан расцвел под сталинским солнцем. Торжественно, точно строфы стихов, читал молодой учитель основной закон Узбекской Советской Социалистической Республики.

«Статья 1. Узбекская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство рабочих и бедняков».

«Статья 3. Вся власть в Узбекской ССР принадлежит трудящимся города и кишлака в лице Советов депутатов трудящихся».

«Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно».

«Статья 131. Всеобщая воинская обязанность является законом».

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан Узбекской ССР».

Об этой, 131-й статье Конституции Зуфар говорил всегда с особым воодушевлением. Он с нетерпением ждал часа, когда пойдет в армию, и отыскивал самые зажигательные слова, чтобы разжечь священное это нетерпение в сердцах своих юных слушателей.

«Будь джигитом! Будь батыром!» — говорил Зуфар подросткам, которые толпились вокруг него, затаив дыхание. — «Тебе это под силу, и ты завоеешь славу и себе самому и всему своему народу».

Зуфар на уроках физкультуры показывал мальчикам, что надо делать, чтобы закалить свое здоровье, чтобы стать сильными, ловкими и умелыми, чтобы легко и непринужденно преодолевать на пути препятствия, чтобы с достоинством нести в будущем имя воина Красной Армии.

Комсомолец Зуфар знал, что сражаться придется обязательно, и к этому он неустанно готовил и себя, и других.

Гражданская специальность Юсупова — учитель.

Воинское звание его — политрук.

И на фронте он остается верен себе, продолжая работу воспитателя и агитатора.

Прочтем с тобой, товарищ, письма Зуфара с фронта. Они адресованы и тебе, как и многим твоим сверстникам, хотя на конверте твоего имени нет.

Зуфар гордится тем, что он превосходный снайпер. С удовлетворением называет он сбитых им немцев. Он знает, что его ставят в пример — его, узбекского бойца, сына узбекского народа.

Представителем всего Узбекистана чувствует себя на фронте Зуфар Юсупов, и это побуждает его еще более тщательно целиться во врага. С откровенностью и прямотой, отличающими его во всем, писал он недавно в письме к родителям:

«Меня знают и уважают не только командир полка и командир дивизии, меня знают и уважают командующий армией». Но, рассказывая об этом и о наградах, им полученных, сейчас же, в следующем абзаце, он добавил: «Но почет не мне одному, но и всему нашему народу». Вот что для него особенно дорого, вот что для него наиболее ценно.

За благодатную Ферганскую долину, за ее сады и поля, за хлопковые плантации, тутовые деревья, за дыни и виноград, за айву и абрикосы, за колхоз «Маданият», где живут престарелые родители Зуфара, за школу имени Кагановича, где он когда-то преподавал, за счастье и независимость узбекской земли, — за все это вступил в бой с немцами Юсупов на подступах к великому русскому городу. И ему хочется, чтобы вместе с ним на поле битвы было возможно больше его соотечественников и друзей. Ему хочется, чтобы молодые узбекские джигиты не упустили ни один подвиг, который они могут совершить. В грандиозных событиях советско-германской войны должны участвовать все, кто способен держать в руках оружие. Об этом не устает твердить Зуфар в своих письмах.

Не так давно он прислал домой большое письмо. Оно было обращено к брату Сулейману. Зуфар спрашивал брата, почему тот до сих пор в тылу? Ведь он молод и здоров, ему всего двадцать семь лет, — как же случилось, что он все еще вне рядов сражающихся? — Сейчас Сулейман уже четвертый ме-

сяц в армии. Четыре сына у старой Рузуван-биби, — и трое из них носят военную форму; один Хурульбай — самый старший — пока что не надел ее: он работает партером в совхозе «Правда».

Много рук обошло письмо Зуфара к Джурахану, и много молодых голов задумывалось над ним. Горячо обсуждали его бывшие ученики Юсупова, вчитываясь в каждую строчку письма отважного снайпера к своему другу:

«Я попрощаюсь на Ленинградском фронте, жив и здоров. Борюсь против немца неутомимо, ни одну пулю не расходую даром. При встрече с ним стреляю в грудь, в лоб, в наглые глаза и беспощадно уничтожаю врага, посягнувшего на свободу родины. Так как ты не со мной вместе на фронте, то на твою долю я тоже убил двадцать пять немцев. В будущем ты станешь героем и наведешь страх на фашистских оккупантов, — зная тебя, я уверен в этом заранее. Тогда ты оплатишь мне этот долг с излишком, а пока я считаю, что он за тобой».

Такое письмо ко многому обязывает. На него отвечать надо не словами — делом.

Когда Зуфару Юсупову его односельчане дали наказ, — драться так, как дерется Кучкар Турдыев, — Зуфар ответил коротко: «Хоп! Бу-

дет сделано!» К этому нечего прибавить, кроме послужного списка героя.

Пятьдесят человек ушли на фронт из колхоза «Маданият».

Сколько всего бойцов выставил на линию огня Узбекистан — в Наркомате Обороны известно совершенно точно.

Наши людские резервы огромны. Когда это будет признано необходимым, миллионы присоединятся к миллионам, занявшим боевые позиции на небывалом фронте в три тысячи километров.

По зову страны и приказу наркома новые дивизии готовятся вступить в смертельную схватку с фашистским хищником. Винтовки и пулеметы получают призванные в армию, автоматы и минометы, пушки и танки, перво-классную боевую технику.

Но вместе с этой первоклассной техникой к новым частям Красной Армии поступают на вооружение боевые традиции героев Отечественной войны.

Это — мощное оружие.

Грядущее не страшит того, кто уверен в своей правоте. Лев одолев шакала, советский воин опрокинет в грязь гитлеровского разбойника.

Тимур Фаттах

АХМЕД ДАЛИЕВ

Родная радостная мать,
Моя великая Москва,
Бойцов твоих не сосчитать,
И в каждом сердце ты жива.
И каждый на клинке в бою
Несет лучи твоих побед,
Он бьется за Москву свою,
Как наш герой — батыр Ахмед.

В ночи растет жестокий бой,
Орудий гром, железа лязг —
Пошел атакой лобовой
На вражьи полчища Можайск.
И на скаку врага разит,
Мужая в яростном огне,
Узбекский воин и джигит
На черногровом скакуне.
Окончен бой. Дымки костров
Струятся, розовы слегка.
И вытирает воин кровь

С заголодевшего клинка.
И черногривый верный конь
Грызет дубовые сучки,
Приподнимая на огонь
Большие добрые зрачки...
Вставай, боец! коня взыздай!
Скачи, боец, сквозь ночи мрак!
Скачи в разведку и узнай,
Где притаился хитрый враг.

Едет он по полю, едет он по лесу,
За сугробом снежным
проскользнет, как тень,
Спрячется за сосен
белую завесу,
Постоит недвижно
и растает в темь.
В непроглядной ночи
вражьи танки скрыты,
Острыми штыками
щерится овраг.
Зорко смотрит воин,
Конь скользнет копытом —
Выслежен
и будет уничтожен враг.
Вдруг в тиши морозной
стукнул конь копытом
И насторожился,
жаркий, как огонь.
Ты кого почуял?
Что сказал джигиту,
Друг мой черногривый,
мой крылатый конь?
А за поворотом
зашуршали ветки,
Кто-то завозился,
засопел во мгле?
Выезжает важный
офицер немецкий,
Звякая уздечкой,
развалясь в седле.
И джигита сердце
бьется, как в атаке,
И скакун ретивый
пенит удила —
Им не раз случалось
в бешеном улаке *)

*) Улаи — скачка.

Вырывать добычу,
увозить козла.
Гулко, гулко
скачет
лошадь офицера,
Только шум в дубраве,
треск со всех сторон...
Вихрем,
ураганом,
радостным карьером
Настигает звсря
черногривый конь.

Скачи скорей!
Скачи, скакун!
Гони, джигит,
Гони врага!
Хватай
на бешеном скаку
Козла фашиста за рога!

... И вот растерянный со зла,
Как туша мертвая, тяжела,
Трясется поперек седла
Огромный загнанный козел.

Прижав коленями врага,
Домой торопится джигит...
Иль стала даль недалеко?
Иль черногривый конь спешит?
Навстречу доблестным друзьям
Проходит командир сквозь снег,
И в мерзлый снег
к его ногам
Бросает недруга узбек.

И вновь кипит жестокий бой,
И, сокрушая вражий стан,
Узбеки бьются под Москвой
За светлый свой Узбекистан.
Мы будем бить и побеждать,
И вечно будешь ты жива,
Родная радостная мать,
Моя великая Москва!

Перевела с узбекского Светлана Сомова

С. Бобров

ЛЕЙТЕНАНТ СИРАТЖИДДИН ВАЛИЕВ

Широко и привольно раскинулись степи богатой Ферганской долины — там за Кокандом, к Посьетовке. Обильный край дорогих хлопковых урожаев, необозримые поля «белого золота», источники столь необходимых нашей Армии обмундирования и пороха. Здесь живет крепкий, упорный народ, народ, испытывший невыносимые тяготы прошлого, горькую борьбу за каждую струю свежей, журчащей арычной воды, которую так жадно ждут поля. Народ, который своими руками добился зажиточной жизни, достатка и радости. Немало тружеников здешних кишлаков были в старое время бедняками: честный труд на родной земле плохо им помогал.

Вот колхоз имени Фрунзе Иттифакского сельсовета. Богатый колхоз! Деловитые и предприимчивые люди работают здесь. Они знают, что земля, в которую врубается блестящий кетмень — это их земля, родная кормилица. Журчат арыки, шумит свежая тутовая листва, низко склоняются под тяжестью плодов широко разросшиеся персики и урюки. Нескольким тутов осеняют маленький, беленький домик с темными дувалами. Здесь жила семья бедняка Вали Юнусова. Отец давно умер. Осталась мать, Хидаятхон, и трое ребят. Старший, Сиратжиддин, да двое поменьше, совсем малолетки. Мать, старая кетменщица, подняла и вырастила сыновей. Не так-то было легко одинокой женщине с тремя ребятами. Но мать их была строгая, а ребята — смелые и способные. Старший хорошо учился, ему хотелось взять от школы все, что она может дать, и учиться дальше.

— Учись, — говорила мать, — жизнь теперь новая, всякий может стать ученым человеком. А ты теперь — за старшего в семье...

Сиратжиддин вырос. Это был крепенький, невысокий юноша-узбек, волосы, как вороново крыло, а глаза — внимательные, горячие. Не очень разговорчивый, но сметливый, наблюдательный юноша. Окончил школу, пошел в техникум. Всю учебу в школе приходилось одолевать одному, помочь было никому — и из него выработался человек, который привык полагаться только на свои силы, на свою сметку, на свое юное упорство. Надо учиться, надо работать над собой, родной Узбекистан крепко нуждается в образованных людях, в своей собственной интеллигенции. И Сират-

жиддин работал, одолевал учебу. Ведь когда-то на его родине работали ученые и большие ученые, здесь трудился великий Алхваразми, которому принадлежит честь открытия логарифмов. Само слово «логарифмы» — искаженная фамилия узбекского математика Алхваразми. Здесь изучал небо великий астроном Улугбек... А теперь все вокруг цвело новой жизнью, вся страна трудилась, видя в мечтах свое великое будущее. Трудился и Валиев.

Но пришла война. И студент Валиев сложил на полке свои мирные руководства и ушел в армию. Он понимал, что пришло время встать грудью за родную землю, что бедствие, обрушившееся на Украину, на Белоруссию, так же страшно для узбека, как и для белоруса, как и для украинца.

Началась боевая жизнь, суровая и трудная, героическая жизнь, выпавшая на долю многих наших юношей. Дома, далеко — за Посьетовкой — остались родные и друзья, осталась невеста, черноокая красавица Иноят.

Сиратжиддин стал разведчиком. Он выбрал себе нелегкое и опасное дело, но в этом деле было много увлекательного. Разузнать замыслы противника, осторожно, крадучись, как тень, под покровом ночи — найти врага, перехитрить его, неожиданно налететь, разорвать осторожную тишину дозоров взрывом гранаты, уложить на месте спесивую беспечность немца, — все это связано с риском, с постоянной опасностью, но увлекает юного разведчика, хватает за живое. Война — геройское дело! — так учили Сиратжиддина древние узбекские сказания, так он и сам думал.

В свою часть он явился младшим сержантом и быстро сумел спаять своих бойцов в крепкую, дружную семью. Его маленькая группа была словно живой символ Сталинской дружбы народов нашего Союза, — там были узбек, русские, казахи, грузины, украинцы, мингрелы! А как работала эта многоязычная группа бойцов! Валиев сумел поставить дело так, что, когда командование поручало добыть одного «языка», он приводил двоих, а быть одного требовал двоих, он приводил целый десяток. Со своей сметкой, находчивостью, упорством и беззаветной храбростью Валиев постоянно «перевыполнял план»! Каждая такая операция заслуживала имени «подвиг», так именно они и были оценены ко-

мандованием: Валиев был награжден медалью „За отвагу“.

— А биться за родину, — говорил он, — можно еще отважнее; еще хитрее!

Подвиги — дерзкие, но только обдуманные — это были его боевые будни. Прошло немного времени после того, как Сиратжиддин получил медаль. С четырьмя товарищами пробрался он к немцам в тыл. Они стали с четырех сторон у дома, где бесечно спали 16 гитлеровцев. Четверо советских бойцов ринулись в атаку. Девять фашистов были убиты, семеро взяты в плен. Не прошло после этого и недели, а Сиратжиддин уже задумал и привел в исполнение на страх врагам новое дело. Тщательно укравшись в хорошо выбранной засаде, он с друзьями бойцами поджидал немцев. Целый взвод гитлеровцев напоролся на эту засаду, и шестнадцать фашистов были убиты меткими пулями Валиевских ребят. Сиратжиддин получил новую, высокую награду — правительство наградило его орденом Ленина.

Однажды ночью на берегу большого водного рубежа Сиратжиддин с товарищами поджидал врага. Тихая ночь после жаркого дневного боя вспыхивала кое-где цветными ракетами. Но Сиратжиддин зорко всматривался в глубокую мглу. Какое то чувство подсказывало ему, что тишина эта обманчива, что немцы сегодня ночью обязательно попробуют учинить какой-нибудь „фокус“. И действительно к утру с реки еле донеслись осторожные, приглушенные всплески весел. Боец вгляделся и заметил длинные тени на воде. Вскоре отчетливо вырисовалась во мраке флотилия лодок. Она медленно плыла к нашему берегу. Валиев осторожно навел на них пулемет и стал выжидать. Дал знак соседнему пулемету — не торопиться. Колонна лодок тихо приближалась. Боец сжал зубы и ждал. Вот уж они совсем близко, до них осталось всего метров шестьдесят. И тогда, наконец, герой-узбек открыл огонь. Вслед за его пулеметом застрекотали еще два „максима“. Горячие струи пуль разбивали вдребезги фашистские лодки, в упор расстреливали вражеских солдат. Среди немцев поднялась паника, колонна лодок сбилась в беспорядочную кучу. А Валиеву это было на руку, по такой куче еще удобнее бить пулемету. Немцы пустились наутек, кто куда, но пулеметные очереди настигали их повсюду. Дело длилось недолго, результаты были блистательны: сорок шесть лодок, две сотни гитлеровцев со своими велосипедами и мотоциклами пошли ко дну.

На другой раз бойцы во главе с Валиевым

втихомолку подобрались к дому, где улеглись на отдых итальянские похвосты Гитлера. В дом полетели гранаты. Бойцы прикладами вышибли двери. В доме произошла жестокая схватка, итальянцы сдались, и Валиев привел в штаб семь „языков“.

Однажды команда Валиева вступила в бой с довольно большим отрядом неприятеля. Только отчаянная отвага и хладнокровный расчет принесли удачу. Наши бойцы забросали врагов гранатами и уничтожили шестьдесят гитлеровцев. В общем около трехсот захватчиков пало от руки Валиева. И он стал лейтенантом, помощником командира роты.

Слава о подвигах героя-узбека быстро дошла до его родины, благополучной Ферганской долины.

— Вот как бьются наши! — радостно говорили дехкане колхоза имени Фрунзе. Они написали горячее письмо своему другу-герою: „Мы обещаем тебе, — писали они ему, — клянемся родине и великому Сталину, что делом, честным, самоотверженным трудом ответим на твои подвиги!“

И это обращение поддержали все колхозы района. Мать Сиратжиддина, старая кетменщица, организовала и возглавила бригаду стариков — они снова пошли работать на колхозные поля.

Валиев ответил своим друзьям. В письме он рассказал о двух своих вылазках, во время которых было добыто девять „языков“ и перебито немалое количество немцев.

„Такие дела, — писал землякам Сиратжиддин, — повторяются у нас в части почти каждый день. И не думайте, что я, Валиев — один, нет, у нас много бесстрашных воинов, таких, как я... Передайте моим родным, всем рабочим и колхозникам, что доверие правительства я с честью оправдаю. Мы будем еще яростнее уничтожать фашистов, а вы увеличивайте посевы, добивайтесь высоких урожаев и давайте все необходимое нашим защитникам родины!“

Летом разведчик-лейтенант Валиев и снайпер Мих. Сурков с помощью редакции фронтовой газеты связались по телефону со знатым кузнецом — штамповщиком Сталинградского тракторного завода Александром Медуновым. Бойцы фронта и тыла вступили в соревнование. Валиев и Сурков обещали вдвое увеличить свой „боевой счет“ и подготовить двадцать человек отличных разведчиков и снайперов, а Медунов обязался давать не менее 10 норм в день. Так крепло боевое содружество бойцов, колхозников и рабочих, так замечательный пример отважного героя

разведчика водувешляла на новые трудовые подвиги героев советского тыла.

Вся страна знает о подвигах Сиратжиддина Валиева, вся страна повторяет его имя. Герой-узбек пал смертью смелых в бою с врагом. Неподдалеку от одной из шахт, к которым рвались ненавистные захватчики, умер славный Сиратжиддин, лихой воин, легендарный разведчик. Говорят, вся дивизия плакала, когда его хоронили. Что тут удивительного? — доблестный был боец, хороший товарищ.

Отныне родной его колхоз будет называться его именем, и район будет называться Валиевским районом. Будет стоять памятник герою в родном его кишлаке. Не замолкнут песни о Сиратжиддине Валиеве, не иссякнут

рассказы о его короткой, но славной жизни.

Хидаятхон, мать разведчика Сиратжиддина, написала прекрасное письмо бойцам-богатырям Красной Армии:

„Мой сын, Сиратжиддин, сражался, как лев, против подлого врага. В кровопролитных боях он показал отвагу и храбрость Густам... Отомстите же фашистским гадам за своего боевого товарища, за отважного большевика Сиратжиддина Валиева!“

Так писала друзьям-бойцам мужественная мать доблестного сына. Мы не забудем эти слова, как не забудет весь Советский Союз славное имя разведчика, лейтенанта Красной Армии, Сиратжиддина Валиева, героически погибшего в борьбе за свободу и независимость родины.

П. Антокольский

БАЛЛАДА О МАЛЬЧИКЕ, ОСТАВШЕМСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

В ту ночь их части штурмовые вошли в советский город Б. И там прокаркали впервые: „хайльгитлер“ в стихнувшей стрельбе. Входили вражеские части, плечо к плечу, ружье к ружью, Спешила рвань к чужому счастью, к чужому хлебу и жилью. Они прошли по грязи грузно, за манекеном манекен. А этот мальчик был не узник, не заподозрен был никем: Веселый мальчик в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий. Не знает кто-нибудь из вас, погиб ли он, где он сейчас?

Подкрался утром он к квартире и видит: дверь не заперта. И сразу тихо стало в мире, сплошная сразу пугота. Мать и сестра лежали рядом. Их немец за ноги волок. Смотрела мать стеклянным взглядом в потрескавшийся потолок. Они лежали будто бревна — две женщины, сестра и мать. И он стоял, дыша неровно, и разучался понимать. Потом он разучился плакать и зубы сжал, но весь дрожал. И той же ночью в дождь и слякоть куда-то за город бежал. Без хлеба, в майке, в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий. Из вас не знает кто-нибудь, куда он мог направить путь?

Он знал одно: разбито детство, сломалось детство пополам. И шел, не смея оглядаться, по страшным вражеским тылам. По тихим вымершим колхозам, где пахло смертью и навозом, По речкам, тронутым морозом, и по некошенным полям. Он находил везде дорожку, и шел вперед, и шел вперед. И осень с ним шагала в ногу и возмужала в свой черед.



Она, как сказка, шла с ним рядом, чтобы его следы замести,
Смотрела вдаль стеклянным взглядом, неотвратимая, как месть.
Так шел он, в майке, в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий.
Из вас не знает кто-нибудь, куда он мог направить путь?

Когда фашисты покидали пустой, сожженный город Б.,
Уже за мгlistой снежной далью распласта слышалась в пальбе.
И мальчик раньше всех, как надо, вернулся в город свой родной.
Вернулся он домой с гранатой. Он ей доверился одной.
Он был фашистами не узнан, не заподозрен был никем.
Следил он, как по снегу грузно, за манекеном манекен,
Уходят вражеские части, ползет по швам железный ад.
Видать, невпрок чужое счастье, не легок будет путь назад,
Их тягачи и мотоциклы и танки ржавые хрипя
Ползли назад. В нем все затихло. Он ждал, минуту торопя.
А тягачи неумолимо спасали, что могли спасти.
Но он не взвел гранаты. Мимо! Не в этих. Надо цель найти.

Он всматривался, твердо зная в лицо мишень свою: Эс-Эс.
Где же машина та штабная, что мчится всем наперерез?
Всегда сверкающая лаком, кривым отмеченная знаком,
С гудком певучим, с полным баком, франтиха фронта „Мерседес“?
Она прошла крутым выражем, кренясь и шинами визжа,—
Машина та с начальством вражьем, опухшим, словно с кутежа.
И мальчик подбежал, и сходу гранату в стекла им швырнул.
И, вырвавшийся на свободу, огонь из стекол полыхнул.
Два офицера с генералом, краса полка, штурмовики,
Шарахнулись в квадрате алом, разорванные на куски.
А что же мальчик в серой кепке? Его приметы: смуглый, крепкий.
Не знает кто-нибудь из вас, погиб ли он, где он сейчас?

Не знаю, был ли мальчик взорван. Молчит о нем кровавый снег.
Ребят на белом свете прорва—не перечесть, не вспомнишь всех.
Но сказка о ребенке смелом шла по тылам и по фронтам;
Написанная наспех, мелом, вдруг возникала тут и там.
Пусть объяснит она сама нам, как он остался безмянным.
За дымом фронта, за туманом шла сказка по его следам.
Пятнадцать лет ему, иль десять, иль, может, меньше десяти?
Его фашистам не повесить, не опознать и не найти.
То к партизанам он пристанет, то, ночью рельсы развинтив,
С пургой в два голоса затянет ее пронзительный мотив.
Он возмужает понемногу, дорогу к фронту разберет.
А сказка с ним шагает в ногу, она мужает в свой черед.
Она идет все время рядом, поет и в землю бьет прикладом
И смотрит вдаль недетским взглядом, и гонит мстителя вперед.

...

Михаил Голодный

УКРАИНА

(Из поэмы)

Куда бы ни попал, едва глаза закрою —
Я Украину вижу пред собой,
За каждым кустиком, за тучкой над горою
Мне чудится простор ее степной.
Как жить мне без тебя, мой край далекий?
Как лунные забыть мне вечера?
Мне днем и ночью снится Днепр широкий,
В садах вишневых город у Днепра!
В Днепропетровщину уводит старый шлях,
Зовет в Херсонщину дорога в тополях.
Дорога спит. И мельница лениво
Ей мелет старый вздор о домислах молвы.
И тихо так, что слышен рост травы,
Лет коршуна и вздох цветка над нивой.
Но вот над головой злоеющий низкий гуд:
Святую мать мою — родную Украину
Средь бела дня враги к столбу ведут.
И, руки над головою раскинув,
Она зывает: „Сынку! Здесь я, тут!“
Где путь в Херсонщину? Где приднепровский
шлях?

Как тучи — воронье на тополях!
От Мариуполя и — дальше — до Херсона,
Под ветерком раскачиваясь сонно,
Дорога виселец безмолвствует в полях.
Повешены! За что? И для живого
Повешенный распухшим языком
Из горла темного выталкивает слово:
— Меня за то, что я пришел тайком
За дочерью, заколотой штыком!
— А вас, друзья? — Мы оба не хотели
Убийцам матери прислуживать в постели!
— Вас, девушка? — Я защищала мать!
— Тебя, старик? — Я не хотел молчать!..
И снова тишина. Все выжжено кругом,
Разбросано, разрушено, разбито!
И только воронье покаркивает сыто,
И спорит в алчности с разнузданным врагом.
Куда ни ступишь — кровь, куда ни взглянешь —
рана

Кровоточит; кровь бьет из-под земли
За городом у свежего кургана
И в городе у стойки ресторана,
Где надрезали жилы, пятки жгли,—
Потом к буфету выпить пиво шли!
Кровь проступает на дощатых тротуарах,
Из-под булыжника, на улицах, в пыли,
В бараках, у тифозного на нарах,
На пустыре, под клумбами в садах,
И весь обуглившись, осатанев в кошмарах,
Не принимает больше крови прах!
А город мой — во тьме. Зачем ему огни?
Развалины — куда ни загляни!
Как вдовы черные в минуту покаянья,
Заламывают руки к небу заданья,
Качаются и движутся они,
Ползут с горы на гладь реки широкой.
А у обрыва бледный стебелек
Росой кровавой брызжет на песок,
И тень его на заводи глубокой,
Как в час возмездия сверкающий клинок.
О, дети родины, замученной врагами,
Поруганной, затоптанной ногами,
От ваших слез — в глазах моих туман,
От горя родины я лютый скорбью пьян!
Какими разбудить мне вас стихами?
Какими песнями лечить ее от ран?
И, став лицом к родному Приднепровью,
В глухую ночь кричу: — Эй, вы, торговцы
кровью,

Товары страшные тащите на базар!
Сверяйте время, назначайте цены,
На долг, на честь, на совесть, на измены...
Где красная цена на черный ваш товар?
Эй, человеческой рыгающие псы,
Торгуйте досыта в последние часы!
И слышу я в ответ — удар ножа о
плаху,
И вижу, как палач, сменив рубаху,
Людские головы бросает на весы.

Затем он не спеша, по-деловому
Идет к полуразрушенному дому,
Там ждет его Иуда — местный врач.
Он выйдет к палачу, лобастый и поджарый,
И скажет, протирая окуляры:
— „Ну, как здоровечко, майн либер герр палач?“

С вас причитается детишкам на калач...“
Замри, моя душа, замри, не вой, не плачь!
Пусть ночь беззвездная покроет нас молчаньем.

Коричневый паук над сонным мирозданием
У спящих городов сосет неспящий мозг.
Молчит Херсонщина. Молчит Днепропетровск.
Прислушаемся! Тишина такая,

Что слышу я, как сердце под ребром
На целый мир гудит не умолкая
И глухо замирает за Днепром.
И ненависть моя неистребима —
В дыхании бури, в запахе цветка,
Найдет приют, усядется незрима,
На трепетной реснице у любимой,
На остром граненого штыка!
Она придет не тучкой над горою,
Не дуновеньем легким ветерка,
Она придет, гудя издали,
Как в половодье горная река,
Как море в шторм весеннею порою.
Она вручит оружие герою
И не устанет мстить его рука!..

Владимир Липко

ПИСЬМО

Я не знаю, получишь ли, милый,
Этот серый измятый листок.
Я не знаю, достанет ли силы
Дописать эти несколько строк.

Но сегодня сменяется стража,
И, быть может, из нас одному...
Впрочем, сам он об этом расскажет,
Если ночь не изменит ему.

Милый мой, я лежу на соломе —
Надорвалась в работе вчера.
Сердце ноет, и косточки ломит.
Верно мне не дожить до утра.

Оторвали меня от советской,
От родимой привольной земли.
Увели меня в город немецкий.
Клятым немцам служить увезли.

И возили на мне, и пахали.
А сомлеешь — кричали: „Иди!“

И тяжело плетью стегали
По лицу, по спине, по груди...

Милый мой, увидеть хоть во сне бы
Тихий наш уголок у плетня,
Хоть бы облачко русского неба,
Хоть бы краешек русского дня!

Но и сны к нам в ночи не приходят.
Нету радости нам и в ночи.
Только думы недобрые бродят,
Только сердце тоскливо стучит...

Я не много тебе рассказала.
Что еще мне тебе рассказать?
Я бы слезы в письме отослала,
Да исплаканы — нечего слать.

Об одном тебя, милый, молю я:
Не тоскуй ты по мне, не грусти,
Полюби, если можешь, другую,
Но врагу за меня отомсти.

Микола Терещенко

ДЕВУШКА С УКРАИНЫ

Я встретился с девушкой милой,
Моей украинкой степной.
Она свой платок теребила,
Пока говорила со мной
О наших степях и о доле
Оставленной ею семьи.
И вся поблдевала от боли,
Но слезы сдержала свои.

„Отца моего застрелили,
А мать исстрадалась вдвойне:
И брат мой закопан в могиле,—
Его гимнастерка на мне.
В крови наша степь дорогая

И к мести взывает она...“
Слезинка, щеку обжигая,
Скатилась всего лишь одна.

„Ушла с партизанским отрядом,—
А нынче я в части твоей“.
Мы с нею поехали рядом,
Направив к реке лошадей.
И ширь открывалась степная,
И пахло степным чебрецом.
Моя Украина родная,
К тебе мы на помощь идем!

Перевел с украинского Ник. Ушаков

БАЛЛАДА О МСТИТЕЛЯХ

В вечерней мгле дубы над балкой стынут,
С ветвей роняя помертвевший лист.
Над высохшей речонкой перекинут
Дрожащий мост. Осенний воздух мглист.
И тихо, тихо. Вдруг раздался свист
За желтыми, опавшими кустами,
И покатился вдаль, подхваченный лесами,—
Друзья товарищей своих на сбор зовут.
Грозою грянет он над палачами,
Народных мстителей неотвратимый суд!

Из тучки месяц выглянул рогатый.
Как светляки, в траве блестит роса.
Тот — с автоматом, тот — с ручной гранатой,
А у других — топор или коса.
Так партизаны в полночь сквозь леса
Идут тайком знакомыми тропами.

И вот сошлись, и стали под дубами.
И смотрит командир, считая — все ли тут?
Грозою грянет он над палачами,
Народных мстителей неотвратимый суд!

„За лесом враг. Сюда идет колонна.
Готовьтесь в бой, мы здесь дадим отпор!“
Луна зашла. Ночная мгла бездонна.
Ни шороха. Но щелкнул вдруг затвор,
И будто сразу весь рванулся бор,—
Гудит земля под крепкими ногами.
И, партизанскими настигнуты штыками,
Враги, бросая все, в смятении бегут.
Грозою грянул он над палачами,
Народных мстителей неотвратимый суд!

Перевел с украинского В. Левик

БАЛЛАДА О ПОВЕШЕННЫХ

Нежная яблоня, цвет серебристый,
Трех партизан захватили фашисты:
В нежном цветении повешенных трое.
Трех партизан перед казнью пытали,—
Стойкие три партизана молчали,
Умерли трое — как должно героям.

Нежная яблоня, цвет небывалый,
Что ж ты веревки с себя не сорвала?
Что ж ты цветешь ослепительней мая?
Может быть, хочешь в осенние сроки
Яблоком красить их круглые щеки,
Яблоком для убийц наливая?
Что же страданье в час казни постылой
Ты с партизанами не разделяла,
Вздохи последние принимая?

Трепет по веткам в ответ пробегает,
И партизаны глаза открывают.
Каждый качается тяжелою,
Тайная речь их становится вольной,

Каждый — как будто язык колокольный,
Вольная речь стала звоном набата.

И подымается яростный ветер,
Белыми гривами волны он метит.
Волны вздымаются, вздулись потоки.
Звери испуганы вихрем: он страшен.
Буря несется вдоль вражеских башен,
Флаги срывает, ломает флагштоки.
Буря бушует в саду над цветами,
Буря засыпала сад лепестками:
Яблоком не видеть убийцам жестоким.

Речь партизан стала звоном металла.
Было их трое — три тысячи стало.
Память о трех храбрецах сохраните.
Трое повешенных станут пред нами
Здесь же, в весеннем саду над цветами,
Вечною бронзой, на вечном граните.

Перевел с еврейского Ник. Ушаков

В. Владко, М. Терещенко и Н. Ушаков

НЕПОКОРЕННАЯ УКРАИНА

1

«Восстона бо Киев туюго, а Чернигов на-
пастьми. Тоска разлилась по Русской зем-
ле» — с великой скорбью говорит о страданиях
и муках Киевской Руси неизвестный автор
«Слова о полку Игореве». С тех пор прошло
более 730 лет. Украинская земля видела по-
ловцев. Ее грабили полчища Батия. Она боро-
лась с татарскими и турецкими набегами. Ей
грозили немецкие рыцари-поголовцы и угор-
ские средневековые феодалы. Ее попира-
ли шляхтичи. Ей угрожал Карл XII. А Наполеон
не попал на Украину только потому, что
Кутузов заставил французские войска по-
вернуть на старую дорогу. Немецкие и ав-
стрийские оккупанты в 1918 г. сжигали укра-
инские села артиллерийским огнем, они вешали
и расстреливали, и стонала Украина от запад-
ных своих границ до земель Великого Войска
Донского.

И снова немецкие орды, на этот раз вместе
с венграми, итальянцами и румынами, втор-
глись на Украину, и она вновь в огне и раз-
валинах, и на улицах украинских городов и
сел изуродованные трупы измученных людей,
около которых выставлены плакаты с надпи-
сями: «партизан», «поджигал мины», «распро-
странял газету „За Радянську Україну“, „про-
тиводействовал германским властям“, „не при-
шел на работу“.

Во Львове при вступлении немцев казнено не
менее 6000 чел., в Одессе свыше 25 000 чел.,
в Каменец-Подольске расстреляно и повешено
около 8500 чел., в Мариуполе более 3000 чел.,
в Днепропетровске более 10 500 чел., в Харь-
кове 14 000 чел.; а в Киеве только в первые
дни своего хозяйничанья фашисты казнили
52 000 чел. К июлю 1942 г. количество рас-
стрелянных, повешенных и замученных в Киеве
достигло 86 тысяч.

В обращении германского командования к

солдатам говорится: «У немецкого солдата нет
нервов, сердца, жалости. Он сделан из немец-
кого железа. После войны у него снова будет
добрая душа и мягкое сердце. А сейчас дей-
ствуй решительно и без колебаний. Ты — не-
мец. И, как надлежит немцу, уничтожай все
живое, сопротивляющееся тебе».

Немецкий солдат призван сломить явное
или тайное сопротивление украинских и всяких
иных городов и деревень. Он призван повсюду
вытравить негерманский дух.

«Бей евреев, бей поляков!» — кричали не-
мецкие солдаты, ворвавшись во Львов, и уби-
вали не только евреев и поляков, но и украинцев,
а затем устроили в Пассаже выставку трупов.
Под стенами домов были сложены изуродо-
ванные тела, главным образом, женщин. К одной
из них штыком был пригвожден ее ребенок.
Пьяные немцы затаскивали женщин в парк
Костюшко и зверски насиловали их. Старик-
священник вышел к солдатам с крестом в ру-
ках. Он думал, что ему удастся противодей-
ствовать проявлению германского духа. Его
избили, с него сорвали рясу, ему опалили бо-
роду, его закололи штыком. Фашисты пре-
вращали кино и клубы в кровавые застенки,
они сгоняли туда советских служащих, кото-
рые не успели эвакуироваться. В кино «Евро-
па» было заключено 500 человек. Германский
офицер предложил каждому из них написать
фамилии советских и профсоюзных работников.
На это согласились лишь 6 трусов, остальные
ответили отказом. Тогда каждого пятого ста-
ли выводить на улицу. Всех выведенных рас-
стреляли в соседних дворах.

На Большой Базарной улице в Днепропет-
ровске немецкие солдаты задержали несколь-
ко женщин, привязали их к столбам и убили,
изнасиловав. Вечером на Пушкинской улице
конвоиры гнали толпу раздетых и избитых
людей. В конце улицы их остановил отряд
пьяных кавалеристов. Офицер начал, а солда-
ты помогли ему зарубить саблями 27 человек.
Кварталы Днепропетровска были начисто ог-
раблены.

Через час после занятия Чернигова гитле-
ровцы начали выламывать двери в квартирах
и тащить что попало. Немцы согнали прикла-
дами к центру города 35 местных жителей и
предложили им приветствовать перед микро-
фоном вступающие немецкие части, но и здесь
последовал отказ, и 35 смелых черниговцев
были уничтожены пулеметным огнем.

Немцы собрали представителей кварталов
г. Мариуполя и поставили им ультиматум
не позднее вечера сдать золото, теплые вещи

и продукты. Мариупольцы выполнили приказ,
надеясь, что после этого их оставят в покое.
Однако, кварталы были оцеплены; и начались
массовые аресты. Немцы отобрали 3000 чело-
век, отвели их за город, приказали рыть моги-
лы, затем раздетых. После чего все были рас-
стреляны из автоматов и пулеметов.

В Сталино только во дворе гостиницы
«Донбасс» немцы застрелили 59 человек, за-
подозренных в участии в партизанских отря-
дах.

При занятии Краматорска рабочих согнали
в один из клубов. Здесь отобрали 250 человек.
Раздели и отвели к Меловой горе. Их рас-
стреляли, а трупы сбросили в карьер.

В Сквире расстреляно 820 человек. Им
приказали рыть глубокую яму. Над нею по-
ложили два бревна. Осужденные становились на
бревно. Их расстреливали над ямой. Мертвые,
раненые и даже не затые пулей падали в
могилу. Затем яма была засыпана, земля еще
шевелилась.

В Лубнах фашисты обстреливали дома из
танков и в первую очередь сожгли городской
музей, в Черкасках закололи штыками тяжело-
больных, находящихся в санатории, а в Каневе
осквернили святыню украинского народа — мо-
гилу Шевченка.

В первые дни занятия Киева казни и гра-
бежи еще не носили организованного характе-
ра, — солдаты бегали по улицам и убивали
всех, кто им не нравился, крича: «ты еврей,
ты большевик!». Но очень скоро в Киеве по-
явилось гестапо. Мужчинам было предложено
зарегистрироваться в одном из кинотеатров на
Крещатике. Перед входом в зал, где находи-
лись гестаповцы, всех обыскивали, отнимая не
только перочинные ножи, но даже лезвия для
очинки карандашей. Регистрация окончилась
уводом на Керосинную улицу, превращенную
фашистами в концлагерь. Сюда приводили всех
подозреваемых в принадлежности к партии,
комсомолу, профсоюзным организациям, отсу-
да уводили на казнь. Заключенные однажды
были выстроены, и гестаповец подал команду:
«Евреи, вперед!» Заставили выступить из рядов
и бывшего сторожа ремесленного училища
Миколу Ступака. «Я украинец!» — крикнул он, но
офицер ударил его шашкой, и старика пове-
ли вместе со многими несправившимися укра-
инцами на казнь. В субботу привели на Киро-
синную 500 полуголых и залитых кровью лю-
дей. Стоял октябрь. Моросил дождь. Аресто-
ванные провели ночь под открытым небом. К
утру некоторые из них от истощения и поте-
ри крови умерли. Остальным объявили, что

их расстреляют в понедельник, так как в воскресенье гестаповцы отдыхают.

Бежавший из Киева гражданин А. Н., который вместе с 200 других арестованных был направлен немцами в Бабий Яр, видел на краю этого известного в Киеве оврага двухметровые груды сваенной одежды, а также кучи паспортов и удостоверений, принадлежавших казненным. Из песка торчали руки и ноги, тела казненных были едва присыпаны песком.

Другой киевлянин рассказывает: «В сопровождении сильного караула нас погнали на окраину города закапывать полуголых мужчин и женщин — не менее 700 человек. Многие были избиты до крови. Гестаповцы отсчитали из колонны 50 чел., вывели их в ров и заставили ложиться лицом вниз. Потом в ров спустились немецкие автоматчики и расстреляли всех лежащих, прострелив несколько раз головы и туловища жертв из автоматов. Автоматчики после этой расправы выходили из рва и пили приготовленное им вино. Нас же заставили засыпать убитых землей. Затем отсчитали другую партию в 50 чел. и положили их на трупы лицом вниз. Снова автоматчики входили в ров и расстреливали лежащих. Расстрел продолжался весь день. 15 или 16 раз немцы отсчитывали и загоняли в ров по 50 чел. Землей засыпали не только трупы, но и тех, кто еще шевелился».

Через день после вступления в Киев немцы занялись поголовным грабежом, они шли из дома в дом и выносили все — от патефонов до кухонной посуды, уводили молодых женщин и девушек. Немцы открыли дома терпимости в Доме Писателей, в доме Красной Армии и во многих других зданиях. На углу Короленка и Прорезной одна семья подожгла свою квартиру и погибла сама в огне, не желая попасть в лапы немецким солдатам. Во всем городе не осталось ни одной квартиры, не пострадавшей от «мирного погрома», который длился два дня.

Евреям было предложено явиться с вещами и продуктами на улицу Мельника (б. Дорогожичскую) № 79, якобы для эвакуации, но дело было не в ней. Людей допрашивали, требуя выдачи советских активистов. Людей били и истязали, а потом уводили на Лукьяновку и расстреливали. Сюда же сгонялись служащие и рабочие, евреи и украинцы, старые и молодые, женщины и дети. День и ночь стояла на Лукьяновском кладбище стрельба. Район кладбища был оцеплен.

Все, имевшие какое-либо отношение к советским учреждениям или общественным орга-

низациям, начали прятаться на чердаках и в подвалах. Пробовали бежать за Днепр, спасаясь ночью вплавь. Но над Днепром то и дело взлетали ракеты, освещая реку и берега. Многие настигла пуля, многие утонули.

Заняв Киев, немцы приказали сдать продовольствие, оставив для личного потребления количество его, не превышающее суточного запаса. Такой же приказ впоследствии был издан и в Харькове.

Школьник, пробравшийся из Полтавы через Харьков за линию фронта, рассказывает, что в Харькове в больших зданиях на Холодной горе фашисты устроили тюрьму, где сидят смертники в ожидании казни. Идя по Харькову, мальчик видел несколько парковок подвоза, выезжавших из двора. На них были трупы, за подводами шли 50 арестованных с ломами и лопатами. Конвойные, «сделанные из немецкого железа», подгоняли несчастных и смеялись.

Около госпитря он видел немецкие могилы, кресты и каски на них. На домах белели начертанные мелом свастики. На бывшем здании Обкома партии, против Госпрома — шесть повешенных. Толстые веревки спускались с самой крыши.

5 ноября по Харькову в сторону Белгорода двигались немецкие части. Солдаты бросались в подбезды. Из квартир летели подушки, матрацы, картины, дамское белье, детские носочки. В это время на площади перед Госпромом над виселицами репродукторы вопили об установлении нового, «справедливого» порядка. Но солдаты, к которым их добрые сердца должны вернуться лишь после войны, продолжали грабить, и они же расстреляли шестилетнюю девочку, случайно сдвинувшую каску на могиле немца, к которому его доброе сердце уже никогда не вернется.

«Новый порядок» торжествовал в городе, он торжествовал и в деревне. В каждом селе, через которое прошли немцы, они оставили свой след.

В Бородаевке Днепропетровской обл. изнасиловали всех молодых женщин и девушек, в с. Нестерове Николаевской обл. угнали скот. В с. Монастирище отняли у колхозницы последнюю буханку хлеба, в с. В.-Литовском Киевского р-на срывали с окон марлевые занавески, били деревенские зеркала, отбирали подушки, ведра, ложки, стенные часы.

В одном из сел Украины германский офицер, чья легковая машина застряла посреди деревенской улицы, велел поджечь ближайшую хату, чтобы было светлее выбираться из гря-

зи. Украинское село Засулье после прихода немцев пылало целых три дня. В с. Воскресенском Дубининского р-на фашисты превратили в мишень трехлетнего мальчика и по нему производили пристрелку пулеметов, в с. Емельчино Житомирской обл. заперли 38 человек в небольшой хате и наглухо заколотили окна и двери, в результате чего все находившиеся в хате погибли от удушья.

Колхозников, работающих на строительстве укреплений, на правом берегу Днепра в районе с. Крякино — расстреляли, чтобы сохранить строительство в секрете. Захватив группу колхозников сельхозартеля «Вільна Праця», гитлеровцы избили их до полусмерти, бросили в яму, облили керосином и подожгли.

В книге скорби украинского народа будут перечислены все имена замученных и казненных, будут названы все акты насилия и грабежа, совершенные оккупантами.

Гитлеровцы хотят подавить волю украинского народа и закабалить его, превратить Украину из свободной Республики в свое «хозяйственное пространство».

II

Рядом с палачом работает агитатор. Устрашать и уговаривать — таков лозунг фашистов на Украине.

Альфа и омега немецкого очковитательства на Украине — «новый» земельный закон. Немцы, оказывается, пришли на Украину только для того, чтобы «освободить» селян от колхозной жизни и передать им землю в частную собственность.

И, очевидно, поэтому, на Карпатах уже нарезано свыше 600 крупных имений для немецких баронов, а на Волинии и Подольщине — около 400 таких же имений и свыше 1500 «отрубков» для немецких колонистов. Что же получают крестьяне?

«Селянам тоже будет нарезана земля, — уверяет немецкая пропаганда, — но, к сожалению, это можно будет сделать только после окончания войны». А пока что — селяне могут получить в собственность свои приусадебные участки. Неважно, что селяне и до сих пор пользовались такими участками: зато теперь они получают приусадебные участки в «собственность»... от германских властей. А как же с пахотной землей?

Очень просто. Временно на Украине устанавливается общинная форма землепользования, иначе говоря, общинное хозяйство. Так называемые «экономические дворы» пашут,

сеют и жнут под наблюдением германского управляющего, а он отгружает зерно в Германию. «Земля и весь живой и мертвый инвентарь — собственность германского государства», — провозглашает фашистская памятка о ведении хозяйства на Востоке. Отсюда следует, что и урожай принадлежит Германии. Селяне же могут получать только малую часть урожая, отдавая львиную долю немцам захватчикам.

Скот и птица тоже увозятся в Германию. Фашистский ветеринар обходит экономические дворы и намечает коров и овец, достойных стать пищей для «высшей» расы.

Украинская корова отдает немцам свое молоко и мясо, украинские утки, гуси и куры отдают Германии свое мясо и пух. Украинский селянин существует для того, чтобы германский желудок был сыт.

«Крестьяне должны понять, что они обязаны отдавать свой труд германской власти и ее представителям». Вот что откровенно говорят немцы. И приказы фашистских управляющих гласят:

«Пять дней в неделю селяне обязаны работать в государственных германских имениях. Два дня они имеют право отдавать своему частному хозяйству» (приказ, оглашенный на Харьковщине).

«За невыход на работу в имение — в первый раз 25 розог, во второй расстрел» (приказ, оглашенный на Кременчугщине).

«Крестьяне должны подготовиться к приезду германских сельскохозяйственных офицеров и так рассчитать время, чтобы быть готовыми немедленно приступить к работе на участках, отведенных офицерам». (Статья в Белоцерковской фашистской газете «Дзвін»).

Но крестьяне не хотят работать на Германию. Чтобы заставить крестьян кормить оккупантов, к жизни чрезвычайные меры. Этого не сделать без комендантов, карательных отрядов и полицейских, вооруженных автоматами и резиновыми палками, разных старшин и старост, рекомендованных германским командованием. Ведь обычно «выборы» старосты происходят так: офицер предлагает выбрать в старосты бывшего кулака. Селяне сидят и молчат, никто не поднимает руки. Тогда офицер говорит: «Я за него, этого достаточно, он избран!»

Фашисты пишут, что правление добродушия по отношению к украинскому крестьянству — глупость и мягкотелость, граничащая с преступлением. Деревню надо держать как можно строже, для этого существуют телесные наказания и смертная казнь.

Но напрасно, угрожая шомполами и виселицей, стараются германские управляющие, военные ветеринары и агрономы, сельскохозяйственные офицеры и запленные мастера-специалисты по общинному сельскому хозяйству. Напрасно рассылают они верным своим старостам инструкции и распоряжения о весеннем и осеннем севе, напрасно запрашивают, починена ли сбруя, свезено ли зерно в экономический амбар, работает ли машинно-тракторная станция, — старостам все чаще и чаще приходится отвечать унылым „ні“ и не менее унылым „нема“.

А имперский комиссар Кох сулит своим боевым товарищам золотые горы. Он говорит им: „Вы и ваши дети наполните немецкой жизнью землю, которая была пропитана немецкой кровью“.

Вслед за Кохом обращается к своим соратникам и румынский генерал Тетерано: „В качестве вознаграждения за храбрость и преданность господин генерал Антонеску решил наградить земель тех, кто отягился в настоящей войне“.

Гитлеровские радио-пропагандисты откровенно заявляют, что на Украине будет поселено 25 миллионов колонистов-немцев и родственных им народов, которые могут не бояться трудностей, ибо „для тяжелой работы будут применены украинцы“. Управлять же украинскими рабами будут так называемые „сельскохозяйственные офицеры“, немецкие колонисты, проходящие в Германии специальные курсы и целыми эшелонами присылаемые на Украину.

Вот, оказывается, почему немцы столь пышно обставляют „праздники ликвидации последнего колхоза“, как то имело место на Днепропетровщине, Киевщине и Черниговщине, розгами и палками заставляя украинских селян принимать участие в этих фашистских „торжествах“, — колхозная земля нужна немцам колонистам, она нужна Германии.

Германии нужна и рабочая сила. Ныне требования Гитлера увеличились. По сообщениям английской печати, германское фашистское правительство собирается вывезти с Украины все взрослое трудоспособное население.

До июля 1942 года из одного Киева в Германию было отправлено свыше 30 тысяч рабочих. За время с 1 июля до 10 августа это количество возросло до 100 тысяч. Аналогичны цифры и по другим городам Ук-

раины. К 1 июля с Украины было вывезено свыше 600 тысяч рабов, к 15 августа 1942 года количество вывезенных немцами украинцев возросло до 1 100 000.

„Добровольная“, как ее называют фашисты, „вербовка“ украинцев на каторжные работы в Германию проводится исключительно путем облав в городах и принудительной разверстки в селах. Как известно, все селяне Украины приписаны к своим селам и даже сельским улицам — с запрещением покидать свою улицу ночью.

Время от времени староста и начальник местной полиции получают распоряжения (в исполнение наметок имперского наместника на Украине Эриха Коха) об отправке определенного количества рабочей силы. Тогда начинается охота на людей.

До середины лета 1942 г. старосты просто объявляли селянам такой-то улицы, что они завтра отправляются в Германию. Но подобный порядок не давал нужного фашистам эффекта. Селяне в ту же ночь уходили к партизанам. Поэтому с июня немцы действуют иначе.

Пользуясь помощью немецкого гарнизона, они без всяких предупреждений оцепляют наметенные улицы и поголовно хватают всех взрослых, тут же отправляя их под стражу на ближайшую станцию, где рабов уже ожидают эшелон с зарешеченными окнами.

Такие же облавы происходят и в городах — преимущественно на базарах и улицах.

Единственный способ спастись от принудительной отправки на фашистскую каторгу — это тут же доказать, что схваченный работает на немецком предприятии или в немецком учреждении. Все остальные подлежат немедленной отправке — без права свидания с родными.

Немцы пытаются изобразить дело так, будто вывезенные в Германию украинцы живут чуть ли не в отдельных коттеджах в лесу, прекрасно питаются „украинскими блюдами“, а по воскресеньям даже отправляются на экскурсии в музеи и на лоно природы.

Однако, вот правдивый рассказ швейцарского торгового агента Мориса Вальтера, возвратившегося в начале августа из Германии и опубликовавшего свои заметки в шведской газете „Тиднинг Пост“.

„Мне пришлось ехать с немецким инженером через большой лес вблизи Берлина. Я заметил широкую поляну с низкими бараками без окон, обнесенную проволокой с заграждениями, за которыми ходили вооружен-

ные охранники. Спутник обратил мое внимание на группу истощенных людей в изорванной одежде, шедших, согнувшись, один за другим. Их сопровождали также охранники. „Это — рабочие с Востока, с Украины“, — пояснил мне спутник. — К сожалению, их очень ненадолго хватает, быстро срываются. Ничего не поделаешь, работа тяжелая, питают же их по нормам военнопленных“.

Из дальнейшей беседы я узнал, что украинские рабочие, выполняющие тяжелые нормативные работы, получают в день 100 граммов хлеба, на обед — суп картофельный или капустный кисель, а вечером кружку желудевого напитка. Не выполняющим нормы пищевой рацион пропорционально снижается.

„Ничего, у нас на Востоке достаточно большие резервы рабочей силы“, — добавил мой спутник. — Беспокоиться нечего. Это все — не квалифицированные рабочие, заменять их очень легко“.

Украинские города стали кладбищами. Харьковчане умирают тысячами. Мертвых не на чем было вывозить — их закапывали во дворах домов.

Украинские города голодают. Снабжения нет никакого. Горожанин заходит в магазин, но товары отпускаются не ему, а немцам, он идет в столовую, но хлеб выдается не ему, а немецким чиновникам. В Киеве работает 4 столовых, но они обслуживают только германцев. В Харькове — 5 столовых. Три — только для немцев и две — для так называемых „лояльных граждан“.

В мае оккупационные власти ввели так называемые „фиксированные“ отпускные цены на мясо, выдаваемое населению из немецких лавок.

Таких лавок в Киеве, Харькове и Днепропетровске открыто по три в каждом городе. Чтобы получить в них килограмм черной конины, надо занять с вечера очередь — тогда к концу следующего дня, быть может, удастся купить мяса по таким „фиксированным“ и опубликованным немцами ценам: мясо (конина) 3-го сорта — 750 руб. килограмм, конина 2-го сорта — 950 руб. килограмм, конина 1-го сорта — 1 200 руб. килограмм.

Аналогичны цены и на другие продукты. Килограмм черного хлеба на руках стоит 400 — 600 рублей. Коробка спичек 100 — 150 рублей. За прикурку папиросы на улице берут 3 — 5 рублей.

Во всех больших городах проведено возвращение крупных домов частным собственникам или их наследникам. Там, где наслед-

ников не оказывается, дома идут с торгов — так же, как и все новостройки. При торгах предпочтение отдается германским подданым.

Специально созданные в Германии акционерные компании закупают в кредит новостройки в больших украинских городах, обязуясь погашать местной немецкой властью стоимостью их постепенными взносами из получаемой квартирной платы. Конечно, никаких норм квартирной платы не существует: немецкие циркуляры разъясняют, что квартирная плата устанавливается только на основе добровольного соглашения домовладельцев и квартиронанимателей. Если квартиронаниматель не платит своевременно или в установленном домовладельцем размере, — он подлежит немедленному выселению, а платить ему нечем.

Горожанин распродает свое последнее имущество, но торговля без разрешения запрещена и за нее полагается до 50 розог. Толкучка закрыта. Горожанин торопится в комиссионный магазин, разрекламированный фашистской газеткой, но взамен своих чудом уцелевших вещей не получает ничего: его вещи необходимы Германии. Горожанин ищет работы. Он идет на биржу. Его сажают на грузовик и отправляют на вокзал, а оттуда дальше в Германию. Не лучше ли просить милостыню или в поисках пищи бродить по свалкам и выгребным ямам, не лучше ли бежать из города в деревню и умереть от голода на дороге, или умереть дома в темном Кieve, при свете каганца, и быть похороненным по приказу бургомистра в общей могиле, находящейся под соответствующим полицейским наблюдением?

Всяческих полицейских на Украине множество. Прежде всего — это доставленные на Украину остатки петлюровцев, затем фашисты подобрили кулацких недобитков, годами скрывавшихся под личиной мелких служащих, и наконец, фашистами пригрит уголовный сброд.

Полиция занята не только внедрением германского духа, она следит не только за тем, чтоб Германии не было причинено никакого ущерба, на полицию возложена обязанность заботиться о своевременном пополнении германских солдатских притонов, для чего регулярно производятся облавы на городских базарах и улицах города. Время от времени отряды полицейских отправляются для таких же облав в села. Иногда полиция работает под вывеской биржи труда. Например, в Полтаве была объявлена обязательная

регистрация всех девушек, умеющих шить, однако, все зарегистрировавшиеся попали в местный публичный дом.

Полиция же обязана готовить и кадры рабочей силы для отправки ее в Германию.

Полиции должна помогать церковь. С этой целью особым постановлением берлинского суда на Украине юридически оформлена и установлена «украинская автокефалия» во главе с бывшим начальником департамента петлюровского министерства народного просвещения, архиепископом Луцким и Ковельским, Поликарпом Сикорским.

О характере деятельности «высокопресвященного» Поликарпа можно судить хотя бы по тому, что по специальному указанию Гимmlера при его «управлении» создан особый отдел «учета», где работают гестаповские уполномоченные. Эти уполномоченные следят за священниками и принуждают их использовать проповеди и исповеди для «воспитания населения в духе дружбы германского и украинского народов». Противящиеся такой провокационной «работе» немедленно снимаются и заменяются поликарповцами.

Полиции должна помогать школа.

Добрый десяток новоявленных «профессоров» выступает по радио и на страницах фашистских газеток с предложениями реформы народного образования на Украине. Они прежде всего требуют решительных мер по искоренению большевистского духа из школ и вузов Украины и усиления дисциплины. Какими способами? Розгами!

Предложены даже нормы розог: для учеников школ — от 15 до 25, для студентов — от 20 до 50.

В помощь полиции приданы немецкие «нормальные» и «чрезвычайные» суды, действующие на основании уголовного кодекса со всеми его мерами наказания, включая и публичное отсечение головы. Эти фашистские судилища уже работают на Киевщине, Полтавщине, Днепропетровщине.

Впрочем, каждый немецкий полицейский имеет формальное право и без суда убить любого местного жителя.

Немцы проводят на Украине принудительную регистрацию всего населения в полиции — вплоть до снятия дактилоскопических оттисков. И по декрету имперского министра восточных областей Альфреда Розенберга — каждый местный житель, который по требованию полицейского не предъявит формальной справки о прохождении регистрации, — подлежит расстрелу на месте.

Понятно, что под таким предлогом немецкий полицейский может расстрелять кого угодно, заявив, что расстрелянный не предъявил требуемой справки.

III

Украина не покорена, она не молчит.

В Киеве по ярам и в крепостных рвах, у взорванной немцами Лавры и над откосами Днепра валяются трупы убитых германских офицеров и солдат, на Крещатике и Печерске неизвестными взрываются немецкие коменданты и дома, занятые немцами, плащадь Богдана Хмельницкого (Бессарабка) на целые сутки изымается храбрыми вооруженными людьми из ведения киевского бургомистра.

В Одессе взлетает на воздух штаб румынского оккупационного корпуса.

Темной осенней ночью пробиваются смельчаки в Днепропетровск и забрасывают гранатами немецкие казармы. Украинские патриоты появляются в Харькове на ул. Дзержинского и взрывают комендатуру.

Украина грозит судом и казнью изменникам и предателям. Она уничтожает их. В Днепропетровске сменилось уже четыре бургомистра. Немцы жалуются на то, что процент пострадавших служащих полиции на Украине непомерно высок. В ряде городов и местечек таинственно исчезают немецкие коменданты. Харьковские партизаны совершили налет на немецкую сельскую комендатуру. Они уничтожили 25 полицейских, среди них и начальника полиции. Так было в селе С. В другую украинскую деревню фашисты направили карательный отряд для ареста сельских активистов. Однако аресты не состоялись, так как партизанами карательный отряд был уничтожен. Полтавчане убили трех комендантов занятых немцами городов, четырех начальников полиции и двадцать шесть полицейских.

Украина мстит за пепел и кровь. Германский танк, на котором написано: «Я брал Фермопиль», катится по житомирской деревне, оставленной крестьянами, и седой колхозник выбегает из хаты и бросает под гусеницы танка гранату. И в одном из поселков Сталинской области пионеры при приближении итальянских солдат начинают петь и танцевать, но когда солдат собирается побольше, бросают в их толпу гранаты. И работник прилавка тов. С., которого немцы заста-

вали грузить бензин на станции Жмеринка, остается у погрузочных рамп и ночью, просверлив одну из бочек, поджигает горючее.

«Дуже бы хотіли бути, неже полонену быти!» — так говорили предки наши, верные сыновья Киевской Руси.

«Лепей есть стратити живот за ойчизну, нежели неприятелю достатися в коризну», — таков был боевой девиз наших прадедов, «защитных рыцарей» славного войска Запорожского, и его повторил Щорс.

«Легче вырвать сердце из груди украинца, нежели превратить его в раба немецких помещиков и баронов», — пишут сейчас на своих знаменах народные мстители-партизаны, украинские рабочие, интеллигенты, селяне.

Гуцул подстерегает немца или мадьяра в родных горах, и житель Одессы выходит ночью из прославленных в гражданскую войну одесских катакомб и снимает румынских часовых. Волынец рвет провода, и приазовский рыбак взрывает баржи с итальянскими и германскими минами.

Селяне одного из приморских колхозов заметили гидроаэроплан, спустившийся в море в трех километрах от берега. Заподозрив неладное, колхозники под предводительством председателя сельсовета сейчас же отправились на шаланде к месту посадки. Когда крестьяне достигли его, самолет уже затонул, а 5 человек его экипажа ушли в море на резиновой лодке. Колхозники отрезали им путь к отступлению и заставили сдаться. Когда фашисты подходили к с. Воропаево, хаты колхозников были уже пусты. Женщины, дети и старики оставили село. Скот, машины, зерно были отправлены в тыл. Все мужчины, способные носить оружие, во главе со своими односельчанами — участниками гражданской войны — ушли в партизаны. Через несколько дней отряд получил боевое крещение.

В Новоград-Волынском районе партизаны-колхозники и колхозницы подожгли хлеба, в которых маскировалась фашистская часть, вооруженная минометами. Охваченные паникой фашисты заметались по полю. Они были уничтожены взрывами собственных мин.

«Крестьянство оказалось фанатичным», — рапортует фашистский офицер Ф. Мельцер. — Партизаны не дают нам покоя ни днем, ни ночью. За несколько суток я потерял лучших своих людей».

«Из-за каждого куста и кочки жди партизанской пули», — жалуются другой немец — Пауль Вебер. — Недавно мы опоздали на 20 часов, в результате чего 11 танков остались без

бензина и были уничтожены русскими войсками».

Марши немецких частей, таким образом, в значительной мере затрудняются.

Проселок и шоссе одинаково опасны для германской армии.

Партизаны, возглавляемые колхозным бригадиром тов. П., расставлены на лесных дорогах, по которым проезжали с донесениями немецкие мотоциклисты, замаскированные острые шипы. Наскок и шоссейные вражеские связисты останавливались и попадали под обстрел партизан, скрытых за деревьями. За 2—3 недели отряд тов. П. перебил более 700 германских мотоциклистов.

Хотят съездить на мотоциклах врага, партизаны протравливают через дорогу тонкий стальной трос. При приближении мотоциклиста трос поднимается до уровня его груди и выбивает ездока из седла.

Отряд тов. В. однажды минировал дороги к северо-западу от Одессы в 16 местах.

Отряду тов. Г. стало известно, что в Проскуров направляется обоз с боеприпасами для немецкого гарнизона. Партизаны устроили засаду. Головной броневик наскочил на мину и выбыл из строя. Экипаж его пытался бежать, но был уничтожен. Несмотря на сильную охрану, 29 машин было подожжено. Отходя, партизаны вновь минировали дорогу.

Партизаны, действующие в другом районе Украины, взорвали плотину и затопили дорогу.

Опасность грозит германским частям не только на земле, но и в воздухе. «В виду того», — гласит приказ № 35 по 16-й германской армии, — что партизаны усилили свою деятельность против аэропланов в тылу, предлагается курьерам избегать бездорожных местностей и по возможности летать вдоль больших дорог».

Но партизаны работают и здесь. Они не только минировали полотно железной дороги или разбирают пути, но даже захватывают железнодорожные станции. Отряд тов. Я. завладел Н-ским железнодорожным разъездом и, узнав, что к разъезду приближается немецкий воинский эшелон, пустил навстречу паровоз, находившийся на станции. Паровоз врезался в эшелон, и 15 вагонов было разбито.

Партизаны-железнодорожники под командой диспетчера тов. К. произвели нападение на воинский состав, захватив боеприпасы и автомашины. Партизаны сожгли эшелон. Они отцепили паровоз и тоже пустили его на всех

парах на станцию П. Здесь паровоз налетел на поезд с солдатами. 150 фашистов погребло при катастрофе.

«Как и следовало ожидать,—предваряет своих подчиненных командующий 4-й германской армией Фон-Клюге,—действия партизан направлены и против железных дорог в районе боев и в тылу нашей армии». Поэтому «всеми средствами следует противодействовать передвижению штатских лиц по железнодорожным путям, пешком или в вагонах. Особенно необходимо остерегаться мальчиков-пионеров (советская организация молодежи). Каждый, появившийся в районе железной дороги должен расстреливаться на месте».

Партизаны угрожают любому мосту, любой телеграфной и телефонной линии.

Около деревни П. немцы заметили группу вооруженных партизан, пытавшихся повредить провода. Партизаны отвлекли солдат подальше от охраняемого немцами объекта и скрылись. Немцы, возвратившись, все же нашли линию разрушенной: провода уничтожила другая группа партизан.

Отряд под командой механика МТС т. Т. систематически совершал налеты на немецких сапер, производивших исправление телефонных и телеграфных линий между Винницей и Бердичевым. Партизаны уничтожили немало телеграфных аппаратов, несколько машин с проволокой и аккумуляторами.

Партизаны, возглавляемые начальником электростанции тов. З., за 5 дней сняли больше 20 километров проводов, организовали аварию воинского эшелона и взорвали 5 мостов.

Отряд тов. П., оперирующий около Киева, взорвал в районе своей деятельности все мосты. В наиболее важных местах немцы неоднократно обновляли взорванные мосты, но партизаны взрывали их снова.

Партизанский отряд тов. Ю. в течение нескольких дней взорвал 12 мостов через Десну. Партизаны-подорывники однажды возвращались по Десне с операции. В 4 километрах от моста, который партизаны минировали, их заметили немцы и открыли с правого берега по ним стрельбу из пулемета. Немецкие зенитчики на левом берегу Десны решили, что стреляют по ним и открыли по правому берегу артиллерийский огонь. Пользуясь произведенным переполохом, партизаны исчезли.

Отряд тов. Г., действующий на Донбассе, взорвал в тылу врага два моста, в результате чего доставка боеприпасов и горючего для

войск противника была задержана на несколько дней.

Черниговские партизаны за две недели взорвали 11 мостов и сожгли 12 цистерн с горючим.

«Много цистерн с горючим,—говорит пленный немецкий лейтенант,—уничтожено партизанами. Все чаще бывают дни, когда машины не могут двигаться за недостатком горючего». «Командование вынуждено выделять все больше танков для охраны колонн, подвозящих горючее»,—заявляет другой немец, взятый в плен нашими частями.

На станции Знаменка как-то образовалось большое скопление вражеского транспорта с горючим и боеприпасами. Налетевшие партизаны подожгли депо. В пламени погибли паровозы, вагоны и несколько военных складов. Работа этой узловой станции прекратилась на несколько дней. Через два дня между Знаменкой и Пятихаткой партизаны пустили под откос и сожгли еще один эшелон с горючим и боеприпасами.

На станции Верхне-Днепровск партизаны подобрались ночью к цистернам с бензином, сняли часовых и открыли пробки: бензин вытек.

По узкоколейке двигался эшелон со снарядами для фронта. Немецкая охрана поезда заметила густой дым, а потом и пламя, вздымавшееся по обеим сторонам дороги. Железя проскочить опасное место, машинист развил большую скорость, но маневр его не удался. Лес горел с обеих сторон, а путь был завален горящими деревьями. Охрана начала разбирать заграждение. И тогда загремели партизанские дробовики и ручной пулемет. Эшелон с боеприпасами взорвался.

На территорию склада боеприпасов в М. партизаны пробрались ночью. Часовые внутренних постов были сняты быстро и без шума. Взломан дверь склада, партизаны нагнали германские грузовики патронами и гранатами и минировали одно из складских помещений. Когда машины с огнеприпасами отъехали, раздался оглушительный взрыв. Это взлетел на воздух и запылал склад. В пламени погребло много ящиков с минами, а также патронов и снарядов.

За две недели черниговские партизаны уничтожили 19 фашистских танков, 6 броневиков, 69 автомашин с боеприпасами и несколько орудий, много станковых пулеметов, а также два артиллерийских склада. Небольшой партизанский отряд, сформированный из колхозников Белоцерковского района, за не-

делю уничтожил 7 вражеских танков. Партизаны Днепропетровской области взорвали поезд с военными грузами, уничтожили 12 орудий, 4 танка и 7 мощных прожекторов. Отряд тов. К. за два месяца уничтожил 4 танка и не менее 80 грузовых машин с боеприпасами.

Немцы солдаты 69-го механизированного полка, взятые в плен, рассказывают: «И без того скудное снабжение немецких солдат ухудшается от нападений партизан на обозы. Командирам фашистских частей приходится выделять целые подразделения для охраны кухонь и обозов».

Отряд тов. П. разрушил водопровод и два колодца, которыми пользовалась итальянская кавалерия.

В с. Гута местные крестьяне подожгли сарай, в которых немцы держали фураж. Запорожские партизаны сожгли в деревне Федоровке немецкое зернохранилище, а в другом месте элеватор. Одесские партизаны сожгли около города С. мельницу, молотильную для германской армии. Партизанский отряд тов. С., уничтоживший в селах Полтавщины несколько германских гарнизонов, отбил у немцев 60 тонн зерна.

«Мы должны были получить сегодня продовольствие,—пишет домой фашистский солдат Виттке, но его не подвезли. Нам теперь тут очень плохо. Мы снова проводили в могилу несколько товарищей,—их убили партизаны».

Ворвавшись в деревню, занятую итальянцами, отряд тов. Р. перебил 300 солдат и офицеров.

Отряд тов. К. уничтожил двух фашистских генералов, проезжавших в легковых машинах.

В Одессе партизаны взорвали дом, в котором происходило собрание германских и румынских офицеров. Под развалинами погребло 100 офицеров, и среди них командир 10-й румынской пехотной дивизии.

В сокольник партизаны Сталинской обл. атаковали населенный пункт, где немцы устроили рождественский бал. Забросав дом гранатами, партизаны убили 40 офицеров.

Вот несколько записей из дневника командира партизанского отряда донецких шахтеров—тов. Б.:

«28 ноября. Разведка сообщила, что в городе М. в театре расположились на ночь 115 штурмовиков. Ночью партизаны вошли в город, окружили театр и уничтожили всю пьяную банду фашистов. Оставляя город, расстреляли немецкого коменданта.

1 декабря В три часа взорвали 12 цистерн с горючим. Охрана из 16 солдат полностью уничтожена.

5 декабря. Получили точные сведения, что в 6 часов вечера на аэродроме в пункте С. сели два фашистских разведчика. Надежные люди сообщили, что на аэродроме нет никакой вооруженной охраны. Чтобы захватить врага врасплох, пошли на хитрость: партизаны взяли подводу с тарой, будто везут горючее для самолетов, и беспрепятственно проехали на аэродром. Убили пилотов, сожгли их самолеты, захватили револьверы, карты.

7 декабря. Нас известили, что немцы устроили пьянку в селе П. Мы не стали ждать, пока нас пригласят, а явились ночью сами. Фашисты уже были пьяны, и мы задали им перцу.

12 декабря. Совершили ночной налет на станцию Я. Тут стоял немецкий воинский эшелон. Уничтожили 96 фашистов, взорвали 2 цистерны с горючим и захватили 14 пулеметов.

15 декабря. В село П. приехал отряд фашистов. Начался повальный грабеж. Ночью мы налетели на село, сняли часовых и перебили больше трех десятков немцев.

24 декабря. На шахте И. взорвали склад динамита.

25 декабря. На шахте Ч. взорвали 170 ящиков со снарядами. 7 солдат охраны уничтожены».

«Партизаны,—признаются немцы,—это вторая советская армия. Мы не видим ее, но она мешает нам жить».

Жандармерия, полицейские, германские, румынские и венгерские каратели не в силах бороться с партизанским движением. На помощь им фашистская власть направляет воинские части.

Но мелкие партизанские отряды соединяются в более крупные. Они ходят по немецким тылам, помогая Красной Армии. Вместе с Красной Армией, вместе со всеми народами Советского Союза борется Украина за свободу и честь.

Темной ночью уходят самолеты на запад. В его кабине плотные пачки партизанской газеты «За Радянську Україну». Открывается люк, и газетные листы будут виться в ночном небе и опустятся на мостовые украинских городов, у плетней украинских сел, в лесах перед землянками партизан. Украина знает о героической борьбе своей родной Красной Армии и верит в победу. Украина помогает победе.

Немцы расстреливают и вешают партизан, но вместо партизанского отряда появляется партизанский полк. Немцы обещают за голову партизана тысячи марок. Хата, в которой партизан побывал, сжигается. Семья, укрывшая партизана, расстреливается. Но партизанский отряд вырастает в армию, невидимую, но мешающую немцам жить.

Украина не сдаётся. Она наступает. Германскому духу она противопоставляет дух Богдана и Пархоменка, дух Железняка и Щорса. Украина кипит от гнева и ненависти.

Колхозник заколол немца вилами. Его расстреляли, но сельская учительница на другом конце Украины отказалась прочесть селянам фашистский приказ. Ее расстреляли, но 17 учеников технического училища в Одессе вышли на улицу, подняв на древке портрет Сталина. И они были расстреляны, но в Днепропетровске из стен домов появилась надпись: «Да здравствует ленинизм, да здравствует

Сталин!» Немцы стерли лозунг, но на следующую ночь он появился снова.

В обращении к украинскому народу, подпisanном его представителями, собравшимися на 2-й антифашистский митинг в Саратове, говорится: «Не слезы, не мольбы о пощаде, не рабская жажда мести, грозный дух смертельной битвы — горит в сердцах непобедимых украинцев. Никогда ненасытный немец не погасит моря человеческой ненависти, никогда не выпьет он животворной крови из сердца украинца. Скорее мертвыми упадем, чем выпустим боевое оружие. Так было в седой древности, так есть теперь, так будет до тех пор, пока последний оккупант не падет с разбитой головой, пока не будет освобождена наша земля из немецкого рабства, ибо в нашей священной борьбе нас осенит образ великого Ленина, а руководит нашей борьбой наш вождь, лучший друг украинского народа — великий Сталин».

...

Эди Огнецвет

МОЙ БЕЛОРУССКИЙ КРАЙ

Я вспоминаю летний день
И пруд в краю лесном,
И золоченой тучки тень,
Скользкая над прудом.

Я вспоминаю песнь дрозда
И шум, и гул дубрав,
И сердце просится туда,
Где волны милых трав.

И сердце рвется в тихий дом, —
В лесной, зеленый рай.
Нет,
ты не будешь под яром,
Мой Белорусский край.

Но там еще гуляет плетъ
И попрун сенокос,
И птицы там не могут петь,
И лес мой безголос.

Еще забрызганы поля
Кровавою росой.
Но расцветет моя земля
Знакомую красой.

За смерть над Сожем и Днепром
Убийцу покарай, —
Нет,
ты не будешь под яром,
Мой Белорусский край.

Перевел с белорусского Ник. Ушаков

Якуб Колас

(Народный поэт Белоруссии)

УБИЙЦАМ НЕТ ПОЩАДЫ

Надвинулся густо на землю туман,
Повиснул багряною мглой.
Земля изнывает под тысячу ран,
Затоптана дикой ордой.

Холмами развалин лежат города,
А села — одно пепелище,
Где ветер блуждает, где горе-беда
По ребрам останков их рыщет.

Напоены щедро кровавой росой
Долины, леса и пригорки.
Как призрак костялый, смерть ходит с косой,
А следом дым стелется горький.

Собака одна по безлюдью бредет
И жутко от голода воет.
Кто наши могилы и слезы сирот
Сочтет в этом мертвом покое?

Людскими костями засеяна даль,
Бурьяном поля зарастают.
У зорьки румяной во взоре печаль,
И реки, как вдовы, рыдают.

Земля моих предков! Так чьей же рукой
Топор занесен над тобою?
Проклятье бандиту и гадине той,
Что ищет поживы в разбое!

Развернись, земля, под злодейской ордой
И в бездну ее поглотит ты!
И стань для бандитов доской гробовой,
Их черною кровью омытой!

Нет, зверь ненасытный, немецкая шваль,
Ты лопнешь, как веред зловерный!
Ты рвешься вперед, но как зубы ни скаль,
Погибнешь позорно, бесследно.

Судьбой осужден ты, вампир-вурдалак,
Прощенья убийцам не будет!
Нет, нет, не подымется свастики знак,
Как мусор сметут его люди.

Перевел с белорусского Сергей Городецкий

...

Якуб Колас

(Народный поэт Белоруссии)

БЕЛОРУССЫ НЕ БУДУТ РАБАМИ

Горячо любит белорусс свою родину, свою землю, которую он обильно оросил потом и кровью. Эта земля, хоть и не славится плодородием, но она щедро вознаграждает тяжелый труд народа и воспитывает в нем любовь к труду, к бережливости. Богат и разнообразен пейзаж Белоруссии. Рукой гениального художника-пейзажиста разостлала природа сверкающие живыми цветами ковры лугов по долинам серебристых рек — Западной Двины, верхнего Днепра с его многочисленными притоками, Немана, Буга. Необъятные панорамы холмов и равнин, лесные массивы, расцвеченные мягкими тонами многокрасочной

зелени, тысячи озер, ручьев и рек, — вот типичные особенности Белоруссии. Двести пятьдесят тысяч квадратных километров занимает ее территория. Одиннадцать миллионов жителей населяют ее землю. Земля эта с древних времен была землею славян. В свое время здесь была славная Полоцкая Русь, Турово-Пинское княжество, земли кривичей и радимичей. Здесь извечно жил и создавался белорусский народ со всеми своими национальными особенностями, с отпечатком своей национальной культуры.

Богата и сурова история белорусского народа. Это — история борьбы с угнетателями, с нашествием чужеземных завоевателей, исто-

рия борьбы за свою национальную независимость, свободу и культуру. На протяжении веков восточным славянам — русским, украинцам, белорусам — приходилось вести упорные битвы за свои земли, за свою независимость с многочисленными полчищами немецких грабителей. Во всех этих битвах активно участвует белорусский народ. Он сражался в рядах победоносных войск Александра Невского на льду Чудского озера. Белорусские дружины сыграли огромную роль в разгроме немцев под Грюнвальдом в 1410 году. Они участвовали в битвах 1757—1758 гг. при взятии немецких городов Тильзита и Кенигсберга. Не один раз восставал белорусский народ против своих угнетателей и поработителей. Из недр народа выдвигались подлинные герои, память о которых сохранилась в поколениях: Наливайка, Галота, Кривожайко, Горкуша, Хвесько, Вашила, Каликовский.

Белорусская земля усеяна сотнями тысяч вражьих могил. В ее недрах тлеют кости многих чужеземных племен, приходящих жечь и грабить ее. Здесь сложили свои головы татары, шведы, французы и с ними „дванадцать языков“. Свежи еще в памяти белорусского народа первая мировая война, его крестный путь бегства с десятками тысяч безымянных могил, с сожженными городами и селениями. Но, пройдя все испытания, народ продолжал жить и развиваться, ибо народ бессмертен.

Никогда не склонял головы белорусский народ перед завоевателями. Он уходил в леса, в глухие пущи и дебри болот, которыми изобилует белорусская страна. Он шел в приграничные степи братской Украины, в низовье Днепра, чтобы собирать силы и вместе со своими родными братьями русскими, украинцами, биться за правое дело, за свою независимость, за свою национальную целостность.

Свободно вздохнул белорусский народ при Советской власти, из рук которой он впервые за многовековую историю свою получил государственность. Земля, с которой он так крепко сроднился и о которой так страстно тосковал, стала его собственной землей. Он стал полноправным и законным ее хозяином. В короткий исторический срок пройден огромный путь раскрепощенного творческого труда. Дыхание новой жизни широко раздвинуло горизонты, раскрывая все новые и новые перспективы подлинно счастливой зажиточной жизни.

Дружба народов и их действенная братская помощь, ленинско-сталинская национальная политика, неуклонно проводимая в жизнь пар-

тий большевиков, личное внимание товарища Сталина к вопросам нового строительства в Белоруссии создали ту благоприятную основу, на которой созидалась и благоустривалась эта жизнь.

В республике была создана крупная многообразная промышленность. Десятки тысяч гектаров болот осушены и превратились в плодородные земли. На этой земле зрели обильные урожаи хлебов и трав. Расцвела национальная культура и искусство, выросли талантливые кадры национальной интеллигенции — артисты, скульпторы, художники, поэты, писатели. Страна покрылась густой сетью школ. В Академии наук Белорусской ССР, в 22 научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях работала научная мысль. Под благотворным влиянием революции формировался новый человек, свободный гражданин, преданный своей социалистической родине, готовый жертвовать за нее своей жизнью.

Предательское нападение гитлеровской Германии на Советский Союз превратило мирное созидательное строительство белорусского народа. Первые удары фашистских грабителей и убийц испытал на себе белорусский народ. Нет предела тем бесмысленным жестокостям и злодеяниям, какие чинят гитлеровские орды над мирным населением Белоруссии. Нет такого чудовищного преступления, перед которым остановилась бы гитлеровская сволочь.

Уже в первые дни войны немецкие разбойничьи орды показали свое звериное лицо. Тысячи воздушных пиратов набросились на мирные города и селения Белоруссии, принеся с собой разрушение, огонь и смерть. С тупой жестокостью убийц тевтонские головорезы бомбили и расстреливали пионерские лагеря, курорты, дома отдыха, толпы убегающего из городов населения. Потоки крови поплыли по многочисленным прекрасным дорогам белорусской земли. Закопывались, запылали высоко в небе зарева пожаров. Сколько человеческих трагедий видели белорусские дороги! Сколько осиротело на них неповинных детей! Сколько материнского горя и слез пролито в белорусских полях и лесах! Разве можно забыть такой случай, — один из тысяч! На травянистом пригорке у дороги лежит молодая женщина. В нескольких шагах от нее, с устремленным в небо неподвижным взором остекленевших глаз, лежит труп ее мужа. Мальчик лет четырех не вполне понимает, что случилось с его матерью, с отцом. Но он видит кровь на лице матери.

Его детская душа в тревожном смятении. Он гладит лицо матери и жалобно просит: мама, встанай! Но не встанет его мать, не ответится отец на мольбу осиротевшего ребенка.

По прямому приказу Гитлера немецкие хищники сжигают до основания цветущие белорусские города. Столица Белоруссии Минск обращена в руины, в черное пепелище. Сожжены и разрушены Витебск, Гомель, Могилев, Бобруйск, Борисов, Гродно, Волковыск, Орша, Слуцк, Полоцк и десятки других городов, тысячи местечек и сел. Немецкие варвары, обратившие в пустыню цветущую страну, цинично заявляют:

„Крупные города Белоруссии (так называют эти негодяи Белоруссию): Минск, Витебск, Гомель, Могилев превращены в развалины. Нет необходимости восстанавливать эти города, так как город портит белорусена (белорусса), который привязан к земле“.

Временно оккупировав территорию Белоруссии, Гитлер вкупе со своими палачами стал насаждать в ней свой „новый порядок“. В чем же сказалося этот „порядок“? Во-первых, Белоруссию переименовали в „Белорутению“. Минск отнесли к Барановичскому округу. Четыре белорусские области: Белостокскую, Вилейскую, Пинскую и Брестскую немцы включили в так называемый „Ост-Зюд Пройссен“, т. е. в юго-восточную Пруссию. Остальные белорусские районы отнесли к немецкой области восточных провинций — „Остланд“. Во-вторых, немцы мошенники и фальсификаторы проводят ту идею, что белорусский народ ни исторически, ни племенным родством не связан с великим русским народом. Все, что носит на себе отпечаток национальной культуры и независимости, немцы держиморды искореняют жестоким образом. Все, что напоминает об историческом прошлом Белоруссии, ее памятники, ее культурные достижения, они изгоняют, уничтожают с тупым равнодушием немецких барбосов.

Они разгромили Белорусскую Академию Наук, разорвали богатейшие архивные документы и ценнейшие книги. Они сожгли огромное книгохранилище в Минске с редкими коллекциями книг — Библиотеку им. Ленина. Они разрушили и сожгли Горецкую сельскохозяйственную академию, старейшее в стране высшее учебное заведение, отпраздновавшее свое столетие. В Гомеле разрушили редкий архитектурный памятник, дворец князя Паскевича-Эриванского. Разорваны ценнейшие экспонаты живописи и скульптуры Государственной картинной галереи. Во всех городах немецкие

варвары сожгли общественные библиотеки, разорили и истребили клубы, больницы.

Свой „новый порядок“ они завершили „земельной реформой“. Прибалтийский немец, барон Розенберг, от имени гитлеровского правительтва объявил „новый порядок“ землепользования. Этот „новый порядок“ лишает белорусского крестьянина всех прав на землю. Его земля переходит во владение немецких оккупантов и раздается немецким помещикам.

О сущности этой „реформы“ красноречиво пишет крестьянин Могилевской области Петро Н.:

„Как только пришла весна, сразу же окончились зимние рассуждения немецких оккупантов о земельной реформе, и началась эта самая „реформа“. В районе создано немецкое земельное управление, начальником которого является немецкий офицер. В район приехали немецкие помещики. Они шныряют по колхозам, присматриваются, где лучшая земля, где им строить свои имения. Немцы объявили, что землю получат только те крестьяне, которые „сочувствуют немецким властям“. Это значит — получают полицейские, шпионы, которые помогают грабить наше добро и уничтожать наших людей“.

Никогда белорусский народ за время своего существования не переживал таких тяжелых испытаний, какие переживает он в эти дни. Никогда белорусская земля не подвергалась такому разорению и опустошению, каким она подвергается сейчас. Гитлеровские орды и их кровавые руководители превзошли все ужасы дикого вандализма, какие только знает история. Сожженную, повергнутую в груды развалин столицу Белоруссии они обратили в смрадный гестаповский застеноч. Они создали здесь еврейскую черту оседлости. Улицы Островского, Колхозная и Колхозный переулок по распоряжению немецких душегубов огорожены высокой каменной стеной. За этой стеной замучены тысячи женщин и детей. По приказу генерального комиссара Вильгельма Кубе в Минском районе убито 80 тысяч человек. Все они похоронены во рву за городом. Минск стал местом гологоfos белорусского народа. Население города ограблено. У него отобраны столы, шкафы, кровати, кухонная посуда. Такая же участь постигла и другие белорусские города.

В городе Петриково немцы согнали к реке огромную толпу народа. Взрослых расстреляли, а детей побросали в реку. В Ельске утоплено 500 женщин и детей. В Шклове расстреляно 6000 мужчин и женщин, а детей живьем

бросили в яму и вместе с убитыми родителями засыпали землей. В Пинске истреблено свыше 10 тысяч жителей, в Могилеве 14 тысяч, в Витебске 6 тысяч. Физическое истребление мирного населения не прекращается и до настоящего времени. Решается вопрос о жизни и смерти нации.

Наряду с этим идет безудержный грабеж населения. Целыми эшелонами вывозят захваченные в Германию добро белорусского народа: лес, скот, хлеб, награбленные у мирного населения предметы домашнего обихода, одежду и обувь. Немцы насильно выселяют белорусское население в Германию на каторжные работы. Десятки тысяч заключены в концентрационные лагеря.

Но напрасны усилия немецких извергов: никакими зверствами, грабежами, поджогами, виселицами, расстрелами, пытками не сломить фашистским палачам волю к победе белорусского народа, закаленного в борьбе. Он хорошо помнит нашествие кайзеровских полчищ, немецкие грабежи и реквизиции в первую мировую войну. Он из опыта знает, что такое немецкая оккупация. Нашествие гитлеровских орд и их гнусные преступления по своей жестокости и кровавости превосходят все, что до сих пор знала история.

Месть, беспощадная месть, смерть гитлеровским разбойникам! Вот лозунг белорусского народа с первых же дней нашествия фашистских головорезов. В одиночку и группами уходят белорусские патриоты в леса. Лес и лесные чащи — верный, испытанный друг белоруса. В лес угоняет он скот, в лесу прячет свое имущество, организуется в боевые отряды. Во главе этих отрядов выступают решительные, смелые люди, талантливые организаторы и боевые командиры. Кто они, эти люди? Это — председатель сельсовета или колхоза, это — бригадир, сельский учитель, лесничий или агроном, секретарь районной партийной организации, директор какого-либо предприятия, — люди, кровно связанные с народом, с родной землей, обремененные доверием народа.

Как лесной пожар разрастается пламя партизанской войны в Белоруссии. Малочисленные вначале партизанские группы и отряды сливаются в большие соединения. Располагая прекрасной разведкой, великолепно зная каждый клочок родной земли и каждую лесную тропинку, партизаны внезапно появляются там, где их не ожидают, наносят сильные удары грабительским гитлеровским гарнизонам и крупным отрядам. Каждый день приносит новые примеры героической борьбы белорусских партизан:

Партизанский отряд под руководством директора спиртзавода и секретаря Р-ского райкома партии, состоящий из рабочих и колхозников, напал на немецкую колонну. Пехота была уничтожена. Отрядом захвачены 1 танк, 10 бронемашин и противотанковая пушка. На машины посажены трактористы и пулеметчики, и отряд, вооруженный отбитыми машинами, продолжает самоотверженную борьбу с фашистами.

Н-ский партизанский отряд в схватке уничтожил немецкий танк, убил 80 немецких кавалеристов, сжег 3000 тонн награбленного фашистами хлеба и склад горючего. Кроме того, взорвано два моста в тылу немцев.

Н-ский партизанский отряд обнаружил в лесу сильно охранявшийся штаб немецкого соединения. Вызвав воинскую часть, партизаны вместе с ней напали и уничтожили штаб. Много солдат и офицеров убито, в том числе один генерал.

Н-ский партизанский отряд в районе Бояновичи выследил идущую вперед немецкую пехоту. Пропустив ее через мосты, партизаны взорвали четыре понтонных переправы через реку Птичь, а затем вместе с заранее вызванной воинской частью напали на пехоту. Убито более 1000 немецких солдат.

Н-ский объединенный партизанский отряд уничтожил огнем и в волчьих ямах 30 танков и бронемашин врага. Три броневика, оставленные бежавшими немецкими танкистами, поступили на вооружение отряда. Этот отряд занял Паричи и затем Глуск (местечки Бобруйского района — Я. К.).

В деревне три немецких танкиста, вылезшие из танков, подверглись нападению партизан и бежали, бросив танки и потеряв каски. Колхозники уничтожили танки и ушли в лес.

В Н-ском районе партизаны взорвали мосты и надолго задержали эшелоны врага.

По Варшавскому шоссе от государственной границы до Бобруйска лежит огромное количество разбитых и сожженных партизанами машин. Каждый день на этом шоссе в разных местах возникают ожесточенные стычки партизан с немцами.

В деревне Студянка немецкий офицер с группой солдат собрал крестьян и обратился к ним с речью. В ответ из толпы раздался выстрел, офицер был убит наповал. Крестьяне ушли в лес в партизанские отряды.

Героический партизанский отряд Бумажкова наводит страх на врага. Не один раз партизанам приходилось встречаться с фашистскими головорезами, и всегда гитлеровские бандиты

трусливо отступают. Партизанский отряд уничтожил 18 вражеских бронемашин и танков.

Немецкий генерал-майор Лонжель и его штаб подверглись нападению партизанского отряда. Генерал-майор Лонжель бросился бежать. Здесь, на Белорусской земле, он и нашел свой бесславный конец: его поразила партизанская пуля.

В настоящее время пламя партизанской войны в Белоруссии разгорается грозным пожаром всенародного восстания против немецких насильников. В этом свяшенном всенародном ополчении принимают участие старики и женщины, юноши и подростки. Мысли народа устремлены к изгнанию фашистских грабителей. Все его усилия направлены к освобождению родины.

Против немецких оккупантов поднимаются целые районы. С каждым днем размах партизанского движения ширится. Отдельные партизанские отряды сливаются в крупные военные соединения. Они располагают новейшим вооружением в достаточном количестве. Это признает немецкое командование:

„Партизаны получили, — говорится в одном приказе, — наряду с опытными руководителями тяжелое вооружение — обычные и противотанковые гранаты и пушки. Это означает серьезную угрозу для фронта“.

Крупные партизанские отряды предпринимают смелые нападения на значительные немецкие соединения и гарнизоны. Партизанский отряд под командованием тов. Д. и отряд невеликих партизан (Витебщина) разгромил немецкий гарнизон в 400 человек, уничтожил склад с боеприпасами. Другой отряд начал свою боевую деятельность в составе 14 человек. Сейчас этот отряд насчитывает целую бригаду бойцов. Она наводит ужас на немцев. Именно эта бригада уничтожила 1500 немецких солдат, 60 офицеров, одного генерала, 200 полицейских.

Пять партизанских отрядов Витебской области уничтожили 1724 немецких солдата, 87 офицеров, одного генерала. За июнь месяц партизаны Витебщины пустили под откос 9 поездов, в результате чего уничтожено свыше 400 немецких солдат и офицеров, 105 орудий, разбито 11 паровозов, 168 вагонов, из них 50, груженных бензином. Разрушено 60 мостов, из них 6 железнодорожных, 12 на шоссе, 42 на проселочных. Подорвано и уничтожено минами на шоссе и грунтовых дорогах 84 автомашины с 353 гитлеровцами,

танков — 3, танкеток — 4, мотоциклов — 4, велосипедов — 10, тракторов — 3, пушек — 2, лошадей — 27. Сожжено ремонтных мастерских — 2, складов с бензином — 1, автоцистерн — 1. Все го при этих операциях уничтожено живой силы врага 1155 чел., полицейских — 70, изменников и шпионов — 170 чел. За июнь месяц витебские партизаны уничтожили 1900 немцев и 240 изменников. Партизаны отбили у немцев 2000 голов скота и 700 лошадей и возвратили их населению. Захвачено трофеев: винтовок — 99, ручных пулеметов — 1, тракторов — 3, лошадей — 60, велосипедов — 42, мотоциклов — 1, патронов — 20 000, пистолетов — 5, автоматов — 3. (Из газеты „За свободную Беларусь“).

Партизанский отряд тов. П., действующий в Минской области, держит под своим контролем очень важную для немецкого транспорта дорогу. Другие отряды на Минщине только за весенний период уничтожили до 200 немецких танков, 40 самолетов, 400 вагонов с немецкими солдатами и вооружением.

Белорусское население, насильно увезенное на работы в Германию, убегает из немецкой каторги и уходит в леса, требуя оружия. Нескольким районам очищены от немецких оккупантов, и в них восстановлена советская власть. Как ни силится гитлеровские палачи погасить священное пламя народной мести, это им не удается. Партизанская война расширяется, принимает все более грозный характер. Белорусский народ никогда не был и не будет рабом немцев. Из своей среды он выдвигает тысячи героев.

Белорусский народ не одинок в своей борьбе против гитлеровских оккупантов. Его поддерживает своим могучим плечом Красная Армия, в рядах которой сражаются спаянные Сталинской дружбой народов русские и украинцы, узбеки и казахи, армяне и грузины, татары и киргизы, чуваша и таджики. Немецкие разбойники-псы воображали себя высшей расой. Вздвигавшиеся фрицы возмнили себя властителями земли и народов. Вместе со своим дуболобом Гитлером они добиваются „жизненного пространства“. Этим жизненным пространством станут для них холодные недр земли, которую они разорят с немецкой жестокостью и методичностью.

Гитлер поставил на карту все свои резервы. Карта эта будет бита. На крови и костях фашистских людоедов снова зацветет свободная мирная жизнь великого советского народа.

ТАГАНРОГ

Мой город! Как книгу, где каждая строчка
И каждая буква знакома,
Тебя прочитала я до бугорочка,
До каждой травинки и дома!

Я помню балконы и запах акаций,
И ставни твои на запоре,
Я помню, как весело было спускаться
По каменной лестнице к морю.

Я помню, как музыка, в ночь вылетая,
Неслась из распахнутых окон,
Я помню синиц разноцветную стаю
И ласточек в небе высоком.

Вдали от тебя вспоминала всегда я
Крылечки твои и калитки,
И время, когда я была молодая,
И пепельные эвкалипты.

Мой город, ты—детство и юность и зрелость!
Ты помнишь, я сына качала?
И с мальчиком вместе и мне захотелось
Прочсть тебя, город, сначала!

Теперь ты у немцев. Теперь ты бесправен.
Удел твой—и пытки, и горе.
Мой сын, ты—моряк, ты вернешь мою гавань,
И город вернешь мне, и море!

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Не мог я долго с силами собраться,
Чтоб стать как прежде властелином слова,
Хоть словом я привык повелевать.
Когда нет меры гневу и презрению,
Которое внушает нам злодейство,—
Немеет голос. Так я онемел,
Когда в Ташкенте, в декабре весеннем—
О, воздух, лучезарно-голубой—
Я вдруг узнал... не ускользай же, слово,
Поведай о неслыханном позоре,
О том, как немцы,—немцы, то же имя,
Какое сам ношу я, чей язык—
Язык моей отчизны,—эти немцы
Ворвались хищно в Ясную Поляну,
В ее поля, сады, в густые рощи,
Где обитает гений Льва Толстого,—
В уют покойный тех старинных комнат,
Где создавал он вечные творенья,
Где он писал свою "Воину и мир",—
В тенистый сад, где гения могила,—
Хозяиничали там! Нет, это слово
Здесь не подходит,—буйствовали, нет,
Не передать словами преступления
Банд озверелых, гадивших повсюду,

Маравших стены всем, что мог измыслить
Вонючий мозг: "Смотрите, это мы!
Едва пришли мы, смрадной стала жизнь,
Чтоб знал весь мир, что мы сюда явились!"
И все, чему их обучал вожак,
Все выполняет в яростном усердии
Трусливое звериное отродье!
Прекрасное они хотят изгадить,
И превратить великое в навоз,
Такой же, как они,—и с этой целью
Ворвавшись в дом, где гения обитель,
Они глазами, алчущими крови,
Все оглядели—ни единой строчки
Толстого негодяи не читали,
И это пуще разожгло их злобу,—
И рукописи, гордость поколений,
Заветные сокровища народа,
Овеянные Ленина любовью,
Мерзавцы изорвали, и трусливо,
Страшась красноармейского возмездья,
Их бросили в костер, чтоб злодеянье,
Сгорев в огне, исчезло черным дымом.
Срубили дуб, ветвями осенявший
Надгробие Толстого,—и бежали...

Святыню благородных пилигримов,
По всей земле прославленный приют,
Куда из дальних и безвестных стран
Стекались, как посланники народов,
Десятки тысяч, чтоб изведать трепет,
Чтоб гения почувствовать дыхание,—
Бессмысленная сволочь осквернила.
Ты—памятник народа, ты святыня
И моего—немецкого—народа!
Мы не забудем то, что здесь свершилось!
Настанет день—и мой народ свободный,

Народ немецкий, суд произнесет
И отомстит за наш позор великий,
За все глумленье над немецкой честью,
Поруганной опять—в который раз!
В священный день победы—на знаменах
Народ напишет: "Ясная Поляна"
И воссияв, как никогда доньше,
Нас ликованием вечным озарит
Твой вечный свет, о, Ясная Поляна!

Перевел с немецкого В. Левик

ИВАН ИВАНОВ

В недавнее время в селе Лишняги
Засели у нас живодеры—враги.

Разграбили дочиста сытый колхоз,
Залили потоками крови и слез.

Итти, им, вишь, надо в другое село,
Да лес не пускает, пути замело.

Стоят воеводами сосны вокруг,
Пугают серебряным блеском кольчуг.

Подстать им и старый Иванов Иван,
Глядит исподлобья на вражеский стан.

Схватили его и грозят, и юлят,
В соседний колхоз провести их велят.

— С волками в десах я бродить не привык!—
С упрямой усмешкой ответил старик.

Заставили силой, погнали вперед,
И сумрачный лес их в объятья берет.

Гуськом за колхозником немцы идут,
Машины, оружие ползком волокут.

Все уже дорога, все глубже снега,
Дружиной стволы обступают врага.

Зловеще блеснул и погаснул закат,
Суровые тени нахлынуть спешат.

Чужие следы замечает метель,
Не греет злодеев худая шинель.

А дед все идет по чащобе вперед,
Он знает, куда и на что он идет.

Мальчонкой аукал он в этих местах,
Где елки толпою сбегают в овраг.

Свистели синицы, скрипели дрозды,
Мать пела ему голоском молодым:

"Как во лесе, лесе темном
"Лихо бродит неумно.

"Лихо бродит, Лихо рыщет,
"Да жилья людского ищет.

"По ложбинам да полянам
"Смотрит глазом оловянным.

"Как да с елки свищет птичка,
"Та ль синичка—невеличка.

"Зря ты, Лихо, накатился!
"Знать ты, Лихо, заблудился!

„Никуда теперь не выйдешь!
Никого уж не обидишь!“

Дорога сразмаху сорвалась в овраг.
С машинами немцы уязали в снегах.

Закинувши голову, выпрямив стан,
Стоял перед ними Иванов Иван.

Широким крестом он себя осенил
И молвил:—Казните! Я вас уж казнил.

Беситесь, кричите по-своему: Halt!
Недолго вам злобою тут полыхать.

Бессильных врагов беспорядочный залп
Герою и грудь и глаза пронизал.

Земля приняла его в снег, как в постель,
И саваном чистым покрыла метель.

Карабкались немцы, но лес не пускал.
Мороз обнимал их, все жарче ласкал.

В овраге глухом замерзали они,
Торча меж сугробов, как черные пни.

Поглотит их всех снеговой океан!
У нас не один он Иванов Иван!

...

Алексей Резапкин

ТОВАРИЩ ЭН

Живет в районе за Смоленском
Гроза шакалов и гиен:
У пункта Эн, в районе Энском
Громит врага товарищ Эн.
Он знает каждую дорожку
И каждый штаб, и каждый склад.
Из немцев делает окрошку
Его испытанный отряд!
Вчера он провод перерезал,
А нынче—глотки часовым...
Решил майор, барон фон-Эзель,
Раз навсегда покончить с ним.
Он в селах жителям вещает,
Согнав на площади народ:
— Пусть партизаны трепещают
Пред мой зольдат и пулемет!
Я их огнем и железой
Испепелю, взяв в плен!
И вот идет майор фон-Эзель
С большим отрядом к пункту Эн.

Шагают пьяны е е с с с с с,
Ищейки рыщут по лесам;
Четвероногие собаки
Должны помочь двуногим псам.
Но ждет „карателей“ засада.
Короткий бой. Стрельба в упор.
Перед начальником отряда
Стоит навтыжку майор.
Так вот кто бил их за Смоленском!
Так вот кто взял майора в плен!—
С косою русой, в платье женском
Пред ним стоит товарищ Эн...
— Вы есть простейший русский баба?!
— Я—женщина! А ты—навоз!
Петров, вежи его до штаба
К гвардейцам нашим на допрос!

Отряд ушел. В районе снова
Уничтожает злых гиен
Товарищ Анна Иванова,
Наш боевой товарищ Эн!

...

Эмиль Мадарас

ТЕБЕ Я СЕРДЦЕ ОТКРОЮ

Узбекское зимнее утро.
Над голубой Сыр-Дарьей,
Сияя мне тихой улыбкой,
Узбекское солнце взошло.
Узбекскому красному солнцу
Я старое сердце открою,
Чтоб сердце мое окунуло
Оно в золотое тепло.

Заводов проснувшихся гимны
Разносятся гулом и громом.
В казармах трубы запели,
Бойцы пробудились от сна.
За школьною партией узбечка
Склонилась над ленинским томом,—
Как персик лицо ее смугло,
Коса как ворон черна.

Струятся лазурные воды
Реки плодоносной Востока,
В лицо мое древние горы
Глядят сияющим льдом,
А я напеваю тихонько
О Тиссе, текущей далеко,
В краю, где стоит, как руина,
Отцовский покинутый дом.

О Тиссе, томящейся в рабстве,
По чьим взыбаламученным водам
Шныряют в неистовстве диком
Немецких патрулей суда,
О старой задумчивой Тиссе,
Любимой венгерским народом,
Чьи реки заполонила
Проклятых пришельцев орда.

О, берег медлительной Тиссы,
Исполненный древней дремоты!
Немецкие танки грохочут
По тихой венгерской земле,
Немецкие лязгают пушки,
Шагают немецкие роты,
Вдруг—выстрел и крик предсмертный,
И оба смолкают во мгле.

Венгерское утро плетется,
Как старец, лениво и сонно,
Не плещет угрюмая Тисса,
Светает, кружится снег.
Последний лист прошлого дня
Бесшумно падает с клена,
Лежит в придорожной канаве
Застреленный человек.

Лежит мертвец одинокий
В грязи придорожной канавы,
Губами холодными жадно
К земле холодной приник.
Целуй, целуй ее! Мертвым—
Забвенье, покою величавый,
Нам, воинам битвы грядущей,—
Гнев ярый и мстительный штык.

Узбекское красное солнце,
Над синей, пустынной далью
Заводам, кующим победу,
Даришь ты силу свою.
Тебе я сердце открою,
Чтоб ты с карающей сталью
Спаяло сердце поэта
В последнем великом бою.

Перевел с венгерского В. Левик

...

УЗБЕКИСТАН В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Ислам Шаир

КРЕПЧЕ ОПОЯШЬТЕСЬ!

Эй, цвет великой сталинской весны,
Земли советской дочери, сыны,
Фашистам путь мы преградить должны!
На труд, на битву—крепче опояштесь!

Виновники чудовищной войны
Исчезнут навсегда, истреблены,
На помощь воинам родной страны,
На труд, на битву—крепче опояштесь!

Народ единством сильный, раздави
Врага, омытого в твоей крови!
Чтоб звонко в рощах пели соловьи,
На труд, на битву—крепче опояштесь!

И мы за все жестоко отомстим.
Бойцам оружие грозное дадим,
Как соколы в сраженьи полетим.
На труд, на битву—крепче опояштесь!

Чтоб вас фашист в рабов не превратил,
Чтоб ваших жен во вдов не превратил,
Чтоб в пепел отчий кров не превратил,
На труд, на битву—крепче опояштесь!

На бой!—Ислам-ата вам говорит.
Да в пепел нечисть черная сгорит!
Да счастье вновь отчизну озарит!
На труд, на битву—крепче опояштесь!

Перевел с узбекского Владимир Державин

Алексей Толстой

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

Мы слишком мало и недостаточно по-новому пишем о созидательной работе в тылу, а то, что пишем, не всегда раскрывает все те глубокие изменения, которые произошли и происходят в нашей стране.

Глубоко изменилась за год войны психология Красной Армии. Человек на фронте стал нравственно чище, серьезнее, проще и глубже за этот год борьбы с жестоким и сильным противником. Год тому назад мало кто представлял, что такое современная война и как

должен перестроить себя человек, чтобы победить ненавистного немца.

Все мы знали из прошлого, что войны решаются одним или несколькими генеральными сражениями. Они были состязаниями военного таланта главнокомандующих, и храбрости народа. Перед Бородинским боем русские солдаты надели чистые рубахи и была привезена икона Владимирской божьей матери—благословить кутузовскую армию, идущую на смерть за отечество. Этот день решил судьбу Напо-

леона,—его непобедимая армия разбилась о широкую грудь русского солдата. Кутузов оказался умнее императора французов.

В нынешней небывалой войне солдату Красной Армии мало надеть чистую рубаху перед боем,—ему пришлось душу свою набело вымыть в трех кровях, в трех щелоках семнадцатимесячной непрекращающейся битвы на трехтысячечерном фронте. Чиста и сурова душа воина Красной Армии. Он много видит, много чувствует и много думает. Он видит, что немец никогда русскому не смотрит в глаза,—для немца русский—презренное существо. Думает русский человек: откуда у моего врага, немца, такое презрение ко мне? Ну, будь бы еще немец хорош... А что такое немцы—мы узнали,—детоубийцы, растлители, мародеры, надменные дураки, связавшие себя с Гитлером круговой порукой страшного преступления передо всем миром, разумного и доброго в них нет, а есть—зло, и они сознательно хотят делать злое... Таких людей нужно бить до тех пор, пока у них матернее молоко на губах не покажется. Тогда только у немца прояснит. Так как же я ниже немца? И русский человек хочет чувствовать себя таким, чтобы себя уважать. А уважать себя в такую тяжелую годину очень важно. Думает он: в прошлом в чем я поступал неправильно, душно, криво, слабодушно? В том-то и том-то. Не быть больше этому,—ходишь, брат, перед смертью, будь светел, будь заботлив к другу, товарищу, будь добр к милой родине своей,—значит—бейся с немцем без оглядки, мсти ему за все, не щади себя, чтобы убить его...

Воин Красной Армии хочет, чтобы впредь не повторялось то, что он считает неправильным и дурным. Путь к жизни ведет только через победу. После победы начнется большая жизнь, и жить нужно по-новому, лучше, как подобает человеку, прошедшему через эту войну и выросшему на десять голов.

От этой выросшей нравственной силы советский воин делает такие отважные дела, что рассказы о них летят по эфирным волнам и телеграфным проводам по всему миру. У нас в деревне ли, в городке ли близкие люди, прочтя в письме с фронта или в газете с портретом героя,—о нем, о его отважных делах, показывают письмо или газету людям, а люди слушают, вздыхая от полноты души, и начинают ласково говорить о герое, и ласково зовут его по имени, вспоминают, как он—давно ли—вот тут ходил, как все, в пиджачке, и ждут, терпеливо ждут возвращения его с вестью о победе.

Любовью к ушедшим на фронт живет весь тыл: им, героям, передоверена вся сила мщения народа за свои страдания, и за горе, и лишения, и разорения: в тыловой работе, на заводах и полях, им, героям, хочет подражать молодежь, в них, в красных героях, уничтожающих фашистскую сволочь, играют малые ребята в оврагах за деревней и на улицах Москвы.

Весь наш тыл живет, равняясь по нравственной высоте Красной Армии: борется за металл, за уголь, за хлеб, за хлопок, за картошку, за производство оружия и военных машин с таким же упорством, самопожертвованием, с отдачей всего себя, как это делает Красная Армия. Тыловой труд—будничный, незаметный, в нем не кровь льется, но пот, в нем не наносит жгучих или смертельных ран, но не меньше нужно величия души, чтобы день за днем, почь за ночью, преодолевать усталость, отдавая все силы, вооружать и снабжать Красную Армию, веря священной, всенародной верой, что победит и отомстит она разорителям родины нашей.

Здесь мне хочется сказать о том, что я видел своими глазами в Узбекистане. Передо мной цифры, показывающие, что сделано там за год войны. Каждая цифра дышит жизнью, под цифрой скрыт самоотверженный труд.

Объем выполненных земляных работ по строительству оросительной сети за этот год выражается цифрой в 25 миллионов кубометров вынудой земли. Это значит, что сотни тысяч колхозников по инициативе узбекского правительства и также по своей инициативе, вооруженные кетменями—тяжелыми мотыгами, в зимние месяцы, когда пронзительный ветер поднимает колючую пыль или валит мокрый снег по колено, или на неделю залаживает дождь из туч, ползущих под землей,—копали и выкидывали липкую землю, прокладывая трассу канала, строили плотины, шлюзы, расчищали арки; эти люди работали, как всегда, в халатах, раскрытых на груди, спали на земле и титаническим трудом своим добились поставленного задания: на увеличенной за этот год посевной площади посеяно и собрано в три раза больше зерна, чем за прошлый год. Узбекистан отказался от завоза хлеба. Впервые в истории этой страны посеяно много тысяч гектаров свеклы, и сейчас заканчивается постройкой ряд свеклосахарных заводов. Узбекистан дал сахар фронту.

За время войны туда эвакуированы десятки крупных предприятий, и появилась необходимость обеспечить их местным углем и нефтью,

чтобы освободить железные дороги от завоза того и другого. Эта задача выполнена. Уголь добывается из открытых котлованов; нефть, несмотря на авторитетное утверждение одного академика, что нефти здесь быть не может, — обнаружена и уже добывается, и добыча ее растет, — и нефтью богат Узбекистан.

Но главное богатство — человек. За человека, за свободный труд, за землю его ведется борьба с истребителями человека. Вы едете по райскому саду Ферганской долины, где дымящиеся после полива, окаймленные прямоуглыми шелковицами деревьями, сероватые поля зеленеют ровными рядами хлопка, и всюду бегут, блещут под солнцем благодатные ручьи студеной горной воды по искусственным руслам, — и вам хочется благословить жизнь, создавшую человека. Вот он — узбек — в июльский полдень, в шестьдесят градусов жары, в ватном халате, раскритом на загорелой груди, с черными босыми ногами, с розой, заложеной за ухо, под туюетейку, взмахом жилистых рук поднимает над головой тяжелый кетмень и опускает его в широкую борозду земли между двумя полными воды канавками. Вот он, по-

добрав халат, идет за плугом в воде выше колена по сверкающей заводи рисового поля. Вот он, белобродный с головой, обвязанный платком, стоит, опираясь на библийский посох, на склоне холма, где пасутся бараны. Вот он — смуглый, как персик, с тенью усов под прямым носом, с глазами черными и блестящими, но скромными, потому что мать его учила быть скромным, стоит у заводского станка, среди московских белокурых девушек. Вот он — в тихий вечерний час сидит на корточках у глиняной стены своего дома и будто слушает, как у его ног слабо журчит вода в арыке. Вот он — на собрании почетных и знатных стариков, поднявшись с ковра, подзывает сына своего, развертывает шелковый платок, достает нож и говорит сыну открытым и сердитым голосом: «Иди и убей фашиста, я хочу увидеть кровь врага на этом ноже».

Во всех областях хозяйства Узбекистан идет с перевыполнением плана. Это говорит лишь о том, что наш советский тыл крепнет и набирает силы, непреклонно создает условия для нашей победы.

...

ИЗ ПИСЬМА СТРОИТЕЛЕЙ КАТТА-КУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Тебя приветствуем, вождь,
тебя приветствуем, друг!
Ты — народ, народ — это ты,
единое сердце у двух.
Это письмо, быть может,
к тебе домчится, когда
Часы на кремлевской башне
пробьют уже час... два...
Решительно — гневные взоры
о сне позабывших глаз
Один, быть может, над картой
склоняешь ты в этот час.
И гений твой прозорливый
победы чертит пути,
Готовясь дворец людоеда
в позорный гроб обратить.
И бодрствует до рассвета,
замысел мудрый тая,

Негнущаяся вовеки
могучая воля твоя.
Дел много, досуга мало...
И все же знает народ,
Другу посланье друга
всегда отраду несет.

...

Мы — вольный узбекский народ,
нам ты это имя дал.
Мы чество такую вправе
гордиться везде и всегда.
Мы в грозные дни боевые
бойцами умеем быть,
Закалку прошли мы с детства
в пылающем горне борьбы.

Высокая слава наша —
обильный плодами труд,
А верность и честь неизменно
в наших сердцах живут.
Любить горячо и нежно
дар нам бесценный дан,
Но гнев наш врага сжигает,
как смертоносный вулкан.
Мы выпивали потоки,
что мчались на нас с высоты,
Зубами вгрызались в обвалы,
горам крушили хребты.
Сквозь мрак вековой прорывались,
в явь обращали мечты...
Таковыми нас школа взрастила,
в которой учитель — ты.
Твое огненное слово
горит на сжимаемых сердцах.
Чтоб родина — мать расцветала,
как ты нас учил, отец,
Чтоб неисчислимые всходы
на наших полях росли,
Чтоб в крепость и щит обратилась
каждая пядь земли,—
Народное вздыбилось море:
безусый юнец и старик,
Проворные девушки, дети,
любой, в ком жизни родник,—
Полны отвагой упорной,
присущей смелым борцам,
Полны весельем задорным,
присущим чистым сердцам,
Фархада кирку отточили
и с песней пошли вперед.
Иссохшие дрогнули степи,
засыла великий поход.
Зимы беспощадный холод
об наш согревался жар.
Как мяч, мы катали горы,
холмы сносил наш удар.
Вперед нас вело твое имя
в титановых долгих трудах.
Оно, как товарищ верный,
шагало с нами в рядах.
И там, где от жажды и зноя
привыкла земля изнывать,
Теперь без конца, без края
раскинулась водная гладь.

Сегодня к узбекскому морю
собравшись в праздничный круг,
К тебе обращаем слово,
наш вдохновитель и друг!

Мы знаем, враг ненавистный
прорвался за наш порог.
Весь край наш до тла бы выжжет,
когда б он, проклятый, мог.
Немало счастливых женщин
он в скорбных вдов обратил,
Немало старух, младенцев
без крова бродить пустил.
Костер священного гнева
в наших сердцах запалил,
Для битвы решительной, грозной
копей народ оседлал.
Мы помним третье июля,
как гром прозвучавший твой зов.
В ответ на него немало
послали мы в бой уальцов.
Кто путь заграждал потоком,
кто мощно каналы рыл,
В ком пламенный дух Алпамыша*,
в ком гордый Рустама пыл,—
Помчались грозовой тучей,
и ныне, бесстрашно — тверды,
Штыком, гранатой и бомбой
крушат фашистов ряды.
Теперь они льют не воду,—
захватчиков гнусную кровь
И щедро из кубка смерти
поят ненасытных врагов.
Мечом, тобою им данным,
вбивают в тупые башки,
Что пламя народного мщения
любые сметает полки.
Так бьются джигиты, а завтра,
если ты клинешь клич,
У всех до единого грозно
в руках заиграет клыч**.
Мы все за родную землю,
за Сталина встанем, за жизнь.
И вспять до тех пор не вернемся,
пока не задавим фашизм.
До той поры не погасим
пожара в отважных сердцах,
Пока не развеет по ветру
поганый Гитлера прах.
Клянется народ узбекский
вождю, что, как солнце, любим:
Ты с нами — недруг погибнет,
ты с нами — мы победим!

...

* Алпамыш — народный эпический герой.
** Клыч — меч.

И здесь, на полях республики
мы — слуги народной войны.
Трудом ударным упорным
льем силу в тело страны.
Она эту силу великую
обрушит на яростных псов.
Сторицей за кровь нашу чистую
прольется их черная кровь.
Целебной водой Зерафшана,
Аму, родной Сыр-Дарьи
Оскверненную Гитлером землю
омоют питомцы твои.

Нам Сталин — доблесть и слава,
нам Сталин — воля и мощь.
Живи, наше солнце побед!
Живи, нашей родины Вождь.

Письмо единогласно принято на митинге строителей Катта-Курганского водохранилища, состоявшемся 12 августа 1941 года, в связи с пуском воды.

Письмо вложили в стихи поэты:
Гафур Гулям, Хамид Алимджан, Уйгун,
Лахути, Амин Умари Чустии.

Перевела с узбекского Ц. Бану.

Айбек

НАРОД-ГЕРОЙ

Как хорошо лежать на плодородной, богатой землей, покрытой чистой, нежной, яркозеленой травой!

С такой силой притягивает к себе она! Вдали молодые персиковые деревья, посаженные по краю взрытого тракторами пахотного участка, образовали живую изгородь. Солнце плывет в облаках, и небо то светло улыбается, то хмурится. Иногда, словно подшучивая, облачка брызгают холодные капли на кончик вспотевшего носа, на лоб.

В поисках кратчайшего пути я со своим спутником спустился с холма в ложину. В глубине между зелеными склонами, среди редкого камыша и низких диких деревьев, сплетенных ветвями, бежит мутная вода.

— Какая эта река?

— Бозсу, — тяжело дыша, отвечает мой спутник.

Весной темножелтая мутная, а летом зеленая, прозрачная, как стекло, речка почти на всем своем протяжении проходит по равнине, словно ей хотелось бы оросить сразу все прибрежные виноградники и фруктовые сады, а здесь, под самым Ташкентом, она, как на зло, течет по ложинам, среди тесных склонов. Невольно сердиться на коварный каприз реки. Бесконечную, полную буйными силами степь, лежащую возле такого большого города, как Ташкент, Бозсу оставляет без клочка радующей глаз зелени, без единого де-

ревца, дарящего путнику тень; она бежит, журча в глубине земли, среди оврагов и ложин, унося свои плодородные воды и вливая их в Сыр-Дарью. Вот так прославленная щедрость! Невольно вспоминаются стихи Навои:

Подумай: сохнут сады, но мимо проходит порой
Большая туча, излив свой дождь над бесплодной горой.

Скарденная для пустыни Бозсу в течение восьми столетий проявляет необычайную щедрость в отношении Сыр-Дарьи. Узбекский народ, сломивший упрямство больших бурных рек, в этом году под руководством большевиков наложил свою могучую руку и на Бозсу. Скоро ее животворные волны, повернув в канал, побегут в степи и пробудят веками дремавшие жизненные силы десятков тысяч гектаров голых пересохших земель. Пустыня скоро покроется красивыми садами, цветущими, душистыми, источающими сахар бахчами и шалашами сторожей. В воздухе ползут звонкие песни труда.

Перейдя через новенький мостик, еще не потерявший своей первоначальной свежести, мы взобрались по тропинке на крутой холм. Перед глазами развернулась широкая степь, покрытая сотнями больших и маленьких палаток, разными бараками и землянками.

Полади этого радующего глаз своеобразного городка тянутся новые берега Бозсу — строящийся канал.

По размеру — это русло обыкновенной реки. В начале ширина его 30, а глубина 13 метров. Но в этом русле еще нет воды: на дне его, как волны, шевелятся тысячи людей; плывет могучий гул великого труда. Здесь, на городском участке все работоспособное население: сильные, как ястреба, мужчины, ловкие проворные юноши, пожилые люди с проседью в бороде, бодрые старики, статные и крепкие молодцы, молоденькие, миловидные девушки. Здесь ткачи, трамвайные рабочие, литейщики, студенты, доценты, учителя, бухгалтеры... Каких только специальностей и профессий здесь нет! И все дышат здесь одной мыслью, одним чувством, стремятся к одной цели. Все, вспотев, запарившись, раскрасневшись от жары, с песнями, шутками и смехом выполняют серьезное, великое дело. С одного конца у носилок доцент, с другого — конюх. Газетный работник копает кетменом, девушка-мастерица, вышивающая в артели сюжеты, несет на спине мешок. Дыша полной грудью, с сияющими глазами и ясным лицом народ с благодарной страстью копает для себя рудник счастья, разгрызает недра земли, неустанно взмахивая кетменом и заступом. Подобно журавлиной стае, рядами тянутся тысячи молодых богатырей, перенося землю в ящиках, мешках и на носилках. Многие из них давно уже окончили работу на своих участках, но сердца их полны желанья скорее достроить канал, посмотреть, как на любимую невесту, на Бозсу, когда ее воды радостно и торжественно побегут в степи, в далеко протянувшихся новых берегах, с которых еще не исчез запах пота и блеск первоначальной свежести.

В день приезда большинства участников стройки здесь не было ни баракос, ни палаток, ни землянок, ни столовых, ни высокого «дора», притягивающего взоры всех от семи до семидесятилетнего возраста, ни часто установленных радиорупоров, наполняющих пением и музыкой воздух радостной весны.

Приехавшие встретили слегка покрытую снегом степь, затянута серыми облаками небо да холодный ветер, резко дующий в лицо и заставляющий вздрагивать. Советские люди немедленно взялись за дело. Они устроили для себя своеобразные жилища. Спавшую зимним сном степь огласили энергичные окрики, звонкие песни и музыка сотен родов орудий и машин. Закипели огромные котлы, по радио стали передаваться замечательные концерты, героические рассказы о нашей славной армии,

борющейся на необъятном фронте Отечественной войны, протянувшейся от моря и до моря; электрические звезды залили блеском темноту морозных зимних ночей.

Советские люди энергично приступили к работе, принимая прокладывать новое русло реки, существовавшее только в проекте специалистов.

Работа кипит. Кетмени, заступы разгрызают землю. Со страшным грохотом опрокидываются взорванные холмы. С мешками на плечах, ящиками в руках и на носилках перетаскивают люди огромные кучи земли. Работа, конечно, не легкая: трудно копать кетменом и заступом канал протяжением в 70 километров. Были и снегопады, и морозы, и дожди, когда земля обращалась в грязное месиво, и грязь налипла на мешки, ящики и носилки. Под ногами топко, откосы, скользкие, как будто их смазали маслом. Но дух строителей канала всегда бодр, в их сердцах священный огонь любви к родине.

В дни Великой Отечественной войны сердце каждого советского человека полно этой любви и самоотверженности. Мысль о разгроме немецких фашистов-грабителей, возмивших окривевшие когти в счастливые, цветущие земли советского народа, влечет всех — и молодых и старых — к самоотверженным подвигам в каждом деле. Любовь к родине и стремление победить подлого врага преодолевают все трудности. Настали славные дни, полные творческой работы, наслаждения борьбы и могучих боевых возгласов. Пришла весна. Канал можно считать законченным. В степи, с ее зеленым ковром, нежно волнующимся от ветерка, блестящие красноватые берега канала, золотятся, радуют глаз и, уходя вдаль, исчезают за горизонтом. На дне канала тысячи людей заняты последними работами — сносят кучи земли, осевшей то там, то здесь, и выносят их проходов лестницы на берега, возвышающиеся уступами. В чистом, ароматном весеннем воздухе в трудовой гул вливаются звуки радиопередачи. Ветер волнуется цветник красных знамен и плакатов.

Здесь каждый работал, отдавая все свои силы. Но среди усердных тружеников много и таких, которые проявили исключительную энергию. Их все знают. Их слава, молва об их ежедневных успехах быстро облетали трассу. Вот, например, Эгамбердыев Алимджан. Взмахивая ровно, сильно и спокойно большим кетменом, он пересорачивает землю. Алимджан Эгамбердыев — «тысячник». Между сотней и тысячей разницы только в одном поле. Но прибавить такой ноль ударами кетменя чрезвычайно трудно. Это — в своем роде чудо.

* Сооружения для канатоходцев.

Хотя для богатырей из нашего народа ничего не стоит вынуть один кубетер земли, но вынуть за один рабочий день 60, 70, 80 кубометров по силам только богатырям, действительно закаленным в труде и умеющим превратить труд в какую-то ритмическую игру. Алимджан Эгамбердыев один из таких богатырей, хотя по наружному виду он не отличается особенно могучим сложением: среднего роста, широкоплечий, полный, плотный — и только. Но это человек, закаленный, выкованный в труде.

С десятилетнего возраста он работал в поле кетменем. Но в то время ему не принадлежали ни кетмень, ни земля, ни урожай, добытый его трудом. Молодой Алимджан был батраком у асакского бая Мавлянка. Революция дала ему свободу, дала землю, сделала человеком. Детям батраков она широко открыла дорогу к науке и технике. У молодого кетменщика Алимджана проявился большой интерес к технике. Сначала он работал на асакской тракторной станции. Интерес к технике пробуждает в его груди новые желания: как хорошо мчаться по рельсам с мощным паровозом, потрясая грохотом небо и землю! Алимджан Эгамбердыев поступает служить на железную дорогу сначала проводником, потом кочегаром, наконец, становится помощником машиниста.

На канале он приезжает из Ташкентского депо 25 февраля. Пахавший в молодости землю, рывший арыки, поливавший посевы, Алимджан уже много лет, став железнодорожником, пролетает с мощным паровозом необъятные просторы из горизонта в горизонт, но он хорошо понимает и значение воды. Вот почему, когда весть о строительстве нового канала взволновала республику, он временно прерывает с любимыми рельсами, хотя его паровозы и не страдают от жажды. В руках Алимджана кетмень, как игрушка. Работа среди шума тысяч людей вызывает в нем особую энергию.

Алимджан Эгамбердыев работал на Ферганском канале. Там он выполнял норму на 800—900 процентов. Когда он работал на Кассансайском водоеме, то давал выполнение нормы до 1200 процентов. Там он взбирался на возвышенность, нося на спине камни весом в 200 килограммов. Где он ни работал — везде приобретал уважение, славу и получал награды. И вот он на Северном Ташкентском канале, на Сталинском участке, разворачивает последний бугор. В его могучих руках тяжелый кетмень взрывает слоистую глину, легко взлетает вверх, блистая огнями на весеннем

солнце, и, сверкнув как молния, опять прогужается в толстый слой земли.

На городском участке Северного Ташкентского канала много и женщин, начиная от молоденьких шаоловских девушек до почтенных матерей, имеющих зятьев и проводивших на фронт сыновей. Каждый советский гражданин считает своим священным долгом перед родиной и перед историей внести по мере сил свою долю в дело разгрома врага.

Засучив рукава, надев сапоги или огромные рабочие ботинки, женщины усердно и терпеливо работают. Вот Маарифат Исмаилова — молоденькая, круглолицая, рослая смуглая женщина. Она работает в трикотажной артели имени Каары Цеткиной. Ее руки мастерицы, привыкшей к швейным и ткацким машинам, с силой ударяют здесь кетменем, а в иной день Маарифат Исмаилова, оставив кетмень, берет на плечо мешок с землей, поднять который под силу здоровому мужчине, и с быстротой и легкостью шагает с ним. Сорок дней она так работает, каждый день выполняет 250—300 процентов нормы.

Вдруг откуда-то затрубил карнай (род трубы); тотчас за ним раздался глухой удары бубна и резкие высокие звуки сурнай (род флейты). Это — призыв на обед. Шумная музыка труда сразу оборвалась. Строители канала оставили кетмени, вытерли пот, стряхнули пыль и направились в свои жилища. У каждого в руках обеденная чашка, миска; разносится запах шурпы (мясной суп). В палатках, землянках, бараках оживленная беседа. Заввечала веселая мелодия сурнай и домбры. Со всех сторон, не торопясь, начинают собираться люди к «дору»*. Древнее искусство канатоходцев привлекает: хочется посмотреть снова и снова. Поет сурнай и отбивает ритм домбра. Все не отрываясь смотрят на канатоходца, который, держа в руках тяжелый длинный шест, то взбегает по канатам, то садится на корточки, свободно делая разные движения, перегибаясь вперед и назад. Сыновья знаменитого Тошкенбая-ота, отцы и деды которых были канатоходцами, еще раз демонстрируют перед многочисленными зрителями свою силу, ловкость и смелость.

Опять под сигнальную музыку народ со всех сторон стекается на канал. Снова загудел труд, великий, громкий богатырский труд.

* Сооружение, состоящее из мачты и канатов, по которым ходят акробаты.

В небе, покрытом беловатыми тучками, прогремел легкий гром. Через миг зашумел дождь. С силой начали падать крупные, чистые, блестящие, частые капли. Строители канала вздрогнули от их прикосновения, но продолжали ударять кетменями, бегать с мешками, ящиками и носилками. Для большинства эта перемена погоды казалась капризом бесны. Но старики, поглядев на небо и прислушавшись к ветру, глубокомысленно покачали головами. Действительно, погода портилась с каждой минутой все больше и больше. Тучи сгустились. Дождь, который, казалось, только рассыплет на волосы женщин крупные брызги, теперь утихнул, начал усердно поливать. Все бросились прятаться от дождя.

Мы сидели, скучившись, в маленькой низенькой палатке, трепещущей от ветра, как крыло бабочки. Научный работник УзФАН'а, вытерев очки, покрытые мелкими каплями, занесенными холодным ветром, снимает ботинки, облепленные пудами грязи. Все хохочут. Подсмеивается кетменщик-рабочий селекционной станции Ботанического института — Элибой Алимкулов, куря махорочную закрутку толстой в большой палец. Это очень симпатичный, сухоощавый энергичный мужчина 28 лет, работающий уже полтора месяца на канале и выполняющий 300—350 процентов нормы. Не только во время отдыха, но и во время работы кетменем, он не оставляет остроумных шуток. Элибой сегодня рассказывает об удивительных опытах селекционной станции, и все невольно забывают об однообразной, унылой мелодии дождя и слетающих с промокшей палатки каплях влаги.

— Наши агрономы делают диковинные дела, — рассказывает Элибой, пуская клубы дыма из толстой махорочной закрутки. — Опыты в мире — это все, а мы, надев тубетейку набекрень, проводили время бесечно. Например, дыню прививают к тыкве, к янтaku (род колючего кустарника), к капорцам. Вся мудрость науки в опытах. При желании и правильном уходе растения можно одеть по-всякому.

— А вы сами не делали опытов? — А как же! — смеясь отвечает Элибой. — Я не прививал, как агрономы, дыню к янтaku. Я разрезал корень янтaka, всунул туда зернышко дыни. Но это семя, чтоб ему засохнуть, почему-то проросло как раз около корня янтaka. Зато я ухаживал за нашим черным чаем и вырастил его на две четверти выше. Все хитрости агрономов полностью перешли ко мне.

Элибой Алимкулов, отцы и деды которого

были пахарями, любит говорить о земледелии. Он хвалит новые земли, которые орошит Северный Ташкентский канал, доказывает, что с них можно будет получать обильный урожай два раза в год.

— Будет вода, и довольно! Мать земледелия — вода, — говорит он по-стариковски, с видом знатока. — Вода, к примеру, как кровь. Как для человека нужна кровь, так для посева — вода. Если мы пустим Бозсу в степь, то один корень картофеля наполнит целый мешок.

Элибой хорошо помнит тяжелое прошлое, когда народ мучительно страдал из-за недостатка воды. Рассказывая о спорах и расприх из-за воды, он отвертывает ворот халата и показывает на своей широкой груди очень заметный шрам — след старой раны. Историю этого шрама он рассказывает, как обыкновенную историю: когда-то поднялся спор из-за воды, и один из нуждавшихся в поливе ударил его в грудь ножом.

Дождь полил по-настоящему, но все в палатках веселы и бодры. В соседней палатке девушка-химик читает «Письмо узбекского народа к товарищу Сталину».

Элибой рассказывает, как он любит лошадей. Самым большим удовольствием для мужчины он считает состязание на скачках. Однажды он пошел с товарищем на скачки, где увидел прекрасных коней, мчавшихся по беговой дорожке. От сознания, что у него самого нет лошади, он очень расстроился, ушел, не дожидаясь конца состязаний, и дорогой горько плакал. Теперь на селекционной станции есть хорошие лошади. В свободное время Элибой катается верхом. Об этих лошадях он говорит с сияющими от удовольствия глазами, и в голосе его звучит гордость.

— Если меня призовут на военную службу, я запишусь в кавалерию. Что может быть приятней, чем скакать во весь опор на коне и сверкать саблей над головами фашистов?!

...

Безоблачное лазоревое небо блистало чистым пламенем солнца. Потушавшие от вчерашнего дождя степи и холмы сияют, поднимая свою грудь к солнцу. Трава и степные цветы на глазах растут и тучнеют. Опьяняясь весенними ароматами, идешь вдоль канала несколько километров. На законченных участках канала, уходящего далеко за горизонт, никого нет. Только в отдельных местах шум и гул труда. Вот и наманганские колхозники закончили сегодня свою почетную работу. Они хо-

дят, потягиваясь, один раз скажут слово, десять раз засмеются. В своеобразных помещениях, вырытых на склонах холмов и похожих на маленькие пещеры, в землянках, покрытых ветками и хворостом, идут праздничные приготовления: наманганцы устроили той (праздничный пир).

Среди распорядителей — известный строитель канала Убайдулла Охунджонов. На Северный Ташкентский канал он приехал в качестве «беглеца». Дело в том, что, когда от правлялись на канал работники из Кассансайского района, никто не пригласил члена II Куйбышевского колхоза, Убайдулла Охунджонова. Его это очень огорчило. Ведь на Ферганском канале он создал движение «охунджоновцев» и был награжден оренем «Знак Почета». Какой канал или водоем Узбекистана был вырыт без его участия? На каком из них он не прославился своей силой и самоотверженной работой? Допустимо ли, чтобы его могучий кетмень не коснулся Северного Ташкентского канала, строящегося в дни Великой Отечественной войны? Убайдулла Охунджонов пришел домой, взял необходимые вещи и уехал один. 26 февраля он приехал на канал, где только что начались работы. Незваного гостя встретили его земляки с большой радостью.

Убайдулла Охунджонов поселился в низенькой, темной землянке, покрытой ворохом веток. Прежде всего он внимательно посмотрел, как работают наманганцы. А работали они хорошо, не обращая внимания на трудности, — то снег, то дождь, бывало, нагонят холодный ветер. Прославиться среди закаленных в труде наманганских молодцов так же трудно, как вырвать козленка из кольца ловчих и сильных наездников на «улаке»*. Охунджонов задумал создать новую волну соревнования, день ото дня поднимающуюся выше и выше. Став во главе бригады из семи человек, он приступает к работе. График «сотен», показывающих его труд, с каждым днем повышается: 600, 800, наконец, 1000 процентов. Тысяча — слово небольшое, но это веское, полное число. С виду незаметный, простой, скромный, обходительный с людьми, Охунджонов в работе силен и проворен. Иногда и темная, сырая ночь не могла заставить его бросить работу. Когда он опрокидывал холмы, то, словно в отместку ему, начинал хлестать дождь, или поднимался резкий холодный ветер, валил снег, но Охунджонов не

обращал никакого внимания на погоду. Колхозники Наманганской области восхищались им и замечательно мужественно работали, следуя его примеру.

Убайдулла Охунджонов заканчивает свой участок 11 марта, раньше всех. Но для него нет слов «мое, твоё», а есть большой канал и чувство долга перед своим народом, родиной и государством. Ему хочется закончить канал и со спокойным сердцем, с радостной гордостью уехать домой. Он переходит на другие участки, помогает товарищам. Где бы он ни был, он работает со страстью и подлинным усердием.

Сирота Убайдулла, оставшись после матери двух лет, а после отца — пяти лет, испытал немало дней голода и холода. Чтобы вырвать кусок хлеба из каменных рук мира, он униженно кланялся, обивая байские пороги: он трудился, но голодал, а его труд обогащал других. Из когтей этой мучительной скитальческой жизни, полной тяжких вздохов, его освободила революция. Советская власть дала ему уютный дом, просвещение, имя и славу. Его сердце полно любви к родине и преданности советской власти.

— В эти дни, — говорит он, — каждый клочок земли, отнятый у пустыни, ускорит нашу победу над врагом. Сегодня мы здесь работаем со всем усердием, а если завтра поедем на фронт, будем там с таким же великим усердием громить гитлеровцев.

Только что пожал руки наманганским богатырям, перейдешь через один холм, — тебя уже встречают андижанские друзья.

На горизонте солнце погружается в море собственного чистого огня. Закончив свою последнюю работу, богатыри с радостью возвращаются со своих участков. В широкой, просторной, ровной степи на красивом зеленом бархатном ковре весны они повсюду собираются группами, садятся в кружки. Внизу веселый шум Ачисоя.

Повар ловко накладывает плов, агитаторы спешно готовят стенную газету, художники вывешивают на фанерной доске портреты прославившихся строителей канала. Это богатыри, которые, выкладывая кубометр за кубометром, перекрывали свои ежедневные нормы. Кто не знает — Курбанова, Чиккабаева, Юлаша, Али-Акбара, Али Нишова; Абдусамата Умуразакова? Кто не смотрит с уважением и любовью на шестидесятилетнего старика Маматкула-ота с его железными мускулами, который работал с утра до вечера голый, крепко повязав свой морщинистый лоб? Красные

флажки над портретами богатырей развеваются как тольпаны.

Постепенно спускается темнота. Вдали звезды прищуривают свои золотые глаза. Вдруг сильные звуки карная пугают сон широких степей. Андижанцы собираются и садятся в большой круг. Посреди, колебля языки огня, горят большие факелы. Товарищи, открывший собрание, говорит об Отечественной войне, священном долге всего народа, в том числе и узбекского, о богатырской работе на канале андижанских колхозников.

— Вода нам дает, — говорит он, — десятки тысяч новых га плодородной земли. На ней мы возраstim ароматные плоды, овощи, дыни величиной с верблюжью голову и хлопок с его могучей взрывной силой. Товарищи, все коварные планы Гитлера мы рассеем. Тот канал, который вы сейчас роете, — тяжелый удар по его голове. Для победы мы прорубим каменную толщу гор и дадим выход воде, которая оросит наши поля. Для нашей любимой родины, для нашего заботливого отца и великого полководца Сталина мы не пожалеем своих сил и самой жизни!

Колхозники встречают эти слова бурей восторга и громом аплодисментов. Простые кет-

менщики поднимаются со всех сторон и с искренним подъемом восклицают:

— Мы все поедем завтра помогать нашим бухарским товарищам! Пустим в канал воду, а потом разведемся по домам.

— Верно! Непременно! — кричат богатыри.

— Напряжем все силы, но задание товарища Сталина выполним! — раздаются одобрительные возгласы.

Вот несут и складывают отрезки тканей. Героев труда премируют. Музыка, громкие аплодисменты и шумная радость. На середину круга выходят, блистая разноцветными шелками, певцы, танцовщицы-артистки. Звенят веселые мелодии. Легко летают танцоры по мягкому коврику травы. Веселье в разгаре. Все, начиная от юнцов и кончая длиннорылыми стариками, кричит от восторга. Это — пир богатырей, с тропителей канала. Это — бурный, упоительный, бодрый пир народа, проявившего свой героизм в труде и в боях.

В полночь богатыри поднимаются с мест. Факелы высоко подняты в руках. Беспредельную степь наполняет величественная песнь о Сталине.

Перевела с узбекского А. Соцердотова

Шейхзаде, Амин Умари,

Тимур Фаттах

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БРАТСТВА

(К открытию Гиссарского канала)

Два народа, два соседа,
братски мы сжились.
Мы по лестнице столетий
вместе подынялись,
Вместе в будущее наше
мы воздвигли мост,
И звучал наш гимн победный
до высоких звезд...
И когда луной двурогой
хищный налетел
Искендер, и наше солнце
затемнить хотел —
Ваши праотцы и наши,
братства в борьбе,
Грозной противостояли
силе, как судьбе.

И арабов уничтожив
над Сайхун-рекой,
Деды правили, как братья,
своей победный той.
Щит к щиту, против Чингиза
подымались мы,
Став платиной, пред пучиной,
хлынувшей из тьмы...
Через бездны бед, которых
словно звезд, не счесть —
Пронесли мы нашу славу,
нравы, дух и честь.
Вы — таджики, мы — узбеки,
мы — один народ!
Слили вместе мы, как реки,
русла вечных вод.

* Состояние, состоящее в борьбе всадников из-за убитого козленка, которого вырывают друг у друга, которого нужно умчать потом на коне так, чтобы никто не догнал.

Зло ль, добро ль — одною чашей
 черпать — наш удел.
 Див убит, что братство наше
 сокрушить хотел.
 Дух насилья уничтожен,
 сгинул без следа,
 Белый падишах низвержен
 нами навсегда!
 Как дружил Джами когда-то
 с нашим Навои,
 Как с сердцами юных дружат
 помыслы любви,
 Так прошли от Багдахшана
 до ворот Хивы,
 Землю потоком орошая
 вместе — мы и вы,
 И горит, как легендарный
 Багдахшанский лал,
 Под зарею новый нами
 вырытый канал.
 Им связуются прочнее
 со страной страна
 И созвучные, как рифмы,
 наши имена.
 Он войдет в итог бессмертных
 дел, что завещал
 Мудрый Ленин наш, который
 нам свободу дал.
 И великой дружбы связи
 крепнут, что ни час, —
 То, чему отец народов,
 Сталин, учит нас.
 Мудрый Алишер великой
 пламенел мечтой
 Наши земли животворной
 оросить водой.
 Полон тою же мечтою
 взял тешу Фархад
 И в горах источник жизни
 выкопал как клад.
 Но напрасно им живая
 найдена вода, —
 Не пришлось Ширин Фархаду
 встретить никогда,
 И в горах томилась реки
 по земле долин —
 Разлученные навеки,
 как Фархад с Ширин.
 Лишь большевики дорогу
 им открыт смогли,
 И Фархад с Ширин друг друга,
 наконец, нашли.
 Наяву теперь, не в сказке,
 нам лаская взор,
 Льется с гор вода живая
 на степной простор!

Фергана Ходжент поила
 и Канибадам,
 Оросят Гиссара воды
 край Сурханский нам,
 И Байсунская заплетет
 красотой страна,
 Лишь степей ее коснется
 горная волна,
 Ибо мы — навеки братья,
 и у нас — вода,
 И земля и счастье будут
 общими всегда.

В дни беды, в дни бури небывалой,
 В дни, когда дракон тысячеклассный
 Наши земли топчет и гнетет,
 наших братьев мукам предает:
 И с Украины опустошенной
 Матерей седых несутся стоны,
 И сыны балтийских наших стран
 Истекают кровью тяжких ран,
 В тихом Доне и в Днепре широком,
 Не вода, а кровь течет потоком,
 И седая Терек волна
 Кровью свежее обогрета, —
 Братья — други! отдадим отчизне
 Наши руки, и сердца, и жизни,
 И исполним долг великий свой
 Пред народом и перед страной!
 В дни, когда богатыри-герои,
 Став плечом к плечу стальной стеною,
 День и ночь ведут с врагом бой,
 Сокрушая головы змеи,
 И в душе таджика и грузина,
 Русского, узбека и литвина
 Ненависть к врагу горит огнем,
 Все грозней пылая с каждым днем, —
 В эти дни — мы здесь не дремлем тоже,
 Трудимся мы здесь, усиляя множа,
 Чтобы сыты были фронт и тыл,
 Чтобы враг скорей разгромлен был.
 Как один, отцы бойцов седые,
 Жены, братья, сестры молодые —
 Вышли мы Гиссарский рыть канал,
 Чтоб он жизнь бесплодным землям дал,
 Пусть плодами, хлопком и пшеницей
 Наш прекрасный край обогатится!
 Не последним будет пусть звеном
 Наш канал в победе над врагом!
 Так вперед к победе, о, герои!
 Мы работать будем вдвое, вдвое,
 Напряженнее, чем до сих пор.
 Грозный дайте, львы, врагу отпор!
 Сокрушительным потоком хлыните,
 Как лавина, немцев опрокиньте!

В изобилии мы здесь для вас
 Делаем любой боеприпас.
 Мы богаты урожаем хлеба,
 Птиц стальных без счета пустим в небо.
 наших бомб разрывающая пурга
 Полетит на полчища врага.
 Храбрые сыны Гиссара —
 внуки горных птиц,
 Мужественные горянки
 с взглядами орлиц,
 Черноглазые узбекки,
 юноши долин,
 Старцы бодрые в блестящем
 серебре седин,
 Ради жизни и победы
 вместе собрались,
 За великую работу
 дружно принялись,
 Кетменями раздробили
 скалы как стекло,
 И потоку прорубили
 новое русло!
 И бежит вода живая
 к огненным пескам,
 Росы жизни рассыпая
 новым лепесткам.
 Гумна, полные пшеницы,
 нам она сулит,
 Неоглядные посевы
 хлопка оросит,
 Над каналом, над веселой
 в лагою его

В честь воды, победы, жизни
 нынче торжество.
 И клубится, и сверкает,
 осенняя мир,
 Знамя дружбы нерушимой,
 вечной, как Памир!
 Пусть единство наше будет
 грозным кулаком,
 В голову врага летящим
 метким кирпичом!
 Гордо, как хребет Гиссарский,
 встань, Таджикистан!
 Как Сурхан в разливе бурном,
 стань, Узбекистан!
 Пусть, как море золотое,
 хлеб шумит в полях!
 Пусть наш фронт накормлен будет,
 пусть издохнет враг!
 Сталин сам — наш полководец,
 с ним мы победим!
 Сыновья придут с победой
 к очагам родным.
 И тогда отец наш Сталин
 пусть приедет к нам,
 Скажет: „Слава вам!“ — по новым
 проходам садам.
 Да живет Миранб великий
 долгие года!
 Да сияет нам, как солнце
 ясное, всегда!

Перевел с узбекского Владимир Державин

...

Абулькасим Лахути

ОТКРЫТИЕ БОЛЬШОГО ГИССАРСКОГО КАНАЛА

Братья-узбеки, привет вам, саям!
 В радостный день вы приехали к нам.
 Крепко обнимемся, гости родные!
 Как вызревают хлеба золотые?
 Вьются ль в садах виноградные лозы?
 В добром здоровье ли ваши колхозы?
 Гости, — сказал я? Ошибся, любя.
 Здесь вы не гости, вы здесь у себя.
 Братья таджики и братья узбеки
 Спаяны сталинской дружбой навеки.

Дружба народов — нам крепость и щит,
 наших врагов эта дружба страшит.
 Злобным фашистам, как яд, это братство.
 Братство такое — краса и богатство,
 Дружба такая — улады исток.
 Дружба такая — победы залог.
 В час этот черный, грозящий бедой,
 Вышли как братья мы вместе на бой!
 Ратному делу мы учимся вместе,
 Вместе, дорогой отваги и чести,

Строим железным сражаться идём,
Вместе проклятых врагов разобьём.
Наших детей не дадим растерзать им,
Честь наших жен не дадим растоптать им,
Наших плодов не дадим им вкусить,
Наших коров не дадим им доить,
В рабство себя обратить не дадим!
Мы победим, победим, победим!
Наш горизонт будет снова хрустален, —
Будет он светлым! Да здравствует Сталин!
Слава отчизне советской, свободной,
Братству народному, дружбе народной!
Ближе, теснее садитесь, друзья,
Песню споем в честь великого дня.

...

Кто видел, чтоб шумные воды
содружества узами стали?
Кто видел, чтоб пенные волны
клинками стальными взлетали?
Река, где струится такая,
что жизнь каждой каплей дарует?
Где море такое, что, пламя
и смерть извергая, бушует?
Вода эта в нашем канале.
Вода эта — дружба и слава!
Для нас она жизни напиток,
для недруга — яд и отрава...
Как вечные узы, скрепила
она меж народами дружбу,
А в битве с врагами сослужит
меча смертоносного службу.
Бывало, вода между нами
глухою стеною вставала,
И распри меж нас вызывала,
и кровь наши руки пятнала.

И. Гринберг

ЧИРЧИК

(Рассказ старожил)

Я очень люблю читать исторические книги и недостатка в них не испытываю. Но книга, которая интересует меня больше всего — история строительства гидростанций в Советском Союзе — еще не написана. Увлекательная может получиться книга!

Каждое строительство имеет свою собственную биографию, и биографии эти весьма разнообразны. Возьмите хотя бы Вол-

Теперь же, великою дружбой
связует вода два народа,
Теперь, точно кровь свою, крепко
мы любим колхозную воду.
Мы с новой водою сегодня!
Богаче, сильнее мы стали.
Спасибо, от сердца спасибо,
отец, полководец, наш Сталин!
Средь гор и полей двух республик
вода молодая несется,
Как будто по жилам двух братьев
кровь быстрая, юная льется.
Кровь братьев, зажженная общей
любовью к отчизне великой,
Единою жадной отмщенья
орде ненавистной и дикой.
Мы дружных трудов не жалели,
чтоб раньше канал заструился,
Чтоб в общем потоке усилий
к железной победе стремился,
Чтоб жажду полей утолила
его животворная влага,
Чтоб смерть обуздала фашистов,
чтоб наши умножились блага.
Таджикский каланд опускался
в лад с мощным кетменем узбека.
Дружной и созвучней, чем наши,
сердец не бывало от века.
Покуда сердца наши бьются
и кровь наша в теле клокочет,
Захватчик — фашист одичалый
в воде нашей губ не омочит.
Мы встали на зов твой, наш Сталин!
на битву за родину встали!
Пусть кровь наших недругов льется,
как воды в Гиссарском канале.

Перевела с таджикского Ц. Бану

...

нэпа, и думаю — ну, погодите же, все это минутное, мнимое, не прочное, а вот энергия Волховская — это настоящее, неизбежное, свидетельство нашей победы.

Или Днепрострой... Это совсем другое. Произнесите только это имя, и сразу вспомнится нам первая пятилетка с ее кипением и размахом. Сразу вспомните вы, как зажигались огни над болотами и пустырями, как тысячи людей — бородачи, безусые юнцы, девушки — ехали из одного конца в другой, на новостройки. Днепротэс был любимцем всей страны, ее гордостью и славой. Вот и сейчас, глядите, не захотел он работать на фашистов, не покорился им, лежит взорванный, молчаливый, темный, ждет часа отмщенья. И час этот придет — мы это знаем точно.

Теперь обратимся к Чирчику. Вы можете сказать, что и здесь водная энергия становится белым углем, и здесь силы природы идут на службу социализму, и здесь на берегу реки возникают корпуса заводов и кварталы жилых домов — какая же разница между Чирчиком и Днепротэсом? Однако вы будете неправы.

Чирчик — быстрый, неширокий, стремительный, мало общего имеет с привольным Днепром, причудливо раскинувшимся среди песчаных кос и отмелей. И наши лиловые горы, лессовая почва, неввысокий колючий кустарник — совсем не похожи на приветливые черноземные степи южного Приднепровья. Но не в этом — различие биографий двух замечательных строек.

Вы помните, разумеется, что на Днепре рядом с нашими работали американские инженеры и консультанты, американские машины. Наша индустрия еще была молода, она еще принуждена была обращаться к передовой технической мысли Запада, к его строительной технике, к его техническим кадрам.

Не то уже было на Чирчике. Немного лет прошло со времени постройки Днепровской ГЭС. Однако за это время мы далеко продвинулись вперед. И Чирчик (говорю это как строитель, а не как местный патриот) — одно из убедительнейших свидетельств этого движения.

Позвольте привести только несколько цифр. В Чирчикской долине работало 86 экскаваторов, 13 дерриков, три сотни автомашин, — и все это механизмы советского производства. Далее, на стройке было произведено 14 млн. кубометров земляных работ, уложено 620 тысяч кубометров бетона и железобетона, 40 млн. кирпичей — внушительная цифра — не правда ли? Но все эти работы были выполнены при

помощи оборудования, выпущенного советскими предприятиями. И наконец еще одна цифра — 263 завода работали на Чирчикское строительство, и все эти заводы были советскими. Самые сложные машины прибывали к нам не из за океана, а из Ленинграда и с Украины, не заграничные тресты и концерна, а Электросила и завод имени Сталина были нашими поставщиками. Все это подводит нас к первому итогу: Чирчик — это триумф советской техники.

Раскажу вам только два эпизода. Не знаю, известно ли вам, что до последнего времени на стройках никогда не курсировали большегрузные составы. Причина — большие уклоны и малые радиусы закруглений. И вот в нарушение всех правил, считавшихся неизбежными, наши железнодорожники решили пустить по маленькой железной дороге большегрузные составы. И что же? Количество поездов резко уменьшилось, а количество перевозимого грунта выросло в полтора раза.

Но железнодорожники наши совершили еще одно преступление против нормы. Раньше бетон никогда не перевозили на расстоянии более 5 километров, чтобы не испортить его. А применявшиеся на Чирчике пневматические думпкары перемещали бетон на 16 и 17 километров. И при этом решительно никакого вреда не было. Впрочем, вы сами видели наши сооружения — глядеть любо!

Так был совершен еще один переворот в строительной технике, причем переворот не такого малого значения, как может показаться. Эти два эпизода говорят о многом. И прежде всего о том, что люди, работавшие на Чирчике, не боялись переходить запретную черту общепринятых норм, не боялись идти по пути изобретений. Они искали и находили, и этим самым двигали вперед строительную технику. Таким образом мы приходим ко второму итогу: Чирчик — это триумф советской технической мысли.

Наконец, люди. Их на стройке было немало: в ней участвовали 43 национальности. Этот большой и разнообразный коллектив работал дружно и слаженно, работал быстро и напряженно, и добился немалых успехов. Кто осуществлял техническое руководство? Наши же советские люди, советские инженеры, окончившие советские институты. Иные из них, те, кто были на высших командных постах, приехали сюда с опытом других строительных — хотя бы с того же Днепростроя, а большая часть явилась на Чирчик прямо с вузовской скамьи. И вот новички эти, невзирая на свои

дипломы, охотно работали десятниками, добывали себе строительную закалку, проходили университет матушки практики. И прошли они его с большой для себя пользой. Взгляните — кто занимает самые ответственные руководящие участки среди строителей и среди эксплуатационников? Вчерашние десятники, вчерашняя зеленая молодежь, воспитанники партии и комсомола, созревшие и окрепшие на невиданную быстроту. Какой же итог можно подвести всему этому? Итог тот, что Чирчик — это триумф советской [технической] школы, триумф партийной технической интеллигенции.

Вот три итога, три вывода, позволяющие понять своеобразие Чирчика, особенности его биографии. А биография его хоть и коротка, но весьма стремительна и насыщена различными важными событиями и резкими поворотами.

Я принадлежу к числу старожилов Чирчика. Помню еще, как верблюды с трудом проходили через моря грязи, заливавшие долину осенью и зимой. В дождливые месяцы движение здесь попросту прекращалось. Ну, да вы и сами знаете, что такое азиатская грязь. Я помню, как прошла вверх по течению реки железная дорога, крепко связавшая десятки километров, освободившая нас от докучной и, можно сказать, униительной зависимости от топкой и вязкой глины.

Помню я и напряженные, драматические страницы истории Чирчика, когда борьба с природой становилась отчаянной, и, казалось, самое строительство висит на волоске. Вот, например, памятная дата — 6 мая 1937 г. В ту весну паводок, или по-местному, силь был страшной силы. Представьте себе такую картину: льет мутный дождь, густой как сметана, так что в двух шагах ничего не видно. С гор несуся потоки, грязные, пенистые, стремительные, неустойчивые. В этих потоках чего только нет, — и валуны, и многолетние деревья, и козы, и овцы, и лошади. Взмесившаяся вода все к чорту разносит, кажется, ничем ее не остановить. К вечеру вода прорвалась через все заграждения. Но мы не сдались, не пали духом. Мы знали: не удержим, значит вся стройка, весь наш труд полетит в тартарары. И вот на борьбу со стихией двинулись вереницы подво и автомашин, везут носилки, тачки, камышовые маты и прочий другой материал, бежит все население Чирчика спасать свою стройку. По пояс в воде — да еще в какой воде — бешеной, неукротимой, злобной, — люди таскали булжники и мешки с

песком, забивали ими прорыв в дамбе, вбивали в берега куски рельс — зрелище, которое будет мне памятно до конца моих дней. Рабочие, инженеры, все гражданское население — ни один из нас не дрогнул, и мы обуздали воду, отбросили на исходные позиции. Люди дрались как фронтовики, как гвардейцы.

Годом больших работ был год 1940-й. В сороковом году мы сделали много больше, чем за любой предыдущий. И была тому особая причина. В конце 1939 г. ЦК партии и Совнарком приняли решение о дальнейшем развитии хлопководства и подчеркнули большую роль, которую должны сыграть в этом деле химические удобрения. Товарищ Сталин тогда сказал, что дальше затягивать строительство на Чирчике недопустимо и что оно должно быть закончено в кратчайший срок.

Когда начальник строительства Федор Георгиевич Логинов сообщил нам об этом приказе, каждый чириковец понял, что начинается горячая пора, что наступающий год будет годом больших трудов и больших побед. Так оно и вышло. Задание партии и правительства мы выполняли — осенью заработали турбины, и первый ток с Чирчика пошел по проводам. Была окончена первая очередь чириковских работ. Комбинат имени Сталина был пущен в ход.

Приехали бы вы к нам в ту зиму, посмотрели бы, как праздновал весь город пуск только что оконченных предприятий!

Женщины шили новые платья, пионеры убирали остатки строительного мусора, парикмахерские накануне праздничных дней с ног валились от усталости — хотелось, чтобы и люди, и стройка — все блестяло, все было по-праздничному нарядным. Было даже установлено специальное железнодорожное расписание на эти дни. Переполненные клубы, митинг на заводской площади, торжественные заседания, приказы наркоматов о награждении строителей, приветы из Москвы и Ленинграда, Карелии и Украины — все это возникает в моей памяти, как нечто необычайно яркое, веселое и радостное.

Достижений к этому времени было у нас немало. Но самое важное достижение, самая важная победа наша, это те изменения, которые произошли с людьми на строительстве. Землекопы становились десятниками, строители — эксплуатационниками. Эта ни на минуту не останавливавшаяся передышка людей все время вверх, выше и выше, совершалась с удивительной быстротой и охватывала все но-

вые и новые человеческие массы. Недаром тотчас после окончания работ первой очереди, по приказу Наркома Электростанций, 1600 чириковцев поехали на Неву, Иртыш, Свирь и Энсо.

Особую атмосферу вносили на стройку работавшие рядом с нами колхозники. Это совсем не то, что сезонники — это совершенно иная и, притом, чрезвычайно благородная традиция. Вспомните, как создавался Большой Ферганский канал, как целые колхозы, районы и области строили это общенародное чудо. На Большом Ферганском созданы были новые навыки, новые традиции, которые и пошли оттуда по всем среднеазиатским стройкам. А у нас на Чирчике они привились, пожалуй, наиболее прочно.

Ф. Г. Логинов, руководивший Чириковской стройкой, теперь работает в Ташкенте — в Центральном Комитете, руководит промышленностью Узбекистана, — как видите и здесь действует тот же великий закон роста людей. Его место занял профессор Александр Николаевич Асқонский, бывший начальник строительства Большого Ферганского канала. Он придает большое значение труду колхозников-землекопов, и гости из ферганских и ташкентских кишлаков продолжают регулярно приезжать к нам на Чирчик для работы на строительстве новых гидростанций.

Вы знаете нашу Чириковскую долину. Ее покрывают аллеи, парки, сады. И вот среди садов и виноградников, на берегу многоводного канала останавливается поезд. Он составлен из разномастных вагонов-теплушек, дачных, пассажирских, — сразу видно, что он собран только на один рейс. Не успевает он остановиться, а уже вдали показывается другая, такой же — составы идут один за другим.

Едва только паровоз замедляет ход, распахиваются двери вагонов, и на ступеньках появляются люди. Они торопятся, прыгивают на ходу, протягивают руки за вещами, которые их товарищи подают им из окон и дверей. Здесь и мешки с мукой, пшеном и рисом, здесь и живые овцы со связанными ногами, и громадные самовары, и арбузы вперемежку с дынями. Все это спешно укадывается на землю, рядом с одеждой, с подушками, с носилками и кетменями, и многоголосый и пестрый лагерь скоро возникает под деревьями, покрытыми зеленою листвою и розовыми плодами. Тут же гремит и заливается оркестр.

Люди не задерживаются около своих вещей — только несколько стариков остаются в лагере

кипятить чай и варить плов, — остальные, захватив свои кетмени и носилки, уходят туда, где протянулась длинная насыпь. Здесь — трасса канала. Здесь они работали несколько месяцев тому назад и здесь будут работать снова — завершать еще одну очередь чириковских работ. Колхозники торопятся. Проделав длинный путь, едва выйдя из вагонов, они тотчас берутся за кетмень и за кирку. Каждый день, каждый час их точно рассчитан. Некоторые колхозы приезжают на семь дней, другие на четырнадцать, третьи на месяц: хлопок-то ведь не ждет. Поэтому они не хотят терять ни одной минуты. Проходит совсем немного времени, и уже вся трасса заполнена людьми, уже взлетают кетмени, транспортер уносит прочь вынутую землю, все быстрее и быстрее становится темп работы.

„Сделать как можно больше и лучше“, это стало лозунгом наших дней. Сейчас, в годы великой войны, так работают на Чирчике не одни только колхозники, — так работают все, особенно молодежь.

Кто на Чирчике не знает фамилий Респекова, Турсунбаева, Мишанина, Астафьева! Я их помню еще совсем неопытными, когда они только явились к нам на строительство. Прошло несколько месяцев, и люди эти изменились до неузнаваемости. Судите сами, Астафьев, бывший сорви-голова и озорник, получил орден за кладку кирпича. Турсунбаев организовал большую комплексную бригаду из 70 человек, бригаду, которая бросалась на самые трудные участки и превращала их в передовые. Мишанин был некавалифицированным рабочим, а стал виртуозом строительного дела, воспитателем новых рабочих. Или еще лучше — Респеков — тот не только совершенствовался в своей специальности, но и усердно учился, неустанно пополнял свои знания, расширял свой кругозор.

Как только началась война, большая часть этих людей ушла на фронт. Письма, которые приходят оттуда, говорят о том, что они стали такими же отличными воинами, какими были строителями. Но освободившиеся у станков места надо было немедленно занять. И мы добились этого: появились сотни и тысячи новых рабочих. Есть среди них, правда, старые рабочие, ушедшие уже на отдых, — теперь они вернулись в деха. Об этих искусных мастерах нечего и говорить; они не только сами работают превосходно, но и других учат так же работать. Но вот молодежь и женщины, им нельзя не удивиться. Приходит эдакий юнец, только что из ремесленного училища и начи-

нает через месяц-другой ставить рекорды, так что диву даешься. Или домашняя хозяйка, еще вчера не знавшая ничего, кроме плиты и корыта, сегодня осваивает две специальности и уже берется за третью. Тут же, у станка, женщины и молодежь проходят обучение, и результаты получаются наилучшие. Вот, например, соседка моя Шатыгина совсем недавно работает, а меж тем она дает 400% нормы задания, считается одной из лучших сверлощиц завода. И подружки ее тоже стали мастерами, пятисотницами, овладели несколькими специальностями.

Наши люди поняли, что от них, от их работы зависит победа, а, поняв это, стали работать по-военному. По 16—20 часов они стоят у станка, по двое, трое суток не выходят из цеха, пока не выполнят задания.

Вот наглядная иллюстрация отношения к труду наших людей в дни войны.

Весною приезжали к нам колхозники углублять канал Зах (каналу этому, кстати сказать, лет семьсот, никак не меньше). Работали наши гости, как всегда усердно, от зари и до зари. Однако ночами, когда они уходили спать, берега канала не пустели. Рабочие и служащие, пионеры и домашние хозяйки, все обитатели города Чирчика и воинский гарнизон, кончив свой обычный трудовой день, выходили на канал. Вспыхивали факелы, загорались огни, и работа кипела. Внушительная это была картина, бодрящая.

Так растет Чирчик. В нашей долине появляются новые гидростанции. Завершаются новые очереди чирчикских работ. Рядом с комбинатом имени Сталина работают теперь

новые предприятия. Расширяется комбинат, расширяются и другие заводы. И вместе с тем увеличивается количество гидростанций, питающих своей энергией предприятия не только Чирчика, но и Ташкента.

Так живет наш Чирчик, наш молодой город — бурной, напряженной трудовой жизнью. Он создавался на моих глазах. Может быть, поэтому я так люблю его невысокие просторные дома с верандами и балконами, исчезающие в зелени коттеджи, выкрашенные в серовато-розовую краску, так хорошо гармонирующую с фиолетовыми горами, господствующими над всем пейзажем, густые аллеи тополей и акаций, синюю реку, блестящую под жарким солнцем, желтозеленые, густые пятна огородов. Легко представить себе, как будет выглядеть Чирчик, когда отдельные звенья сольются в общий целостный план, когда будут закончены задания, постройки которых задержана войной, когда асфальт зальет проспекты и площади.

Встарину города имели свои гербы, — меч на лазоревом поле или три птицы сказочного происхождения, или еще какую другую феодальную эмблему. На мой взгляд, есть в этом обычае какое-то здоровое зерно. Придумал бы я и для нашего города эмблему... И знаете какую? Да самую реку, Чирчик то есть, и изобразил бы. Быструю, непреодолимую, решительную... Ведь это она привела нас сюда, позвала, сказала — боритесь со мной и дружите со мной. Это она помогает нам работать на фронт, на оборону. И разве не схожа она с самой жизнью нашей, нашей судьбой, тоже быстрой, решительной, непреодолимой...

...

Владимир Луговской

УЗБЕКИСТАН

Солнечный край,
золотые просторы,
Древние земли
искусств и труда.
Узбекистан —
темногрудые горы,
Светлые,
в пышной листве
города.
Узбекистан,
в эту грозную осень

Дети твои
на далеких фронтах
славу
любимой отчизне приносят.
Их имена
у тебя на устах.
Узбекистан!
Ты бойцов навещаешь
Ночью,
как сон,
как напевы струны.

Дети твои
Москву защищают
Вместе с народами
всей страны.
После атаки
в морозном окопе
Воину
в дреме тревожной
видны
Твоих тополей
золотистые копы,

Белый, хлопковый венчик
Ферганы.
Вспомнит он праздник
в отчизне любимой
И на любые сраженья
готов,
Радуюсь родине,
слыша родимый,
Чистый как золото
запах плодов.

...

П. Лопатин

АНГРЕН

Над долиной Ангрена спускается душистый вечер. Садится солнце за громадой Чаткальского хребта. На фоне закатного пурпурного неба горы, подернутые фиолетовой дымкой, кажутся легкими, невесомыми, призрачными. И только кукурузные початки на крышах глиняных домиков горят и плавают в лучах заходящего солнца.

Тени становятся длиннее. На небе задумчиво замирают легкие облака. Тянет запахом бараньего сала из соседнего кишлака. Еще заревом заката пылают небо за Чаткалом, а с востока уже ползут сумерки. В их синей мгле исчезают рощи, глухие глиняные заборы, нагромождение камней на берегах реки. И над долиной Ангрена спускается темная азиатская ночь.

Долина вспыхивает огнями. Они горят в глубоких ущельях, на берегах Ангрена и Ничбаша, на склонах Чаткала и Кураминских гор. Это искусные мастера плавят металл.

Его везут отсюда в соседний Ахан-Гаран. И далеко разносится слава о его богатых торжищах: недаром Ахан-Гаран значит „Кузнечный ряд“.

В базарной толпе мелькают яркие халаты кучцов из Багдада. Суетятся ховары с низовьев Волги. И степенно проходят славяне в полотняных рубашках, заправленных у пояса в широкие шаровары.

Гости с востока и запада, с юга и севера привозят сюда пряности, шелковые павлоки,

дорогое оружие, красивых девушек — полоянок. И хотя печенег засорили когда-то свободные черноморские степи, перерезав старые дороги днепровских славян, славянский лен попрежнему идет в Среднюю Азию через Дербент.

Все это стекается сюда в обмен на металл Ангрена. И днем и ночью пылают горы в благословенной долине.

Проходят десятилетия. И медленно, исподволь начинает хиреть рынок Ахан-Гарана. Один за другим тухнут огни плавильных печей в долине: беднеют залежи ее металлических руд. И страшным ураганом проносится над долиной конница хромого Тимура.

С тех пор окончательно умирает шумное торжище Ахан-Гарана. Еще недавно прославленный „Кузнечный ряд“ становится заунывным кишлаком. Скупно, неторопливо течет жизнь в долине, отрезанной от страны горными хребтами и топкими болотами, где растет камыш выше человеческого роста. На месте старых разработок каждую весну все гуще, все ярче расцветают красные маки. Кабаны стада невозбранно ходят там, где пылали когда-то горы искусных металлургов. И в народе стирается память о прежней славе долины.

Так кончается первая молодость Ангрена

...

Вторая молодость Ангрена рождается бурно, властно, неукротимо.

Осенью 1940 года из Ташкента выходит вереница машин. Они идут по дорогам, где трудно пройти верблюду. Застревают в болотах, колеса буксуют в глиняных оврагах. Ремонтируются тут же на ходу, среди густых зарослей камыша. И снова идут все дальше и дальше.

Здесь блестящие ЗИС'ы и „Эмочки“, многотонные грузовики и старые „Форды“. Они везут бревна и доски, цемент и металл, лопаты и матрацы, буровые инструменты и походные аптечки.

На грузовиках вспыхивают песни комсомольцев, мобилизованных в Ташкенте, Самарканде, Джизаке, Фергане. Во время остановок под навесом чайханы ведут неторопливую беседу московские метростроевцы и шахтеры с угольных шахт Узбекистана. И геологи горячо спорят о свитах, залеганиях, молодом вулканизме.

Жители кишлаков с удивлением встречают первые машины — их никогда не видели раньше в этом районе. Но машины идут такой непрерывной чередой, что даже любопытные ребята через несколько дней проходят равнодушно мимо кремовых ЗИС'ов и без боязни, как старым знакомым, выносят шахтерам дыни и золотистые персики.

А машины идут и днем и ночью с интервалами не больше четверти часа. Идут в долину Ангрена, где найдены залежи каменного угля...

Строго говоря, все началось не с угля. Сейчас трудно установить, как наткнулся советский геолог на свинец в долине. Быть может, в старинных арабских рукописях нашел он упоминание о блестящем прошлом „Кузнечного Ряда“. А может быть, бродя по кишлакам, случайно увидел драгоценные камни.

Во всяком случае известен его доклад в столице:

„Наши далекие предки к счастью для нас оказались слишком расточительными! Плава свинцовую руду, они выбрасывали, как ненужный отход, шлаки, содержащие металл. Сегодня это — богатая руда. Тем более, что лежит это богатство на колхозных полях, мешая пшеничным посевам. И заборы кишлаков сложены из свинцовой руды. Короче: по самым осторожным подсчетам руда долины может дать много тонн свинца“.

Тотчас же сюда были брошены рабочие. Они собирали руду на полях, осторожно разбирали заборы и на лошадях везли дорожие

камни к кишлаку Аблык, что лежит в 16 км от теперешних шахт Ангренугля. Арбы подвозили свой груз к срочно сооруженному аэродрому. И самолеты доставляли свинцовые руды на металлургические заводы.

В 1928 году на берегах Ангрена появляется геолог Машковец. Он ищет глину. И находит ее. Но не обнаруживает ничего другого.

В 1934 году повторяются изыскания. Кто знает, в чем причина: быть может, в технической безграмотности геологов... Во всяком случае бур проходит угольный пласт и геологический журнал фиксирует всего лишь 1,8 м. Но даже эта равнодушная, мимоходом сделанная заметка заинтересовывает правительство Узбекистана. И в 1940 году проводится детальная геологическая съемка в долине Ангрена.

Надо сказать, геологи попрежнему верят только в глину — об угле говорят скептически, осторожно.

Но уже первая скважина, в которой найдены неограниченные запасы каолина, пересекает мощный угольный пласт. Скважина № 2 подтверждает эту находку. Третья скважина проходит новые угольные залежи — пласт.

16 сентября 1940 года результаты бурения доставлены в Ташкент. В этот же день, через несколько часов, вопрос об угле глухой черной долины рассматривается в ЦК КП(б)Уз под председательством товарища Юсупова: решено немедленно приступить к разработке бассейна.

И на следующий день из Ташкента в долину вышла та самая вереница автомобилей, о которой шла речь.

Так началась вторая молодость Ангрена.

— Весело было ехать!

Глаза у товарища Давыдова, одного из славных начинателей Ангрена, задорно вспыхивают:

— Меня мобилизовали в Самарканде. Оставил семью — поехал в Ташкент. Любопытно было: говорили — снеговые горы, бурная река и в долине — угольный клад.

Не скрывали — место глухое. А мне как раз это и надо. Терпеть не могу приходить на готовое, неинтересно. Давно уже хотелось поехать куда-то далеко-далеко, в дикий глушь и начать стройку на пустом месте. А потом, быть может, через несколько лет отойти в сторону и сказать самому себе:

— Смотри, Давыдов! Ты помнишь, что тут было? Глухомань, тишина, пустыня. Роилась мошкара над камышами. К реке на водопой приходили кабаны. И люди из соседнего кишлака не знали, что такое уголь, автомобиль, электричество.

А сейчас — смотри, Давыдов! Вся долина залита электрическими огнями. Вот там, в правом углу, сияет электростанция. Помнишь, как дождливой, зябкой осенью ты вместе с ребятами прорыл первую траншею под ее фундамент?

Слышишь, Давыдов, — шумят вагонетки. Они шумят день и ночь: везут уголь из шахты к бремсбергу. Уголь разойдется отсюда по всей стране. Его привезут и в твой Самарканд. А ведь это ты со своей бригадой закладывал первую шахту!..

Ну, одним словом, такая гордая мечта мучила меня давно. А тут, как по заказу: и глушь, и громадная стройка, и я в первой партии рабочих.

Выехали из Ташкента после обеда. К ночи добрались до Ахан Гарана. Как добрались — уму непостижимо: болото, рвы, ямы, снег, град. Но добрались.

Бензина нет. Надо ждать, пока придет машина из Ташкента. Но всем не терпится поскорее добраться до места. Вскладчину покупаем бензин — и дальше.

Короче: сто двадцать километров ехали трое суток. На руках вытаскивали машину из трясины. Еще раз правдами и неправдами добыли бензин. Ремонтировали на ходу — ночью под дождем при электрическом фонарике. Измазались в глине, как черти. Но всю дорогу пели песни и с песней приехали в долину.

Да, здесь действительно была глушь. На берегу реки стоял жалкий кишлак Гюлистан. А рядом с ним — палатки и длинный барак.

Я так и не добился, почему его прозвали „Курский вокзал“. Конечно, ни на какой вокзал он не был похож. Пол земляной, ухабистый. Если не изучишь его топографии, ночью непременно разобьешь нос.

Потолок тростниковый. В потолке дыры. На улице дождь — и у нас дождь; на улице снег — и у нас в барак летают белые снежинки. А тут еще новая напасть: в тростнике завелась мышь. Стали они выводить мышенят. А они, глупые, оступятся и упадут прямо на постель. Непременно, конечно, когда спишь.

Но жили весело. Ни одного дня не проходило без песен, а потом — вы знаете нашу узбекскую зиму? Позавчера снег, вчера выглянуло солнышко, и сегодня сухо. И вот тогда-

то начиналось самое веселье на лужку против „Курского вокзала“.

Прежде всего — волейбол. Гонялись за мячом до тех пор, пока мяч был виден. А когда окончательно стемнеет — танцы. У нас в „Курском вокзале“ были узбекский барабан и русская гармошка. Танцевали так, что мышенята сыпались с потолка.

Весело жили и весело, споро работали. Меня определили каменщиком на постройку дома. Слов нет — работа интересная: приятно смотреть, как под твоими руками стена растет все выше и выше. Но иногда, когда проснешься ночью, тяжело становится. Ведь сейчас самое главное — шахта. А ты сидишь на стройке домов. Вроде как бы отодвинут во вторую шеренгу. Умом, конечно, понимаешь, что все это глупость, недомыслие, гордость. А сердцу все-таки обидно.

Но тут мне опять повезло. Помню, приходит как-то к нам начальник строительства и вызывает добровольцев на проходку третьей наклонной шахты. Работа, говорит, тяжелая, опасная: там, под землей, и с водой встретиться и с сыпучим песком.

Пугал нас долго. Но минут через двадцать мы уже сколотили три бригады. И началась настоящая работа.

Прав был инженер — это тебе не стены выкладывать. Но с нами были опытные шахтеры. И мы дружно помогали друг другу.

Бывало, увидишь его шуткой. Не помогает — дашь ему закурить, а сам работаешь за двоих: чешь бригады выше всего.

Конечно, в семье не без урода. Были среди нас дезертиры; убежали в горы, чтобы глухими тропинками пробраться в свой родной кишлак. Другие надеялись досыта наесться макаронами в столовой и сутками не показываться в шахте. Таких мы сами выгоняли. И не жалеи: паршивая овца все стадо портит. Но тот, кто оставался, работал, как следует...

Я вам сознаюсь... Несколько дней назад поздним вечером я поднялся вон на тот бугорок: с него вся долина видна, как на ладони. И я вспомнил свою гордую мечту, о которой говорил вам.

Она выполняется, чорт возьми! Я видел электрический свет в окнах каменных домов — их стены я выложил собственными руками. И там, на склоне Кураминского хребта, выше всех сияли огни третьей шахты — моей шахты.

Я знаю каждый метр ее ствола. Я могу рассказать, как бесконечно тяжело крепить

этот ствол в сыпучем песке, и как холодна грунтовая вода.

Чуть ниже горели огни на копрах второй и третьей шахт, огни электростанции, огни поселка, огни на бремсберге и на мосту через Ангрэн.

Все это создали мои товарищи — узбеки, русские, донбасовцы, москвичи, с которыми мы вместе мерзали на мокрых койках „Курского вокзала“, вместе лихо отплясывали „комаринского“ и „дильхроз“ и с песней шли штурмовать ледяную воду под землей.

Все это — тоже мое, наше, общее... Хорошо!

Но мне еще рано уходить отсюда. Ведь, всего лишь два года прошло с тех пор, как я приехал в эту долину и увидел голую пустыню. Что же будет здесь через два-три года, если мы будем работать так же, как работали первые месяцы, дружно, спорно, весело?..

Да, прав тов. Давыдов: начинатели Ангрэна работали действительно по-настоящему.

Вот несколько цифр, дат, фактов.

Гравийная дорога от столицы до рудников сооружена за 14 дней — ее строили колхозники.

В январе 1942 года сдана в эксплуатацию железная дорога Ташкент—Ангрэн. Она идет по топким болотам, пересекает бурные ручьи и глубокие овраги и вьется по горным склонам.

В конце сентября 1940 года заложена первая шахта. Через три месяца — 18 декабря — шахта № 1 выдает на-гора первый уголь.

Это был волнующий, знаменательный день для работников Ангрэна.

Осторожно, бережно, как величайшую драгоценность, повезли первый уголь в Ташкент. Здесь его встретили инженеры, теплотехники, ученые Академии Наук Узбекистана и московские профессора.

Предстоял строгий экзамен. Молодой уголь испытывали в топках паровых котлов, в платиновых тиглях лабораторий, его внимательно изучали под окуляром микроскопа. И, наконец, дали „паспорт“: уголь годен для бытовых нужд, он может гореть в котельных установках заводов и в топках тепло-силовых электростанций.

...

Этот паспорт, уместившийся на трех четвертях странички, говорил о революции в народном хозяйстве республики.

Заводы требуют уголь. Недаром „черным хлебом промышленности“ называл когда-то каменный уголь Владимир Ильич. И этот „черный хлеб“ оказался у самого сердца Узбекистана. Он лежал почти на поверхности — наклонись и бери.

Казалось, земля Узбекистана, веками бережно хранившая этот драгоценный клад, щедро отдавала его в самый ответственный момент, когда решался вопрос жизни и смерти народа, взлелеявшего эту землю.

Так находка в долине Ангрэна превращалась в танки и самолеты, в патроны и орудия — в залог нашей грядущей сияющей победы.

Бесконечно трудно добывать уголь в еще недостроенной шахте. Но время не ждет: уголь нужен сейчас, сию же минуту. И под землей спускаются вместе строители и шахтеры.

Они приходят сюда из соседних кишлаков, с горных склонов, из городов и благословенных плодородных долин Узбекистана. Идут пешком, приезжают на поезде, едут на высоких арбах...

Это было в соседнем Ахан-Гаране. Представитель райкома говорил о великой чести, оказанной комсомолу: партия звала комсомол создавать „Донбасс Узбекистана“.

— Кто пойдет добровольцем? Предупреждаю — работать придется под землей. Работа тяжелая, большая, ответственная. Кто первый? Зал клуба молчал. Тишина. Неужели никто?

У стола президиума неожиданно вырастает девушка. Молодой, звонкий, взволнованный голос:

— Товарищ, запиши: Фатима Ашрапова.

Несколько мгновений казалось, что зал замер: так тихо было в большой комнате. Но вдруг — будто река прорвала плотину — зал поднялся и задрожал от рукоплесканий. У стола вытянулась очередь. Это шли добровольцы на Ангрэн — девушки и юноши Узбекистана...

С первой сотней добровольцев сюда пришел Шарипов, узбекский юноша из колхоза им. Фрунзе.

Его дед и отец работали на хлопковых полях, пасли стада на горных склонах, выращивали урюк, персики, виноград. Они были насквозь пропитаны горячим солнцем своей родины. И юноша не представлял себе жизни без этого знойного солнца, без буйного весеннего цветения горных долин, без тяжелых гроздьев винограда и корзины пушистого белого хлопка, залитого золотом осенних закатов.

И вот теперь Шарипов каждый день спускается в сырую тьму подземелья.

Шахта кажется ему бесконечно глубокой. Глаза, привыкшие к солнцу, с трудом различают груды наваленной и еще не убранной породы, бревна и доски креплений.

Трудно дышать. Кажется, здесь большая оранжерея, откуда только что вынесли растения, но тепло и влага остались.

Плачут стены. Тяжелые капли медленно ползут вниз по шершавой стене, ручейками текут по дну коридора, и ноги скользят в высоких резиновых сапогах. И на своих плечах Шарипов физически чувствует страшную тяжесть земли. Ему кажется — над ним висят кручи Чаткальского хребта с их пропастями, ущельями, ледниками. И весь Чаткал держат лишь тонкие деревянные крепи забоя.

Но каждый день Шарипов спускается в свой забой. Строго, требовательно принимает смену. И сосредоточенно, молча бьет уголь. Но всякий раз, когда кайло отбивает особенно большой кусок черного угля, в забое раздается веселая, задорная узбекская песня...

Я первый раз увидел Шарипова, когда после смены он выходил на поверхность. Юноша был черен от угольной пыли. Только ярко блестя влажные беки глаз, и сияли в улыбке ослепительно белые зубы.

— Ты спрашиваешь: тяжело? Не буду врать, товарищ, — вначале было очень тяжело. Трудно работать в темноте, под землей, если очень любишь солнце, наше высокое синее небо, цветы и прозрачную воду в арыках. Но — пойми, товарищ, — сегодня уголь нужен нашей стране больше, чем воздух, чем солнце чем, вода в знойный полдень. А когда это понимаешь, тогда легко. Даже под землей...

Так думает Шарипов. Так думают его товарищи, узбекские юноши, бок-о-бок работающие с ним. Но невозможно сразу, мгновенно привить сотням людей, впервые пришедшим от яркого солнца в темный забой, ту благородную любовь к своей шахте, которой славен старый Донбасс.

Ту гордость шахтера, который, выйдя на поверхность после тяжелой смены, снова добровольно спускается вниз, узнав, что его шахта не выполнила плана.

Но на рудниках Ангрэна уже появились люди из Донбасса. Они принесли совершенные технические методы добычи, практические навыки, а главное — эту любовь, эту гордость за свою шахту, которые могут творить чудеса.

Во главе их — товарищ Хлопков, парторг ЦК КП(б)Уз. Еще летом он был парторгом

одной из крупнейших шахт Донбасса. Сейчас он — парторг шахты № 1.

Вокруг него небольшой коллектив его друзей и соратников. Их мало. Но они смело, решительно взламывают старую рутину, вводят новые способы добычи и настойчиво прививают людям уважение к своей шахте, штреку, забоям.

Они еще новички в Ангрэне. Но с каждым днем все чаще бегут вагонетки к бремсбергу. И все больше людей, черных от угольной пыли, останавливаются у доски, где мелом написана цифра добычи их смены.

...

— Не знаю, может быть, я слишком нетерпелив, — говорит геолог Захаревич — но мне кажется, следовало бы гораздо энергичнее вести шахтное строительство. Хотя — надо оговориться — это обычная черта геологов: они особенно отчетливо видят, что лежит под землей, и им не терпится, чтобы этот клад поскорее подняли на поверхность.

Вот тут, на склоне Кураминских гор, я обнаружил буквально каждый метр. Я знаю точно, где встанут новые шахты, на какой глубине они встретят уголь, и как могуч будет этот угольный пласт.

Наклонись и бери при ярком солнечном свете. Заманчиво?

Этот уголь пойдет на нашу АнгрэнГЭС. Она включится в высоковольтное кольцо электростанций Узбекистана. Несколько сот тысяч киловатт электроэнергии — солидное добавление к общему силовому балансу Республики.

Но это не все. Отсюда уголь пойдет в Ташкент. Мне кажется, нашим углем мы с ликвой прокроем промышленность столицы. И уголь Ангрэна будет знать вся страна.

Ангрэн станет действительно „Донбассом Узбекистана“...

Мы подходим к реке. Она шумит и колочет, вся зеленая с белыми гребнями пены. Ясно заметен крутой уклон ее горного русла. Река с шумом прорывается через отвесные гребни каменных порогов, и по ночам рев Ангрэна отчетливо слышен за добрый километр.

— Мы продолжим этой реке, — говорит Захаревич, — новое русло по равнине, что лежит у подножья Чаткала. Но прежде, чем пустить ее в это новое русло, мы заставим ее вращать водяные турбины.

Я не гидротехник, но полагаю, что гидростанция Ангрена будет республиканского значения.

Водами повернутой реки мы оросим это пологое подножье Чаткала... Вы покупали на нашем базаре яблоки? Хороши? А ведь это — только дичок. Какие же фрукты дадут вам сады предгорий, где опытные садоводы будут любовно выращивать урюк, вишню, виноград, грецкий орех.

В водоеме, перед плотиной, мы наладим образцовое рыболовческое хозяйство: будем выращивать маринку, а может быть, и золотистого карпа.

А потом — охота. Не улыбайтесь. Я говорю вовсе не о том, что мы с вами берем по берданке и отправляемся на ночь в соседнюю ложбинку в надежде на заре подстрелить какую-нибудь зверюшку. Нет. Речь идет о широко организованном промысловом охотничьем хозяйстве. Ведь там, в горной глуши, поистине край непуганного зверя: стада кабанов и бесконечные фазаны выводят.

Да что говорить о каком-то туманном будущем? Приезжайте к нам этой зимой, и мы до отвала накормим вас вкусной кабанятиной: первые охотничьи артели уже вышли в горы.

Мы идем мимо кладбища машин.

— Это те самые машины, что везли сюда пионеры Ангрена. Как видите, они работали до последнего вздоха. Вы представить себе не можете, какая тогда была горячка! И знаете, она меня немного возмущала своей однобокостью.

Я согласен: уголь — основа основ. Это — энергия, свет, тепло. Но почему только уголь?

Ведь каждый метр земли в нашей долине стоит под собой самые разнообразные клады.

Взять хотя бы глину. Геологи перестали подсчитывать ее запасы — нелепо оперировать астрономическими цифрами. А хорошей каолиновой глины не так уж много в нашей Республике. Значит здесь вырастут заводы керамики и огнеупоров, и Ангрен станет центром огнеупорной промышленности Узбекистана.

Затем мы богаты известняком и кварцевым песком: было бы преступлением не организовать здесь цементного производства.

И, наконец, меня уже давно мучит одна мысль. Вы слышали, конечно, что давным-давно рядом с нами добывали свинец. Я не верю в какое-то особенное, совершенное искусство тогдашних изыскателей: они безусловно прошли мимо многих и многих залежей металла. И кто знает? — быть может, нам удастся открыть здесь свинцовую и медную руду, упущенные нашими предками.

Как видите — великое разнообразие богатств. И все это в конце концов на крошечном участке земли...

Мы подходим к Геологическому отделу и рабочему кабинету Захаревича, к его квартире. Все это размещается в старом, овечьем загоне. На глиняном заборе внутреннего двора, в метре от земли, еще видна граница недавнего навозного слоя.

— Непрезентабельно? А я привык. И люблю свой Ангрен. И не уйду отсюда.

Вы знаете о былой славе нашего соседа — Ахан-Гарана? Ну так я буду работать здесь до тех пор, пока слава Ангрена так же широко разнесется по нашей стране. И мне недолго придется ждать. Уверю вас.

Сергей Городецкий

УЗБЕКИСТАН

Ты одарен природой щедро,
Народ твой полон древних сил,
Вершины гор, степные недра
Твой труд счастливый озарил.

Седую грудь раскрыли скалы,
И свет увидела руда,
И драгоценные металлы
Блестят из-под снегов и льда.

К посевам хлеба хлынул синий
Народом вырытый арык,
И первозданные пустыни
Меняют свой застывший лик.

И хлопок облаком богатым
В полях бескрайних забелел,
И шелк, объемля воздух сжатый,
Несет людей с небес к земле.

Удвоив труд свой и утроив,
И в кишлаках и в городах
Растут могучие герои
Неутомимого труда.

В семье народов наших дружной
На помощь северной Москве
Узбек идет с отвагой южной,
Храня отцов своих завет.

Жить не дает нам недруг дерзкий,
Цветы поганит и снега.
Ударить жаждет по-узбекски
Народ узбекский на врага.

Борьбой всемирной увлеченных
Окрепли руки силачей,
И брызжет сталью раскаленной
Узбек на немцев-палачей.

Отчизны силы молодые
Зовет батыр-Узбекистан
Бороться, как Кучкар Турдыев
За счастье всех советских стран.

Войну с оравой кровавой
И дело праведной войны
Мы завершим победной славой
Всех наций Сталинской страны.

...

Ефим Дорош

ЧЕРНАЯ КРОВЬ ФЕРГАНЫ

Самолет летел на запад, и у человека, стоявшего среди пустынных, заросших выгоревшей травой холмов, было такое ощущение, словно это он запустил в поднебесье быстрю серебряную птицу. Он отчетливо представлял себе баки, наполненные легкой, бесцветной жидкостью, которая двигалась по узким трубкам, достигала мотора, вспыхивала, породив стремительную силу, способную увлечь за собой тяжелый металлический аппарат. Человек гордился тем, что источник этой силы — густая и черная кровь земли — добыта им.

Он стоял, широко расставив ноги, обутые в сапоги, засунув руки в карманы синих галифе

и запрокинув остриженную по-солдатски голову с высоким, упрямым лбом. Маленькие глаза его смотрели пронзительно.

Следя за самолетом, человек думал о земле, в недрах которой подобные створкам ископаемых раковин, лежали нефтеносные пласты. Он был как бы связующим звеном между нефтью и самолетом, и его задача заключалась в том, чтобы как можно больше нефти разведать для самолетов страны.

Он занимался этим уже много лет. На нефтяных промыслах Приазовья и Закавказья еще не забыли геолога Алексея Петрякина. Он открыл там немало промышленных сква-

жин, а когда услышал про Ферганскую нефть — съехал с места и прибыл на промысел "Андижан", крупнейший в Узбекистане. Места эти привлекали его своей неразведанностью. Почти вся толща земли, лежащая в границах ответственного для промысла пространства, представляла собою "белое пятно". Лишь в отдельных местах из неглубокого третьего пласта добывали нефть. Алексей Агапович шагал промыслом, видел песчаные осыпи на холмах, покрытых пепельными шарами перекасти-поля, хлопковые плантации, вклинившиеся в холмы, темную зелень плодовых садов, над которой пиками стояли пирамидальные тополя. Все, что находилось под этим, оставалось тайной. Но он знал, что наступит день, когда, проникнув сквозь многие пласты породы, он увидит огромный купол, ограниченный водой и увенчанный газом, меж которыми лежит нефть. Все, что предшествует этому дню, составляло прелесть его профессии: сначала догадка, вызванная едва уловимым признаком, затем поиски — еще неуверенные, ощупью, зачастую бесплодные, — потом, после многих неудач, счастливая находка, которой боишься верить, другая, третья, и вот уже из тьмы неведения отчетливо проступают контуры далекой цели.

Геолог знакомился с картами других промыслов Ферганской долины, чтобы знать, какие пласты дают здесь нефть. Он завалил свой кабинет образцами пород, вынутых из шурфов, заложённых в окрестностях. С азартным охотником искал он нефтеносные пласты, шаг за шагом проникая в тайну недр, и вскоре меж холмов поднялись четырехногие бурильные вышки, поставленные по его указаниям. Стальные долота вгрызались в землю, глубокие скважины были как окна, пробитые в глухой стене, мысленный взор геолога, пройдя сквозь эти окна, видел пласты песчаника, глины, известняка, скрытые под косматой шкурой травяного покрова. Иногда эти пласты лезли в гору, затем опускались, образуя складку, а меж ними, в пустом пространстве, образованном неплотнo подошедшими друг к другу песчинками, была нефть. Освобожденная из векового плена, она выходила наружу, текла нефтепроводом к станции, двигалась в цистернах на нефтеперегонный завод, и кто знает, может быть, самолет, летящий на запад, приводится в движение найденной Петрякиным нефтью.

Геолог медленно пошел с холма. Белая пыль, поднятая трактором, стояла высоко в воздухе, пронизанная лучами солнца. Трактор вез к буровой прицеп с бурильными тру-

бами, и геолог последовал за ним, с трудом вытаскивая ноги из вязкого песка. Он остановился подле вышки, острый конус которой чернел в чистом небе, а четыре широко расставленные основания покоились на фундаменте, сложенном из толстых бревен. В центре вышки, подвешенная на огромном крюке, находилась четырехгранная металлическая штанга, конец которой был скрыт в круглой железной плите, установленной посреди фундамента. Медленно вращаясь, плита приводила в движение штангу и длинную, прикрепленную к ней трубу, глубоко ушедшую в землю. Стальное, похуже на рыбий хвост долото, которым кончалась труба, сверлило породу. Из чана, находящегося неподалеку от вышки, грузно плыл по деревянным желобам глинистый раствор. Он исчезал в бурильной трубе, сквозь небольшие отверстия в долоте был в грунт и, размягчив его, захватывал измалоченную долотом породу, подымался вверх, по пути цементируя стенки скважины.

Старый бурильщик Акбар Хамдамов стоял у механизмов, приводивших в движение буровой инструмент, положив ладони на тормоз и рукоятку, регулирующую работу насоса, казавшегося раствор. Сухое лицо его, окаймленное черной с проседью бородой, было обветрено. Узкие глаза глядели сосредоточенно. С детских лет работал он на промыслах Ферганской долины, где впервые нефть была открыта сорок лет назад. Он прошел последовательно все ступени, от чернорабочего до бурильщика, хорошо помнил те времена, когда на единственном крошечном промысле, принадлежавшем купцу, газ, выйдя вместе с фонтанирующей нефтью, душил рабочих. Он жил тогда в бараке, не имея возможности принять гостя, и считался последним из людей. А теперь у него европейский дом, просторный и светлый, корова, сонная от сытости, огород, где меж певучих арыков зреют овощи.

Далеко на западе, в местах, которые он проезжал, когда ездил на курорт, бесчинствует черным сердцем враг, охваченный холодной злобой. Танки и самолеты врага разрушают дома, такие же, как у Акбара, выворачивают наизнанку землю огородов, таких же, как у Акбара. Но сталь разрушает сталью, степной пожар лучше всего гасит встречным огнем. Против танка идет танк, против самолета — самолет, и нужно много нефти для наших самолетов и танков. Акбар следил за круглой плитой, которая вращала буровой инструмент, ушедший почти на тысячу метров в грунт.

Было жарко. Ветерок, переваливший через холм, донес из ближнего кишлака запах сохнущего на солнце урюка. От жолоба, по которому бежала поднятая из скважины жидкая глина, тянуло погребом, пели провода, по которым в трансформаторы шел ток высокого напряжения, и где-то за холмом надсадно ревел осел.

Но среди всех этих звуков старый Акбар улавливал один — ровный голос роторной плиты, вращавшей бур. Он слушал его всем своим существом, не спуская взгляда с талевых канатов, к которым подвешен инструмент.

Ничтожное ослабление канатов было бы замечено его внимательными глазами, малейшее изменение в звуке работающего бура было бы услышано чутким ухом. Он бурил разведочную скважину, которая должна была дойти до восьмого пласта, где, как предполагал геолог, залежала нефть. Множество опасностей подстерегало старого бурильщика. Из-за обрыва цепей или какой-либо другой поломки, могла остановиться машина, инструмент прихватило бы в скважине, а чтобы освободить его, нужно много дней. Песок, попавший в раствор, постепенно оседал на инструмент, тоже приводит к прихвату. А если дать на бурильные трубы излишнюю нагрузку, — они и вовсе сломаются. Надо постоянно следить за таями, надо слушать голос ротора и не спускать глаз с жолобов.

Акбар приветливо улыбнулся подошедшему геологу, как бы давая этим понять, что на буровой у него все в порядке. Некоторое время они стояли молча, наблюдая медленно вращавшийся диск роторного стола, пронзенный буром, конец которого подбирался к восьмому пласту. Оба думали о толстом слое породы, что лежал между перьями долота и кровлей пласта, старались представить себе, что же скрывается за этим слоем, но держались так, словно это им безразлично.

Первым заговорил бурильщик. Видимо, старик хотел отвлечь геолога от мысли о восьмом пласте. Он сказал, что соседняя скважина, которая была заложена как разведочная на четвертый совершенно не исследованный пласт, недавно дала фонтанирующую промышленную нефть. Об этом сообщил сам Халил Адальшин, полчаса назад приехавший на скважину, — песок еще не затянул следы его лошади.

В словах старика угадывалась радость, уверенность в том, что эта скважина будет удачной. Они были свидетельством того товарищества, что объединяло лучших людей промысла, коллективным трудом своим извлекав-

ших из недр земли ее черную, живительную кровь. И хотя геолог знал о фонтане, он все же поблагодарил старика, пожал его широкую шершавую ладонь. Когда он шел к скважине, вслед ему катился ровный и чистый звук работающих механизмов, как бы говоривший, что у старого Акбара Хамдамова все благополучно.

И не успел этот звук умолкнуть, как на встречу ему уже катился другой — тихое позвигиванье пилы, резавшей твердое дерево. Маленький сухонький старичок с резкими скулами, остроконечной бородкой и узкими обвислыми усами пилил бревно. На нем был позеленевший от нефти бумажный костюм и коричневая фетровая шляпа. Он выглядел сказочным подземным человечком, хозяином нефти, выплывшим наружу, чтобы узнать, почему это люди за последнее время так упорно и настойчиво стремятся в его темный дом.

Руки старика уже утратили былую силу, но осталась хватка — те сноровистые складные движения, по которым всегда узнаешь мастера. Он пилил бревно для фундамента под электромотор, хотя на промысле были плотники, которым и следовало этим заниматься. Но таков уж был Халил Адальшин, старший мастер по добыче. Нетерпеливый, горячий, жадный на работу, он не мог позволить себе сидеть сложа руки и дожидаться плотников.

Когда недавно на одной из скважин никак не получался фонтан, — а добыча фонтанирующей нефти в семь раз дешевле добычи насосом, — Адальшин трое суток провел на скважине. Все это время он упорно добивался фонтана, делал все, чтобы заставить нефть выйти наружу. Его уговаривали отдохнуть, но за сорок с лишним лет непрерывного труда он никогда не отдыхал, не закончив работы. В нем жила высокая гордость пролетария, не отступающего перед трудностями.

Алексея Агаповича он любил. Придирчивый к молодежи, он ценил в геологе его знания, пылливость ума, ту беззаветную преданность делу, которая свойственна подлинным труженикам. Он ответил дружески на приветствие геолога, и они принялись обсуждать, как лучше установить насос и качалку, которые нужны были на случай, если иссякнет фонтан.

Лязгало железо. Остро пахло машинное масло, нагретое солнцем. В глубинах земли, пока еще запечатая, лежала нефть. Геолог думал о ней, как о живом существе. Тысячелетия таилась она в недрах земных, а он напал на ее след, упорно шел по нему, настиг добычу, и через какие-нибудь сутки, расставшись

у выхода с газом, который стремительно ринется в ответственную для него трубу, нефть послушно пойдет по пути, назначенному ей Адалийином.

Эта энергия, освобожденная ферганцами, где-нибудь на западе или на юге приведет в движение множество самолетов и танков — крылатую металлическую смерть. Она будет разить ненавистного врага, и каждый клейменный свастикой труп фашиста, пробитый осколком, прошитый пулями, раздавленный гусеницами танков и втиснутый в землю разрывной волной — свидетельство боевой выучки советских воинов, свидетельство высокого качества советского оружия, свидетельство отличной работы людей далекой Ферганской долины, нашедших в земле и поднявших наружу озера и реки нефти.

До войны, добывая нефть, инженеры и рабочие думали о городах, освещенных электричеством, об огромных, работавших на нефти паровозах, перевозивших за тысячи километров тысячи тонн грузов, думали о тяжело больном своем товарище, которого нужно было доставить на самолете из глухого северного стойбища в культурный центр, думали о великих сталинских переделах, успех которых зависит от высокого качества бензина. И каждый знал, что тонна нефти, добытая сверх плана — еще одна освещенная электричеством улица, еще один товарный состав, проехавший тысячи километров, еще один самолет, выполнивший то или иное задание. А теперь счет пошел иной.

Каждая тонна нефти — сотни убитых врагов, и чем больше тонна нефти будет сверх плана, тем больше фашистов найдут свою смерть в степях и предгорьях Юга, на наших полях, среди рек и болот Запада. Это понимают все, кто добывает нефть на промысле «Андижан» и на других промыслах Ферганской долины. Люди знают еще и то, что сейчас, когда враг занес свою когтистую лапу над некоторыми нефтяными районами страны — черная кровь, текущая под абрикосовыми садами, виноградниками и хлопковыми плантациями, стала еще более ценной, и надо как можно скорее разведать, сколько же этой крови хранится в складах земли. Разведать и выдать наружу, чтоб узбекская «Фергана» заменила кубанский «Майкоп».

Так, или примерно так, думал геолог. Переменившийся ветер разносил повсюду сладковатый запах газа. Гудели моторы на буровых, играли, как говорят бурильщики, роторы, почти беззвучно работали качалки.

По-южному стремительно надвигалась ночь, и геолог, оставив упрямого старика, который подтягивал вплотную какие-то болты, державшие мотор, отправился дальше. Песок шуршал у него под ногами. Очертания холмов пропали во тьме, и только по огням на буровых да еще по газовым факелам, ярко пылавшим в ночи, можно было определить направление.

Впереди зиянуло железо. Что-то темное и плотное возникло на дороге, едва различимое во мгле. Можно было догадаться, что это идет человек, в карманах у которого лежит слесарный инструмент. Геолог поровнялся с прохожим и узнал Евгению Дорошенко, жену старшего оператора. Впрочем, так ее называли по старой привычке, — теперь и она сама работала старшим оператором, наблюдала за десятком качалками.

Всего лишь год прошел с того дня, когда муж Евгений Федорович был призван в армию. Женщина погрузила немного, посмотрела на оставшиеся без присмотра качалки, которые она привыкла считать как бы частью своего хозяйства, и заявила директору, что желает заменить мужа. Ей было трудно, имея троих детей, изучать сложную профессию, но она все сносила с легкостью, свойственной простой русской женщине. Вскоре она знала каждую качалку не хуже любого предмета домашней утвари, научилась по звуку судить о состоянии механизмов, с чисто женской тщательностью следила, чтобы каждый болтик стоял на своем месте, и ее назначили старшим оператором. Этот день, давший ей не легко, был днем ее торжества. Она взвалила на себя двойную ношу, несла ее не жалуясь, испытывала глубокое удовлетворение от сознания, что уход мужа с промысла ни на один килограмм не снизил добычу нефти.

Во время ночных дежурств, когда она шагала во тьме от скважины к скважине, расположенных на расстоянии трехсот и больше метров друг от друга, ей нравилось мечтать о том времени, когда муж, вернувшись домой, удивится ее познаниям. Они будут вдвоем качать нефть, соревнуясь друг с другом, и нигде не сказано, что победителем будет мужчина.

Геолог окликнул оператора, и они пошли рядом, разговаривая о работе. Было тихо. Поэтому, как отвечала женщина, можно было догадаться, что она напряженно вслушивается в тишину, стараясь уловить малейший подозрительный звук. Внезапно она остановилась, умолкла, подняла руку, приглашая геолога слушать. Где-то слабо стучало железо. Должно

быть, это был разболтавшийся болт, свободно ходивший в гнезде. Не прощаясь, женщина стремительно свернула в сторону и уверенно пошла на этот тихий, едва слышимый звук.

А геолог отправился в поселок. Уже выступили из тьмы белые домики, обсаженные акацией и тополями, когда он встретил человека, который шел стороной, стараясь держаться в тени, видимо, не желая встретить кого-нибудь. Это — бывший бурильщик, теперь работавший «верховым» рабочим, старый Исмаил Хаджиралов. Подобно Акбару Хамдамову, старик всю свою жизнь отдал ферганской нефти. Он был одним из тех, кто бурил первую скважину, положившую начало промыслу «Андижан». Старость заставила Исмаила-ота отказаться от работы бурильщика, но она не смогла принудить его покинуть вышку. Он стал рабочим по верху, обязанность которого следить за состоянием всего оборудования буровой, расположенного на поверхности земли.

Как всегда Хаджиралов работал отлично, потому что по-иному не умел. Он любил приходить на буровую задолго до своей вахты, сидеть где-нибудь в укромном местечке, слушать голоса механизмов, чтобы к моменту принятия вахты знать, что надо сделать. Он старался, чтобы люди не видели, что старый Исмаил-ота раньше времени пришел на работу. Иные, глупые, посчитают его гордецом, который старается быть отличным от всех. А другие, может быть, захотят последовать его

примеру, но разве у них столько сил, сколько у него, чтобы вместо восьми пробыть на буровой десять, а то и одиннадцать часов.

Геолог хотел окликнуть старика, но не сделал этого, зная, что Хаджиралов думает сейчас лишь о том, как бы скорее попасть на вышку.

И он пошел к дому, где помещалось управление промысла. Он вошел в свой кабинет, и навстречу ему стремительно поднялся невысокий, но статный юноша, сидевший за обширным столом, на котором лежала геологическая карта. У юноши было смуглое лицо с чуть раскосыми черными глазами, которые поблескивали под тонкими, почти сросшимися у переносицы бровями. Он был техником, помогал геологу, а больше учился у него. У юноши была мечта — найти нефть в местах, о которых никто не думает, что там есть нефть. И он верил, что эта мечта осуществится.

Геолог улыбнулся своему ученику, и тот бережно взял принесенные учителем бутылки с образцами подпочвенных вод. Его тонкие и длинные смуглые пальцы держали грубые бутылки с мутной водой так, словно это были драгоценные сосуды с дорогим вином. Он расспрашивал учителя о том, что тот видел на промысле. Голос у юноши был гортанный, а русская речь звучала чуть-чуть неправильно. Оба склонились над геологической картой, разговаривая о буровых, которые следует заложить.

Светлана Сомова

ТАШКЕНТУ

О, мой город — пунцовых маков
И задумчивых тополеи,
Ты радушен всегда и ласков
В золотой синеве своей!
Как я скупю тебя любя,
Как я плохо тебя берегла,
Как я мало в себе скопила
Доброты твоей и тепла.

Я, не глядя назад, бросаю
Твой осыпанный солнцем порог...
Озабоченный гул вокзала
И тревожная даль дорог,

И ночевек степных усталость
Над углями чужих костров —
Мне всегда веселей казались,
Чем родной камышевый кров.

Только ветка джиды у дороги,
Только синь горизонта и зной,
Только пыль опалит мне ноги
И — на серых крылах — за мной
По горам и озерам, в пламенах
Кара-Кумов, в сугробы зим.
... Каждый угол и каждый камень
Были домом моим родным.

Было много дорог на свете,
А сейчас пролегла одна,
Испещренная шагом смерти,—
Та, которой идет война.
На фронтах мы идем по крови,
Всюду выстрелы нам слышны,
Полыхаю зарниц багровых
Наши лица освещены.

И друзья мои перед сраженьем,
Смерть готовясь принять в бою,
Просветлевшим внезапно зреньем
Видят дальнюю жизнь свою.

Проводя по лицу рукою,
Между жизнью и вечным сном
Вспомнит каждый свое дорогое,
Светлый город, родимый дом.

И я знаю: когда придется
Мне за родину жизнь отдать —
Золотое ташкентское солнце
Наклонится ко мне опять.
И его словно меч булатный,
Я над вражьей взметну головой,
Выполняя свой долг неоплатный
Перед доброй моей землей.

...

П. Лопатин

ЗРЕЛОСТЬ

У Сахила Хасилова все в роду были деревенскими кузнецами—отец, дед, прадед. Они искусно гнули ободья к высоким колесам узбекских арб и мастерски ковали лошадей. Кузнецами были и братья отца: самые лучшие стальные кетмени во всей округе изготавливали знаменитые кузнецы Хасиловы. И почтенные старики, много видевшие на своем веку изделий прославленных мастеров, всегда безошибочно узнавали их особую манеруковки. Вот почему семнадцатилетний Сахил Хасилов стал деревенским кузнецом.

Рядом с Хасиловыми жила другая знаменитая семья. Ергашевы были потомственными садоводами. Они выращивали особенно сладкий сочный урюк, золотистый виноград и пушистые персики. И Акифу Ергашеву следовало бы стать садоводом. Но он был влюблен в мастерство своего друга Сахила. Часами просиживал он в кузне, наблюдая, как старый Хасилов властно придает любую форму раскаленному металлу, и по вечерам горячо рассказывал Сахилу о заводах и умных сильных машинах, о которых вычитал в книжках.

Осенью, когда был собран последний хлопок, и безоблачное синее небо все чаще заволакивалось серыми тучами, в их кишлак приехал человек из соседнего большого города. Человек говорил, что в городе строится большой завод—и звал на завод колхозную молодежь.

Именно молодежь—юношей и девушек. Он обещал сделать из них мастеров, которым будут подвластны машины.

Сахил Хасилов записался первым. И это для всех в кишлаке было естественным и понятным: почему бы сильному стройному юноше и к тому же потомственному кузнецу не стать заводским рабочим?

Но когда Акиф подошел к столу человека, приехавшего из города, чтобы вписать свою фамилию в список уезжающих, все, кто был рядом, громко рассмеялись: худой, шупленький пятнадцатилетний Акиф казался ребенком. Разве сможет это дитя управлять машинами, и разве подчинится ему металл?

Не смеялся только человек из города. Он уже говорил с Акифом, он знал его затаенную мечту и дал слово старому садоводу Ергашеву сделать из сына мастера, которым будет гордиться родной кишлак.

На следующий день два друга уехали в город...

Шел дождь. На большом пустыре работали сотни людей. Землекопы рыли глубокие котлованы под фундамент, камешки выкладывали стены, и шоферы везли сюда десятки сложных машин! Их устанавливали в еще недостроенном корпусе, под брезентовыми навесами, а то и просто под открытым небом и почти тотчас же заставляли работать. И они рабо-

тали: резали, сверлили, строгали металл. Но что самое удивительное—сплошь и рядом ими управляли парнишки, ничем не лучше и ничем не хуже Акифа Ергашева.

Весь день пробродили друзья по этому пустырю, где было так шумно, деловито и весело. И вечером узнали то, что им недосказал в кишлаке человек, приехавший из города.

Станки, свезенные на этот пустырь, всего лишь три месяца назад вырабатывали на заводе одного крупного города жнейки, сеялки и бороны. Потом эти танки проделали большое и трудное путешествие в несколько тысяч километров и попали на этот пустырь с недостроенным корпусом, в котором еще недавно предполагали варить конфеты и по-видимому. И, наконец, новый большой завод, который рождался сейчас на пустыре вокруг конфетного корпуса, будет изготавливать машины.

На следующий день надо было выбрать свою будущую профессию,—надо было занять свое место в этом шумном и деловитом людском коллективе.

Для Сахила Хасилова это было просто: он пошел к воздушному молоту, который по его подсчетам был по меньшей мере в сто раз сильнее самого сильного молотобойца в Узбекистане. Но для Акифа Ергашева будущее еще было в тумане.

В этот день, как нарочно, редакция заводской газеты попросила молодых рабочих рассказать новичкам о своих профессиях. И каждый из них горячо хвалил то, над чем он работал.

«Мина рождается у меня в цеху,—писал молодой литейщик Насыр Умаров.—Металл, расплавленный в вагранке и застывший в изложнице—это остов мины, над обработкой которого будет работать весь завод. Разве может быть что-нибудь увлекательнее профессии литейщика?»

«Ты рожаешь грубый остов мины,—отвечал Насыру Умаров сборщик Тимофей Кирей.—А я из отдельных деталей собираю готовую мину. Мы, сборщики, из рук в руки передаем ее бойцу на фронте. Разве это менее почетная, менее ответственная задача?»

«Но разве есть что-нибудь прекраснее благородного искусства токаря?»—спрашивал Гафур Файзиев,—искусства правильно заточить резец, правильно выбрать угол и скорость резания?»

Только поздно вечером Акиф Ергашев твердо решил: он будет токарем.

Вначале его поставили к станку, на котором

производилась черновая обдирка деталей. За станком стоял старый мастер Дунин, приехавший с этим станком.

Первые часы Дунин работал и объяснял. Ергашев смотрел и слушал. Он видел только руки мастера и резец станка. Он слышал только голос Дунина. Все остальное—вся шумная жизнь цеха проходила мимо его сознания.

Сначала Акифу казалось, что он никогда не уловит смысла и последовательности движений. Но к обеду они стали для него понятны, ясны, оправданы. И после перерыва он должен был сам пустить станок.

Обедать Акиф не мог—он волновался. Но когда Дунин велел ему самостоятельно приступить к работе, Акиф сразу успокоился. Не спеша он повторил движения своего учителя. Ему казалось, что он сделал точь в точь то же, что десятки раз делал перед ним Дунин. Но очевидно глаза молодого садовода еще не научились контролировать руки, а руки не умели мгновенно слушаться приказаний глаз. Получилось коряво. Но все-таки что-то получилось.

Акиф чуть не плакал. А Дунин был доволен. «Из этого парнишки выйдет толк,—сказал он своему приятелю Головенко.—У него есть хватка, глазомер и упорство».

Старый мастер не ошибся: у Акифа было очень много упорства—и через три дня Ергашев дал первую деталь без брака, а еще через десять дней Акиф к концу смены сдал полную норму деталей—200 штук.

Этот день, он, вероятно, будет помнить всю жизнь. Ему казалось—он постиг все сокровенные тайны благородного искусства токаря. Теперь ему будет подвластен любой станок, и он выточит любую деталь.

Он не сказал этого Дунину, но по блеску глаз своего ученика старый мастер разгадал гордые мысли Акифа. И тут молодой токарь впервые услышал термин: «технология для малышей».

Дунин так и не успел растолковать Акифу, что это значит—мастера вызвал к себе начальник цеха. Но в этом термине Акиф почувствовал что-то снижающее его победу.

Вечером в общежитии Ергашев заговорил об этом со сменным инженером Жуковским. И понял горькую истину.

Правда, Дунин перегнула палку, чтобы сбить спесь со своего ученика: то, о чем шла речь, называлось «технология для подростков». Но сущность от этого не менялась.

Короче говоря, инженеры завода, получив в свои цеха зеленую молодежь, разукрупнили

сложные операции. То, что обычно делал один токарь на одном станке, должны были выполнять несколько токарей на нескольких станках. Операций становилось больше, но каждая из них была элементарнее, проще. Это позволяло быстро обучить подростков работать без нянек и брака и буквально в несколько дней превращать пятнадцатилетнего новичка в самостоятельного рабочего.

Это было мудро. Но Акиф понял: он поднялся только на первую ступень—не больше. И его мечтой стало освоить сложный революционный станок, для которого был неприменим термин „технология для малышей“. Это был „взрослый“ станок, с „технологией для зрелых мастеров“.

На следующий день Акиф попросил Дунина начать работу на новом станке. Дунин резко отказал. Нет, пусть Акиф поработает на старом станке, пусть он научится мерить время долями секунд, пусть цифра 200 превратится в 500, и тогда—и только тогда—можно говорить о новом станке.

Для Акифа начались месяцы настойчивой упорной работы. Сначала все шло гладко. До цифры 300 он дошел быстро. Но дальше каждый десяток лишних деталей давался с большим трудом.

Ранней осенью 1942 года завод объявил соревнование по профессиям.

Условия были суровы. Изюм дня в день весь месяц план должен неуклонно выполняться. Брак должен быть сведен до предельного минимума. И главное—каждый участник соревнования обязан обучить за этот месяц двух новичков.

И Акиф стал учителем. Его первым учеником был Иосиф Морщинер, парнишка из Житомира. Ему было всего лишь четырнадцать лет. Но глаза его смотрели внимательно, руки были проворны и ловки—и Акиф с ним быстро подружился.

Второй ученик смущал до-нельзя. Это была 42-летняя Ольга Евгеньевна Батурина, жена рабочего, убитого на фронте.

Вначале Акиф готов был решительно протестовать. „Какой толк от этой старухи!“—возмущался он. Но его разубедил Насыр Умаров.

В литейный цех всего лишь две недели назад пришла такая же „старуха“—Екатерина Львовна Ткачева. Ее знал весь завод: она торговала в книжном киоске. И через две недели в этом „мужском“ цехе первая и пока

единственная женщина-литейщица начала выполнять норму.

„Кто знает, может быть, и моя старуха не подкачает?“—уже колебался Акиф. К тому же в глубине души ему льстила возможность стать учителем женщины, которая по возрасту была старше его матери. И он согласился.

Начался месяц соревнования. За себя Акиф был спокоен: он действительно научился считать свое время долями секунд, и за цифру 550 он мог поручиться. Но ученики?

Особенно его волновала Ольга Евгеньевна. Токарный станок ей положительно не давался. И хотя Акиф, подражая своему старому учителю, внешне всегда был спокоен и сдержан, но внутри у него все кипело, когда он видел, как нескладно орудовала его ученица у такого простого, такого, казалось бы, родного токарного станка.

Перелом произошел неожиданно. Очевидно, что-то очень нужное, основное поняла Ольга Евгеньевна. Она перестала робеть. Движения ее стали уверенными, четкими. И за пять дней до окончания соревнования она уже легко выработывала норму...

15 октября жюри должно было объявить результаты соревнования. В этот день у Акифа смена начиналась в восемь утра. Солнце только что показалось из-за гор. Было прохладно. Но день обещал быть солнечным и теплым.

Акиф прошел проходную. И ему невольно вспомнился дождливый день прошлой осенью: пустырь, развороченная земля, станки под открытым небом.

Как все это далеко!

Тот единственный цех, в котором вначале предполагали варить повидло и который был единственным зданием на территории будущего завода, теперь казался замухрышкой среди новых светлых просторных корпусов. Пустырь перестал существовать. На площадке завода стало тесно. И только одно осталось от прошлогоднего: двадцатилетний рабочий по-прежнему считался стариком. Завод был и оставался заводом молодежи.

Пройдя проходную, Акиф увидел портреты победителей. Третьим справа он узнал себя. Под портретом четко стояло:

„Акиф Ергашев, токарь“.

У ворот цеха Акифа встретил Дунин. Он молча пожал ему руку и, пряча улыбку в рыжие усы, сказал нарочито небрежно:

— Ну что же, Акиф, пора начать работу на том станке. Помнишь?

Камтар Атабаев

ЛВЫ УЗБЕКИСТАНА

Услышав призыв вояды,
встают пробужденные лвы,
На бой из страны цветов
идут закаленные лвы.

В них яростный гнев горит,
они ненавидят врага,
Узбекистана сыны,
на воле рожденные лвы.

Любят они свой народ,
и партия им дорога.
Тысячу жизней за жизнь
берут возмущенные лвы.

В эти великие дни
не скроешь, кто трус, кто герой.
В битвах за счастье людей
храбры разъяренные лвы.

В схватках пощады врагам
они не дают никакой,
Сталиным, нашим вождем,
на бой вдохновенные лвы.

Видит весь мир, как сильны
узбекской отчизны сыны,
Чистые сердцем бойцы,
с душой непреклонно лвы.

В мир справедливость несут
с народами нашей страны
Узбекистанской землей
на воле рожденные лвы.

Перевел с узбекского *Сергей Городецкий*

...

Туробтула

КАК ЯСНЫЙ МЕСЯЦ...

Как месяцу обходит назначенный круг
И на небе вновь предо мной,—
На войну уезжай, мой веселый друг,
И с победой вернись домой!

Пусть в битве не дрогнет твоя рука,
Пусть гибнут проклятые орды врага,
Вери нам отчизну, что так дорога,
И с победой вернись домой!

Пусть конь твой крылатый летит в облаках,
Расстопчет тевтонские крепости в прах.
С обутленным черепом вражьи в руках
И с победой вернись домой!

Мой воин! В боях я тебя сберегу,
Тюльпаны тебе соберу на лугу,
Лови их дыхание, сквозь дым и пургу
И с победой вернись домой!

В поход уезжая, мне в очи взгляни
И светлую силу мне в душу вдохни,
Рукой издалека подруге махни
И с победой вернись домой!

Как месяцу обходит назначенный круг
И на небе вновь предо мной,—
На войну уезжай, мой веселый друг,
И с победой вернись домой!

Перевела с узбекского *Светлана Сомова*

...

Бандитов накрыли на месте преступления. Каждый из них держал в передних лапках по яйцу. И все они бежали в одном направлении. А навстречу им бежали налегке их собраты — тоже за драгоценной ношей.

Бандиты были крошечные — муравьи самой мелкой породы. Но и яйца тутового шелкопряда очень малы. Непривычный глаз легко спутает их с маковым семенем — по форме, цвету и размеру.

Тут агроном разгневался всерьез. Налицо был явный недосмотр инкубиста. Стоило только вставить каждую ножку стола в пиаду с водой — и путь муравьям на стол с греной был бы отрезан.

Инкубаториев в районе немало. Червоводен — индивидуальных и общественных — много. И день за днем вышагивает агроном по пыльным дорогам, чтобы держать в поле зрения все 45 колхозов своего Алтын-Кульского района, в которых имеется промышленное червоводство.

Тот, кто, подтягивая стропы, спускается под распахнутым куполом парашюта в расположение ненавистного врага, вряд ли думает в это время о мелкой россыпи грены, о прожорливых, с невероятной быстротой растущих червях, о крупных белых и желтых, перетянутых посредине коконах, каждый из которых дает до 800 метров тончайшей шелковой нити. Вполне возможно, что парашютист и не знает об условиях и методах выкормки червей, о замечательных свойствах паутинной шелковой ткани, уступающей в крепости волокну, но не менее прочной, чем стальная нить, равная ей по толщине.

Но он думает о людях — о тех далеких по расстоянию, но близких и родных ему советских людях, кто в знойной Ферганской долине своим напряженным, кропотливейшим, неутомимым трудом выводят и растят гусениц, чтобы перевыполнить план сдачи коконов. На заготовительном пункте куколки, находящиеся в коконах, будут заморожены в паровой камере или сухим раскаленным воздухом. Потом их отвезут в Фергану или в Маргелан, их размотают на фабрике, и другие советские люди, с такими же сухими от ненависти глазами, ни на минуту не отрываясь мыслью от тех, кто бегает за родиной на фронте, сошьют из упругого шелка парашюты.

...Изо дня в день вышагивает агроном по

сухим, пыльным дорогам плодородной Ферганской долины. Он пересекает по большому добротному мосту грандиозное сооружение человеческих рук — Большой Ферганский канал. Многоводные, стремительные, мутные от плодородного ила арыки журчат кругом — от магистральных, похожих на бурные реки, до мельчайших, проведенных в самом сердце полей. Арыки пересекают друг друга в разных уровнях — один проходит под другим в тоннеле, один переходит другой по деревянному лотку. Колеса медленно вращаются против течения большого арыка и, зачерпывая из него воду длинными узкими кружками, изливают ее в верхний арык. Небозримые поля «пахты» — хлопка, белого золота, лежат кругом и мреют в знойном мареве. Группы и рощи шелковичных деревьев разбросаны по полям.

Непередаваемой, отравной горечью пахнет мята по обочинам дорог.

Агроном входит в колхозную улицу. Нескончаемые дувалы тянутся по обеим ее сторонам. Дувалы сливаются с серой высохшей землей. Глубокая, щедрая зелень и журчащая вода оживляют улицу. В голубом, ни одним облачным пятнышком нетронутым небе неистовствует раскаленное солнце.

Токнув прочную деревянную дверь, вделанную в глиняный дувал, он входит во двор. Теленок лениво чавкает в углу. Переплет сквозного навеса перевит виноградными лозами, и грозды крупных, налившихся ягод свисают суживающимися концами, как опрокинутые конусы. Больше, разлапистые, низко от земли начинающие ветвиться деревья бросают обильную тень. За невысокой загородкой, плечом к плечу, стройными рядами, как солдаты, стоят стебли жужары. Невозмутимая тишина.

Его встречает Рабихан Гайзиева — молодая черноволосая женщина, с неторопливыми и вместе с тем уверенными движениями — лучшая инкубистка района, давшая в весеннюю выкормку стопроцентное оживление грены.

Агроном идет за ней в помещение, где лежит грена второй, летней выводки.

Маленькие окна приоткрыты и затемнены — в помещении полумрак. Земляной пол смочен водой, чтобы поддерживать нужную влажность воздуха. На улице жарко, но здесь — прохлада. Агроном проверяет термометр и психрометр. Ножки стола — в пиадах с водой. На столе стоят

открытые коробки с мельчайшей твердой икрой грены — по 25 граммов в каждой коробке.

Агроном доволен: здесь все в порядке.

Впрочем, Рабихан и сама знает, что работает она хорошо.

Глубокая тишина и спокойствие инкубатория скрывают за собой упорный труд. Разница в температуре между инкубаторием и наружным воздухом в разгаре среднеазиатского лета должна быть очень значительной. Чтобы поддерживать ее, нужно тщательно и во время проветривать помещение, завешивать окна, непрестанно следить за температурой. Нужно сохранять определенную степень влажности воздуха. Все это требует сосредоточенного, неотрывного внимания.

Рабихан Гайзиева работает напряженно и самоотверженно. Грена капризна и требовательна к температуре воздуха. Температура в инкубатории, например, во время весенней выкормки должна поддерживаться на уровне 11—12 градусов. Потом ее медленно повышают, прибавляя по одному градусу, а червячки выходят из грены при 23—24 градусах.

Да, и за дальнейшие результаты работы Гайзиевой можно быть вполне спокойным.

...

Короткий отдых — и снова дорога, и снова ряды колхозных дувалов. В колхозе имени Фрунзе, Талмазарского сельсовета, агроном, отирая со лба струящийся как вода пот, входит во двор колхозницы Рисалат Ибайдуллаевой. Он интересуется, как она, червовод с одиннадцатилетним стажем, готовится к третьей выкормке.

Женщина средних лет с ярко-черными волосами и слегка косо расставленными монгольскими глазами, спокойно и деловито рассказывает, какую она подготовила площадь для выкормки, как колхоз обеспечивает ее кормом.

Первая выкормка прошла у нее блестяще. Она дала 227 процентов выполнения плана.

По плану ей полагалось дать 33,4 килограмма коконов с коробки, а она сдала с каждой коробки 74 килограмма.

Нет, все это достигнуто не так просто и легко, как может показаться незнакому глазу. На заводе, на фабрике, в шахте, на транспорте человек управляет машиной, орудуя инструментами. Электричеством и паром напоминая о себе на каждом шагу. Шум, грохот ударов и лаг металла тревожат слух.

Работа по получению шелкового сырья протекает в глубокой тишине и неподвижности. Не-

нарушимая тишина царствует в инкубатории — кому и чему здесь шуметь? Тихо в червоводне — лишь слегка шелестят гусеницы, переползая по зеленым листьям. У червовода нет никаких инструментов. Безмолвно работают сортировщики коконов во дворе коконосушилки, отделяя коконы разных пород одни от других. Безмолвно умирают куколки в морильных ящиках, задвигаемых в камеру морилки, где их убивает 75—80-градусный жар. Тихо протекают на грензаводе все операции.

И все это — труд, настойчивый, а сейчас, в дни Отечественной войны, напряженный как никогда. Здесь куют оружие, как на оружейном, минометном, снарядном, пороховом заводе.

В период выкормки Рисалат не знала спокойных ночей. Трижды и четырежды в ночь просыпалась она и, преодолевая усилием воли притягивающий к подушке сон, поднималась и шла в комнату, где ползали и пожирали листья гусеницы. Они никогда не спят. Жизнь их коротка. Они высыпятся потом, завернувшись в упругий твердый кокон — сон их, похожий на смерть, будет длиться пять дней, а на шестой они превратятся в бабочек — если только им повеселилось попасть в небольшое число оставшихся на племя.

А пока — они не теряют времени, они поглощают корм в огромных количествах и растут с невероятной быстротой. Давно ли они вылупились из грены и были так малы, как ее крохотные зернышки, которых приходится около тысячи на грамм? И вот — они уже доходят величиной до человеческого мизинца и скоро начнут завертываться в тончайшую коконную нить.

Конечно, можно задать им корм на всю ночь. Но листья, полежав, сохнут и черствеют, а корм должен быть свежим и влажным, и к тому же большое количество его, насыпаемое сразу, не дает гусеницам вольно двигаться и свободно дышать.

А гусеницы должны есть все время сочный и свежий корм, чтобы им было привольно, чтоб они нормально развивались и быстро росли. Они должны хорошо питаться, чтобы их не настигали болезни, несущие выразительные названия — чахлость, мертвенность, желтуха и другие. Здоровые гусеницы дадут наибольшее количество шелка. Шелк нужен «ренту!»

Эта мысль бодрила Рисалат во время ее ночных бдений, удесятерила ее силы и выносливость.

Ранним утром, когда на траве еще поблескивают слезы росы, еще веет прохладный

ветерок, и солнце бросает первые косые лучи, она расстается с постелью.

И начинается трудовой день. Работу червовода она совмещает со своими хозяйственными делами. Они не ждут. Надо убрать двор и дом, надо постирать на себя, мужа и детей, надо накормить ребят, позаботиться о скотине — мало ли работы у крестьянки в своем дворе? Муж — в поле. Он работает над другим важнейшим оборонным сырьем — хлопком. А дома надо заниматься приусадебным участком, во время прополоть посеvy, держать в порядке арык... Эти домашние дела мелки и кропотливы, их не перечесть и никогда не переделаешь.

Но в горячие дни выкормки — все это на втором плане. В центре внимания — гусеницы. С утра надо приготовить, привезти корм. Каждые полтора-два часа гусеницам подается свежий корм.

На пять возрастов делится условно период развития гусеницы — от гренды до кокона. Каждому возрасту для лучшего роста нужна определенная температура помещения.

При оживлении грены требуется температура в 23—24 градуса, при заивке 20—21 градус. Вот с какой точностью приходится работать червоводу! И это тоже требует немалого труда. Во время первой, весенней выкормки, бывают обильные дожди, чрезмерно напитывающие воздух влагой, случаются прохладные дни и холодные ночи. В помещении ставится печка. Нужно готовить топливо, нужно систематически топить, но не слишком много, а если комната слишком нагреется, надо во время проветривать ее. Когда гусеницы еще очень малы, надо беречь их от муравьев.

Все эти дни насыщены до предела неотрывным вниманием, непрерывной заботой.

Наконец, гусеницы созрели. Они стали вялыми, неподвижными. Они выпускают нить и, насадив ее бесконечными рядами, в течение недели завиваются в плотные коконы. И вот лежат плоды ее трудов — многочисленные коконы.

Их отвесят на коконосушилку вместе с коконами, выращенными другими червоводами колхоза, но коконы каждого червовода упакованы отдельно. Это для того, чтобы их можно было отдельно взвесить. Каждый червод получает от приемщика корешок ордера, а ордер сдается колхозу.

Таким образом всегда известно, сколько и каких (по сортности и породам) коконов сдал каждый. Кроме того, колхоз может рассчитывать с каждым червоводом за выработанные им трудовые дни.

Теперь Рисалат готовится к следующей выкормке. Агроном, крупно шагая по комнате, проверяет метраж предназначенного для выкормки помещения — гусеницам не должно быть тесно. На коробку грены весенней выкормки полагается 50—70 квадратных метров. Слишком большая площадь тоже вредна, гусеницы расползаются, а в одиночку едят вяло. Он устанавливает кубатуру — воздуху должно быть достаточно. Он осведомляется, как будет организована доставка корма, заходит в правление колхоза, чтобы вместе с председателем проверить кормовой фонд. И идет дальше — он должен быть в курсе всего, что делается шелководами района.

Агроном приходит в колхоз Айгур Кумайского сельсовета. Здесь живет одна из лучших звеньевых района, Рабихан Маматкулова, молодая, двадцатипятилетняя женщина. Звеньевой она работает недавно — с 1941 года, но работает прекрасно. Впрочем, дело червовода знакомо ей великолепно — ведь она семь лет была занята им. Для первой выкормки ее звено получило 5 коробок грен — 125 граммов яичек шелкопряда. По плану полагалось сдать 247,5 килограмма коконов. Но все десять червопроводов звена работали старательно, а звеньевая умело руководила ими. Дали 150% плана. За этими килограммами — добавочное количество шелка, а значит — больше парашютов, больше шелковых ниток для зашивания ран после хирургических операций — тонких, упругих, легко рассасываемых организмом ниток. Кто знает, может быть, и ее мужу придется воспользоваться этими нитками? Никто не застрахован от случайностей войны — а он уже давно на фронте.

При этой мысли глаза ее разгорятся ненавистью к захватчикам. Она отлично знает, что где бы ни был ее муж — к западу ли от Москвы, в суровой Карелии, на Кавказе — он защищает родную землю, родной Узбекистан, благодатную Ферганскую долину, свой колхоз, свой дом. И ей ли, жене бойца Красной Армии, не напрягать все свои силы, все свое умение в порученной ей оборонной работе?

Теперь она живет одна со стариком-отцом. И все же приусадебный ее участок обработан, и видно, что арык, в котором журчит свежая вода, — только недавно направлен и очищен, его ровные края хранят еще следы кетменя.

Уже темно. Взрагивающая россыпь звезд сияет в безлунном небе. Отчетливо виден пересекající его, раздваивающийся млечный путь. Завтра агроном отправится в Андижан — сегодня он переночует здесь, в доме гостеприимного хозяина. Впрочем — нет, конечно, не в доме: кто же в кишлаке спит летом в доме? Неширокий помост для спанья стоит на очень высоких столбах, похожий на жилище древних людей, спасавшихся в нем от диких зверей. Здесь спасаются от менее страшных, но столь же жадных хищников — комаров, с нудным звоном вылетающих из рисовых зарослей. Сюда ведет приставная лестница, и полупрозрачный полог укрывает с боков и сверху.

Агроном выходит рано утром, по холоду. Бригадир идет с ним в город. Чуть брезжит рассвет. Они идут неспеша — все равно поспеют на грензавод к началу занятий. Несмотря на ранний час, дорога живет полной жизнью. Здесь, до самого Андижана, сплошная заселенность. Нескончаемые дувалы, на каждой калитке — номер и надпись с указанием колхоза, сельсовета, района. По краям дороги, у широких арыков, то и дело встречаются чайханы. Люди сидят на корточках на невысоких подмостках и пьют из пилал душистый кок-чай. Медленно тянутся арбы, бегут, вздымая густую пыль, грузовики и легковые машины. Везут белый, как снег, хлопок на хлопководы. Идут пешеходы. Вот и Старый базар. Он еще почти пуст. Это — уже город. Пройти Старый город — недолго. Грензавод — на малолюдной, богатой зеленой улице Нового города.

На грензаводе тихо. В цеху папиальнажа тонкими слоями лежат в выдвижных ящиках репродукционные и племенные коконы, отобранные с особенной придирчивой тщательностью. Незримая жизнь совершается в них. Глубоким сном спят куколки, но в них бродят жизненные соки, развитие идет своим чередом, и в урочный час созревшая бабочка прорывливает кокон и, расправляя сморщенные крылышки, выходит на свободу.

Обычно она выводится утром от 6 до 10 часов. Ей не дают никуда уйти. В маляньки

бумажные мешочки кладут попарно самцов и самок и оставляют для спаривания на два часа. Потом мешочек распарывают, самца выбрасывают, а самку кладут в мешочек, и она сейчас же начинает откладывать свои крохотные яички. Откладывание продолжается три дня, и самка дает от 400 до 600 яичек. Через месяц их рассортируют, выбросят светлые — неоплодотворенные — кладки, а темные — оплодотворенные — рассыпают в кисейные мешочки, и до октября они будут храниться в полутемном, прохладном и влажном гренохранилище. В середине октября их промоют чистой водой, развесят по 25 граммов и положат на зимовку до 15—20 марта. А потом готовые порции по 25 граммов разложат в коробки и раздадут инкубистам. Новое поколение бабочек начало проходить свой цикл развития, чтобы подавляющее большинство их, не закончив этого цикла, попало в мориак.

Больше, как можно больше шелка! Фронт требует! Его голос доносится сюда и заставляет людей удесятерять свои усилия. От инкубиста до работников государственного контроля, в последний раз проверяющих микроанализ, — все слышат этот властный голос и подчиняются требованию фронта свою волю, свое умение, отдают все свое время и свой труд.

Агроном получил грену для третьей, осенней выкормки. Эта гrena будет роздана по инкубаториям, и вновь начнется цепь циклов развития шелкопряда.

Парашютист никогда не видел всех этих людей. Он не слышал имен агронома Лысева, Гайзиевой, Ибайдуллаевой, Маматкуловой. Он не знает процессов их работы. Но он чувствует их за своей спиной — червопроводов, звеньевых, бригадиров, агрономов, работников грензаводов — тех, кто выводит гусениц и морил коконы, кто готовил грену, кто разматывал шелк, кто ткал, кто шил парашют, кто укладывал его. Все они идут с ним в бой.

ШЕЛКОВЫЕ РУКИ

Звонких труб и струн приветы
 прозвучали — ради вас,
 У детей в руках букеты
 трепетали — ради вас,
 Будто вспыхнула комета
 в этом зале — ради вас,
 Люд нарядный волны света
 заливали — ради вас,
 И звенел в устах поэта
 строй газели — ради вас.

Крылья — дело рук прекрасных,
 плод усердного труда,
 Чтоб удар десантов красных
 враг запомнил навсегда,
 Чтоб нечисти в отчизне
 не осталось ни следа,
 Чтоб вода в потоке жизни
 не мутилась никогда —
 Кровь орлы на поле боя
 проливали — ради вас!

Белый цвет вы собирали
 с шелкового цветника!
 Золотая то рука ли,
 шелковая ль то рука —
 Вместе чудо-ткань соткали,
 что — крепка, тонка, легка.
 Крылья братьям вы соткали!
 Покидая облака,
 Крылья в воздухе герои
 распускали — ради вас!

Перевязи острых шашек
 Пусть же будут — шелковые!
 Пусть подруги коней наших
 Тоже будут — шелковые!
 Пусть знамена боевые
 Тоже будут — шелковые!
 Пусть белье бойцы родные
 Тоже носят — шелковое!
 Вы сумеете исполнить
 Этот сталинский наказ.

Перевел с узбекского Владимир Державин

ДОЛИНА СОЛНЦА

Посвящается Республиканскому слету
 передовиков — шелководов

Долина солнца, светлых дней долина,
 Немеркнувших в ночи огней долина,
 Долина вдохновенного труда,
 Где светит благоденствия звезда.
 Долина неустанных созиданий,
 Долина исполнения желаний,
 Долина, чей отчизне лучший дар —
 Львы-сыновья такие, как Кучкар!
 Долина дружбы, помощи долина,
 Откуда взвился выводок орлиный,
 Долина золота и жемчугов
 Где зреет гром на головы врагов!

К тебе пришли те люди, чьи усылы
 Ткут для героев боевые крылья,
 В чьих пальцах дивно расцвели ковры
 Коканда, Самарканда, Бухары.
 Сегодня, как живой ковер зеленый,
 Твое цветет, твое сверкает доно,
 О, празднично гудящий Маргелан,
 Стихи в сердцах будящий Маргелан!

Встает над бурей боевого года
 Победы вестник, праздник шелководов.

Здесь все, кем мы гордимся — Хайрихан,
 И наша Музаррам и Угулхан,
 Все те, что шелку труд свой посвятили
 И рудники сокровищ нам открыли,
 Отправившие на войну сынов,
 Устроившие жар своих трудов.
 Среди молодых не назовется старой
 Хашияхон — мать нашего Кучкара.
 Она блистает, как Муштар-звезда
 На небе вдохновенного труда.
 И тысячи сынов с Кучкаром вместе
 Фашистов бьют на поле бранной чести.
 За мать-отчизну, за свободный труд,
 За белый кокон, за зеленый тут,
 За шелк сияющий, как снег нагорный,
 Дерутся наши львы с ордою черной!
 За тень прохладных политых дорог
 И за отрадный отеческий порог.

И от осколков бомбы иль шрапнели
 Очистив раны на сыновнем теле,
 Врач мягким шелком зашивает их;
 О мать, тот шелк — работа рук твоих!
 Любая связка коконов для боя
 Стрелою обернется громовою,
 Милльоны парашютов, как пурга,
 Смерть понесут на голову врага.
 Он предрешен — исход борьбы жестокой,

Звезда победы блещет нам высоко!
 Не воды, кровь течет в русле Днепра,
 Пропали кровью ливни и ветра.
 Там люди стонут под драконьей властью,
 Сердца от горя рвутся там на части.
 Там каждый мученик — нам брат родной,
 Ведь все мы — дети матери одной.
 Мы отомстим врагу за их страдания,
 Мы укрепим великой дружбы зданье.
 Мы все пойдем в строю передовом
 На нашем славном фронте трудовом.
 На вражьи орды мы потоком хлынем,
 На вражьи орды горы опрокинем,
 Петлю для нас, сплетенную врагом,
 На вражьи шее туго захлестнем.
 И сядем под атласными шатрами
 Мы отдыхать с любимыми друзьями
 И петь победы песню на пирах
 В шелках одежд на шелковых коврах.
 Тому ж, кто мудро — твердою рукою
 Народ наш приведет в страну покоя
 Тому, кто неусыпно среди нас
 Присутствует, как друг, в опасный час,
 В победы день, сойдясь на праздник вечный,
 Мы возгласим ему привет сердечный
 И шелком, лучшим шелком дорогим
 Ему с любовью плечи облачим!

Перевел с узбекского Владимир Державин

ПЕСНЯ ДЕВУШКИ

В подставленный передник
 С шелковиц лист летит,
 Чтоб тихий привередник —
 Мой шелкопряд был сыт.

Чтоб я из шелка шила
 Подарок для тебя,
 Парашютистов милых
 Всем сердцем полюбя.

У нас в Узбекистане
 В шелках мы знаем толк,—

Петлей для немца станет
 Узбекистанский шелк.

Для милого героя
 Девичьи руки шьют.
 Бери в полет с собою
 Мой верный парашют.

Как снег из тучи, падай
 На голову врагам.
 Спасибо шелкопряду
 И тувовым листам.

Перевел с узбекского Ник. Ушаков

ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ

Если бы это случилось в мирное время, если бы тогда два десятка советских людей, энтузиастов и патриотов, сумели великим трудом, почти на ровном месте, в неимоверно краткий срок, преодолевая на ходу бесчисленные препятствия, создать фабрику-гигант, одновременно возводя стены, настилая крыши, устанавливая оборудование; если бы они, переделывая станки для увеличения производительности, пускали бы в ход корпус за корпусом и наряду с этим, набрав новые, совершенно неопытные кадры, успели бы обучить их так, чтобы через полгода после начала всей работы уже стала поступать продукция, — если бы все это случилось в мирное время, многострадальная советская печать разнесла бы по всем уголкам нашей страны, по всему земному шару весть о замечательных сталинских людях и об их ни с чем несравнимом творческом порыве.

Но кто знает теперь о победе бойцов на советском трудовом фронте, одержанной ими в Средней Азии? Здесь, в изумрудной Ферганской долине, в древнем центре шелководства и шелкоткачества, они создали шелкокомбинат, являющийся ныне крупнейшим в СССР предприятием по производству шелка, а по многогранности своего технологического процесса — крупнейшим предприятием в мире.

Огромная производительность комбината (его шелкомотальная фабрика одна вырабатывает столько грежи, сколько остальные шелкомотальные фабрики, вместе взятые) опирается на неисчерпаемую и все более растущую сырьевую базу. В декабре 1940 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановили, что Узбекистан должен за ближайшие 6—7 лет увеличить сбор коконов в два раза, доведя их заготовки в 1947 г. до 20 000 тонн, а урожая — до 50 килограммов с одной коробки грежи; постановлено также увеличить кормовую базу шелководства с тем, чтобы она позволяла выкормить не менее одного миллиона коробок грежи.

Из всех этих мероприятий, нашедших свою подробную конкретизацию в дополнительном документе СНК УзССР и ЦК КП(б)Уз, на долю Ферганской долины, как центра шелководства СССР, приходится цифры максималь-

ные — идет ли речь о кормовой базе, или о червокоормлении, или о гренеже, или о подготовке кадров. Но все эти цифры реальные, осуществимы и обеспечивают могучий рост шелководческой базы. Он продолжается в суровые дни войны. Вот яркий пример: в 1942 г. шелководство в Ферганской долине почти полностью перешло на обобществленные формы производства. Результат — возросшая урожайность коконов и появление необходимых условий для правильной агротехники. А все это — предпосылки дальнейшего, неустанныго, цветущего роста Ферганского шелководства.

Война определила собою богатырский, героический труд первых работников комбината, а затем всей людской массы, наславшейся вокруг них, увлеченной их патриотическим рвением.

...

Год тому назад, в безоблачной небесной сини Узбекистана, так же неистово плавилась солнечная лава. Потоки раскаленного воздуха терзали иссохшую землю, песок, камни. Изредка здесь проходил одинокий истомленный путник, черноногий, смуглолицый узбек в распахнутом на груди халате. А ныне тут высится огромный корпуса крутильно-приготовительного цеха, полные грохота машин. Год назад здесь стояли заброшенные служебные помещения шелкомотальной фабрики; теперь все эти помещения, склады, гаражи преобразились в многолюдные корпуса ткацкого цеха, где так много жизнерадостных девичьих лиц.

До сентября 1941 г. на территории комбината существовала только шелкомотальная фабрика, построенная в 1929 г. В сентябре сюда было эвакуировано оборудование нескольких фабрик центральных районов. Вместе с этим оборудованием приехали первые строители будущего гиганта, 22 московских proletария — монтажники, ткачихи, сновальщицы.

Нужно было немедленно установить привезенное оборудование и пустить его в ход. Время не позволяло строить специальные кор-

пуса. Пришлось взять помещения подсобные, порою вовсе непригодные, и тотчас же начать их переделку или достройку.

Огромная работа по созданию нового комбината происходила по директивам правительственных и партийных организаций Узбекистана, оказывавших строительству всевозможную помощь — транспортом, лесом, мобилизациями рабочей силы и т. д. Особенно важно отметить энергичную деятельность Ферганского Обкома КП(б)Уз в лице тогдашнего заведующего промышленным отделом тов. Ведения. Неустанную помощь строительству оказывал также тов. Рахманов, секретарь Горкома КП(б)Уз.

В условиях мирного времени на постройку такой фабрики, как крутильно-ткацкая, ушло бы три с половиной или четыре года. И кажется чем-то легендарным, что создана она в течение всего полугодия.

Это была невиданная работа! Инженеры-строители еще планировали фабрику, в то время как монтажники уже устанавливали оборудование в помещениях, устраиваемых каменщиками и плотниками. На крышах корпусов стучали кровельщики, на стенах висели штукатуры и электромонтеры, а внизу, в ямах (пола еще не было) возились монтажники, занятые сборкой машин.

На ходу происходила и установка оборудования, и сложная реконструкция станков, и обучение новых кадров, и ввод оборудования в эксплуатацию.

Всем пришлось начать с работы грузчиков: люди шли к горам привезенных ящиков, доставали из них оборудование, подтаскивали его к рабочему месту и приступали к сборке станка.

Работали в помещениях полуоткрытых, а то и вовсе лишенных крыши. Отопления не было, лишь в корпусах крутильного цеха удалось поставить временные каменные печи. Зима 1941—1942 гг. была в Узбекистане на редкость суровой. Морозы доходили до 15°. Рука примерзала к металлической детали. Падая снег и заносил машины. Шли дожди, стены отходили, и с них, как и с непросохнувших цементных потолков, текло на станки, на работавших в грязи людей. Ветер засыпал машины мельчайшим песком. На них оседала копоть от временных печей.

Машины, станки и все детали приходилось ежедневно чистить. Чистой были заняты не только монтажники, но и крутильщицы, и сновальщицы, и ткачихи с их учениками.

С одеждой было неважно. Телогрейки и

рукавицы были выданы некоторым категориям рабочих только в декабре. Люди надевали на себя всю одежду, какая у них была, вниз — то, что жалко было пачкать: хорошее драповое или зимнее пальто, а сверху — то, что было решено принести в жертву: какой-нибудь дождевой плащ. И с медвежьей неуклюжестью люди ревностно возились около станков.

Неважно было и с питанием. РСФСР пока не существовало. Рабочим приходилось в иные воскресенья, вместо отдыха, ходить в соседние кишлаки, чтобы достать продовольствие.

Приехавшие из Москвы основные и ведущие работники были на 50% больны, главным образом, простудными заболеваниями. Трудные условия работы изматывали их не хуже гриппа. Но болезни не останавливали их. Биолетей не брали. Царил огромный творческий подъем, радость борьбы со всеми трудностями, великая патристическая радость созидания мощного заводского гиганта, выраставшего с каждым днем.

Но переутомление все же давало себя знать. Ведь работали по 13—14 часов, выходных дней почти не было. Иной раз в субботу рабочие не без удовольствия мечтали о предстоящем отдыхе. Но вдруг в цеху появлялся главный инженер комбината тов. Зайцев.

— Завтра работаем! — кратко говорил он.

— Как же так? — слышались одиночные голоса. — Домашних дел накопилось...

Тов. Зайцев выражал крайнее удивление — и даже с оттенком порицания:

— Но ведь вы же отдыхали в позавчерашний выходной!

И вопрос был исчерпан.

Работа по строительству нового промышленного гиганта встречала широкую поддержку со стороны местного населения. Оно охотно и активно помогало своим транспортом строительству крутильного цеха, подвозя кирпич, цемент, гравий, песок. Оно проводило кампанию по сбору электроламп, когда в комбинате обнаружился недостаток в них. Наконец, оно выделило из своей среды несколько сот человек, проходивших первоначальное обучение на другой фабрике.

Большую техническую помощь новому комбинату оказывал и оказывает Узбекский научно-исследовательский институт шелковой промышленности. Он оборудован новыми преисходными машинами сортировочный цех шелкомотальной фабрики. Он положил много сил на изобретение заменителей дефицитных материалов, например, для изготовления деталей кокономотальных станков, изобрел заме-

нитель дефицитного олеинового масла, разработал сокращенный технологический процесс кокономотания и шелкокручения, широко внедряемый сейчас на комбинате, и т. д.

• • •

Но вот станки были установлены, за них стали рабочие-ткачи. Как непохожа была обстановка работы на прежнюю! Они уже давали продукцию и притом в нарастающем темпе, а под ногами у них все еще были ямы, электропроводка была не всюду, стены и крыши не всюду были закончены. Но работа шла, и страна с каждым днем получала все больше шелка.

В круг работы монтажников, помимо установки самого оборудования, входила и сложная задача переделки одночелночного станка на двухчелночный.

Механизмы двухчелночного станка созданы были в Москве, в первые месяцы после начала Великой Отечественной войны. Шесть приезжих советских мастеров в порыве патристического подъема сконструировали этот нужный родине прибор и передали свои авторские права в фонд обороны. Этот прибор, вытеснивший громоздкое приспособление, изготовленное шелкоткацкой лабораторией, помог быстро произвести реконструкцию станков.

Атмосфера московского изобретательства перенеслась и на комбинат.

В ноябре обнаружилась нехватка электропроводов. Пустить же установленные станки было невозможно. Электротехник тов. Сергеев предложил взять простой медный кабель и устроить временные изоляторы из... трубок от каизм. В городе и в окрестных аптеках были разом закуплены все клистирные трубки. Изоляция удалась на славу, и моторы были пущены. Конечно, это было технически незаконно (теперь все переоборудовано), но тогда было необходимо и помогло выйти из затруднения.

Другой аналогичный случай. При оборудовании второго ткацкого корпуса выяснилось, что трансмиссию нельзя установить на имевшихся колонках. Инженеры А. И. Зайцев, А. А. Турчанинов, Резников и др. просиживали в корпусе дни и ночи, отыскивая возможный выход. Возникла идея пустить трансмиссию под полом (что в ткацкой промышленности — дело небывалое), сплавив передачу двух станков. И этим способом вышли из затруднительного положения.

Изобретательство стало явлением массовым. Затруднения не обескураживали, а только будили творческую мысль. Люди охотно шли на риск, лишь бы не ограничиваться формальным "нет". Не было железа и стали — пустили в ход заменители, а директор и главный инженер лично объездили все кустарные артели, собирая обрезки. Нехватало инструментов — сами делали сверла. Изготавливались разного рода шаблоны, ускорявшие выработку деталей и обучение кадров.

Дух изобретательства ярко сказался и в работе химической лаборатории комбината, научившейся быстро изготавливать всякого рода заменители. Тут умеют сделать и тушу, и заменитель картона. Из жира куколки, которая раньше использовалась только на удобрение, лаборатория изготавливает теперь и мыло, и олифу, и замазку. Мимоходом лаборатория установила, что жир куколки полезен при лечении профессиональной болезни рук у работниц-мотальщиц шелкомотальной фабрики. Наконец, она заметила, что этот жир способствует излечению ожогов и помогает быстрому заживанию ран.

Взаимная помощь, стремление выручить и поддержать товарища — это стало здесь шестым чувством. В сновальном отделе крутильно-приготовительного цеха две мастерицы, тт. Александрова и Сухарева, работают обычно по полторы смены. Но вот тов. Сухарева серьезно заболела. Работать стало некому, и тов. Александрова, решив заменить ее, целую неделю работала по две смены.

— Конечно, я могла бы и уйти, — рассказывает тов. Александрова. — Свои часы отработала, кто меня остановит? Но как уйти, когда сознаешь, что время военное, что работаю для фронта?

• • •

Кадры приходилось готовить тут же, на месте, — и при том в процессе самой работы.

Обученные кадры, пришедшие на комбинат, понадобилось переучивать из-за применения здесь более сложных машин.

Подготовка кадров велась с сентября 1941 г. Сначала учили вручную, без станков. Сроки обучения были жесткие. Ткачей обучали, например, за три недели.

Одна мастерица-крутильщица имела трех-четырех учеников, когда пускали первый ватер. Обучив их, она ставила новых учеников уже к этим обученным, и эти вечерние ученики становились ее помощниками по инструк-

тажу. Точно так же обучали своих учеников мастера-монтажники, уча на работе, превращая их в помастеров.

Это была новая методика обучения, созданная исключительной обстановкой военного времени.

Порою обучать некоторым специальностям было некому, а нужда была крайняя. В таких случаях рабочая масса тотчас же выдвигала из своей среды будущего педагога.

Некому было обучать батанщиков. Тов. Борисов, будучи помастером, в то же время любил столярное дело. Его уговорили освоить специальность батанщика, и он с успехом обучил молодежь.

Молодежь — узбеки и русские — усваивали учебу, за некоторыми исключениями, вполне хорошо. Молодой ткач-узбек, тов. Игамбердиев, происходит из рода ткачей-кустарей, наживавших на этой работе профессиональную сгорбленность. Ознакомление с машиной побудило его порвать с техникой своих предков. „Машина больше тклет!“ — говорит он, радостно улыбаясь. И он видит: машина может делать те же самые ткани, что делали его предки вручную, и даже лучше.

Рабочая масса превосходно перевоспитывала молодежь, до той поры лишенную нужного руководства.

Вот, например, тов. Бурейко. Он был сирота, попал в скверную компанию и до фабрики сидел в тюрьме за хулиганство. Его приняли на работу в качестве слесаря. Он работал по монтажу особых станковых коробок. В Москве на монтаж одной такой коробки полагался день. Увлечшись работой, тов. Бурейко показал техническую сметливость. Примени ряд новых приемов, он добился ускорения процесса и стал выделывать 7 коробок в день. „Мозговитый был парень“, — отзывался о нем тов. Зайцев.

Теперь тов. Бурейко находится в Красной Армии, а его метод продолжает здесь применяться.

• • •

На фронтах Великой Отечественной войны рождаются новые советские люди, которых мы не знали вчера: люди, не ведающие ни страха, ни усталости, люди, полные решимости каждую минуту пожертвовать собою ради выполнения боевой задачи. Таких людей, готовых идти на преодоление любых трудностей ради любви к родине, ради победы, можно найти и на маргеланском шелко-комбинате.

Я хожу по огромным светлым корпусам крутильно-ткацкой фабрики. Я хочу, чтобы люди, работавшие героически, рассказали стране, как они это делали. Но они отказываются говорить о себе и не хотят, чтобы о них говорили другие, так как не видят в проделанной работе ничего особенного.

— Вот вы рассказываете о других, — говорю я главному инженеру Алексею Ивановичу Зайцеву. — Но ведь и вы сколько труда здесь положили, а об этом молчите. Кто же расскажет о вас?

— Да это вовсе и не нужно, — отвечает тов. Зайцев.

Тов. Зайцев работал не покладая рук, в период оборудования фабрики не выходил из цеха днем и ночью, работая бок о бок с мастерами, помогая им, участвуя в их изобретательстве. Ясноглазый, худощавый, подвижной, с боевым орденом на груди, полученным за финскую войну, он весь — воплощение деловой стремительности и целиком поглощен работой для фронта.

Мастера-монтажники тт. Протопопов и Дворцов, установившие в кратчайший срок около 500 станков с одновременным переоборудованием части их на двухчелночные, тоже не видят ничего необыкновенного в своей работе.

— Работали как все, — говорит сосредоточенный, вдумчивый, деловитый Константин Иванович Дворцов. — Трудновато, конечно, приходилось, но ведь нужно было!

Вячеслав Николаевич Протопопов, молодой блондин с мечтательными глазами, вполне разделяет его мнение.

— Что ж такое, что много работали? — отвечает он. — Все одинаково работали, ровно, спаянно. Никакого героизма не было. Даже и говорить неудобно. Мы тут сидели, а сколько наших товарищей на фронте, сколько их уже полегло.

Люди не усматривают ничего исключительного в беспримерно-быстром создании производственного гиганта почти на пустом месте.

— Работали много, — говорит один из руководителей комбината. — Иначе и не могло быть. Вот, например, случай, но опять ничего тут нет такого. При монтаже нужно было приготовить сто деталей для переделки станков. Заказ пошел в Центральную Механическую Мастерскую, но она не была приспособлена к их изготовлению, не имела ни моделей, ни чертежей. И вот, собирают станок, а вместе сотни деталей ЦММ дает сегодня одну и

лишь дня через два другую. Но если на работу по монтажке и переделке одного станка люди в Москве имели пять-шесть дней, то тут для его установки, монтажа и переоборудования они имели только один день. Работать надо было и по 12, и по 18 часов. Значит приходилось выкручиваться своими средствами. Коллектив придумал специальные шаблоны большинства деталей и по этим шаблонам стал подготавливать детали к станкам.

Собеседник оживает:

— Но вот что важно. Не было ни одного случая, чтобы хоть на одном станке, хоть одна часть была сделана неправильно! Это — заслуга и Зайцева, и Дворцова, и Протопопова, и многих других.

И вот, беседуя с этими замечательными работниками, не желаящими говорить о себе, я выношу одно впечатление: впечатление удивительной скромности людей, создавших огромное предприятие. Сначала было 22 человека из Москвы, инициаторов и творцов нового производства, которые работали, не покладая рук. Затем это инициативное ядро обросло новыми людьми — инженерами, рабочими с других фабрик.

Первое ядро строителей комбината растворилось в тысячной массе обученных новых кадров, которые живут одним желанием — все силы отдать фронту для победы над врагом, для окончательного разгрома гитлеризма!

...

К. Шильдкрет

ХИДОЯТ

1

Старая Мариам так безнадежно причитала над племянницей, как будто не на завод ее провожала, а опускала в могилу.

Да и у самой Хидоят побледневшее лицо вытянулось и стало похоже на восковую маску; в немигающих глазах ее застыл страх.

Подруга Хидоят, Кумры, склонилась над старухой и ласково прижалась к ней.

— Плачь, бабушка Мариам... И ты поплачь, Хидоят... Слезы облегчат душу... Слезы смывают всю старую вашу печаль...

Она долго нашептывала слова утешения, и сама едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Мало ли еще в родном и милом краю таких женщин, которым страшно расстаться с ржавыми цепями рабства! Жутко очутиться вдруг вне «ходячей тюрьмы» — паранджи — на широком просторе жизни. Все пугает, как человека, которого после многих лет одиночного заключения внезапно выпустили на волю.

Вышедшая на волю Кумры не могла уже не увлечь за собой других.

— Пора, Хидоят... Пора, Маноп уже сердится... Э — э, он хочет, кажется, плакать,

Маноп.... Тс... тс... Мы идем, мой маленький мальчик... Идем к Гафуру...

Кумры взяла ребенка из колыбели и передала его матери.

— Мир тебе, бабушка Мариам.

Широко распахнув дверь, Кумры почти насильно вывела Хидоят на крыльцо.

С ребенком на руках было еще не так страшно: когда кто-либо заглядывал в лицо, Хидоят стоило лишь наклониться к Манопу, сделать вид, что она занята им, и все обходилось благополучно. Но куда было девать себя по выходе из яслей? Хидоят казалось, что все взоры обращены лишь на нее. О, как кололи душу эти злобные взоры! «Так вот ты какая!» — казалось, говорили они. — По первому зову ты пошла извечный закон... Ты осквернила могилы отца, матери, деда. Так будь же ты проклята!»

Кумры хотела было чем-нибудь отвлечь подругу от тягостных дум, но, вздохнув, подумала: «Пусть будет как будет. Переболевает, как я переболела сама, и все обойдется».

...Но вот они уже у ворот завода. Кумры показала заранее приготовленный пропуск и взяла под руку Хидоят.

— Не дрожи, Хидоят. Тут наш дом. Не надо дрожать, Хидоят... Посмотри: это вагонно-ремонтный цех... Большой, говоришь, как твой кишлак Чинабад? Нет, это еще не самый большой... А тут...

Она не успела договорить, как внезапно заревел паровозный гудок, из-за огромного штабеля вагонной обшивки вынырнул поезд, в то же время завывала заводская сирена, возвестившая обеденный перерыв.

На мгновение все помутилось в голове Хидоят. «Ведь так, в глухую осеннюю ночь, на чинабадских полях воет страшный шайтан».

Смертельно перепуганная женщина стремительно бросилась бежать.

Недоумевающий караульный схватился за винтовку.

— Ни с места! Стой!

Хидоят зашаталась и упала на руки подоспевшей Кумры.

— Домой! Хочу домой! Отведи меня домой, Кумры!

Вокруг собрались рабочие. Один, худощавый, с открытым лицом и широкой улыбкой, пожал руку Кумры.

— Новенькую доставила? Видать, что только-только с «ходячей тюрьмы» распростилась. Так, что ли, милая? — перевел он взгляд на Хидоят.

Из всего, что сказал рабочий, Хидоят поняла лишь два слова, которыми ее подруга и братья определяли значение паранджи. Но и этого было достаточно, чтобы на душе у нее стало легче.

— Ходячий турма... — робко повторила она и как ребенок закрыла лицо.

— Разделалась, что, как учение кончит, пускай в мой цех идет. Пойдешь?.. То-то вот — не понимаешь. Как тебя звать-то?

Кумры перевела.

— Хидоят, — ответила новенькая, — Хидоят Султанходжаева.

— А я Украинцев. Василь Тимофеевич Украинцев.

2

Не такой человек Украинцев, чтобы зря бросаться словами. Через полгода, в сопровождении Кумры, явился он в здание курсов.

— Где тут у вас выпускные? А, да вот она тут. Честь имею...

И гулко шлепнув ладонью о ладонь сияющей Хидоят, сказал со строгой торжественностью:

— Поздравляю, товарищ... от души желаю с великим достоинством нести почетное звание рабочего человека.

Кумры перевела слова Украинцева, пожала подруге руку и расцеловалась с ней.

— Так, значит, ко мне, в шишельно-стерженное отделение цеха? — спросил Василий Тимофеевич.

— Да, да, к тебе, — с огромным напряжением подбирая слова, по-русски ответила Хидоят. — К тебе, уртак...

— Ладно, уртак Хидоят... Завтра и приходи. И запомни 1933 год. Это год рождения твоего для новой жизни...

3

Двадцать один год прожила Хидоят на белом свете, и дни ее проходили такую однообразную, унылую чередой, что их невозможно было отличить один от другого.

И вдруг Хидоят перенеслась в новый чудесный мир. Вокруг шумели моторы, громы-хали цепями невиданные чудовища — катушки краны, на земле вертелись какие-то странные железные круги, — по ним с визгом проносились в разные стороны пышущие нестерпимым жаром тележки. Там и здесь, точно из пустоты, внезапно возникали ослепительные фонтаны золотых искр. Из ковшей в формы жидким солнцем проливался расплавленный металл...

Но не это больше всего поражало молодую работницу. Чудом из чудес была для нее Зулфия, узбечка-ударница. В ее бригаде было пять человек: две русских девушки, двое со-рокалетних узбеков и один юноша-белорус.

Девушки и юноша изо всех сил стремились не отставать от своего бригадира. Иначе и быть не могло, это великолепно понимала и Хидоят. Но с каким уважением, с какой почтительностью относились к Зулфии узбеки! И как вслушались в ее советы! Как охотно выполняли ее приказания! Любопытно знать, что сказала бы при виде такого чуда покойная бабушка Хамида!

«Что бы сказала ты? — спрашивала про себя пораженная Хидоят. — Помнишь, ты учила меня, — бог создал паранджу для того, чтобы женщина видела перед собой ровно столько, сколько может видеть ее слабый ум? А почему же тут не думают мужчины за женщину? А? Скажи же, баба Хамида!» А дед Тимур? Как он прикажет теперь толковать его заповедь о том, что лучше быть самым плохим из хороших, чем самым хорошим из плохих?

Кто же хороший и кто плохой? Вон стоит Ибрагим. Он гордится тем, что в доме его живут так, как установлено древним законом и что жена его «сама не хочет снять паранджу». Ну, как же быть теперь? Равняться по нему? И быть самым отстающим в бригаде? И давать такое же, как он, обилие брака? Нет, дед Тимур! Мудр твой завет, но не мудро делишь ты людей на плохих и хороших. Хидоят будет хоть и самой плохой, но в хорошей бригаде Зулфии, чем самой хорошей в плохой бригаде, где работает Ибрагим.

Время шло, и Хидоят все более и более втягивалась в жизнь рабочего человека. Слова «государство», «ответственность», «рабочая честь», «пятилетка», еще недавно звучавшие для нее как что-то путанное и туманное, уже прочно усваивались ею.

На собраниях она выступала так, как подсказывали свои собственные ей непосредственность и прямота. Критикуя, Хидоят никого не щадил, и не раз доставалось от нее даже самому Василию Тимофеевичу.

А он ходил потом именником и потирал от удовольствия руки.

— Что? Видали, какова моя крестница? Ловко меня отчехостила? И ладно. Крой, Хидоят, коли за дело голову мылишь!

У Василия Тимофеевича было немало «крестниц» и «крестников». Новичка он встречал, как старого друга и медленно, не горячась, «хорошенько» — по его выражению, — приглядываясь к материалу, вел воспитательную работу.

— Сам я таким же пришел на завод желторотым, — рассказал он однажды Султанходжаевой. — В семнадцатом году поступил я сюда семнадцати лет... Здесь и вырос, и мастером стал, и партийный билет получил. И раз меня государству выгело в люди, значит и я государству долг свой плачу. А благодарность мне — вот такие работники, как ты, Хидоят.

4

Несмотря на то, что имя Хидоят Султанходжаевой постоянно красовалось на доске почета, и что работу ее много раз отмечали ценными премиями, она сама никогда не была довольна собой.

А в тот знаменательный день, когда Хидоят была избрана депутатом Ленинского райсовета Ташкента, она застенчиво взошла на трибуну и промолвила певучим негромким голосом:

— У меня была... я думала... — И вдруг порывчиво трогательно всплеснула руками. — Забыла, как русское слово.

— Мечтала! — подсказал кто-то с места.

— Так, так... Рахмед... Я мечтала... Да, Хидоят мечтала быть хоть самой плохой, но из хороших людей... Теперь я так не мечтаю: теперь я буду так жить и буду так работать, чтобы быть похожей на самых хороших из совсем-совсем хороших...

...Наступила война. Завод зажил напряженной жизнью. Хидоят ушла с головой в работу.

— Видишь ли, какую нам задали задачу, — сказал ей однажды Украинцев. — Вглядись-ка в часть этой детали. Что, непонятно? То-то и оно, сестричка, что куда оно не совсем понятно и мне.

— Понятно, непонятно, потом скажу. Теперь скажи, для чего эта часть?

— Правильно, Хидоят. Идет она для детали большого оборонного значения.

— Все мне сказал. Учиться будем. Будем делать, не надо бояться. Норму скажи.

— Шестьдесят три штуки норма... Нормальная норма.

— Будем учиться... Делать будем... Это Хидоят тебе говорит.

И Хидоят, не обращая внимания на то, что у нее в это время болела рука, тотчас же принялась за изучение новой работы.

Увлеченные ее примером, за дело усердно принялись и другие.

— Есть! — ровно через три дня доложила мастеру Султанходжаева. — Полная норма.

— Неужто сделала?

— Смотри сам, увидишь.

Мастер невольно залюбовался тонкой и чистой работой.

— Считай... После будешь хвалить, — наивно лукаво прищурилась Хидоят. — После будешь хвалить. Не только за качество будешь хвалить.

— Что за чудеса! — шлепнул себя по колену мастер, отсчитав положенное нормой количество. — 67, 68, 69, 70... 78... 80... 6... 9... 90... 93... 7... 9... 100... 1... 2... 5... 7... 8... 9... 110. — Сто десять! — крикнул он во весь голос и крепко пожал же щине руку. — Да я теперь тебя не Хидоят буду звать, а Василией Прекрасной... Ей-ей. Есть сказка такая, как в одну ночь Василиса полон амбар маку от чернушки очистила.

— Василиса? Василису не знаю. Войну я знаю. — Хидоят пристально вгляделась в окружающий и остановила взор на шестнадцатилетней шисьельнице — Букиной. — Ты тоже знаешь войну?

— А что?

— Вызываю тебя теперь на помощь, потом на соревнование. А?

— Ишь ты, хитрющая! Как же, дура я с тобою работай! Да ты кого хочешь в конце заматаешь!

— Бойтся, Женя. ай-ай-ай, как бойтся Султанходжаеву! А красноармеец на фронте разве тоже бойтся?

— И вовсе я не боюсь. Подумаешь, напугала.

— Так... хорошо... Хорошие слова говоришь... Давай для красноармейцев...

— Ну что ж. Давай, раз для красноармейцев... У меня там два брата и дядька... Я уж для них...

— Для них. Ой, хорошо говоришь!

5

Один за другим ушли в Красную Армию братья Хидоят, Асадулла и Файзулла. Тяжко

было ей расставание, и много горячих слез пролила она над письмом, полученным от Файзуллы.

«Дорогая сестра, — писал боец. — Сегодня мы выступим. Помоги мне, сестра. Работай так, чтобы у меня было много, очень много снарядов. И прижми к сердцу племянников моих Манопа и Азада. И ты не бойся за них. Мы не допустим, чтобы Гитлер нас покорила. Мы убьем его, чтобы жили твои дети и чтобы жила наша родина и наш узбекский народ. Пусть твое сердце горит ненавистью к палачам, как горит ненавистью мое красноармейское сердце. Мир тебе, сестра моя, друг мой, моя Хидоят».

...И горит, полихает святым пламенем ненависти к страшным врагам чистое сердце славной узбекской женщины — Хидоят...

...

Ефим Дорош

В ТИХОМ ГОРОДЕ

1

Птицы летят на запад из недалекой Индии. Они летят высоко в небе над скопищем плоских крыш, заросших зеленой травой, среди которой трепетно горят маки, над сонными садами в белом снегу цветения. Их смутные голоса тревожно и радостно звучат на заре над городом.

Из тесных, извилистых переулков, где меж слепых стен плотно лежит нагая земля, еще хранящая вчерашнее тепло, на широкие улицы выходят метельщики. Они закатывают выше колен узкие холщевые штаны, достают ведрами воду из канав, проложенных вдоль тротуаров. Они шагают серединой улицы, и плавные полукружия воды, сверкающей в первых лучах солнца, тяжело падают на белую землю, которая мгновенно чернеет. Кажется, что метельщики расстилают огромную черную кошму, всю в рваных дырках.

По этой кошме, семена ножками, в город входят мышьастые ослики. Их острые копытца позеленели от раздавленных трав. На крутых бочках покачиваются снопы свежего клевера,

ивовые корзины с редиской, салатом и луком. Позади, распевая гортанные песни, в которых слышится топот коней и высокий голос пущенной в цель стрелы, шагают сожженные солнцем колхозники. Они одеты в темные стеганные халаты с низким вырезом на груди, из-под которого глядит кромка ослепительно белой рубахи. На головах у иных тюбетейки, обмотанные пестрыми платками, у других — белые войлочные копаки с черными, загнутыми вверх полями, надрезанными спереди. Запах коровника и влажной земли входит вместе с крестьянами в город. Некоторое время он держится в воздухе, потом растворяется в запахе прибитой водой пыли, в едва уловимом аромате цветущих абрикосов и миндаля, в жаркой волне керосиновой гари, которая плывет от грузовиков, бегущих к товарной станции.

За грузовиками, отворачиваясь от голубой струи дыма, медленно шагают верблюды. Плоские ступни, выброшенные в стороны, мягко шлепают об землю. На облезлых горбах колышутся прессованные туки хлопко. Резко гудит колокол, подвешенный к шее вожака. Меднолицая женщина в желтом плюшевом халате

и черных сапогах сидит на тюках головного верблюда, уперев ноги в крутые бока животного. Ее узкие, чуть раскосые глаза следят полет птиц. Возможно, что она думает о муже, который на иной земле и под иным небом, в этот час, еще полный бледных предутренних звезд, бьется с врагом.

Птиц наблюдают и бойцы кавалерийского эскадрона. Они остановили коней у широкой, пересекающей улицу канавы, в которой бурлит желтая вода. Лошади, разгоняя дыханием соломинки и травинки, шумно пьют воду. Запрокинув головы, всадники смотрят в небо, где, блестя оперением, тянутся треугольники птиц. Скоро и бойцы, подобно птицам, отправятся в далекий путь на запад.

Из узких калиток на улицу выходят смуглые девушки-узбечки. На них длинные шелковые платья, короткие, до талии, бархатные безрукавки, пестрые тюбетейки, из-под которых к плечам черными струйками текут десятки тоненьких косичек. Легко ступают в мягких своих сапогах круглолицые уйгуры, одетые, кто в халат, а кто в стеганую ватную фуфайку, длиннорылые бухарские евреи в черных канифасовых кафтанах и низких каракулевых шапках с малиновым верхом, чисто выбранные армяне в шерстяных, почти до колен блузах со множеством мелких пуговиц. Идут узбеки, молодые и старые, у которых, чем они моложе, тем больше европейских деталей в костюме. Шагают русские и украинцы, белоруссы и евреи, эвакуированные из западных областей страны. Иные в кепках, другие в высоких мерлушковых шапках, сработанных где-нибудь под Полтавой, третьи — галицийцы и бессарабцы — в мягких фетровых шляпах.

Люди теснятся меж верблюдов, ослов и высоких ферганских арб с огромными, в человеческий рост, колесами, жмутся к стенкам домов, когда улицы, сверкая никелем и стеклом, плывет голубой обтекаемый автобус. Каждый из них смотрит из-под ладони на птиц и вспоминает, видимо, кто развалины родного дома, а кто близкого человека. Может быть, птицы спелят гнездо под обгоревшей кровлей далекой хаты, может быть, милый, лежа в окопе, услышит их шелканье росистой весенней ночью, и найдут ли они еще путь в кромешной тьме, что тенью лежит на землях запада, давно уже не зажигавших ночных огней.

В разных концах города, сначала неуверенно, словно прочищая горло, а потом все громче и громче голосят гудки. Низким басом вопит моторостроительный завод. Тонким, звенящим голосом кричит швейная фабрика.

Хрипло гудят хлопкоочистительные и маслобойные заводы. Люди идут на голос своего предприятия, торопливо выбираясь из толпы, образуя десятки потоков, исчезающих в боковых улицах. Это продолжается пять, может быть, десять минут.

И вот уже брызнуло из-под пресса густое и золотистое хлопковое масло, упал в прохладную тьму склада схваченный обручами тюк очищенного хлопка, сошел с конвейера мотор, легла под раскаленный утюг измятая гимнастерка, хрипя и обливаясь кровью рухнул бык, в сверкающие жестяные банки потекло абрикосовое варенье.

Кажется, еще не успели коснуться земли капельки охлажденного пара, выброшенного заводскими гудками, а в природе уже появилось множество разнообразных предметов, сработанных для фронта гражданами тыла.

Улицы пустеют. На просохшей земле видны отпечатки маленьких ослиных подков и больших конских, елочки автомобильных шин, узкие полосы, оставленные арбами, следы узконосых, без каблуков азиатских сапог и подбитых гвоздями ботинок, которые носят многие бессарабы и жители западных украинских областей.

Болтая ногами, приставив к бедру узкогорлый медный кувшин, из которого на землю падают клочки пивной пены, едет на ослике старик. Он развлекает себя несложной песней, в которой рассказывает, что вечером угостит друзей, собравшихся по случаю отъезда внука в армию. Он восхваляет достоинства юноши и говорит, что подарит ему свой кинжал.

Но улица уже совсем пуста, и никто не слышит подвыпившего старика. Разве что птицы, которые все еще, треугольником, летят на запад.

2

Светловолосый и голубоглазый мальчик в расшитой пестрыми цветами тюбетейке сидит на белой от солнца земле и бросает зеленые, еще не созревшие абрикосы на распростертую в пыли куклу. Его губы, перепачканные вишневым соком, издают звук, похожий на гудение самолета. Левая рука, ухватив тряпичного уродца, тащит его под согнутое колено. Абрикосы прыгают вокруг игрушки, откатываются прочь, не задев ее, и мальчик удовлетворенно смеется.

Он родился далеко на западе, в сложной из дубовых кражей избе, над соломенной крышей которой в ясном небе кружил жаворонок.

Жесткие крылья майского жука трещали в саду среди отцветающих яблонь. За садом, к заросшей камышом речке, где над коричневой водой плыла в солнечных лучах мошкара, тянулся луг, пестревший желтой купавницей и белой кашкой. А дальше лежал таинственный мир, куда уходили и откуда возвращались ежемеченно отец и мать. Они были высокие и плечистые, с обветренными лицами и светлыми, выцветшими на солнце волосами. Одежда отца была притаена мазутом, широкие ладони матери пахли молоком. Оперев мужа, она прибежала, запыхавшись, из коровника, ворошила ухватом в печи, и к приходу отца на столе дымилась миска со щами в золотых пятачках жира, по скользким телам вареников, мешаясь с растопленным маслом, опывала сметана. Тихий вечер стоял за окнами избы белорусского тракториста.

Но пришло страшное утро, и с неба упали воющие авиабомбы, гудящие снаряды разорвали воздух, по земле, подминая под себя все живое, прошли чудовищные машины, клейменные свастики. Отец ушел защищать родину и пал смертью героя. Мать бежала из горящей деревни, прижав к груди ребенка. Она была убита на дороге, когда фашистские истребители обстреляли из пулеметов толпу беженцев, недалеко от маленького городка, где, обезумев, рвел гудок паровой мельницы.

Мальчик остался один. Враг украл у него единственное достоинство — детство. Казалось, что в шуме и в грохоте военной грозы никто не услышит его слабого голоса. Казалось, уделом ребенка будет горькое сиротство, о котором сложено столько печальных песен. И если он и найдет кров и еду, то кто вернет ему детство, к кому обратится он с первыми в жизни человека словами — мать, отец.

Но у родителей мальчика были верные друзья. Они дружили с ними в дни радости, когда строили вместе наше государство и остались друзьями в дни испытаний.

Маленького белоруса привезли в далекий узбекский город и поместили в детский дом. Здесь было много детей, подобранных на дорогах войны, и ночью, когда на соседнем хлопкоочистительном заводе гудел гудок, все они просыпались, плакали, долго лежали с открытыми глазами, в которых застыл ужас. Каждый на своем языке звал мать, и в этих словах, звучавших по-разному, слышалась одинаковая тоска.

Однажды в детский дом пришли загорелые люди в полосатых халатах и взяли ребенка. Они подписали договор, которым брали на себя

обязательство, равное обязательствам отца. Можно было подумать, что не отдалу народного образования, а погибшим родителям ребенка торжественно обещали они:

„Обеспечить его жильем, питанием, обувью, одеждой, как своего ребенка“.

„По достижении соответствующего возраста определить в школу и следить за его успеваемостью, посещением занятий и дисциплиной“.

„Воспитать из него достойного социалистического отечества гражданина“.

Маленького белоруса взял высокий узбек с узкой черной бородой и тонкими усами, опущенными книзу. Он привез мальчика домой, в глинобитную хижину, где в стеновых нишах стояли на полках медные узкогорлые кувшины, оловянные подносы, красные фарфоровые чайники, синие чашки, окованные раскрашенной жестью сундуки. Огромный ковер лежал на полу, в центре которого, над полной углей жаровней, стоял низенький столик, накрытый большим и толстым ватным одеялом в крупных розовых цветах. Невысокая женщина с тугими черными косами, обмотанными вокруг малиновой бархатной шапочки, легко поднялась навстречу вошедшим, схватила мальчика, прижала его к груди, повзвонно передела в шелковую рубашку, штаны и халат, опоясала пестрым платком, усадила рядом с собой и сунула ножки под одеяло, откуда по озябшему телу побежало тепло. И хотя женщина знала, что мальчика зовут Стасик, она предложила называть его Турсун, как это принято в отношении первенца.

Так стал он расти в этом доме, как молодое дерево в саду, окруженное любовью и заботой. Вскоре он узнал, что под плоской кровлей дома живут песочного цвета горлянки, что белая дорожка, покрытая чеканной тенью виноградной лозы, ведет к широкой канаве, в которой, ворочая огромное деревянное колесо, стремительно мчится вода. Маленькие кувшины, подвешенные к колесу, черпали воду, выливали ее в жолоб, который уходил в поля, где работали отец и мать. Она прибежала вечером, запыхавшись, разжигала огонь в глиняном очаге, похожем на большую подкову. ставила тонкий черный казан, кидала в него куски курдючного сала, тонко наструганную морковь, рис, а когда приходил отец, кричала:

— Турсун, ота чакер япта.

И мальчик понимал, что это значит: „Турсун, отец зовет тебя“.

Он забирался к отцу на колени, открывал рот, когда тот протягивал ему полную горсть

плова, потом засыпал, уронив голову на широкую грудь узбека, и вокруг был незабываемый, прочный мир, где человек человеку друг.

... Мальчик увлеченно занят игрой и отрывается от этого занятия лишь тогда, когда прохожий, удивившись светлым волосам ребенка, спрашивает его:

— Ты кто?

— Узбек, — отвечает мальчик, хватая свою игрушку, бежит к узкой калитке, пробитой в глиняном заборе, и низко опустившаяся тутовая ветвь сбивает тюбетейку с его головы. Длинная, льяного цвета косичка падает на смуглое ухо мальчика, свидетельствуя, что это любимый сын.

3

Человек работает. Он стоит в люке, вырезанном в центре большого квадратного стола. Перед его лицом — высокая жестяная коробка, округленная сверху. Узкий ленточный нож стремительно выходит из правого нижнего края коробки, исчезает в отверстии, пробитом в столе, появляется слева, где расположены точильные камни, и столь же стремительно скрывается в коробке.

За спиной человека на длинных столах наладчицы расстилают ткань. Когда настало нужное количество полотнищ, обмеловщик кладет сверху картонные трафареты, вводит их мелом, режет пласты ткани ручным механическим ножом. Подносица подает будущие детали костюма на скользкий, хорошо навощенный стол ленточной машины.

Не оглядываясь человек берет стопку расчерченных мелом кусков и, чуть прижав ее ладонью, двигает к ножу. Его движения расчелны и скупы. Глаз следит за острием убегающего вниз ножа и белыми линиями на ткани.

Нож бесшумно входит в матерчатый пласт, который скользит по столу, направляемый чуткими ладонями мастера. Влево, к приемщику, идут аккуратно вырезанные пачки штанин, клиньев, хлястиков и поясов.

Они попадут в пошивочные цеха, где пулеметами стучат сотни швейных машин, работа которых зависит от этого невысокого, не очень сильного человека с плавными и непринужденными движениями.

Его зовут Николай Козлов. На этой фабрике он работает много лет, — сначала чернорабочим, затем сборщиком деталей, а последние семь лет резак ленточной машины. Год назад, в душный августовский вечер, он пришел

на фабрику, которая находилась тогда в большом украинском городе, расположенном на берегу широкой реки. Немецкие снаряды рвались на пустынных улицах, разрушая дома, покинутые жителями. Тяжелые бомбардировщики бомбили заводские корпуса, из которых давно уже было вывезено оборудование. Иные из них, прошитые пулеметной очередью советского истребителя, или настигнутые снарядом зенитной артиллерии, падали, прочертив огненный мазок на черном небе. Три дня немцы стояли у ворот города, и все эти дни фабрика, на которой работал Николай Козлов, ни на минуту не останавливалась, потому что армии нужно было обмундирование. Люди решили работать до последнего часа, а потом взорвать станки и уйти на восток. В тот памятный вечер, когда Козлов шагал закрытым цехом к своему рабочему месту, этот час наступил. Военное командование сообщило директору фабрики, что армия отходит на новые рубежи и город становится зоной боевых действий.

Директор фабрики, Федор Федорович Гаевский, — огромный, плечистый человек с хриплым голосом, сорванным еще в гражданскую войну, когда он командовал отрядом чекистов, собрал рабочих на фабричном дворе. Очертания темных корпусов терялись во мгле. Артиллерийские зарницы и отсветы пожаров дрожали на черных стеклах окон. Люди молчали, охваченные тоской. Никто не представлял себе, как можно взорвать красоту фабрики, одну из лучших в стране, которая вырастила и обучила почти каждого из них, и где прошли лучшие годы жизни.

Но директор сказал, что если поработать как следует, то в оставшийся до сдачи города срок можно разобрать, уложить и вывезти все оборудование. Вдох облегчения вырвался из сотен уст. Рабочие были разбиты на отряды, к каждому отряду прикреплен руководитель, и все поспешно разошлось по цехам.

Тусклый свет керосиновых фонарей желтыми пятнами лежал на машинах. Стены дрожали от разрывов снарядов и фугасных бомб. По временам, выбитые воздушной волной, падали звенящие осколки стекол. Люди не замечали этого, работая как никогда в жизни. Не торопясь, но быстро, они разбирали станки и машины, смазывали детали маслом, укладывали все это в ящики, приготовленные заранее предусмотрительным директором, к каждому ящику прибавляли аккуратно разграфленные картонки, на которых писали номер, наименование и количество деталей. Можно было по-

думать, что это упаковщики машиностроительного завода отправляют заказчику продукцию.

Когда оборудование было упаковано, вывезено и погружено в вагоны, — причем в каждый вагон грузился полный комплект, чтоб в случае, если его разбомбят, не вышел из строя целый цех, — рабочие принялись грузить остальное имущество: духовые оркестры, телефонный коммутатор, электрическую арматуру, обстановку детских яслей — все, что представляло собою хоть какую-нибудь ценность.

Эшелоны, звякнув буферами, тронулись и медленно пошли на восток. С болью и гневом смотрел Козлов на родной город, над которым стояли рыжие тучи дыма. Впереди еще предстояло много испытаний, из которых самым тяжелым было вынужденное безделье, но маленький швейник уже думал о том часе, когда он снова встанет у своей машины. Этот час ему снился по ночам, и во сне он делал произвольные движения, напоминавшие движения резака, когда он ведет стопку ткани к ножу.

А эшелон шел на восток, счастливо уходя из-под бомбежек, пробиваясь сквозь пробки на станциях, выходя на свободные пути глубокого тыла, и в каждом человеке, все нарастая, жило стремление к труду, вызванное волей к победе.

Фабрика на колесах прибыла в маленький город Узбекской республики, где ей предоставлены были заброшенные, почти разрушенные помещения учебных мастерских, некоторое количество строительных материалов и несколько каменщиков.

Эти каменщики, вместе с тремя плотниками, которые оказались в фабричном коллективе, организовали бригады из числа рабочих, инженеров и служащих фабрики. Они очистили будущие цехи от хлама; где это нужно было, сломили простенки, в иных местах сложили новые стены, настлали полы и потолки, починили, а местами накрыли заново крыши, пробили окна, вставили и застеклили рамы, красили, белили, работали день и ночь, пока в просторных, светлых цехах не встали на свои места машины. Наступил день, когда уставшие, осунувшиеся люди снова собрались на фабричном дворе, — принаряженные, чисто вымытые, со счастливыми улыбками в запавших глазах.

Все тем же голосом, который за это время, казалось, стал еще более хриплым, директор произнес речь, и рабочие, едва дождавшись ее

конца, кинулись к своим машинам. Козлов включил мотор, проверил нож, сдерживая волнение, словно впервые в жизни, пустил стопку ткани по сверкающему в лучах осеннего солнца столу. Отныне он решил заставить свою машину работать за две.

Он пробовал с различных точек начинать резку деталей, пока не нашел наикратчайшего пути для ножа, и там, где другой употребит несколько движений, он ограничивается одним. Он достиг четкого взаимодействия глаза и рук, чтобы нож, войдя в толщу матерчатого пласта, ни на один волосок не сбился с намеченной мелом линии. Он внимательно следит за состоянием ножа, включая в нужный момент точило. Он выработал в себе умение каждый раз с одинаковой силой придавливать ладонью стопку ткани, не допуская чрезмерного нажима, из-за которого может получиться перекос, вызывающий брак.

Непрерывным потоком идут с его стола детали в пошивочные цехи фабрики, откуда они выходят готовыми шароварами и гимнастерками, которые, кто знает, может быть, будут на бойцах, что первыми войдут в далекий и родной украинский город.

4

В древние времена народ сложил легенду о богатыре, который становился непобедимым, едва лишь касался земли. Эту простую и мудрую сказку вспоминаешь и сейчас, когда шагаешь тихими зелеными полями, разделенными надвое широкой полосой Большого Ферганского канала.

Багровое солнце встает из-за снежных вершин Алайского хребта. Пятна света дробятся в листе абрикосов и тут. На плоских крышах глинобитных домов, заросших травой, трепетно горят маки.

Тридцать четыре всадника выезжают из селения, горяча тонконогих коней. Они одеты в черные и оранжевые халаты, подбитые ватой. Вокруг черных с белым орнаментом тюбетеек намотаны яркие платки. Запахи пыли, сырости кожи и конского пота, сопутствующие кавалерийским походам, плывут над мирной землей. Всадники достигают обширной, хорошо утрамбованной площадки, спешиваются, становятся в строй, держа под уздцы коней.

Поля, лежащие окрест, возделаны руками этих людей. Прозрачные воды канала собраны ими в глубокое русло. Благородным трудом своим они украсили родину и теперь готовятся к ее защите.

Позавчера они мчались полем, посылая копей через барьеры и рвы. Вчера, преодолевая течение, они упрямо двигались по вязкому дну речки. Сегодня командир отряда Якубджан Базаров показывает колхозникам приемы узбекской военной игры.

Мужественная эта игра родилась много веков назад в среде отважных и воинственных людей. Сотни всадников собирались в степи, нетерпеливо глядели на человека, в руках у которого была туша черного козла. Козел летел вверх, и всадники устремлялись к нему, пытались поймать на лету. Счастливцев, ухватив тушу, гнал коня в степь, уходя от преследователей. Товарищи мчались за ним, развернувшись полукольцом. Случалось, что другой наездник на короткий миг овладевал тушей. Но являлся третий, еще более ловкий и сильный, и отнимал добычу. Он упирался высокими каблуками в стремени, когда соперник, вцепившись в козла, тянул его к себе, надеясь вместе с козлом стащить и всадника. Он валился на бок, вытягивался вдоль конского крупы, и рука преследователя, тянувшаяся к козлу, повисала в воздухе. Он вкладывал всю свою силу в согнутую правую ногу, которая железными клещами держала козла, рвал окружение, преодолевал многие препятствия, победителем вставал перед лицом судей.

Игра переходила от поколения к поколению. Она развивалась в людях ловкость и выносливость, укрепляла их мускулы, закаляла волю, превращала всадника в существо, почти неотделимое от коня. Она дошла до нашего времени, богатырская игра узбеков, и нынешней зимой, красноармеец Ахмед Далиев, употребив один из ее приемов, примчал в расположение своей части живого немецкого офицера.

Этому приему обучает колхозников лихой наездник Базаров. Сдерживая пляшущего коня, он стоит посреди площадки — рослый, меднолицый, похожий на воина времен Тамерлана, и желтая повязка вокруг его черной тибетейки пылает в лучах солнца. На земле, заменяя козла, лежит четырехпудовый мешок с песком. Базаров дает шенкаля коню, кружит площадкой, пронесется мимо мешка, и на полном

скаку хватает его правой рукой, одновременно поднимая правую ногу, готовую стиснуть добычу.

Бойцы горящими глазами следят за командиром. Только воинская дисциплина удерживает их в строю, не дает кинуться вслед за Базаровым, чтобы в благородном единоборстве овладеть мешком. Они стоят как изваяния, обратив к командиру загорелые, чуть скуластые лица, положив ладони на рукоятки ножей, меткость которых в недалеком будущем узнают вражеские разведчики.

Объяснив задачу, командир бросает мешок на место.

Он подает команду, и люди стремительно вскакивают в седла, пластают коней над землей, один за другим проносятся мимо мешка, хватают его, описывают круг по площадке, возвращаются к исходному положению и уступают очередь следующему товарищу. Желтая пыль, поднятая лошадьми, дымит в воздухе. Ржание и топот коней, гортанные возгласы всадников нарушают тишину весеннего утра.

Это продолжается два часа. Взыскательный командир заставляет своих бойцов снова и снова повторить прием, добиваясь совершенства. Над потными крупами коней вьется пар. Пестрые платки, обмотанные вокруг тибетеек, темнеют от пота. Четырехпудовый мешок, подхваченный сильной рукой, летит под согнутое колено всадника.

После занятий колхозники возвращаются к своим обычным делам. Одни из них идут в конюшни, где в прохладной полутьме, пропахшей навозом и аммиаком, чистят скребницами сытых коней. Другие отправляются на поля, частью занятые пшеницей, уже выкинувшей колос, но в большинстве своем засеянные хлопком, еще не взшедшим. Третьи работают в садах, ветви которых тяжелеют от завязей абрикосов и айвы, груш и вишни. Четвертые гонят в зеленые предгорья овец, жирные курдюки которых касаются нагретой солнцем дорожной пыли.

Советская земля отдает все свои силы легендарному богатырю современности — Красной Армии.

Ксения Львова

МУКАДДАС

Когда Ефима Ибрагимова призвали в армию, место дежурного по станции заняла восемнадцатилетняя Мукаддас Ганиева.

У Мукаддас было еще совсем детское очертание щек, на спине извивались две угольночерные косы, хрупкий девичий стан ее казался еще тоньше в темносинем строгом костюме со знаками различия железнодорожного транспорта.

Стоял холодный январь. Злой ветер гнал из Коканда изморозь и каменную пыль на Фергану. Маленький разъезд Файзабад, где начинала свой жизненный путь Мукаддас, находилась между этими двумя городами. Только возле конторы разъезда шумели и стонали под ветром встрепанные карагачи да вдалеке щетинились безлистные ветлы кишлака.

Поезда стремительно проносились через разъезд. Останавливались немногие. Путь к разъезду шел под уклон, следовательно, от дежурного требовалась особая бдительность.

Мукаддас вручала машинисту жезл, открывающий путь до следующей станции, внимательно и строго провожала глазами все скаты, рамы вагонов и сценку быстро мчащегося состава и, подняв с полотна брошенный машинистом жезл пройденного перегона, возвращалась в контору.

Там ее ожидал целый строй аппаратов, которые надо было обслужить. Там ее конторские книги, требующие точных и подробных сведений о проследовавших поездах. Там окружала ее та ответственность, которая и радовала и постоянно держала в тревожном напряжении все чувства.

Мукаддас Ганиева — первая в Узбекистане девушка-дежурный по станции. Нельзя было плохо работать. Плохо — это значило бы принять поезд на занятый путь. Плохо — это допустить скрепление, не предусмотренное по графику, и вызвать катастрофу. Плохо — это дать неправильные сведения по погрузке и выгрузке и внести полный кавардак в погрузо-разгрузочные планы всей дороги... Нет, дежурный по станции не имеет права плохо работать. Маленькой Мукаддас с двумя черными косами надо было работать отлично! Может ли такой сложный конвейер, как железнодорожный транспорт, считаться с тем, что на далеком разъезде Файзабад командует движением младший по возрасту командир движения всей сети железных дорог СССР?

С первого же часа, как Мукаддас, вступив на дежурство, ответила по селектору Кокандскому диспетчеру о положении на разъезде, она стала взрослее, ее маленькое смуглое лицо перестало быть детским. В юных чертах проглянули воля, мужество, характер. Кто знает, если бы по-иному сложилась жизнь, девушка Мукаддас, может быть, никогда не узнала бы о своей способности к большому делу. Всего четверть века назад, при капиталистическом строе сколько женщин, ей подобных, были только хранительницами домашнего очага, варили обед, стирали и шили. Без совета и руководства мужа, они не умели решить ни одного жизненного вопроса. Как могли они узнать о своих способностях, о возможности выполнить большое государственное дело?

Умрыниса, мать Мукаддас, худенькая черная старушка, скрывавшая свое лицо под паранджой, не желала, чтобы жизнь ее дочери сложилась иначе, чем сложилась ее собственная жизнь. Когда Мукаддас начала учиться, Умрыниса была недовольна.

Мукаддас поступила в железнодорожный техникум тринадцати лет. Затем она вступила в комсомол. В техникуме ей пришлось одновременно с науками осилить русский язык. Справилась. Даже осталось время для драмкружка. Но чтобы мать отпустила Мукаддас на занятия в кружок, должна была приходить специальная делегация к «мамашке». Делегация приходила и за разрешением пойти на комсомольское собрание.

— Что же, и мне весь свой век сидеть под паранджой! — не выдержав, бросила однажды девушка в лицо матери.

Старухе стало обидно. Мукаддас была меньше в семье. Всю нежность души вложила Умрыниса в свою «Карымсу». Этим ласкательным именем она называла ее с детства. Ей казалось, что она исполняет все прихоти малышки. И вдруг такой упрек! Мать горько заплакала, а вместе с ней, обвив ее шею коричневыми от загара руками, вслакнула и «Карымса». Поплакав, они стали лучше относиться друг к другу. Мать отпустила Мукаддас продолжать учебу в Ташкент. Для матери это был очередной подвиг. Какие только ужасы для ее «Карымсы» не представлялись ей в Ташкенте!

— Ты девушка. Будешь совсем одна. Остерегайся. Не заводи знакомств. Не будь слиш-

ком веселой — это опасно, когда девушка одна, без родителей, веселая.

Мукаддас была от природы веселой, в ней играла радость жизни. Она любила соскальзывать по перилам лестниц с третьего этажа до самого низу. Любила петь и смеяться... Она ходила в кино, танцевала на вечерах.

Из Коканда приехал зять проводить Мукаддас. Ему сказали, что она — веселая девушка. Он сообщил матери: «Мукаддас очень веселая в Ташкенте». В семье поднялась тревога: «Немедленно пусть возвращается домой!»..

Мукаддас вернулась, она не решилась ослушаться. Опять Коканд, родительская кибитка в старом городе, глиняный дворик, знакомые старые лозы виноградики, озабоченная мать со сморщенным лицом, какое будет у Мукаддас в старости... Обнялись и заплакали.

Мукаддас стала уверять, что она очень редко смелась в Ташкенте, она была самой сумрачной и серьезной девушкой. Мать не поверила, особенно после того, как дочь сказала, что в Ташкенте есть парень, который хочет на ней жениться. Мать взволновалась.

Но постепенно она успокоилась. Стала раздумывать. Есть жених? Порядочный человек? Самостоятельный? Что же — это не плохо. Ей, Умрынисе, тоже было 17 лет, когда она вышла замуж. Девушка в эти годы должна думать о собственной семье...

Свадьбу назначили на 7 ноября.

Но Мукаддас совсем не хотелось замуж. Она не любила этого парня. Рассказала матери о знакомстве только из девичьего любопытства.

Приготовления к свадьбе между тем шли своим чередом, и приближалось 7 ноября.

Был в Коканде еще один человек, пожалуй, не меньше старой Умрынисе заинтересованный в судьбе ее дочери. Он давно уже следил за способной девушкой, уехавшей было учиться в Ташкент и вдруг опять очутившейся без дела в Коканде. Что случилось? Что встало на ее пути?

Человек этот думал: Мукаддас должна получить транспортную специальность. Она может, например, стать отличным дежурным по станциям... Он ей поможет в этом.

И он решил расстроить свадьбу.

Человек этот был заместитель начальника политотдела Кокандского отделения Рахмат Садывокасов.

Он вызвал Мукаддас в политотдел.

— Значит, ты окончательно идешь замуж? — сказал он.

— Да, — тихо ответила Мукаддас, опуская голову.

— Ты этого хочешь?

— Нет, не хочу...

— Не хочешь. Значит, мать этого хочет? Девушка промолчала.

— Что же, выйдешь замуж, это не плохо, — продолжал начальник загадочным тоном. — Будешь сидеть в кибитке, поджидать мужа, когда он придет обедать. Это очень не плохо. Останешься неученой, глаза бережешь.

— Зачем вы смеетесь надо мной? — гневно выпрямилась Мукаддас. — Я думала, вы меня для хорошего дела позвали. Я учиться хочу!

— Ага, ты учиться хочешь, — дружелюбно сказал начальник. — Я это знал. Ты будешь учиться и станешь дежурным по станции. Хоп? Это очень ответственная работа. Но ты с ней справишься. Через некоторое время ты станешь начальником станции. Хоп? А потом ты будешь диспетчером. Это самый ответственный командир движения. С этим делом ты тоже справишься отлично.

У Мукаддас больно забилося сердце. Как он угадал! Стать диспетчером всегда было ее мечтой.

...

Девушка встала и крепко по-мужски встряхнула своей маленькой рукой руку начальника.

— Помогите мне, и ты будешь мне лучше брата.

Рахмат Садывокасов расстроил свадьбу. Жених был изгнан из дома невесты. Старая Умрыниса неожиданно сдалась, поверив горячему доброжелательству начальника к судьбе ее дочери. Мукаддас поступила на курсы дежурных по станциям.

Курсы были шестимесячные. Она поступила с опозданием на три месяца. Там уже прошли телеграф. Она приносила домой телеграфный ключ и, ложась спать, тихонько выстукивала точки и тире.

Сколько раз старая Умрыниса меняла свое отношение к новой затее дочери. Сколько раз слабела сама Мукаддас — или поддаваясь уговорам матери, или не выдерживая трудностей учебы. Ведь занятия шли без отрыва от производства: она работала конторщицей на транспорте, а вечерами училась.

Стояла холодная осень 1941 года, ходить на курсы надо было из старого города, за несколько километров... Но теперь уже за ней неустанно следил Рахмат Садывокасов. Он приходил ей на помощь в минуты ее колеба-

ний. Стоит пропустить занятие — он обязательно встретится на улице.

— Салам. Почему не на курсах? Час занятий.

Или зайдет домой.

— Товарищ Ганиева где? Вот как. А я был на курсах. Думал, она заболела...

— Не могу я... — не выдержала однажды Мукаддас. — Дома все смеются. Говорят, ничего из меня не выйдет. Такая ответственная работа не для женщины.

— Вот что, товарищ Ганиева, — горячо сказал Садывокасов. — Ты слушай только меня. Узбекская женщина очень способная женщина. Есть несколько заслуженных артисток Узбекской ССР, в том числе жена моя Сабахон Каримова. Очень высокая культура нужна, чтобы быть хорошей артисткой. Мы имеем узбечку — машиниста на Ташкентской железной дороге, и много, много других женщин — специалистов... Я не могу поверить, чтобы ты не выполняла задуманного. Неужели ты бросишь дело на полпути?..

На всю жизнь запомнила Мукаддас этот разговор. Больше она не пропустила ни одного занятия. Закончила курсы, прошла практику, и вот мы застали ее дежурным по станции на разъезде Файзабад.

...Прошло три месяца. Ветви восторженных карагачей, где злобно завывала январская стужа, когда Мукаддас впервые приняла дежурство, теперь покрылись мелкими зелеными листьями. Горячий весенний ветер гонит из Коканда на Фергану белую пену облаков. В ближайшем кишлаке желтым дымом цветенья оделись старые ветлы.

Поезда шумно проносятся через разъезд Файзабад. Некоторые останавливаются на полторы минуты, и тогда с Мукаддас Ганиевой — дежурным по станции, — держащей наготове флажок в опущенной руке, разговаривают пассажиры. За отличную работу Мукаддас получила наркомовскую награду — значок «Почетному железнодорожнику» — об этом недавно написали в газетах.

— Вы — товарищ Ганиева? — высовывается из вагона молоденькая узбечка, завистливо рассматривая юную дежурную с двумя угольно-черными косами. — Очень интересно. Это трудное дело быть дежурным? Я бы хотела на учиться.

— Мы знаем тебя, — говорят узбеки-проводники, с подножек вагона раскланиваясь с Мукаддас. — Ты недавно получила наркомовскую награду. Как работаете, дитя? Скоро ли ты станешь начальником отделения? Ты, навер-

ное, очень способная девушка. Вот я, — говорит один, — 25 лет проводником, и женщина меня опередила. Это хорошо. Очень хорошо. Раньше такого не бывало.

Мукаддас смущенно опускает глаза от таких похвал. Срок истек. Она поднимает руку с флажком, и поезд трогается. Маленький разъезд, залитый солнцем, опустел. Дежурный по станции возвращается в свою контору.

...Когда Мукаддас получила награду, старая Умрыниса много пережила, передумала, проверила.

Рахмат Садывокасов получил короткую, продиктованную ею записку.

«Я ошиблась. Шаю душевный привет Кокандскому отделению. Спасибо зато, что воспитали мою дочь. Оставляю свою семью и выезжаю на разъезд Файзабад. Хочу жить там, где моя дочь работает. Умрыниса Ганиева».

... Поезд ушел. На путях остались двое — маленькая женщина с опущенной на лицо густой паранджой, в чачване и дежурный по станции в синем форменном костюме с железнодорожными петлицами.

— Ой! — всплеснула руками Мукаддас. — Зачем?

Сразу вспомнились все былые распри, и боль от воспоминаний пересилила радость встречи. Мукаддас не знала, какие чувства привели сюда старую Умрынису.

— Я приехала жить... Здесь некому убрать твою кибитку. И потом, — находясь вблизи, я всегда буду знать, как идет твоя работа. Дело очень ответственное. Вдали от тебя мне всегда будет тревожно.

— А это? — покраснев, тронула Мукаддас черную добротную паранджу из конского волоса.

Мать подумала секунду и ответила.

— Это я положу под тюфяк, и люди не увидят. Нельзя же так сразу бросить вещь, которая стоит двести рублей... Я ничем тебе не помешаю, не бойся.

И они стали жить: «Мамашка», как ее все называют на разъезде, и Мукаддас Ганиева.

Квартира Мукаддас находилась рядом с конторой. Днем и ночью слышно было сквозь тонкую стенку, как звонит станционный телефон и говорит дежурный. Днем и ночью было слышно, как проносятся тяжеловесные поезда. Они сотрясали легкий домик так сильно, точно кто-то брал его за плечи и долго, долго тряс изо всей мочи, не то в насмешку, не то утешая.

Умрыниса просыпалась до восхода солнца и пугливо ждала, когда покажется первый луч из-под ветвей карагача. Надо будить Карымсу, а

то проспит, чего доброго. Но Мукаддас всегда просыпалась раньше, чем мать разбудит ее.

— Опять ты сторожишь, — скажет она. — Какая неспокойная. Все чего-то боишься.

— Ну ладно, — смущенно ответит старуха. — Проснулась и хорошо. Дело очень ответственное. Упаси бог, сделаешь ошибку.

Дверь конторы постоянно открыта, и матери удобно наблюдать, как Мукаддас работает. Когда кроме нее никого не оставалось в конторе, на фоне пронзительного синего неба, у двери выростала фигура в старинном сборчатом платье до пят и синем платке с разноцветными кружочками, спущенном назад. Умыниса безмолвно смотрит на послушные маленькой «Карыме» аппараты, слушает ее уверенный голос, говорящий по станционному телефону, — и удивленно раздумывает: «Неужели и я сама, если бы была молодой, сумела бы так работать? Неужели и я, если бы училась, смогла бы так уверенно и звонко сказать, как сейчас говорит Мукаддас?»

— Первый путь свободен. Второй путь принимает 1431. Третий занят. Действующих предупреждений нет. Часы проверены. Дежурная Ганиева.

Алла... Алла..., — тихонько вздыхает старуха, не отрывая глаз от блестящих аппаратов, не переставая наблюдать за работой Мукаддас. Она не замечает, что ее печет солнце, а ветер, примчавшийся из Коканда, треплет на голове платок.

— Файзабад. Слушаю, — несется твердый девичий голос из глубины конторы. — Поезда нет пока. А у вас? Запросился? Хорошо. Время? Без двадцати пяти одиннадцать, по-московски — без двадцати пяти два. Что? Сейчас

спрошу диспетчера, а то скрепление может получиться.

— Файзабад. Слушаю. 1901 й? Ожидаем. А? На первый путь принимаю.

Она крутит ручку жезлового аппарата, вынимает жезл, берет со стены большой проводочный круг с резной рукояткой, открывает рукоятку и вкладывает внутрь маленькую металлическую палочку жезла. Значит, сейчас придет поезд. Умыниса это уже знает. Она заходит за угол и продолжает свои наблюдения оттуда. Мукаддас взяла жезлодержатель и своей легкой походкой направилась навстречу поезду. С грохотом и лязгом буферов влетает состав на маленький разъезд.

Девушка вручает жезл высунувшемуся из будки машинисту. Поезд исчез. Она подбирает с полотна брошенный машинистом жезл пройденного перегона и, помахивая проводочным кругом жезлодержателя, возвращается в контору.

Алла... Алла., — бормочет Умыниса, прячась за угол дома, чтобы не показаться дочери слишком назойливой...

Мукаддас сказала матери, что начальник разъезда Садык Юлчабаев решил обучить ее работе начальника станции: «Если придет мне повестка на фронт, — сказал он, — чтобы ты могла меня заменить».

— Война ойе, — добавляет Мукаддас, сурово сведа брови, — надо быть готовой ко всякой работе.

— Ну, что ж. Джюда якши. Правильно! — кивает головой старуха. — Раз уж ты решила, то, наверное, так и сделаешь. А если надо, — помолчав, твердо говорит она, — то и на фронт поедешь. Я тебе ни слова не скажу, крошка. Потому что я точно так же поступила бы если бы была на твоём месте.

...

Айдын

СИЛА ВОЛИ

С ночной смены Михаил Моисеевич Бухансон пришел домой утром. Только он открыл дверь, как его маленький сын бросился к нему и повис у него на шее. Мальчик торопливо рассказывает отцу об аэроплане, построенном в детском саду, о новых песенках, которые он выучил, и о многих других новостях. Михаил Моисеевич поднял сына на руки, но слушая его рассеянно.

Жена Бухансона, давно привыкшая угады-

вать его настроения, поняла, что Михаил Моисеевич чем-то глубоко взволнован. Она молча наблюдала, как тиснет силится ребенок привлечь внимание отца. Он вскарабкался к нему на диван, обхватил обеими руками его голову и повернул к себе. Отец должен был непременно посмотреть его рисунок, изображающий самолет, и летчика, на груди которого был маленький кружок.

— Это орден Ленина, — пояснил мальчик.

— А-а!.. — произнес Михаил Моисеевич, поймав доверчивый взгляд ребенка.

Мальчик радостно прижал тетрадь к груди и, глядя на мать, принесшую между тем дымящуюся кастрюлю, задумался.

— Папа! — заговорил он снова, — а кому дают орден Ленина?

— Людям с большевистской волей, — ото-звался отец, взглянув на жену.

Жене Михаила Моисеевича передалось его волнение, но она знала, что спрашивать его ни о чем не нужно.

— Сейчас он заговорит, — подумала она.

— Представь себе, что у нас сегодня произошло, — словно угадывая ее мысль, обратился к ней Михаил Моисеевич.

— Ты знаешь Максуда? Тот самый комсомолец, что в нашем депо ремонтирует паровозные котлы? Холыков его фамилия. Помнишь? Уже пять лет он работает у нас в Ташкентском грузовом депо, в моей бригаде. Тяжела ли, легка работа — он всякое задание охотно исполняет. Работает усердно, мастер очень хороший. Если случится надобность в срочном ремонте, он без возражений остается на сверхурочную. Свое дело он любит, интересуется им, быстро усваивает новую технику в работе и обучает других. Вот он-то и показал нам сегодня, что значит большевистская воля. Этот парень заслужил сегодня орден Ленина.

Мальчик, уставившись в рот отца, слушал его всем своим существом.

— Сегодня, — продолжал отец, — когда ночная смена заканчивала ремонт паровозов и должна была разойтись по домам, в депо вдруг въезжает большой паровоз с оглушительным гудком. Я и рабочие привыкли к таким случаям и продолжали спокойно работать. Обычно, когда паровоз приходит для ремонта, он дает один гудок, тушит огонь и замолкает. Но этот паровоз продолжал гудеть, шипеть и выпускать клубы дыма. Он требовал нашего внимания.

В ремонтный цех вошел высокий плотный машинист. Сразу было заметно, что он сильно встревожен. Начальник депо, следовавший за ним, сказал:

— В топке паровоза выскочил гвоздь, туда проходит вода из котла. Нужно немедленно исправить. Как можно скорее! — добавил он.

— Надо загасить огонь! — сказал я.

Услыхав эти слова, машинист стал возражать:

— Нужно как-нибудь обойтись без тушения огня. Если потушить огонь, паровоз отсюда не выйдет раньше двух суток. Разве можно так задерживать состав, который идет на фронт?

Я задумался...

— Остается одно, — сказал я. — Кто-нибудь должен войти в топку. Но это... очень опасно.

Начальник со мной согласился. Машинист не стал спорить, весь вид его показывал, что он ждет от нас невозможного — немедленного ремонта. Мы решили посоветоваться с Холыковым. Этот ловкий, проворный и знающий дело парень не раз выручал нас своей находчивостью.

Узнав в чем дело, Холыков оставил свой молот и быстро подошел к нам. Он, не раздумывая долго, сказал:

— Надо лезть в топку, другого выхода нет.

— Верно, товарищ, — ободрившись сказал машинист. — Ведь нужно вести на фронт срочный военный груз.

— Но как же лезть в огонь, — в один голос воскликнули мы с начальником депо.

— На фронте бьются в огне. Отчего же и нам не войти в огонь? Войти можно, — уверенно сказал Холыков. — Разрешите мне! Я в десять минут исправлю котел.

Машинист ожил. Он готов был на руках отнести Холыкова к паровозу. Я посмотрел на начальника, он на меня. Но Холыков, не дожидаясь разрешения, сбегал за инструментами и направился к паровозу. Мы пошли за ним. Паровоз все еще шипел, да так ужасно, словно готов был втянуть под свои колеса каждого, кто подойдет поближе. Холыков вспрыгнул на паровоз, открыл дверку топки. Пахнуло нестерпимым жаром раскаленного угля.

Из маленькой, как глазок, дырочки в левой стороне топки била фонтаном вода, ударяла струей в огонь и превращалась в пар. Нельзя было и думать о том, чтобы в топку сунуть голову. Начальник решил остановить Холыкова.

— Товарищ Холыков, — убеждал он. — Такой риск — верная гибель. Нельзя! Этого и закон не допускает.

Холыков засмеялся и сказал:

— А мы сделаем так, чтобы не повредило.

Он надел на обе руки кожаные рукавицы до локтей и, откидывая весь огонь в одну сторону, начал освобождать левую часть топки от угля. Когда же весь красный уголь был отброшен направо, Холыков засыпал его свежим углем, и пламя уменьшилось. Но после этого пар продолжал заполнять всю топку, не давая возможности дышать. Холыкова это, однако, не удержало. Он надел валенки и залез в топку. У меня все тело покрылось испариной, словно не он, а я сам полез в огонь. От волнения я даже перестал слышать удары

молота Холыкова. Я видел, что все присутствовавшие волновались не меньше меня. Десять минут тянулись для всех нас невероятно долго. От нетерпения мы вскочили на паровоз и, не отрывая глаз, смотрели на Холыкова. Молодчина парень! Не обращая внимания на жестокие мученья, он терпеливо боролся с огнем. Наконец, крепко забив отверстие в топке, Холыков вышел к нам. Он раскраснелся, словно только что вынутый из тандыра¹ ширмон². Брови и ресницы его были опалены, лицо покрылось ожогом. Машинист крепко обнял и расцеловал Холыкова.

Все мы радостно вздохнули, и у нас отлегло от сердца.

Жена Михаила Моисеевича, дослушав рассказ, тоже облегченно вздохнула, — ей казалось, что она своими глазами видела подвиг Холыкова.

¹ Тандыр — особого устройства печь для лепешек

² Род белых румяных лепешек, смазанных во время печенья молоком.

Жолмурза Аймурзаев

АЙДЖАМАЛЬ

Течет Аму, шумит в ночи седой Арал,
Живут ветра в твоей отчизне, Айджамаль,
И словно солнце, освещенное волной,
Лицо твое всегда блистает предо мной.

Когда твой друг Батыр сажался на коня
И конь заржал, крутую шею наклоня,
Стальное стремя ты поправила ему,
И так сказала ты джигиту своему:

„Скачи, мой друг! Не уставай, хоть путь
даек!

Пусть ясным месяцем блестит в руке клинок,
Обрушь ты сталь его на голову врагу,
А я твой дом, твой сад зеленый берегу.

Страна в огне. — О, как же дома усидишь?
Друзья в бою. — О, как же в бой не полетишь?

И если мой джигит мужчиною рожден,
Перед врагами никогда не дрогнет он.
И если любит нашу землю мой джигит,
Он от врагов ее закроет словно щит!

Скачи, мой друг! Гони коня скорей туда,
Где мать родимую настигнула беда.
Она в дыму, покрыта кровью и золой,
Она зовет тебя израненной рукой.

— Вот какие мужественные люди бывают, сынок, — обратился Михаил Моисеевич к жадно слушавшему его мальчику.

— А уехал на фронт этот паровоз? — спросил ребенок.

— Сегодня же и отправился. За время войны Холыков немало исправил больных паровозов. Счета им нет, сынок!

— А почему он сам не уехал с паровозом на фронт?

— Всему свое время, сынок. Холыков два года служил в Красной Армии, уже прошел подготовку. Будет нужно, и он поедет. Но сейчас он здесь полезен.

— А орден ему дадут? — не унимался мальчик.

— Пока его украсили марлевой повязкой, — с улыбкой ответил Михаил Моисеевич, но скоро, конечно, он получит и орден.

Так оно и случилось. Вскоре Михаил Моисеевич показал сыну портрет Холыкова, помещенный в газете, где был напечатан указ о награждении его орденом Ленина.

Ты верный сын! — Спешу: рыдает мать твоя
Ты добрый сын! — Спешу: страдает мать твоя
Скачи, мой друг! Не уставай, хоть путь далекий.
В крови немецкой вымой дедовский клинок!..

И он уехал. Он уехал, твой джигит...
Ты долго слушала далекий стук копыт,
Сквозь пыль седую ты смотрела долго вдаль,
И след подков ты целовала, Айджамаль...

Ты в поле вышла вместо друга поутру,
И косы черные летали на ветру,
И небо синее цвело над головой,
И комы падали в кетмень широкий твой.
Кара-калпакский твой кетмень остер, как мечь,
Пусть каждый взмах его несет победы весть,
Пусть с каждым взмахом золотого кетменя
Изнемогает враг, судьбу свою каяня.

Бей прямо в Гитлера, в его поганный лоб,
Чтоб сдохли изверги, навеки сгнили чтоб!
Чтоб травам шелковым на родине расти,
Чтоб маком ласковым в полях ее цвести,
Чтоб вольно жили мы над быстрою рекой
В Кара-Калпакии, стране моей родной!

Перевела с кара-калпакского Светлана Сомова

Садык Нурымбетов

(Народный певец Кара-Калпакии)

ТЫ ДЖИГИТ

О, прекрасный джигит! Твоя слава, как солнце
горит.

О, бесстрашный джигит! Твоя сила фашистов
громит.

Ты стрелок, ты наездник, ты наш несгибаемый
щит,

Ты отчизны крылатый джигит!

Ты на поле сраженья, как ветер пустыни,
спешишь

И фашистов в холодную пропасть могилы
теснишь,

Черным саваном смерти врагов одевая, летишь
Неуклонной расплатой, — джигит!

О, как точен и яростен твой смертоносный
удар,

Как прекрасен в тебе нашей меткостью дедов-
ский удар!

Ты внезапно на спину фашисту бросаешься, яр,
Словно тигр полосатый, — джигит!

Эту знойную силу впитал ты в отчизне своей,
Средь шафрановых гор и седых необъятных
степей,

Молоко ты сосал из ее загорелых грудей, —
Нашей силой богатый джигит!

Но тогда лишь скажу, что искусство боев ты
постиг,

Когда ты у тевтона последнего вырвешь язык.
Настигай же врага! Пусть гремит твой воин-
ственный крик, —

Воин в шапке косматой, джигит!

Посмотри, пред тобою как будто тюльпановый
склон,

Не цветами, а кровью горячею он обгажен.
Проплыви на коне, сквозь кипенья пурпуровых
волн, —

Жаждой мести объятый джигит!

О героизме твоём наши девушки грезят в
ночах,

И пунцовый румянец пылает на смуглых щеках,
Седовласые старцы поют тебе славу в стихах
Над рекой в час закатный, — джигит!

О великий потомок народных воителей — львов,
Муж, не знающий страха, взрастивший себя
для боев,

Ты — надежда отчизны, ты лучший из наших
сынов, —

Победитель крылатый, джигит!

Перевела с кара-калпакского Светлана Сомова

Анатолий Шишко

ЛЮДИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

1. РОЗОВЫЙ САД

Да будет вам счастье, а нам жизнь — так
начал рассказчик, приложив руку к груди.

Был полдень. Дремотно журчал арык. Мы
сидели в гостевой, с настезь раскрытыми д-
верями. Голос Алимджана Хуссейнова чуть воз-
вышался над шумом воды.

Было это давно, в 1923 году, когда в Фер-
ганской долине свирепствовали банды бас-
мачей.

Гарнизон красных войск стоял в Мирабаде.
Командир гарнизона вызвал молодого Алим-
джана и приказал ему направиться в Кумакай.

Нужно было выведать, сколько там басмачей
и в чем состоит их вооружение. Председателю
Куменкайского кишлака командир дал письмо,
где просил помочь разведчику.

— Теперь иди, — крикнул командир.
Алимджан сказал: хорошо, — спрятал пись-
мо в тюбетейку и отправился в путь. Была
осень. Октябрь. Месяц Великой Революции.
Легко шел Али, напевая песенку, которую он
запомнил с детства.

Вода течет, вода течет
Под водой камушки шумят...

Алимджан Хуссейнов был родом из кишлака Гульбах, что означает по-узбекски — розовый сад. Небольшого роста, круглоголовый, — мальчиком он бегал по родному кишлаку или, присвистывая, скакал на воображаемом карабаире, чуть наклонившись в седле, как делают лхие джигиты.

Но Хуссейнов был бедняк, сын дехканина. Ни у Али, ни у его отца не было коней. На вороных, с белой отметиной по лбу, карабаирах скакали сыновья баев. Пришелкивая плетью, они норовили обдать грязью Алимджана сидевшего на короточках у быстро текущего арыка. Мальчик смотрел им вслед внимательно, не по-детски серьезно, и глаза его делали строже, сосредоточеннее.

Таким, обращенным в себя взором Али смотрел на меня, на колхозников, молча и почтительно слушающих его рассказ.

В Кумакай Али добрался к полудню. Вошел во двор председателя и остановился, заслышав голоса. В кибитке, на деревянной суфе сидело пятеро вооруженных людей. Бриголовые, в шелковых халатах, они ели плов.

Али сразу понял, что перед ним басмачи и сделал шаг назад. Тогда старший из басмачей, в белом турбане, покачал головой и сказал:

— Что ж ты испугался, входи.

Алимджан вошел и сел на кошму.

— У тебя есть бумага? — спросил старший, трогая двумя пальцами бороду.

— У меня нет бумаги, — равнодушно ответил Али.

— А я говорю ешь! Давай сюда.

Алимджан вскочил, но тотчас вокруг него сверкнули наведенные дула ружей. Он пожал плечами, вынул из тюбетейки письмо и опять сел, скрестив ноги. В одно мгновение он оценил обстановку. Бежать — невозможно. Кругом басмачи. Сила — на их стороне. У него же один союзник — время. Нужно выиграть время.

Старший прочел бумагу, сложил ее и спрятал за пояс.

— Хорошо. Поешь с нами плова. А после — твой конец будет.

Алимджан кивнул. Он был совершенно спокоен. Самый молодой из басмачей подал ему кувшин с водой, дал вымыть Али руки.

Поели в молчании плов. Потом встали два и повели Алимджана через двор на конюшню.

Алимджан шел и думал об одном — как бы передать командиру, что басмачей не так уж много, человек шестьдесят, что день короткий, скоро настанет вечер, а за ним ночь, конец пути. О смерти он не думал, ибо все проходит, как сказал поэт, а дела остаются. Об этом деле, о поручении командира Али не переставал размышлять все то время, как его вели по раскаленному солнцем двору.

В конюшне Алимджана связали веревками, стали бить топором по голове, ударили по глазам — день вспыхнул и погас, кровь обожгла лицо. Он дрался ожесточенно, ему вывернули руку, хрустнули суставы, и рука повисла, как язык собаки в жаркий день.

А потом его оставили одного, закрыли дверь и ушли. Али знал, что это только пытка, что кончится полдневный намаз, басмачи вернутся и добьют его. Но не о себе он думал в эти минуты, слизывая с губ соленые капли. Левая рука не могла больше бороться, правой Али вытаскивал нож, разрезал веревку, подбежал к двери. Она была заперта. Через щель в углу, разрывая глину ногами, плечом, головой, он вышел во двор, перескочил как барс через глиняный дувал и попола, оставляя на песке следы крови.

Басмачи не настигли его. Увидели, когда уже было поздно, — выстрелили раза два, а он только засмеялся в ответ.

Алимджан замолк. День клонился к вечеру, декабрьский, туманный день, когда земля пахнет прелым листом, влажностью осени.

И все молчали, слушая, как звенит арык.

Много воды утекло с тех пор, когда Али, изувеченный, полуслепший вернулся в свой кишлак Гульбах, расположенный у Кара-Дарьи, черной речки. Много крови пролило было дехканами, прежде чем на родине Алимджана Хусейнова зазеленели колхозы, а черные, пересыхающие в аяой речки слились в большой Ферганский канал.

Кишлак Гульбах вошел в состав колхоза им. Ленина, где живет теперь Алимджан. Хуссейнов еще не стар и если плохо видят его глаза, память батыра крепка. Молодых джигитов Алимджан Хуссейнов учит, как лучше, беспощаднее громить врага, чтобы понсюду: в долине родной Ферганы, у седых стен Кремля, под городом Ленина — вечно двел сад весны и труда.

2. МЕЧТА

Хлопок цветет. Бабочка, присевшая на куст и сложившая лимонно-белые крылья — таков цветок хлопка в первые дни. Постепенно лепестки расправляются, и тогда необозримое поле, с едва синееющими в дали холмами, превратится в сказочный сад.

Среди вырезной листвы хлопчатника, еще усыпанного белыми и розовыми цветами, кое-где, прорвавшись к солнцу, лопнули и раскрылись бутоны. В них воздушно-белая снежная чистота вата нового урожая. Председатель колхоза, Амамбай Миралиев с гордостью подсчитывает коробочки на кусте. Там, где своевременно была проведена чеканка, куст дал от 25 до 30 и больше коробочек.

Урожай не приходит сам. Его надо завоевать. Люди Амамбая не знали ни одного прогугла. Тщательная обработка хлопчатника говорит о напряженной, повседневной работе артели. Было проведено четыре глубоких окучки, три культивации.

Под хлопок колхоз им. Сталина, Янги-Абадского сельсовета, Андиджанского района, отвел 171 га. Это много. Велика ответственность председателя. Но он спокоен, как будто дело идет всего навсего об опытном поле. А в колхозе не только хлопок, но и рис.

— Один гектар риса мы отдаем в фонд Красной Армии, — говорит Амамбай, как бы продолжая главную мысль, не оставляющую его среди повседневных забот. Велики труды председателя, много у него забот, но главнейшая из них — организовать военный урожай.

Из года в год расширяется посевная площадь колхоза. Высокие показатели дал колхоз и по урожайности. В прошлом году был заключен договор снять с гектара по 30 центнеров. Колхозники дали по 37,8 центнеров и перевыполнили договор. Усман Юсупов, посетивший колхоз им. Сталина, лично благодарил тов. Миралиева, сдавшего государству шесть тонн риса одним из первых в области.

— В этом году мы заключили договор на 33 центнера сырца-хлопка с гектара — покусывая травинку, говорит Амамбай, — но должны снять не менее сорока. Соревнуемся с колхозом им. Молотова. У них отличные показатели, — добавил он, трогая лошадей, и мы едем дальше.

День гаснет. Синевя неба густеет, наливается прохладой.

Четче отдается цокот копыт.

По обеим сторонам тропинки — поля хлопчатника. Ровные кустики с клинообразными

листьями расставлены с точными интервалами, как бойцы на параде.

Смуглые женщины с черными косами, аккуратно уложенными вокруг пестрых тюбетек, расхаживают между кустов хлопка, как по саду. Смеясь и разговаривая, они легко, на ходу обрывают пожелтевшие листочки, уверенной рукой выдергивают сорняки.

Работая, они поют. Негромко, вполголоса. Это песня труда, бесхитростные слова матери-деханки, рассказывающей своему черноглазому сынышке о батыре-отце, бьющемся с осквернителями родины. Слова трудно разоб-брать, окончания их полубрываются, замирают на губах.

Вечером мы сидим на деревянной суфе, устланной коврами, пьем чай. Над нами звездное небо. Беседуем неспешно, охваченные раздумьем, навеванным тишиной и прохладой. У ног звенит арык.

Наливая гостям пиау душистого кок-чая, Амамбай продолжает рассказывать.

Все скупое, просто в словах этого человека.

Амамбаю Миралиеву 39 лет. Высокий, стройный с поблескивающим эмалью значком БФК, с орденом Трудового Красного Знамени на груди, он легкостью своих жестов напоминает джигита. Черные, буденновские усы, темные внимательные глаза...

Слегка обращенным в себя взором, как это бывает с людьми, вспоминающими славное, но давно прошедшее время, он рассказывает о себе. Это трудно, не всякому дано говорить так, чтобы оживали события, а герой их, сидящий здесь же рядом с нами, оставался бы неизменно в тени.

В колхозе им. Сталина Амамбай работает давно. В 1939 году его послали бригадиром на стройку Большого Ферганского канала. Деяносто человек было в бригаде Миралиева. Он разделил ее на 3 группы, по 30 человек в каждой и повел свой отряд на штурм.

На пятнадцатый день бригада Амамбая перевыполнила норму на 150% по сроку и объему работы. Как будто простые, несложные цифры!

Но за ними — дни напряженной страды, ритмичные вальеты кетменей, сердца девяносто человек, бьющихся в унисон и — всепоглощающая мечта: проложить дорогу воде, которая, зашумев, хлынет и оплодотворит поля родины.

День и ночь — мечта о цветущих садах, о крылатом туте, широко распластанном ветви

в синеву неба, о белом золоте, которое таит в шершавых коробочках ткань и порох, о полновесной, как чеканная монета шале, склоняющейся под тяжестью зерен к влажной земле, — все это и многое другое, что дарит щедрая природа Узбекистана — вставало в разгоряченном сознании Амамбая.

...Еще удар кетменем, и вот — из долины, зеленойшей душистым клевером, идут к воде стада курдючных баранов. Переплескиваясь через арыки, вода разбегается по огородам, где серебрятся тугозавитые кочаны капусты, зреют красные, словно налитые солнцем, помидоры.

... Мечта ширится, как поток, шумно, водопадом свергающийся вниз, туда, где под холмом прилепилась глинобитная мельница. Грохочут по деревянным жолобам пенные воды арыка, приводя в движение жернова. Смуглые, как персик, девочки несут на головах кулечки с мукой свежего помолу. Пшеничной пылью припудрены их щечки.

На минуту Амамбай прикрыл глаза.

Все это было: бессонные ночи и дни упорного труда. Жарко. Хочется пить. Над головой — неотступно палящее солнце, на зубах песок, тяжелый запах развороченной земли. Рукавом рубахи Амамбай отер солоноватый пот, обильно стекавший с бронзового, почерневшего лица.

Но отдыхать некогда. Надо спешить на помощь третьей бригаде. Он шел, неторопливо давал указания. Внешне он был прост, сдержан, и только глаза, большие, черные, с перебегавшими в них искорками, раскрывали душу этого человека, личным примером, самыми обыкновенными словами увлекавшего бригаду так же властно и непреодолимо, как командир поднимает за собой в атаку цепь бойцов.

Есть много путей к успеху. О них можно догадываться, без конца расспрашивать, и все же нам никогда не узнать, как этот человек расставлял рабочих своей бригады, как поздно вечером, сидя в тесном кругу, при свете звезд, они обменивались опытом дня, какой магией творчества пылали их сердца, зажженные Амамбаем Миралиевым.

Обо всем этом он говорит скупно, как о давно прошедшем, но во всем этом, до сего-

дняшней поездки по полям, сквозь все перипетии простой на вид, но сложной по существу жизни тянется ариаднина нить труда.

Ухватившись за нее, мы идем сквозь отшумевшее время и приходим к дому бая, где юный Амамбай работал от зари до зари. С 13 лет Амамбай сирота. Отец его: дехкан-батрак — умер. Амамбай занял место отца. Сеял рис, работал на кухне — делал все.

Так прошло семь лет.

Об этом времени Миралиев вспоминает неохотно, между прочим. В 1925 году в Узбекистане провели земельную реформу: байские угодья разделили между дехканами. 7 танавов или 1,24 гектара получил в свое пользование Миралиев. В 1936 году он первый вступил в колхоз.

После окончания строительства Большого Ферганского канала, Амамбай вызвали в Москву. Трудно передать, какие чувства охватили его при виде древней столицы. С волнением входил он в Кремлевский дворец, где седой русский дехкан Михаил Иванович Калинин вручил Миралиеву красную коробочку с орденем и, крепко пожав руку, пожелал дальнейших успехов в работе.

Амамбай вспыхнул. Смуглое лицо его дрогнуло, может быть, первый раз в жизни из глаз выкатилась неукротимая слеза, но он овладел собой. Сказал коротко, от всей души: «Я готов выполнить любое задание партии». И больше ничего не сказал Амамбай Миралиев. Поклонился и вышел. В этих простых, обычных словах — вся его жизнь, залог прошедших и будущих успехов.

Он шел по наводенному паркету, а в окнах дворца, выходящих на Москву-реку — сверкал июльский полдень. Амамбай распахнул халат. Было жарко, как в Узбекистане. И это была его родина, Москва. Только воды ее сая, Москвы-реки, были прозрачны, текли лениво, как запруженный арык.

Вечером Амамбай Миралиев долго стоял на Каменном мосту, смотрел на шумный поток, где плыли и качались отраженные в воде звезды. Июльское небо было прозрачно. Казалось: созвездие советских республик сдвинулось и горело над Москвой ярким, немеркнущим в веках светом Сталинской дружбы народов.

Евг. Хазин

КОЛХОЗ В СТЕПИ

Мы сидели на коврах в колхозной чайхане, говорили о войне, о степи, о колхозных пшеничных полях, пили зеленый чай, передавая пиалу круговую по старшинству и ели теплую лепешку из пшеницы богатого колхозного урожая. Вошла женщина в платье из узорного узбекского шелка, яркочерных штанах и коверкотовом, ладно, по-мужски сшитом жакете поверх платья. Две тугие косы обвивали нарядную тюбетейку, расшитую серебром по красному бархату. У порога женщина сбросила туфли и, мягко пройдя по ковру, уселась в круг.

— Вот и Клычева, — сказал кто-то.

Она приехала из степи, где день и ночь шла уборка последних колхозных полей. Уже три дня по степи гулял буйный ветер, мешал работе. На току ветер разносил зерно, на поле клонил к самой земле пшеницу и разбрасывал снопы, не давая вязать их.

Всю ночь Клычева боролась с ветром, наляживая где можно работу. Не отдохнув, только умывшись и переодевшись, она пришла на колхозный двор, в чайхану.

Ее спросили, что делается на полях, она ответила коротко, резко и, взяв протянутую ей пиалу, стала пить, как очень усталый человек, медленными, глубокими глотками.

Я много слышал об этой женщине, передовой колхознице, зам. председателя колхоза им. Жданова, Катта Курганского района, Самаркандской области, депутате Верховного Совета УзССР. Теперь я увидел ее в колхозе на отдыхе и в работе, в чайхане, на колхозном дворе, на поле и в ее новой недавно построенной «кибитке». Глинобитный дом, сохранивший старое кочевое название, был оседлый, очень светлый, чистый, просторный. Традиционный быт, пол, устланный превосходными, домотканными коврами, пестрая гора одеял, лежащих на кованых, узорных сундуках в двух нишах передней стены, легко и просто сжались со стоявшим тут же патефоном, кипой хорошо знакомых книг, никелированной, блестящей кроватью у другой стены и большим зеркалом над полированным столиком доброй фабричной работы. И то здесь, в этом доме-кибитке, то в чайхане, урывками, когда Клычева отрывалась от работы, я услышал повесть о жизни передовой узбекской женщины, о ее печальном сиротском детстве,

о горячей поре борьбы за колхоз, о трудовой каждодневной страде, о годах учения и первых шагах в большом мире хозяйственных, общественных, государственных интересов.

Они росли вдвоем, двое детей, двое сирот очень бедных, полуголодных, оборванных, — Джангиля и Таш Клычевы. Джангиля, старшей, минуло девять лет, а брату ее Ташу — семь, когда в 1925 г. умер их отец. Матери они совсем не помнили. Они жили одни, без родных, без близких в оставшейся по наследству бедняцкой кибитке на краю кишлака. Это была действительно кибитка — круглая юрта из прутьев, покрытых войлочной кошмой. Так жили в те годы по всей Катта-Курганской степи, изстари земледельческой, но сохранившей кочевое жилье.

Клычевская кибитка была очень неказиста. Деревянный остов давно расшатался, а ветхую кошму немилосердно трепали и рвали в клочья зимние злые ветры. На двоих детей было одно одеяло, да и то очень тощее, старое. Юрта и одеяло были всем их достоянием. Когда в ямке посреди юрты затухал костер, дети разстилали одеяло поближе к горячей золе, заворачивались и засыпали, прижимаясь друг к другу, чтобы спастись от стужи.

В кишлаке им дали работу и скудный корм с чужого стола. Дети стади барачатами нянчили чужих детей, пасли чужой скот, сушили кизяк для чужих очагов, собирали для них в степи колкочку. Года через два у Джангиля появилась специальность. У нее были проворные руки, и ее засадили пряхать шерсть, а потом и за ткань. Из грубошерстной нити она ткала большие мешки для ссыпки пшеницы, красивые узорные в черную и серую полосы различных оттенков. Мешки шли на продажу в Катта-Курган. Сбыт был хорош, работа не прерывалась. Девочка работала так много, что детские пальцы деревенели, и спину нельзя было разогнуть. Когда ей было невмоготу, она затягивала песню, и тогда становилось легче. Она знала много песен, радостных и печальных, задорных и величаво-суровых, и пела их звонким голосом, к которому прислушивались в кишлаке. Она прала, ткала, пела, ела чужую, поданную, как милостыня, лепешку, месила босыми ногами пыль и грязь степных дорог.

Так проходило безрадостное, сиротское детство.

Пришел первый год коллективизации. Джангиль было тогда 14 лет. Батрачество сразу кончилось. На колхозных полях, на выгонах, на фермах, на колхозном дворе нашлось много посильной работы и для нее и для младшего брата Таша.

Колхозная жизнь налаживалась медленно и тяжело в борьбе с баями и теми дехканами, которые долго не могли осознать, что такое общественный труд и общественная собственность. Во время сбора первых колхозных урожаев Джангиль заметила, как многие колхозники утаскивали с поля зерно. Людям, знавшим до сих пор только личную собственность, общественное достояние казалось ничьим, бесхозяйным. Враги колхоза широко этим пользовались, сами крали и, чтобы развалить колхоз, подбивали на кражу других. Зерно кой-как обмолачивали, протирая в ладонях, ссыпали в свои мешки, зерно тащили с тока, из комбайна. В те годы на поле выходили неохотно, худо пахали, худо сеяли, а скудный урожай первых колхозных лет растаскивался до того, как он попадал на колхозный двор.

Девочка-батрачка, у которой никогда ничего не было, кроме убогого жилья, гораздо скорей других поняла, что такое общественная собственность. Тот, кто растаскивал общественное зерно, был для нее хуже вора. Когда она замечала кражу, она бежала к старшим колхозникам, к колхозному активу, называла хищников, и зерно возвращалось в общественные амбары.

Девочка была шустрая, зоркая, всюду поспевала, и от нее было трудно укрыться. Разрушители колхоза ее возненавидели. Ее грубо ругали — она не унималась. Ей грозили расправой, — она не обращала внимания на угрозы. Она была смела до дерзости. Но дело ее было правое, и она была не одна.

В эти годы острой борьбы за колхоз кишлак обезлюдел. Многие дехкане разбрелись кто куда. Оставшиеся упорно работали, и в 1934 г. они добились хорошего урожая, значительно увеличили к тому времени колхозное стадо. Это был переломный год. По округе пошла молва, что в колхозе им. Жданова зажили сытно, ладно, хозяйственно. Беглецы потянулись назад в свой кишлак. Они приходили, смотрели, дивились и оседали на родном месте. Колхоз победил, он доказал свою жизнеспособность и свой хозяйственный смысл.

В своем домике, построенном для них

колхозом, жили и Джангиль Клычева, 18-летняя, упрямая колхозница, и брат ее Таш. В шерстяных, полосатых мешках, таких же, какие она ткала, батрача у чужих людей, хранилось ее заработанное в колхозе зерно. Это было первое ее достояние, и лепешка из этой пшеницы казалась невиданно румяной и вкусной.

В те годы колхозы начинали широкое наступление на безводную Катта-Курганскую степь, на ее плодородные, но опаленные солнцем земли, где привольно росла одна колючка, такая же иссушенная, как земля в жестоких, острых шипах. Небольшие пшеничные поля, обработанные древним омачем, поднимающим пласт не толще 3—4 вершков, не переворачивая его, требовали тяжелого, настойчивого труда, и труд этот был неверный. В иные годы, когда весна не приносила обильных дождей, земля не возвращала даже посевного зерна. Чтобы не нести тяжелого риска, кишлаки не выезжали в поле, отказывались от собственного хлеба до следующего года. От весенних дождей, накладывало на степь Богарное хозяйство, полностью зависимое ныне колхозы печать скудости и отверженности.

Все было здесь неверно, шатко, подвижно. Кишлаки кочевали по степи в поисках не только пастбищ для стад, но и земель, давно не тронутых омачем.

Колхозы перестраивали жизнь степи. Разрушая сопротивление баев, они в корне ломали старое, скудное хозяйство и, ослабляя власть богары, превращали отверженную землю в новую житницу Узбекистана. Колхозы здесь многоземельны. На тысячах га земли, отписанной им в вечное пользование, они повели колхозное рациональное хозяйство, вооруженное механической силой и агрикультурными знаниями. Это была многолетняя борьба за расширение посевных площадей, за богатые устойчивые урожаи, за большие центнеры пшеницы, за богатую колхозную жизнь.

Двойная борьба за самый колхоз и за его новое хозяйство потребовала громадного, самоотверженного труда. Колхозники его не испугались. Они хорошо поработали, колхозы крепко вросли в степь, и каждый год приносил им новые достижения.

Степь не баловала людей. В вековой борьбе за существование здесь сложилось племя суровых и мужественных людей, закаленных в невзгодах. Из них вышли первые строители колхозов, вынесшие всю тяжесть борьбы пер-

вых колхозных лет и ставшие теперь большими хозяевами, руководителями больших колхозных хозяйств. Среди них была и Джангиль Клычева, упрямая колхозница. В своем колхозе им. Жданова она стала звеньевой, потом табельщицей, наблюдавшей за выходами на работу и подсчитывавшей сработанное каждым за день. У 18-летней девушки оказалась твердая рука, настолько твердая, что лодырничать в колхозе, ловчиться было очень трудно. А для своих трудовых часов Клычева не знала счета. Она работала без усталости, больше чем в годы батрачества, — но в этой работе была настоящая радость: с каждым годом крепла и мужала новая удивительная жизнь.

Когда Клычева рассказывала, она сидела, опустив голову, ни на кого не глядя, словно для самой себя перебирала в памяти ушедшие дни. Она говорила очень тихо, очень спокойно. Но иногда задорная нотка прорывалась в голосе, и она поднимала освещенное улыбкой лицо, молодое и красивое, с лукаво поблескивавшими глазами.

В комнату входили, выходили. Колхозные заботы отрывали Клычеву от рассказа. Она отдавала распоряжения так же, как вела рассказ о прошлом, тихо, не повышая голоса, очень коротко. Ее привычки слушаться, и было ясно, что этот голос, лишенный повелевательных интонаций, звучал убедительно для всего колхоза.

Из степных станов приехал пред. колхоза Суванов. Ветер все еще гулял по степи. Он нагло хозяйничал на полях, он мел пыль по степи, он засыпал глаза песком, он выла за окном дома-кибитки, он разрушал работу. Суванов вернулся из степи озабоченный и сумрачный.

В другом колхозе, может быть, отнеслись бы благодушной к этой назойливой помехе. Все государственные поставки колхоз им. Жданова выполнял досрочно первым по району. Поставка была немалая: 1567 цент. пшеницы. Зерно свозили на сыпные пункты прямо с поля на своих восьми верблюдах. С убранных уже полей колхоз выдал колхозникам по 3¹/₂ кг. на трудодень, а по расчетам вся выдача должна достигнуть 6 кг. Хозяйственный год кончался хорошо. Сдав все полагающееся государству, колхоз широко обеспечил всем своим членам, хорошо работавшим, и хлеб до нового урожая и зажиточный уровень жизни.

Но так уже привыкли в колхозе им. Жданова, что каждое большое дело нужно доводить до конца, не ослабляя темпа и преодолевая

все трудности и помехи. Так строился колхоз, разрушая сопротивление, так он работал из года в год в безводной степи, на полях, которые питались только весенними дождями. Так он расширял посевную площадь пшеницы, довел ее к 1941 г. до 11000 га, а в нынешнем, военном году запахал, засеял, убрал еще 230 га, хотя крепких рабочих рук стало меньше, а помощь механизмов — тракторов, комбайнов — оказалась невелика.

В колхозе хорошо знают, что страна ведет тяжелую освободительную войну, что страна требует много хлеба для питания фронта и тыла и деревня должна в полной мере обеспечить эту потребность. В колхозе им. Жданова работали в этом году по-военному, круглосуточно, напряженно борясь за каждый клочок земли и за каждый колос на поле.

Ранней весной, перед севом Суванов тяжело, надолго заболел. Молодой, но твердый и уверенный хозяйин-руководитель колхоза с 1936 г., в самое горячее время выбыл из строя. Вся работа легла на Клычеву. Весну она провела в седле, переезжая от бригады к бригаде. И этот сев военного года прошел так, что обеспечил высокий урожай.

Двенадцать лет назад, когда колхоз только начинал складываться, в кишлаке никто не поверил бы, что шустрой девочке батрачке Джангиль Клычевой предстоит такая большая работа и такая большая жизнь. Колхоз научил ее руководить крупным хозяйством на тысячах га, на тысячи центнеров урожая, на тысячи голов скота. Колхоз посмал ее учиться. От колхоза она ездила в столицу на слеты и съезды передовиков-колхозников. После степных неподвижных просторов и бесконечности степного неба Клычева увидела большой город с его беспокойной шумной жизнью. Вместе с такими же юношами и девушками, приехавшими как и она учиться, Клычева сидела в строгих просторных аудиториях, в библиотечных залах, а после часов учебы — в нарядных театральных залах, в кино, концертах. В свою степь она вернулась не только в городской одежде и с городской утварью, но обогащенная знанием и с книгами, в которых отложился большой человеческий разум.

В эти годы комсомолка Джангиль Клычева стала членом партии.

При выборах в Верховный Совет УзССР Улусский сельсовет выдвинул ее кандидатом в депутаты от района. Общественность района поддержала кандидатуру, и Клычева заняла место среди лучших людей, решавших судьбы страны.

Клычева работала, училась, все бо́льшая ответственность ложилась на ее молодые плечи, но находилось время и для песни, для шутки, задорного смеха, для молодой, бьющей ключом радости. Из одной поездки в город она вернулась с мыслью о собственном колхозном театре. В кишлаке нашлись актеры, певцы, музыканты, плясуны. Кой-как своими средствами соорудили сцену. Репертуар дали книжки, привезенные из города, знакомые с детства песни. Представления колхозной труппы были веселы, злободневны и говорили о том, чем жили во многих колхозах. Театр имел успех. На представления съезжались из соседних кишлаков, приезжали из районного города, смотрели, одобряли, а в жизнь кишлака это внесло новое радостное сживление.

Жить бы да жить так колхозу, хозяйственно и культурно укрепляясь. Но пришла война.

Война вызвала новое наступление на степь и новый трудовой подъем.

Война потребовала хлеба, как можно больше хлеба для фронта и трудового тыла.

Война увела на фронт много мужчин, лишив колхозы самых сильных работников.

Война уменьшила механическую силу, уже выведенную в прежние годы на поля.

Война легла тяжелым бременем на оставшихся, призвав всех к работе — и женщин, и стариков, и детей.

Этот весенний год был трудным испытанием для Катта-Курганских колхозов, и они выдержали это испытание с честью.

Как и в других передовых колхозах, в колхозе им. Жданова работали в этом году по-военному, круглосуточно, борясь за каждый клочок посевной площади и за каждый колос на поле.

Ранней весной, перед севом, Суванов тяжело заболел. Молодой, но твердый и уверенный хозяин, многолетний руководитель колхоза надолго выбыл из строя. Вся работа легла на Клычеву. Всю весну она провела в седле, переезжая от бригады к бригаде. И этот сев военного года прошел так, что обеспечил высокий урожай.

Клычева показала, как нужно работать в военное время, когда мужчины ушли на фронт, а женщины, оставшись в колхозе, стали основной рабочей силой. Во время уборки кишлак совсем обезлюдел. Нигде не дымились печи, нигде не стало слышно ребячьего гомона. Женщины, дети ушли в степь в далекие станы и редко, редко показывались в кишлаке.

Жизнь перенеслась на пшеничные поля, которые тянутся вдаль и вширь, теряясь за дальними холмами. Среди этого пшеничного моря мерно движутся женщины, оставляя на сжатой полосе частые ряды туго перевязанных снопов. Свяжет жница сноп, выпрямится, чтобы на мгновение передохнуть и снова идет, низко пригнувшись к земле, быстро, очень ловко, сноровисто работая серпом.

Работают женщины, работают и дети, да так, что их руками была собрана немалая часть урожая. Восемилетние, десятилетние ребята жнут, вяжут, молотят. На току, где четверка лошадей день и ночь топчет расстеленные снопы, в дни особенной спешки, когда колхоз сдавал пшеницу государству, ребята не сходили с лошадей даже для обеда. Они ели и погоняли лошадей, не давая им остановиться.

На детях сказалось состояние взрослых, матерей в первую очередь, их озабоченность, их чувство высокой ответственности за урожай, за военный хлеб нынешнего года.

— Раньше много было народу, — говорят в колхозах, — и думали так: не я сделаю, сделает другой. А теперь народу стало мало, урожай большой, и работы много. Трудно, не трудно, а работой и за себя, и за тех, кто на фронте — за наших мужей, за отцов, за сыновей, за братьев. Так мы работали и все сделали как надо.

Работа и за себя, и за тех, кто на фронте, привела к высокому, военному перевыполнению норм. Две-три нормы — это требование передовых колхозников подсказано самой жизнью, каждодневной страдой. Не терять только ни минуты времени, работая в полную силу — тогда все потребности фронта будут удовлетворены.

А о фронте всегда помнят в кишлаках, помнят в полевых станах, в работе и на отдыхе. С фронта ждут писем от родных. Ждут газет, читают их вслух, обсуждают, с горючей ненавистью говорят о фашистских головорезах и восхищаются подвигами советских людей.

Джангиль Клычева проводила на фронт брата своего Таша. Брат и сестра впервые расставались на долгое время. Они оба хотели быть мужественными, они не плакали расставаясь, и тем тяжелей было на сердце. Письма от Таша приходили редко. Но какая была радость, когда Джангиль читала на конверте со штампом Действующей армии свое имя, написанное размашистым четким почерком.

В январе Таш Клычев писал сестре: „От

скучающего по тебе привет! Дорогой сестре Клычевой — С новым годом! — От скучающего привет... И всем остальным, — от скучающего пламенный привет! Итак дорогие, родные, я вам сообщаю о себе, что я жив и здоров и в настоящее время нахожусь на службе в Красной Армии и желаю вам здоровья и хорошей работы... А мы с Нового Года, с новым усердием гоним врага и расширяем советскую землю. Вы не беспокойтесь. Сколько можете, помогайте государству и не верьте словам людей, сеющих волнующие мысли. Не беспокойтесь. Останемся живы, здоровы и увидимся. С приветом брат Таш!“

На бумаге был нарисован дюжий красноармеец, размахнувшийся, чтобы бросить гранату в надвигающийся танк. Еще танки были нарисованы на бумаге, среди них рвались снаряды, а неподалеку от гранатометчика два бойца были по немцам из противотанкового ружья.

Джангиль и Таш Клычевы, брат и сестра, вместе всегда жившие, вместе всегда работавшие, радовавшиеся, печалившиеся, и в разлуке делали одно и то же дело. Он — на фронте, она в колхозе. Здесь она боролась за хлеб, за урожай военного года, стойко и в полную силу помогала государству. Шла ли в колхозе пахота, сев, жатва, молотба — во всем были свои трудности и невзгоды, которые нужно было одолеть.

В тот день, когда ветер с особенной силой буйствовал, с высокого холма за кишлаком заметили дальний дымок в степи. Серое дымное облако быстро расплзалось, темнело, густело и несло по ветру. Степь горела. Пожар начался далеко от кишлака, километров за двадцать. В степь выскочили колхозники на конях и напроки, по холмам помчались в ту сторону, откуда надвигалось дымное облако. Впереди мелькнуло розовое ситцевое платье Клычевой и ее красивые штаны, заправленные в высокие сапоги. Скакал во весь опор и Суванов, превосходный ездок, пронесся и скрылся за ближним холмом.

В иссушенной солнцем степи достаточно случайной искры, чтобы ветер раздул пламя и погнал его вдаль. Затушить огонь невозможно. Черное облако пожара будет до тех пор нести по степи, пока не встретит земляного завала или рва, где пламя не найдет пищи.

В степи кой где еще стояли неубранные хлеба. Если бы пожар пронесся по ним, все осталось бы голо, мертво, и земля была бы засыпана черным обуглившимся зерном. Из колхоза им. Жданова и из соседних колхозов люди мчались, чтобы спасти свой хлеб, хлеб военного времени, а ветер гнал им навстречу страшное облако, то стеля его по низу, то вздувая к ясному небу.

Пожар остановили. Пламя пробушевало на пустырях, не добравшись до колхозных полей. Колхозники, возвращаясь в свои кишлаки, ехали медленно, не гоня усталых коней, сами усталые, черные от копоти и пыли.

Через несколько часов после пожара я ехал по степи. Дорога вилась по холмам. Гигантские площади в желтой щетинке живыя перемежались с чуть розовеющей пустыющей землей, поросшей колючкой. Я ехал и думал о будущем этой благодатной степи, о ее сильных, мужественных людях, о войне, стелющейся чудовищным пожаром на западе по советской земле.

Дорога круто поворачивала. Над грядой дальних холмов вырисовывался черный, безобразный конус. Я ехал дальше. Между желтыми и серо-розовыми просторами расплзалось черное, зловещее пятно. Там лежала обожженная земля, по которой недавно пронесся пожар. Она еще дымилась, и черные тонкие струйки вились, поднимаясь к небу. А на северо-западе, куда дул уже стихающий ветер, безобразное пятно обрывалось четкой, как будто проведенной по линейке, чертой, которой колхозники остановили степной пожар, не допустив его к своим полям.

„БЕЛОЕ ЗОЛОТО“

М едем по неровной, холмистой дороге. Осенние поля радуют взор. Красноватые кусты хлопка, как ковер, покрывают безкрайние равнины и склоны холмов, в узоры этого огромного ковра вкраплены пятна темно-зеленого клевера, свеклы и спелой желтой кукурузы.

Подойдите поближе к ковра, полюбуйте, как украсила его трудолюбивая осень „белыми цветами“! Эти драгоценные „цветы“ получили название „белого золота“. Как они красивы! Расколотые коричневые коробочки хлопчатника с белыми „цветами“ радуют бронзоволицых дехкан, сверкающих в улыбке белозубов. Девушки собирают эти цветы с веселой, громкой песней „Гульбрахан“:

Радуйся, милый друг:
Хлопок белеет вокруг,—
Весь в серебре стоит
Наш лучезарный юг.

Мы едем дальше и жадно озираемся. Всюду, как в песне девушек, „хлопок белеет вокруг“, поле „в серебре стоит“. Но звучат и иные песни, говорящие о трудных днях войны. Дехкане собирают теперь хлопок с особенным усердием и быстротой. Все хорошо знают, что теперь, когда родине угрожает серьезная опасность, пушистый хлопок необходим для фронта, для победы над Гитлером и фашизмом. „Белое золото“ с его взрывчатой силой необходимо, как танки и самолеты, пули и винтовки.

В Янги-Юле члены колхоза „Двенадцатилетие Октября“, вполне понимая серьезность своей задачи, ведут напряженную борьбу за высокий урожай хлопка, названный ими в этом году „военным урожаем“. Чтобы снять „военный урожай“, каждый старается работать за троих, за четверых. Весь пройденный колхозом славный путь побед и успехов заставляет каждого колхозника работать особенно напряженно.

В 1929 году, в двенадцатую годовщину Великой Октябрьской Революции, в этих холмистых ковунчинских просторах, произошла великая перемена: батраки и бедняки порвали цепи, которые столетия приковывали их к хозяйским порогам. Они пошли по широкому и светлomu пути, указанному Сталиным: организовали колхоз. Колхозу дали почетное наименование: „Двенадцатилетие Октября“.

Старый кышлак Кавунчи, приняв новое имя, год за годом стал изменяться. Земли, которых

никогда не касался омач (род сохи), изрезали, взрыли острые лемехи трактора. Увеличились обширные поля с хлопчатником и другими посевами. Впересоших степях потекли блистающие потоки воды, выросли обширные сады, возникли склады, клубы, красные чайтаны.

Достижения колхоза за минувшие тринадцать лет велики.

— Эх, если бы не война!.. горько вздыхают дехкане.

И, действительно, если бы не было войны, с какими, еще большими достижениями встретил бы колхоз 25-летие Великой Октябрьской социалистической революции! Но этот радостный праздник, эту великую историческую дату он может отметить напряженной борьбой за „военный урожай“. Лозунг „работать за двоих, за троих“, стал боевым знаменем для всех колхозников, и старых и молодых. Сотни людей выполняют по две, по три нормы. Ушедших в армию заменили их братья и сестры, отцы и матери. Они работают с удвоенной силой. Энергия их не ослабевает. Имена комсомолки Зейне Корабаевой, стоцентнеровиков Мамагуль Хайдарбековой, Халимы Баймановой и других замечательных сборщиц хлопка известны не только в своем колхозе, но и в целом районе.

Колхозники гордятся славными именами мастеров „военного урожая“. Даже в самый трудоемкий период окучки хлопка, они выполняли по несколько норм, а во время сбора норму в 30 килограмм довели до двухсот! В колхозе насчитывается много таких работников, которые, как Урынгуль Гудерова, Нархоль Аширалиева, Зайни Кулиёзова, Махмуд Миктибаев, выполняя в день две-три нормы, собирают сотни килограммов хлопка. Социалистическое соревнование за высокий урожай хлопка стало методом их повседневной работы. И 25-летие Октября они хотят ознаменовать перевыполнением плана сдачи хлопка.

В прошлом году колхоз засеял 300 гектаров хлопка и заключил договор на сдачу государству по 33 центнера с гектара, сдал более чем по 36-ти центнеров. В этом году засеяно хлопком 285 гектаров, т. е. на 15 гектаров меньше. Но, несмотря на это, колхоз напрягает все силы, чтобы сдать государству по 40 центнеров с гектара, т. е. значительно больше, чем в прошлом году. Колхозники,

самоотверженно трудившиеся все лето, подготовили успешно выполнение этой задачи.

Урожай большой. Несмотря на несколько сборов, каждый куст хлопка гнется под тяжестью коробочек, словно персиковое дерево под тяжестью созревших плодов. Ночью, обвеемое холодным осенним ветром, а днем под лучами еще горячего солнца, коробочки, словно зерна кукурузы, которые поджаривают,— постепенно раскрываются и зовут искусные руки поскорее собрать их. А искусные руки бережно собирают их все до одной, ничего не роняя на землю.

Колхозники, выполняющие другие работы, своим самоотверженным трудом тоже помогают скорейшей сдаче „белого золота“, необходимого фронту. Посмотрите, как работает организатор колхозного комсомола Абдухалик Аширбаев. Этот молодой комсомолец, помимо заданий, поручаемых ему райкомсомолом, работает в колхозе кетменом, помогает в сборе хлопка; стенная газета в колхозе выходит при его ближайшем участии; кроме того, он руководитель ежедневных военных занятий молодежи. Он возвращается домой поздней ночью, встает еще до рассвета, часов в пять утра, и всем сердцем отдается кипучей работе.

Учительница колхозной школы Мирзаш Курбанова заменила ушедшего в армию бухгалтера и овладела техникой бухгалтерского дела.

— Раньше,— говорит Курбанова,— в бухгалтерии работало пять человек мужчин, а теперь всю их работу выполняем мы, три женщины. Кроме того, мы ведем агитационную работу в бригадах, помогаем собирать хлопок, поэтому нередко приходится работать в бухгалтерии ночью.

Курбанова гордится, что ее муж, лейтенант — в действующей армии.

Коммунисты, стоящие во главе колхоза

„Двенадцатилетие Октября“, неуклонно ведут его в к новым и новым победам.

Председатель колхоза, награжденный орденом Ленина, Фаттан Джумабаев, его заместитель Юнусбай Джиррабаев, председатель совета урожайности Мирзаали Курчибеков, секретарь парткома и стоцентнеровик звеньевой Джура Миктибаев — испытанные руководители колхоза. Тринадцать лет назад они боролись со многими трудностями в период организации колхоза, а теперь с еще большей самоотверженностью борются за высокий урожай хлопка, так нужного нашей стране. Теперь все мысли руководителей колхоза заняты хлопком. Колхозный коллектив напрягает все силы, чтобы как можно скорее собрать урожай и сдать его государству.

Председатель колхоза Фаттан Джумабаев, несмотря на плохое здоровье и настоятельные советы врача отдохнуть и полегчить — днем и ночью на лошади, на хлопковом поле.

— Как я буду в такие дни спокойно лежать? — говорит он, когда разговор заходит о его недомогании. — Будь у меня не одна, а десять жиней, и то ни одной не пожалую! Сдам хлопок родине!

Однажды день выдался пасмурный, а к ночи стал накрапывать дождь. Джумабаев живо вскочил на коня и, быстро оббежав участки и дома колхозников, собрал всех на хлопковом гумно. Он не успокоился до тех пор, пока не был перенесен в дома весь собранный днем хлопок, оставленный на гумне и ожидавший утреннего солнца.

Колхозники, вполне доверяя таким самоотверженным руководителям, усердно выполняют все их указания. Каждый колхозник хорошо знает, что своим упорным трудом и скорейшей сдачей хлопка он поможет победе над заклятым врагом.

Хамид Алимджан

БАЛЛАДА О БОЙЦЕ ТУРСУНЕ

Бой над речною переправой
Тяжелый, многодневный бой.
Глядит Турсун на бой кровавый,
Горю над своей судьбой.

Жестокость первого сраженья
Его невольно потрясла,
И в душу, полную смятенья,
Мысль о побеге заползла:

Ему тревога сердце гложет:
„Как в бурю плод, что не созрел,
Сегодня я паду, быть может...“
Но убежать он не успел.

Уходит рота в наступленье
Вослед ушедших в бой колони.
Письмо в последнее мгновенье
Принес Турсуну почтабын.

Увидел он знакомый почерк
И словно лист затрепетал,
Писала мать:

„Вестей, сыночек,
Ждала я, ты же не писал.

Ждала с надеждой и тревогой...
И вести черные пришли,
Что отступал ты и что много
Врагам оставил ты земли.

И гнев и горе жгут мне душу.
И я кричу тебе, кричу:

— Остановись! Опомнись!

Слушай,
О чем спросить тебя хочу!

Куда, куда ты отступаешь
С родной земли? Или она —
Земля, которую бросаешь,—
Уже нам стала не нужна?

Затем ли я тебя растила,
Чтоб ты в опасный час не смог
В бою схватиться с темной силой,
Что осквернила наш порог?

Я родила тебя затем ли
Чтоб нашу честь ты бросил в грязь,
Чтоб люди здесь гаядели в землю,
За сына моего стыдись?

Чтобы позор повис на веках
Родного солнца, чтоб вода
До дна иссохла в наших реках,
Уйдя от горя и стыда?

Ты клялся храбрым быть!

Так что же,—

Тебе, пред бурей войны,
Жизнь малая твоя дороже
Великой жизни всей страны?

Иль ты родился не мужчиной?
Иль ты и мне и людям лгал,
Был трусом бледным и личиной
Джигита трусость прикрывал?

Львы-деды в битвах, хмурия брови,
Смерть презирая, шли вперед!
А у тебя нет ложки крови,
Чтобы пролить за свой народ?

Так до какой же ты решился
Последней отступать черты?
Иль той земли, где ты родился,
Совсем лишиться хочешь ты?

Ну, а потом тебя куда же
Глухая занесет судьба?
Тогда сам бог не сыщет даже
Скитающегося раба!

В чужбине дни влачить уныло
Средь унижений в море тьмы,
Хоть землю для своей могилы
Надеясь получить взаимы?..

Нет, сын! Придет пора иная,
Всех наших бед сотрется след.
Но внуки — труса вспоминая —
Стыдиться будут сотни лет.

А я утешусь только вестью,
Что милый сын мой храбр в бою,
Мне лучше, чтоб он умер с честью,
Чем бегством спас бы жизнь свою!

Вперед, мой сын! Назад — ни взгляда!
Пусть шаг твой в прах врага сотрет.
И если ранен будешь, падай,
Иля вперед! Лицом вперед!

Ты выбери из чуждых страху
Джигитов — друга на войне.
Окровавленную рубашку
Твою он пусть пришлет ко мне.

Как знак священный искупленья,
Надену я ее тогда,
Я в ней пройду через селенья,
Через большие города

„Вот,— скажут все, где ни пройду я,—
Мать истинного храбреца.
Он умер за страну родную,
Был верен клятве до конца!“..

Безмолвно, твердо и сурово
Встает Турсун в ряду бойцов.
Нет! в мире не родилось слово
Сильнее материнских слов.

Он стиснул яростней и крепче
В руках оружие свое.
И слово матери он шепчет,
И видит пред собой ее.

И в грозном смутном гуле боя
Он слышит голос матери!
В песке, хрустящем под ногою
Он слышит голос матери!

Он слышит в непрерывном вое
Снарядов — стоны матери,
Во взрывах бомб над головою —
Крик иступленный матери!

Река померкшею струею
Течет, как слезы матери...
Склонились ветлы над рекою
Подобно скорбной матери.

Мать чем-то огорченной
И строгой сыну кажется,
И ей в глаза взглянуть смущенный
Не может сын отважиться...

Но гневный, яростный, бесстрашный,
Прыжками мчится он вперед
В жестокой схватке рукопашной
Ударом каждый шаг берет.

Враги бегут, оставя поле,
Скрываясь за прибрежный склон.
Грудь у него в крови, но боли
Не чувствует, не слышит он.

„Теперь ни ран, ни смерти даже
Я не боюсь!“ — он говорит.
„Пролью хоть море крови вражьей —
Я не упьюсь!“ — он говорит.

И мать встает над мглой степною,
Как пристально глядит она!
„Вперед, мой сын! Вперед, за мною!“ —
Как будто говорит она.

И тучи с гор, очеловечась,
„Спешите! — из-за полей гремят, —
Без жалости всю эту нечисть
Крошите!“ — все веселей гремят...

И он неудержимо колет
Врага бегущего штыком,

Не чуя ран, не слыша боли.
Одежда вся в крови на нем.

Как пуля звонкая, он мчится
И вдруг осколком поражен,
Как в лёт подстреленная птица,
С размаху наземь рухнул он.

Кровь хлещет из глубокой раны
Ключом на вытоптанный луг.
Опершись на локоть, туманно
Он озирается вокруг.

Вся степь — покуда глаз хватает —
Покрыта трупами врагов,
Темнеет, запад угасает,
Клубится мгла между холмов.

А где друзья? Вон — их колонна
Вброд перешла через реку.
И уж наводит мост понтонный
Вослед идущему полку.

И облегченно и глубоко
Вдохнув, джигит смежает взгляд,
Похож на тихий, на широко
В полях разлившийся закат.

На свежем беспредельном ложе...
Уснул он или умер он?
Но смерть его на сон похожа
На смерть его походит сон.

Под мглой ласковой, усталый —
Лежит он среди родных полей.
Лежит он, — как ребенок малый
В объятьях матери своей.

Перевед с узбекского Владимир Державин

МОЙ ТУЛПАР*

Ты не знаешь преград, мой бегун боевой,
Пусть снаряды свистят над твоей головой,
Ты не принеешь назад под пургой огневой,
О, степей наших избранный дар, мой тулпар!

Твои ушки — верхушки речных тростников,
В черни глаз — отражение ночных огоньков.
Будет нашим улоком любой из врагов
О, мой сокол, мой ловчий шункар**^{*}, мой тулпар!

Ржешь ты, храброго чуя в седле седока,
Долгий бег у тебя не опенит бока,

Как таран твоя грудь широка и тяжка,
И копыт твоих грозен удар, мой тулпар!

И когда удила в нетерпении грызешь
И когда ты широкою рысью идешь
Первый в лаве — как легок ты, как ты хорош!
Будь здоров, дорогой мой тулпар, мой тулпар!

Так Сабир говорит. Мы летим из-за гор
Дать врагам сокрушительно-грозный отпор
Мчи меня на кровавый решительный спор
В битву ярую, в самый разгар, мой тулпар!

* Тулпар — боевой конь.
** Шункар — некрупный орел.

Перевел с узбекского Владимир Джаровин

...

ТЫ СКАЗАЛА

Стихи твои я получил, любимая моя!
В бою не раз я повторил: „любимая моя!“

Сказала ты: „Кто верен мне — победе
верен тот!“
Победе я не изменил, любимая моя!

Сказала: „Девушку любя — разбей ее врагов!“
Для них не жалко мне могил, любимая моя.

Сказала: „Я во все глаза гляжу — не ты ль
идешь“.
И в трудный час я не уныл, любимая моя!

Сказала: „Будь богатырем! — Трус не достоин
жить“.
И подвиги я полюбил, любимая моя.

Сказала: „Наш кишлак, наш дом веселой
свадьбы ждут“.
Скорей я победить решил, любимая моя!

Сказала: „Думай обо мне, мечта не позабыв!“
Спеша к тебе, я в бой спешил, любимая моя!

Сказала: „Побеждай, Сабир!“ Свидание с тобой
Я до победы отложил, любимая моя!

Перевел с узбекского Николай Ушаков

...

ЖДУ ТЕБЯ, СЫН МОЙ!

На пути караванном, в седых полях
Верблюженок стоят... Караван его где?
Красный отблеск зари на усталых глазах,
Слезы — слезы плывут, как круги по воде.

О, как он сиротлив и похож на меня,
Неподвижного в серой дорожной пыли...
Солнце! Зоркое солнце!.. Лучи наклоня,
О родном караване мне вести пошли.

От Юпитера вплоть до песчинок морских
Нерушима твоя лучезарная власть,
И среди неоглядных сокровищ твоих
И ресница не может бесследно пропасть.

Вот на грядке дыханье мое средь зимы
Нынче выросло лука зеленым пучком!
И надежда встает из предутренней тьмы,
И листва шелестит у меня за плечом.

Прошлым летом, когда собирали инжир,
И медовые дыни поспели кругом,
И сиянье плодов наполняло весь мир —
Сына в бой проводил мой отеческий дом.

В нем созрело достоинство предков моих,
Он, как я, горделив, младших братьев собрал,
Обнял каждого, встал на пороге, затих —
И к родимой земле поделуем припал.

Он вернется, мой сын, победителем к нам.
Он придет! Окончена будет война!
К его черным, как ласточки крылья, бровям
Не пристанет в пути и пылинка одна.

Но отец я! По древнему праву отцов
Я тоскую без вести о сыне моем.
Жду его, — чуть послышится цокот подков,
Жду его, — чуть поднимется пыль за холмом.

И лишь только мелькнет чей-то конь впереди —
„Вот, он едет!“ — беззвучно себе говорю.
...Неподвижно стою на широком пути,
Неотрывно на горестный запад смотрю...

...

Вечерами, когда мы за пловом сидим,
Многолюдная вся соберется семья —
Только место твое остается пустым,
Остается нетронутой доля твоя.

И бывает, усталая мать, невзначай,
По привычке протянет тебе пиалу, —
Отвернусь я к стене. И остынет мой чай.
Мать уйдет и тихонько заплачет в углу...

Может, в небе твоя покатишься звезда,
Может, в эту минуту далеко от нас
Ты упал на снегу. И уже никогда
Не откроешь веселых мальчишеских глаз.

...

В эту ночь, до зари не смыкая ресниц,
Я Бедыля* читал. И забылся в тоске.
И волшебная музыка тихих страниц
Оживала, звучала в саду вдалеке.

Ветерок на заре, как дыханье твое,
Пробежал по листам недочитанных книг,
И чистейшим, как ртуть, стало сердце мое,
Стали мысли прозрачными, словно родник.

Взял я серп и садовые ножницы взял —
И пошел по тропинке, что к саду вела.
И увидев меня, сквозь соседний дувал**,
Вслед за мною невеста твоя побрела.

И хоть ты далеко, мой родной кипарис,
Олеандр мой со мною — твоя Айяниса.
Мы наклоним зеленые саженцы вниз
И привьем, чтоб взымались они в небеса.

Пусть деревья в саду вырастают у нас,
Пусть цветы распускаются, солнце лова,
Пусть слезинки, застывшие в сумраке глаз,
В ожерелье нанижет невеста твоя.

...

И победа придет! И когда поутру
Я услышу, что едут джигиты домой —
Ароматные персики все соберу,
Положу их в корзину горой золотой;

И пойду босиком по намокшей траве,
С неохватной корзиной янтарных плодов,
Словно солнце неся на своей голове, —
На дорогу, — встречать долгожданных сынов!

* Бедыля — поэт XVI века
** Дувал — земляной забор.

— Кушай персики, сын! Поспевали не зря,—
Круглобоки, румяны, покрыты пушком.
Каждый персик — улыбка, и каждый — заря,
И росинки еще не просохли на нем.

К этим сочным плодам ты губами прильни,
Как ребенок во сне к материнской груди,—

Только косточки эти, смотри, сохрани —
На родимой земле их опять посади.

И когда ты с подругой в саду молодым,
Под деревьями будете рядом сидеть —
Мы со Сталиным, оба седые, придем
На счастливые лица детей поглядеть.

Перевела с узбекского Светлана Сомова

Айбек

ДЕНЬ ВЕЛИКИЙ ПРИДЕТ

Вечер — потный, усталый — на отдых залег.
Гаснут на небе огненных маков луга.
Ужин варится, рдеет в золе уголек,
Мать-старуха на короточках у очага.

А над ней, на жердях — тяжелы и плотны —
Темнокрасного яхонта гроздья висят.
И чего-то ища, горячи и жадны
Ветерки виноградной листвою шелестят.

И старуха вздыхает — устала, грустна...
Корнем каждого волоса о пятерых
Сыновьях своих затосковала она.
Неотступно в глазах ее призраки их.

Пятерых молодцов одного за другим
У нее отняла, оторвала война.
И тоскует она по своим дорогам,
Видеть их — нестерпимым желаньем полна.

Голоса их в ушах не смолкают у ней,
Их дыханье горячее бьет ей в лицо.
Все ей чудится: будто — шаги сыновей,
Будто звякнуло старой каитки кольцо...

Горек труд ожиданий, нелегкая вещь.
Весть от старшего сына, хромая, пришла.
Смысл ночных сновидений неясен, злобещ.
Ноша вздохов, как ноша камней, тяжела.

Вот развязывает она кончик платка,
От меньшого письмо полустертое в нем,
Эти буквы писала родная рука,—
Слезы вновь подступают ей к горлу комком..

Призрак сына, кивнув, удаляется прочь.
Пригорел ее ужин, и выстыл очаг.
Краски стерла и черным замаслала ночь.
Хмурясь, в мрак она смотрит до боли в очах.

У ограды садовой там пять тополей,
Пять друзей — шелестящих, веселых, живых.
И целует их ветви и блещет теплей
Золотая звезда между листьями их.

Мать вздыхает. Она одинока опять.
Тихо шепчутся пять тополей и звезда.
Слез не лей, будь тверда в испытаниях, мать!
Счастье в дом твой вернется, придет навсегда!

Будь горда, что ты львов пятерых родила,
Будь горда, что вырастила ты богатырей.
Им горячая кровь твоя силу дала
Бить врагов ненавистных, как хищных зверей.

Горы туч грозových, омрачающих высь,
Солнце гонит — и снова ясна вышина.
И ликует земля, славя солнце и жизнь.
Так победою вся озарится страна.

Снова даль бирюзовая, песней звеня,
Отзовется — окликнешь, махнешь ли рукой,
Непомерною радостью сердце тесня,
Засмеется земля, если ступишь ногой.

По садам, по дворам будут рыскать ветра,
Как гонцы засучат у дверей матерей.
Не закончив уроки, из школ детвора
Понесется гурьбой по домам поскорей.

День великий придет, долгожданной судьбы —
Ты обнимешь своих пятерых сыновей.
На далекой войне загорелые лбы
Будешь ласково гладить рукою своей.

И, как будто бы солнце корвется в сердца,
И смеяшь, и от радости — слез не тая,
Ты увидишь: как даль без границ и конца,
Засияет прекрасная старость твоя!

Перевел с узбекского Владимир Джарин

Нина Раковская

МАЛЬЧИК ИЗ ЛЕНИНГРАДА

ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН

Мы с мамой оба забыли, что в тот день
мне исполнилось одиннадцать лет. Ут-
ром на столе, вместо подарков, я увидел ку-
сок темного ситца, ножницы и мамину за-
писку:

«Юля, не забудь про окно!»

Ну, конечно, я помнил про окно...

Вчера по радио опять повторили правила
противовоздушной обороны города Ленин-
града. По этим правилам, всем жителям ве-
лели у дверей квартир поставить ящики с
песком, напустить ванны водой и проклеить
окна матерчатой сеткой. Окна велели про-
клеить для того, чтобы от взрывов фашист-
ских бомб не вылетели стекла.

Я нарезал из ситца длинные ленты, раз-
ложил их на столе, намазал клейстером. По-
том взял сразу две ленты и полез на подо-
конник.

Был конец августа. Война шла третий ме-
сяц. Из своего окна, с восьмого этажа я ви-
дел соседний переулок с домами, кусок Про-
спекта 25 Октября, Аничков мост с конями,
а впереди, на небе, очень золотую стрелу
Адмиралтейства.

День был тихий и солнечный. Золотая
стрела на небе, узорчатая решетка моста,
кони и даже мостовая были очень красивые.
Но мне казалось — как будто не одни люди, а
дома, улицы и даже памятники прислушива-
лись к чему-то... И правда, издали, с за-
пада, все время долетали в город артилле-
рийские взрывы. Мы давно стали слышать
их. Но так ясно они грохотали только сегодня.

Кажется, в тот день наши войска отошли
на новые позиции, а немцы стали рваться к
Кингисеппу.

Долго так я стоял на подоконнике откры-
того окна, прислушивался к взрывам, и вдруг

услыхал топот ног, голоса и барабанную
дробь. Я спрыгнул с подоконника, сбежал с
восьмого этажа и выскочил в подъезд.

По широкому проспекту шли очень быстро
почти что бежали, ребята с заплечными меш-
ками, узелками, чемоданами.

Впереди каждого отряда шел свой бара-
банщик. Ребята бежали вперед, не глядя по
сторонам. А между тем тротуары были пол-
ны народом, прохожие останавливались, из
подъездов выбегали люди. Все смотрели на
ребят, махали им рукой, а многие женщины
плакали.

Одна высокая седая старуха, в старинном
пенсне с золотой цепочкой, вытирала слезы
большим платком, а потом махала платком в
воздухе.

— В Вологду едут! — сказала она мне. — А
из Вологды повезут ребят еще дальше — в Си-
бирь, в Среднюю Азию... Последний эшелон!

Про это я и сам знал. Много эшелонов с
ленинградскими ребятами вывезли в тыл. Го-
ворили, что сегодняшний эшелон будет по-
следний. Потом все поезда станут перевозить
только войска, танки, снаряды, орудия для
защиты Ленинграда, который ни за что мы
не отдадим фашистам.

Ребята в красных галстуках, в серых, бе-
лых, синих рубашках, девочки в платьях в го-
рошинку, в цветочках пробежали разноцвет-
ными, волнистыми рядами. Когда последний
отряд прошел мимо подъезда, я поглядел на
седую старуху в пенсне, нечаянно весь по-
краснел и громко сказал так, что все меня
слышали:

— А я никак не уеду!

И бегом бросился в подъезд, потому что
слезы так и хлынули у меня из глаз. Уехать
из Ленинграда? Ни за что!

СЫН ВОЕННОГО

С первого дня войны я все хорошо обу-
дал. Мама моя получит диплом врача и ста-
нет работать в госпитале. А я? Я тоже буду
помогать фронту. Ведь недаром я — сын во-
енного! Я буду во время тревог на крыше
дежурить, зажигательные бомбы тушить... Ле-

нинград мы все равно не сдадим. Бомбеж
я не боюсь. Зачем же мне уезжать?

Уже смеркалось. Мама моя все не прихо-
дила. Я опять сбежал вниз, выскочил из
подъезда и поразился. Как сразу переменялся
Ленинград!

Город весь затих. Он как-будто притаился. Даже синие лампочки не зажгли сегодня над воротами. Дома стоят с темными окнами. От этого переулки, дома — все слилось в сплошные, зубчатые, каменные стены...

Я поглядел на небо. Оно было светлое. Но мне показалось, что оттуда кто-то спустился на улицы и дома длинные, прозрачные занавесы, чтобы спрятать всех нас. Только наверное сверху, с неба, Ленинград все равно виден. Со всех сторон, кольцом взлетают над городом огни. Высоко взлетают. Потом вспыхивают и гаснут. Это фашистские самолеты опять рвутся на Ленинград, а наши зенитчики ведут заградительный огонь.

Грохот взрывов был очень сильный. Он заглушал голоса, гудки автомобилей.

Мне показалось, что сейчас что-то случится... А что? Сам не знал — только неожиданное, большое.

По темной лестнице я тихонько поднялся наверх.

Приоткрыл дверь в квартиру и увидел в переднюю военную шинель.

В комнате у стола стояла высокая, худенькая женщина в гимнастерке и в платке. Она быстро повернулась ко мне — быстро шагнула.

ПЕРВАЯ ПЕРЕСАДКА

Проснулся я от того, что вожатый, Гриша Русанов, тряс меня за плечи сердито кричал: — Семенов, вставай!

Вагон был пустой и совсем светлый. Поезд стоял. Я понял, что уже утро, и вскочил.

— Что ты копаешься, — крикнул Гриша Русанов. — Налет, тревога... Вон из вагона. Направо беги, в березовую рощу!

Я спрыгнул с высокой площадки, и, не удержавшись, упал. Наш поезд остановился возле большой, наверно сортировочной станции. На путях стояли черные цистерны. У меня в глазах зареяло. Шли платформы с тачанками, грузовиками, пулеметами, прикрытыми брезентом и сосновыми ветками. Направо за песчаной насыпью, я заметил зеленую опушку высокого березового леса. Туда бежали три девочки из нашей школы.

Я тоже кинулся туда. В это время над вагонами, над путями промчались огромные серые крылья. Над моей головой засвистело так, будто высоко в небе кто-то сыпал вгрозную воронку песок. Песчаная струя летела на землю и выла, редела.

Я знал, что так свистит и воет фугасная

Я увидел ее бледное лицо, темные короткие брови. Лицо было не молодое... Она просто двигалась так быстро, как молодая девушка... Сердце забилося у меня.

— Мама! — крикнул я.

Почему она одета по военному?

Мама быстро подошла ко мне, крепко прижала.

— Юля, поздравь меня! — сказала она тихо. — Завтра...

Она помолчала немного. И тише сказала:

— Меня назначили врачом в Действующую армию. Завтра — я уезжаю...

Я бросился к маме на шею и от всего сразу — от гордости за маму, и от горя, что мы расстаемся, и от ненависти к фашистам — заплакал.

Я накрыл стол голубой скатертью. Чайник под ватным пестухом был горячий. Я сам налил маме чай. А что со мной будет? Куда я денусь?

— Если ты хочешь, чтобы я была спокойна, — сказала мама, — придется тебе ехать в тыл.

И вот только из-за мамы согласился я — эвакуироваться...

бомба. Я прижался к шпале лицом. Мне казалось — бомба летит прямо на меня. Она все еще выла, когда рядом засвистели вторая и третья. Теперь уже выло все небо, ломалось, крошилось на куски. Потом зазвенели стекла, грохнуло, меня отбросило в сторону.

Потом стало очень тихо. Я хотел бежать к опушке, когда у стрелки затрубил в рожок железнодорожник и замахал зеленым флагом. Сзади шел длинный пассажирский поезд с белыми матовыми стеклами. На зеленых вагонах были нарисованы новые красные кресты. Это был санитарный поезд.

В третьем от паровоза вагоне, у открытого окна, в белой косынке, в белом халате стояла женщина. Я увидел ее... И тут показалось мне, что я сплю или читаю книгу... Неужели? Та женщина в окне, в белом халате... Я крикнул:

— Мама!

Поезд шел быстро. Она не услышала мой голос. Тогда я бросился за вагоном, но успел только перебежать рельсы, когда из-за поворота выехал товарный. Он заслонил санитарный поезд.

— Мама! — опять крикнул я.

Я очень спешил. Когда товарный поезд, который отрезал мне дорогу, остановился, я подлез под него и увидел, что санитарный ушел далеко, но он стоит — остановился. И я добежал до третьего от паровоза вагона... Та женщина, в белом халате, все еще стояла у окна. Она разговаривала с кем-то и смеялась. Только это была не она. Не моя мама.

Я все-таки стояла, я глядела на нее...

В это время раздался горн. Это Гриша трубил, что наш школьный поезд отправляется.

Тут и санитарный, с чужой женщиной в окне, тронулся.

Я побежал назад.

Подлез под товарный эшелон, увидел воинский состав, красноармейцев в открытых теплушках. Прежде этого поезда не было. Я стал метаться, бегать мимо вагонов. Добежал до платформы, вскочил на ступеньку и увидел, как быстро проходит вперед последний вагон нашего эшелона. А на открытой площадке стоит Гриша. И размахивает разорванным желтым флагом.

Тогда я закричал, так громко, что ко мне сбегались со всех сторон люди. Среди них я заметил низенького летчика, в особенной большой фуражке, глубоко надвинутой на уши, с голубыми нашивками и с голубыми глазами. Он сильно щурил глаза и говорил таким басом, что я сперва ничего не понимал.

Этот летчик посадил меня на платформу военного эшелона и сел рядом. Я держался за зеленое металлическое крыло самолета и плакал. Но очень скоро мы тронулись. Плат-

ИВАН СЕМЕНОВИЧ

На крыльцо вышел мужчина в зеленом свитре, серых брюках и коричневых парусиновых туфлях. Серые брюки внизу были заправлены, как в сапоги, в зеленые носки. Человек был еще молодой, но уже лысый — надо лбом волосы у него были совсем редкие.

— Тебе кого? — спросил он.

Я немного запинался, но все рассказал — что приехал я из Ленинграда к бабушке, что я сын Александра Игнатьевича Семенова. Человек в зеленых носках сердито поглядел на меня и сказал:

— Бабушка в первом месяце войны умерла... Пора бы узнать!

Из-за двери крикнули: «Иван Семенович!» Человек в зеленых носках ушел в дом и за-

форма, металлическое крыло, бак для бензина — у меня в ногах — загрохотали. Летчик басом говорил мне в самое ухо, рассказывал, что мы едем тоже в Вологду и скоро нагоним школьный эшелон.

И я успокоился.

Мы ехали хорошо.

Правда, мой чемодан с вещами и заплоченный мешок с сухарями, салом, конфетами и маслом, который дала мне мама, остались в школьном поезде. Но летчик, в большой фуражке, всю дорогу кормил меня своими продуктами — салом, ржаным хлебом, луковичками.

Больше я не плакал.

И на десятый день тоже не заплакал, когда летчик вернулся из соседнего вагона, совсем сощурил голубые глаза и очень спокойно объяснил мне, что в военное время надо быть готовым к неожиданностям... Эшелон наш, оказалось, послезавтра вместо Вологды прибывает в город Горький.

— А Ленинград? — спросил я, а сам чувствую, как трясутся мои губы.

— Ленинград мы не сдадим, — ответил летчик.

...В Горьком я не нашел ленинградских школьников. В эвакупункте мне дали бесплатный билет на пароход «Карл Либкнехт». Пароход плыл в Поволжье, где жила моя бабушка. Я был совсем спокойный всю дорогу. Только когда вошел на деревянное крыльцо бабушкиного дома, с медным кольцом вместо ручки, чуть забилося у меня сердце...

Дверь открылась.

крыл дверь за собой. Но тут же он опять вышел на крыльцо.

— Бабушка ваша умерла.. А дом этот я снял у Горсовета.

Он нагнулся, натянул зеленые носки еще выше на серые брюки и прибавил:

— Только помочь я тебе ни в чем не сумею. Я сам по карточкам хлеб получаю... В Горно иди!

На крыльцо вышла толстая маленькая женщина в фартуке из темной клеенки. Она отстранила Ивана Семеновича и сердито меня спросила:

— А куда же это вас направляют, скажите пожалуйста? Ленинград, пишут, на месте стоит. Ленинград отдавать никто не решал, а из Ленинграда уже побежали. Скоро из Мос-

квы побегут, потом из Горького. А мы от вас, скажи пожалуйста, куда побегим?

На крыльце стояли две девочки и, весело улыбаясь, глядели на меня.

— А я у вас и сам не останусь! — сказал я гордо.

И повернулся. Я думал, что тут-то Иван Семенович с женой позовут меня, девочки окликнут... Но они не позвали. Они молчали, и тогда я сам обернулся и с трудом выговорил:

— Я к вам не собирался... У меня в Коканде дядя Женя живет... Тетя Ида! Они меня ждут...

И повернувшись, я стал взбираться на гору. Теперь я не мог оглянуться — слезы залили мне все лицо.

Я шел и шел по улице. Зачем приехали... Понаехали... Из Ленинграда бегут, — повторил я шепотом и почувствовал такую ненависть к Иван Семеновичу, в зеленых носках, что решил вернуться и сказать ему, что скоро будут наказывать тех, кто так жаден и

зол в военное время! Что сам Сталин, Калинин и все правительство жалает беженцев, помогает эвакуированным. Но я уже стоял на маленькой площади, перед клумбой. Оглядевшись, я понял, что попал на вокзальную площадь.

На вокзальной площади я просидел весь день, все ждал, сам не зная откуда, помощи. Я съел весь хлеб из холщового мешка, который дал мне в Горьком летчик. Много раз я решался вернуться к Ивану Семеновичу, когда раздавался по всей площади ясный, громкий голос:

— Граждане эвакуированные! Сегодня отправляются два дополнительных поезда. Направление поездов — Чкалов, Актюбинск, Ташкент, Коканд...

Горело железнодорожное радио. Мне казалось, оно говорит со мной. А вечером я уже сидел на верхней полке теплушки, глядел через маленькое окошко на желтые сжатые поля. Я ехал в Коканд, где жил дядя Женя.

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

Когда наш эшелон №... с эвакуированными остановился ночью у вокзала Коканда, ни одна дверь теплушки не открылась. Все ехали дальше — в Наманган, Фергану, в горный Ош. В Коканде никто не хотел сходить. В дороге один старик — садовод, рассказал, что в Коканде зимой и летом дуют сильные ветра, что тут часто идут дожди, а фрукты и овощи тут очень жесткие.

В нашем вагоне все спали. Я ухватился в темноте за холодную щеколду. Приоткрыл дверь теплушки и спрыгнул.

Окна маленького вокзала светились огнями, но перон и пути были пусты. Спотыкаясь о шпалы, я дошел до вокзала и у выхода на перон, под яркими электрическими часами, увидел мальчика и военного.

Мальчик и военный были узбеки. Они прощались. Я сразу понял, что это братья. Я уже хотел окликнуть военного, но в это время из темноты громко выпуска пары, подошел к перону паровоз. Он тащил товарные вагоны, в которых стояли военные. Тут военный, который стоял на пероне, бросился к поезду и на ходу вскочил в последнюю теплушку. Последний вагон шел быстро. Красный фонарь на его площадке покачался, покачался и скоро пропал в темноте.

На пустом пероне стояли мы теперь только вдвоем. Я и — мальчик.

Мальчик испуганно глядел на меня. Ему было лет семь. Он был гораздо ниже меня ростом. На голове у него была тибетейка, на ногах сапоги. Он был одет в синий, ватный халат. За спиной у мальчика висел большой, старый ранец. Полотняные узлы ранца были перевязаны на груди в узел и, чтобы узел не развязывался, в него была продета палочка.

Эта палочка очень удивила меня, а мальчик понаблюдал, хотя у него были толстые и смешные, будто надутые, щеки. Я улыбнулся, взмахнул пустым узелком и пошел прямо на него. Но мальчик вдруг отскочил в сторону, шмыгнув в проход и выскочив на площадь.

— Стой! — крикнул я. — Стой!

Мальчик чуть приостановился, но когда я побежал к нему, отскочил снова подальше. Тогда я понял, что он боится меня, остался у фонаря и крикнул:

— Стой! Не трону! Я ленинградский — эвакуированный. К дяде приехал, на улицу Янги-Хайят. Проводи!

Мальчик ответил необыкновенно тонким голосом:

— Только близко не подходи! А то все равно убогу... На Янги-Хайят за мной иди!

И он медленно, все время оглядываясь на меня, пошел по площади. Я боялся упустить его из виду, думал, что он перекритит меня и сейчас же скроется. Скоро мы вышли на широкую, прямую улицу. Тут я забыл про мальчика, про свой страх... В какой необыкновенный город я попал!

По краю тротуара росли похожие на клены и на каштаны деревья, полные листьев — совсем сухих, похожих на бумажные. Слева из-за крыши дома тихонько вылезала луна, большая — в два раза больше нашей ленинградской. Я взглянул на небо. Оно было тоже громадное, как над морем или в степи. Под ногами журчали ручейки-арыки. Домики были — маленькие и особенного светло-серого цвета, с толстыми, глиняными заборами.

Мы прошли мимо большого парка.

Перешли по деревянному мосту речку.

На краю узкого переулочка из высоких глиняных заборов мальчик остановился и пока-

зал рукой на дом. Пришли? Янги-Хайят? Уже... Я бросился к воротам, к крыльцу дома. Пробежал немного вперед и увидел на металлической тарелочке, прибитой на стене дома, черную цифру — 5... Дядин дом!

Сердце так стучало у меня, как будто переехало в самое горло. Дом был одноэтажный, серый. Я стал искать звонок, нашарил на двери фарфоровую кнопку. Потом оглянулся и увидел, что мальчик в халатике шмыгнул в серый проход забора.

Мне стало страшно одному, среди пустой улицы, я сильно нажал кнопку и долго не отпускал ее. Но в доме было совсем тихо. Там не раздавалось даже шороха. Тогда я стал стучать обоими кулаками по двери.

Почему дядя Женя и тетя Ида не просыпаются?

Во дворе залаяла собака. Я испугался, присел на крыльцо. Скоро ноги мои устали, скользнули вперед, и я заснул.

УЛЬМАСАЙ-ОПА

Кто-то стучал палкой по каменным ступеням крыльца. Открыв глаза, я увидел ночного мальчика, без халата, но с палочкой на груди и ранцем. Рядом стояла старуха, маленького роста, в белом платье до самых пят и в черной бархатной жилетке. Лицо у нее было маленькое, темное, в крупных морщинах. В ушах старухи блеснули серебряные серьги, за спиной висели две длинные, черных косы. Она стучала по ступеням не палкой, а деревянным засовом, и не русским, горланящим голосом, пригнувшись к моему лицу, — крикнула:

— Я о тебе давно слышал! Ты племянник Евгения Игнатьевича. Нет его! Ни дяди, ни тетки нет... В Баку твой тетка уехала — к родителям. А дядя в армию.

Я хотел поднять глаза, но у меня стало так резать веки, что слезы покатились по щекам.

— А, плачешь, — еще громче крикнула старуха. — Не надо плакать... Вставай!

Я послушался и встал. Но в уши мне словно вода налилась, и там звенело, во рту пересохло. Улица была в тумане, как будто у меня засорились глаза. Я нечаянно приложил руку ко лбу — он был такой горячий, будто я долго стоял перед печкой.

Куда я иду? Я не понимал и шел рядом с мальчиком и старухой. Я запомнил узенький проход между глиняных заборов, с рез-

ными деревянными дверками. Старуха остановилась перед одной узенькой дверью, пролезла в нее.

Потом я очутился в маленькой комнате, на кровати.

— Большая! — услышал я голос старухи. — Неси, Пулат...

Я хотел окликнуть Пулата. Но тут в глазах у меня стало так темно, что старуха и мальчик расплылись, пропали в темноте. Дальше я ничего не запомнил. Вечером я на минуту очнулся, увидел маленькую комнату с глиняными стенами.

Где я был? На вокзале, в Горьком? В Ленинграде?

Этого я не мог вспомнить. Только на другой день я понял все. Понял, что приехал в Коканд к дяде Жене... Что дядя мой в армии, тетка в Баку... Что взяла меня к себе домой незнакомая старуха.

В ногах у меня, на широкой никелевой кровати, лежал серый костюм, на полу башмаки. Я накрыл широкую кровать толстым красным одеялом, и, присев опять на кровать, задумался... Куда же теперь?

Я толкнул дверь и остановился на пороге. Передо мной был небольшой, чистый, как комната, глиняный дворик. У порога, на земле лежала желтая, соломенная циновка, с красным краешком. Посреди двора рос карагач, с круглой как шар, как будто нарочно под-

стриженной шапкой веток. От серого забора подымалось кверху, как крыша, темное, синее небо.

Я уже пошел к серому забору, прямо к калитке, когда сзади послышался чей-то голос.

Ко мне из сада шла старуха. Она была в том же длинном, до пят, белом платье, с серьгами, с черными косами. Брови у нее были сердито сдвинуты, а темные глаза пронзительно глядели на меня.

— Куда это собрался?! — спросила она. — Скажи, пожалуйста...

Голос у нее был насмешливый. И тогда, отвернувшись от нее, с трудом сдерживая слезы, я ответил сердито:

— Домой! В Ленинград!

ПОДАРОК

Я вошел во двор с большим, светло-зеленым пучком сухой люцерны. Люцерну я всегда покупал по дороге из школы для наших двух овец, на "молочном" базаре. Люцерну я кинул в сарай и вернулся во двор к карагачу, где стоял стол. Там уже сидел Пулат. Он разложил аккуратно тетради и карандаши и ждал, какой я задам ему сегодня урок.

Я велел Пулату написать полную страницу палочек, а сам развязал картонную папку, которая была у меня вместо портфеля, и вынул учебник арифметики.

Пулату было даже не семь, как я думал, а только шесть лет и десять месяцев. Он не умел ни читать ни писать, но он хотел стать поскорее школьником и наверно для этого носил большой, полотняный ранец.

Мы сидели всегда с Пулатом под карагачем до вечера. Мне приходилось много догонять по школе, а Пулату нравилось глядеть, как я пишу, особенно скобки и параграфы. Но сегодня мы торопились. Вчера Ульмасай-опа намочила в пиаде и прикрыла чистой тряпочкой семена дынь — скороспелок, маленьких хандалятков. Она сказала, что эти хандалятки поспеют к концу мая, как раз к тому времени, когда я хотел увидеть маму.

Я очень скучал по маме! С тех пор, как я выехал из Ленинграда, я ничего не знал о ней. И хотя мне в Коканде было хорошо, я все равно жил так, как-будто сидел на станции — вещи мои все связаны, уйти я нигде не могу, только жду, когда отойдет поезд.

Я решил три задачи на десятичные дроби,

Может быть, я даже расплакался бы... Если бы она, нагнувшись ко мне, не сказала шопотом:

— Плакать нельзя! Стыдно большим ребенкам плакать... Ты думаешь, я тебя прогону? У меня дом свой, коза есть, два барашка. Не беспокойся — сыт будешь!

Я поднял голову и близко-близко увидел лицо старухи. Я увидел крупные морщины, нахмуренные брови. Почему она такая морщинистая, старая и маленькая, если она такая добрая? Кто она?

— Зовут меня Ульмасай-Опа, — сказала она. У меня три сына на фронте. Один сын, лейтенант, мне аттестат посылает. Деньги! Я и сам работаю... Школа! Школьной сторожем... И я остался в доме Ульмасай-Опа.

спрятал книги в картонную папку и взял тетрадку Пулата.

Почерк у Пулата был очень красивый. Палочки стояли на линейках аккуратно, как новый забор вокруг дома. Он давно писал палочки лучше меня, но я немного боялся ставить ему "отлично". Вдруг тогда Пулат догадается, что нечему ему у меня учиться и перестанет слушаться!

Все-таки Пулат так пристально глядел на меня, что я решил поставить ему "отлично". Потом я взял пиаду с семенами, и мы с Пулатом отправились на огород сажать хандалятки.

Огород наш был за садом, в глубине двора. Дальше, за забором, лежал пустырь. Город Коканд тут кончался — начинались хлопковые поля, пустыри, дороги и каменные развалины — разрушенные крепости и большие могилы, обложенные обтесанными камнями.

Небо было ясное. Налезо хорошо виднеялся горный хребет — отроги Памира. До гор было далеко, наверное сто километров, а казалось, что они совсем рядом.

Пулат поставил пиаду с семенами, прикрытыми тряпочкой, на черные мокрые грядки. Мы сели на межи. Пулат большим пальцем левой руки делал в земле маленькие ямочки. Я клал в ямочки по три семечка с восковым проросшим стебельком и присыпал их землей.

Это была очень медленная работа.

Когда мы засадили все четыре грядки, я пролез через дырку забора на пустырь. По пустырю быстро бежал широкий мутный арык.

Вода текла коричневая, пенистая — это снег таял на вершинах отрогов и стекал в долину города. Я присел у самодельной плотины, отвалил большой булыжник. Коричневая вода быстро побежала из большого арыка по маленькому арычку к нам в огород.

Мы много раз лазили с Пулатом на пустырь, прочищали русло. Когда холодная горная вода залила до краев межи на наших грядках, я опять завалил булыжником плотину.

Грязные, с мокрыми ногами, мы с Пулатом вернулись во двор. Ульмасай-опа стояла под карагачем, а перед ней на столе был чистенький ящик. Ульмасай складывала в ящик парами, крупные как яйца грецкие орехи. Я сперва не понял, чей это ящик. Смотрю, — в ящике лежит оранжевая курага, черный кишмиш и две ученических тетради. Чье это? Кому?

— Догадай! — засмеялась Ульмасай.

И прибавила довольным, даже хитрым голосом:

— Тибет! Ты все собирался матери орехи посылать... Вот и посылаешь завтра... Утру бигаешь Военкомат... Узнаешь адрес... И прочее...

Я схватил ящик обеими руками, как будто обнял.

— Спасибо! — сказал я.

Я очень обрадовался. Ульмасай нашла гвозди. Пулат принес молоток, я заколотил ящик и надписал на крышке:

«В Действующую армию».

Потом притащил ящик в комнату, поставил в ногах на кровати. Скоро все хорошо будет!

Скоро мама моя придет...

И вернемся мы домой, в Ленинград...

— А Пулат? Ульмасай? — подумал я. Мне стало так жаль с ними расставаться, что я наверно заплакал бы, если бы вдруг не заснул.

...

Гафур Гулям

ТЫ НЕ СИРОТА

Разве ты сирота?..

Успокойся, родной!

Словно доброе солнце,
склоняясь над тобой,

Материнской,

глубокой

любовью полна,

Бережет твоё детство

большая страна.

Здесь ты дома,

здесь я стерегу твой покой,

Спи, кусочек души моей,

Маленький мой!

День великой войны

это — выдержки день.

Если жив твой отец,

беспокойная тень

Пусть не тронет его

среди грозы и огня,

Пусть он знает:

растет его сын

у меня!

Если умер отец твой, —

крепись, не горюй.

Спи, мой мальчик,

Ягненок мой белый,
усни.

Я — отец!

Я, что хочешь, тебе подарю,

Станут счастьем моим

все заботы мои

...Что такое сиротство —

спроси у меня.

Малышом пятилетним

в десятом году

Грел я руки свои

у чужого огня,

Полуголый,

таскал по дорогам

нужду.

О, как горек

сухой подаяния хлеб,

О, как жестки

ступени

чужого крыльца!

Я, приюта искавши,

от горя ослеп,

И никто

моего не погладил лица...

Испытал я,
что значит
расти сиротой.
Разве ты сирота?
Спи спокойно, родной...
Пока старый охотник —
кочующий сон —
На меня не накинута
волшебную сеть,
Гордой радости —
чувства отцовского полн,
Буду я
над кроватью твоею сидеть,
Над головкою
русой твоей, дорогой,
И смотреть на тебя,
и беречь твой покой...
...Почему задрожал ты?
Откуда испуг?
Может, горе Одессы
нахлынуло вдруг?
Иль трагедия Керчи?
И в детском уме
Пронеслись,
громыхая
в пылающей тьме,
Кроважанные варвары,
те, что тебя
Не добились случайно,
живое губя.
Может, матери тело,
родимой твоей,
С обнаженными ранами
вместо груди,
И руки ее тонкой
порывистый взмах
Предо мною
в твоих беспокойных
глазах?
Я припомню
дрожащие эти глаза,
Отправляясь на битву
громить палачей.
За слезу,
что по детской щеке
проползла,
За разрушенный дом,
За позор матерей —
Вырву
вражью башку
из сутулых плечей!
Этот Гитлер —
ублюдок,
не знавший отца, —

Он не матерью, —
подлой гиеной рожден,
Отщепенец понурый
с глазами скопца —
Цену детства
откуда почувствует он?
Этот Гитлер —
навозный коричневый жук,
Плотноядно тупые усы шевеля,
Захотел,
чтобы свой
предназначенный круг —
По желанию его —
изменила земля;
Чтобы людям
без крова
по миру блуждать,
Чтобы детям
без ласки людской умирать.
Но земле выносить его
больше невмочь.
...Спи спокойно, мой сын.
Скоро кончится ночь!

Спи спокойно, мой сын...
В нашем доме большим
Скоро утро придет,
и опять за окном
Зацветут золотые тюльпаны
зарниц.
В нашей книге домовой —
без счета страниц,
Будет славе учить она
все времена.
Открывается
именем „Сталин“ — она!
...Улыбаешься ты,
и улыбка светла.
Не впервые ль
за долгие-долгие дни
На лице искудавшем
она расцвела,
Как фиалка
на тающем снеге весны.
И продрогший простор —
словно сразу согрет
Полусонной улыбки
внезапным лучом.
Это — скоро рассвет.
Это — белый рассвет.
Это — белый рассвет
у меня за плечом!

Перевела с узбекского Светлана Сомова

Е. Тарховская

ДРУЖБА

Мы в дом к себе девочку взяли,
Ее не отдам я назад!
Ее называю я: — Галя!
А Галя меня: — Шарафат!
У Гали был дом над рекою,
И дом разбомбили и сад.
Теперь нас у матери двое —
И Галя, и я — Шарафат.
Мы делимся персиком свежим,
И яблоко или гранат
Всегда пополам мы разрежем —
И Галя, и я — Шарафат.

Мы ходим в халатиках пестрых,
И папа, и мама твердят:
— Вы стали похожи, как сестры,
И Галя, и ты, Шарафат.
— Похожи! — кричат нам ребята,
— Похожи! — соседи кричат, —
Как две половинки граната,
И Галя, и ты, Шарафат!
— Но мы вас по косам узнали,
По косам — тяжелым — до пят:
Коса золотая у Гали,
И черная у Шарафат.

Зульфия

СЫНУ

Соколенок, мой сын дорогой,
Ты одна мне на свете отрада,
Без тебя мне отрады другой,
Без тебя мне и жизни не надо.

За тоску материнской любви,
За бессонные долгие ночи
Мне наградою — очи твои,
Удивленные черные очи.

Гляну в них — и печаль далека,
И веселье стоит у порога,
Гляну в них — и как будто легка
Каменистая жизни дорога,

Но когда я на руки возьму
Малыша, уходя на работу,
Он прижмется к плечу моему
И глядит словно ищет кого-то.

Твой отец, соколенок, в бою
Крепкой грудью своей закрывает
Дорогую отчизну свою,
Он тебя и меня защищает.

Сам ты знаешь — его я люблю,
На заводе его заменяю,
Сам ты знаешь — я ночи не сплю
И оружие ему отправляю.

Как бы не было мне тяжело,
Я тебя сберегу от печали,
Приготовлю на зиму тепло,
Пропую тебе песню ночами.
Стану яблоней. Тенью своей
Сохраню тебя летом от зноя,
Под листою спасу от дождей
И ветвями с мороза укрою.
Если будет приветливым дом,
Значит счастье вернется к порогу,
Значит выйдем с тобою вдвоем
Мы встречать храбрецов на дорогу.
Возвратится отец твой домой,
Будут дали весенние сини,
Почерневшей от дыма рукой
Он обнимет подросткового сына.
О, как буду тогда я горда!
И забудутся горькие беды,
Дни лишений и ночи труда,
В этот день, в этот праздник победы!
Подрастай же, питомец любви,
Крепок будь даже в годы ненастья.
Пусть открытые очи твои
Озарит долгожданное счастье!
Перевела с узбекского Светлана Сомова

ОТЛИЧНИКИ

Однажды с матерью моей
Пришли мы на вокзал;
Сражаться уезжал отец,
И так отец сказал:

„По нашей родине ползет
Неистовый дракон.
Он топчет наши цветники,
И нивы топчет он.“

Уничтожает он плоды
Великого труда.
Зовет на дерзкого врага
Кремлевская звезда.

Звезда кремлевская зовет
Меня в горячий бой.
Ты, — тоже внук богатей,
Хороший мальчик мой.

И потому прошу тебя —
Сверхметким быть стрелком.
И потому прошу тебя —
Примерным быть во всем.

Учеником хорошим быть
Дай обещанье мне.
Я обещание даю
Быть первым на войне.

Вступаем в договор с тобой,
И этот договор
Врагу, напавшему на нас —
Смертельный приговор.

Я обещание даю
Быть первым на войне“.

Отец мой скачет на врага
На пламенном коне.

А мать прилежная моя
На фабрике швея.
Отца и матери своей
Вполне достоин я.

Свой рапорт вам я отдаю,
Не слишком он велик, —
Стрелять я научился в цель
Как первый ученик.

И если призовут меня,
Я обещаю вам,
Я в сердце выстрелю врагу
И промаха не дам.

Я в школе первым был весь год
И знаю я о том,
Что мой отец в больших боях
Был первым храбрцом.

Отец мой — богатырь, а мать —
На фабрике швея.
Мои родители и я —
Отличников семья.

Со всей отчизною идем
Мы ленинским путем.
Мы нашу светлую страну
В обиду не даем.
Мы нашу сталинскую жизнь,
Как душу, бережем.

Перевел с узбекского Ник. Ушаков

ЗАБОТА ОБ ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЯХ

С января 1942 г. в Ташкенте работают республиканская, городская и районные комиссии помощи эвакуированным детям. Республиканскую комиссию возглавляет председатель Совнаркома УзССР тов. Абдурахманов.

Основное рабочее ядро комиссий, их актив, составляют женщины-общественницы, эвакуированные и местные, жены ком. и начсостава, жены писателей, деятелей науки и искусства и др. Одна из важнейших задач комиссий — учет и розыск детей, потерявших родителей и родных. Этой работой руководит Е. П. Пешкова.

За 8 месяцев учтено 22300, найдено 300; принято заявлений на розыск 3700. Со всех сторон страны получают письма с запросами о детях; приходят родные и знакомые родных, отыскивающие детей, потерянных во время эвакуации. Каждый найденный ребенок — праздник не только для родителей, но и для всех общественниц. Матери, находящие детей, плачут и смеются, обнимают, целуют тех общественниц, которые дали им справку о местонахождении найденного ребенка. Бывают и такие случаи, что найденный ребенок уже отдан из детского дома на патронирование; и радостные слезы матери, нашедшей своего потерянного ребенка, смешиваются с горькими слезами матери, успевшей полюбить, как родного, взятого на патронирование ребенка.

Таков случай с ребенком гр. Киреевой. Мать — железнодорожный работник Киевского узла. Ребенок был эвакуирован с детским садом; когда позднее была, в свою очередь, эвакуирована мать — она оказалась в Самаркандской области и в течение нескольких месяцев не могла найти детского сада, увезшего ее сына; наконец, через отдел учета и розыска республиканской комиссии помощи детям, гр. Киреева узнает, что детский сад передал детей Ташкентскому детдому № 3; мать немедленно берет отпуск на работе и едет в Ташкент за более подробной справкой о ребенке. Она приходит в комнату 38 Наркомпроса УзССР, где помещается республиканская комиссия; в той же комнате и в тот же момент у другого стола, гр. Зюкова, взявшая на воспитание из детдома ребенка Киреевой, получает для него карточку в продуктовый ларек. Она слышит громко произнесенное имя и фамилию своего приемного сына, а также и свою фамилию, как лица взявшего ребенка на воспитание,

быстро оборачивается и невольно восклицает: „Этот ребенок находится у меня!“ — Мать ребенка бросается к ней, и они долго держат друг друга за руки, обе заливаясь слезами. Наконец, их усаживают. Когда они несколько приходят в себя, между ними завязывается таковой разговор:

— Как выглядит мой сыночек? Здоров ли он? Поди платет по мне каждый день?

— Он здоров... Никогда не плачет... Зовет меня мамой...

— Позвольте, какое вы имеет право? Мой ребенок! Как вы смеете! Простите меня, я сама не знаю, что говорю...

Не скоро кончаются взаимные излияния двух матерей. Уходят они вместе, оформив документы и уговорившись, что мать, нашедшая своего ребенка, временно, до отъезда к месту работы, поживет у приемной матери.

Вот письмо одной из матерей гр. Логиновой в комиссию:

„Теперь я хожу беременной, — пишет она, — скоро буду ждать третьего ребенка, но про своих старших детей забыть не могу — просто не могу жить, где ни увижу ребенка — плачу и плачу. И вот, дорогие братья и сестры, кто получит это письмо, не знаю, но только прошу очень, очень мне ответить скоро...“ — Дальше идут описания внешних признаков детей.

Детей гр. Логиновой нашли в Казахской ССР. Наркомпрос Каз. ССР пишет республиканской комиссии УзССР:

„Сообщаем, что дети Логиновы, Нэлла и Славик, в настоящее время находятся в Алматы и усыновлены гражданами Ростовцевыми (Ростовцев — начальник управления машиностроения Наркомзема Казахской ССР). Дети находятся в хороших материальных условиях, окружены большой любовью и заботой, здоровы, посещают детсад. Дети прибыли в Алма-Атинский Дом Малютки из Ворошиловграда. При них было письмо их матери, в котором она пишет, что содержать их не может и оставляет детей на попечение граждан Советского Союза. Просим выяснить, что целесообразней, оставить усыновление в силе, или передать детей обратно их матери...“

Что доказывают такие факты? То, что граждане Советского Союза действительно являются отцами и матерями всех детей своего

Союза, независимо от того, родили они этих детей или нет". Раз это наши, советские дети, говорят они,—то мы приложим все усилия, чтобы вырастить, воспитать их возможно лучше. А с другой стороны, те граждане Советского Союза, которые потеряли своих детей, твердо верят, что дети их будут найдены, раз они в пределах СССР, что они не останутся без помощи, где бы ни очутились, лишенные гитлеровскими варварами домашнего очага и крова.

Матери, запрашивая комиссию о местонахождении детей, тут же пишут своим еще не найденным детям. Одна мать, гр. Р., прислала на имя комиссии письмо своим отыскиваемым детям:

"Дорогие детки, я верю, что вас уже нашли, что вы уже знаете, что я жива, работаю, жду встречи с вами. Скоро, скоро мы поедем к себе домой в Винницу. Уже погнали наши доблестные воины фашистского гада. Потерпите, мои детки, скоро мы будем радоваться, а фашистская сволочь — плакать, расплываться за свои злодеяния..."

Иногда знакомые пишут в комиссию тем детям, о которых они запрашивали и местонахождение которых установили:

"Я узнала о тебе, Клечка, что ты жива, что живешь у хороших людей. Я хочу обратиться к тебе, как к родной дочке, и выразить мои чувства радости. В Минске — дома — наши семьи были просто знакомы. Но сейчас, когда наши семьи распались по чудовищной злобе напавшего на нас врага, и, возможно, уже никогда мы не встретим некоторых своих близких, все раньше только знакомые и даже все незнакомые, все мы, советские люди, стали одной семьей. Пиши мне, Клечка. Помни, что я хочу заменить тебе утраченных близких..." Так пишет гр. Перельман девочке Мазуренко, местонахождение которой (в детстве № 7 гор. Хвалынской, Саратовской области) она установила через республиканскую комиссию УзССР.

Общее несчастье сплотило граждан нашего Союза в одну семью. Тот, у кого нет ребенка считает чужого ребенка, попавшего в беду, своим; матери, имеющие по несколько детей, принимают в свою семью еще одного, а иногда и несколько чужих детей, движимые чувством патриотизма и общей солидарности.

По городу Ташкенту, на 25 августа, взято на воспитание отдельными гражданами 1013 детей. По УзССР (без Ташкента) на 1 марта — 1136. Возрастной состав детей, взятых на воспитание — от 8 месяцев до 16 лет. Наибольшее количество детей, взятых на воспитание,

падает на возраст от 3—4 лет, следующая ступень — 5—6 лет.

Кто те граждане, что берут детей на воспитание? Состав их многообразен, и обобщающее определение может быть только одно — советские люди.

Уже широко известны имена кузнеца Ахмеда Шамахмудова, взявшего на воспитание пятерых детей различных возрастов и национальностей, также и колхозницы Бахрихон Амирходжаевой (узбекской Пфлаумер), которая на протяжении своей жизни (ей около 50 лет) воспитала трех своих и до десяти чужих детей, а сейчас воспитывает четырех эвакуированных детей и недавно приняла в свою семью еще одного бездомного мальчика узбека, сироту 12 лет. Большое сердце Бахрихон не выносит детской беспризорности, одиночества. Раз соприкоснувшись с ней, Бахрихон уже не в силах остаться равнодушной — она принимает в свои материнские объятия еще и еще дитя. Материальные вопросы не останавливают Бахрихон. "В колхозе, — говорит она, — на всех работы хватит: научу работать — сам на себя заработает и учиться будет, и человеком будет..."

Как это замечательно и как важно: — "научу работать".

Вот Васильева Валя 4-х лет, взятая на воспитание 70-летним пчеловодом колхоза "Имени Юсупова" Сергеем Оттовичем Рейнгардт Сергеем Оттович и жена его, решив взять эвакуированного ребенка на воспитание, выбрали "самого больного", чтобы "выходить" его. И действительно выходили за полгода на меду и молоко рахитичную больную Валю. Не только выходили, но и воспитали в духе трудовой дисциплины. Четырехлетняя Валя поит ишачка, принося ему воду в маленьких ведерках, сделанных ей дедом (Рейнгардт убедил Валю, что она его родная внучка) специально для этой цели из консервных банок, ведерки эти Валя носит на маленьком коромысле, для этой же цели специально сделанном, Валя кормит кур, Валя собирает хворост — все это весело, играя, но и с сознанием важности выполняемого дела и своей ответственности за него. Садясь заваривать, Валя спрашивает: "Дед, а я все сделала — я поработала сегодня?"

Бывают случаи, когда люди, взявшие детей на воспитание, попадают в тяжелое материальное положение и, однако, ни за что не хотят нарушить взятое на себя обязательство. Гр. Жигарева, по профессии парикмахер, взяла на воспитание Агнесу Кузнецову, 6 лет, еще до того, как был мобилизован ее муж, хорошо

зарабатывавший. После мобилизации мужа гр. Жигарева категорически отказалась вернуть девочку в детский дом. Отказалась она и заключить договор с государством на платное патронирование. "Не для того я у государства ребенка брала, чтобы с государством же деньги брать" — говорит она и особенно гордится тем, что в детсаде, который посещает ее Агнеса, девочка лучше всех одета: "Все с себя продам, а девочка моя приемная самая нарядная из всех пусть будет..."

И это не единичный случай. Учительница Людмила Ивановна В. взяла на воспитание двоих детей и ни в коем случае не пожелала расстаться с ними, несмотря на очень стесненные материальные обстоятельства. Предложение платного патронирования она тоже категорически отвергла. Тогда общественность подыскала форму помощи, которая удовлетворила бы щепетильность учительницы. Ввод автоматичек запросил комиссию — кому из людей, взявших детей на воспитание, нужна материальная помощь. И вот Людмила Ивановна согласилась быть в числе лиц, субсидируемых автоматичками.

Но не только дети, потерявшие родителей, нуждаются в помощи.

С марта 1942 г. в Ташкенте открыто шесть детских столовых для эвакуированных детей, которые находятся при матерях, вставших в нужду. С 1 июня столовые питают шесть тысяч детей ежедневно.

Общественное питание детей — дело чести общественности каждого района Ташкента. К детским столовым прикреплены коллективы общественности, главным образом из числа жен комсостава, организованных в женсоветы при райвоенкоматах. Общественницы ежедневно несут дежурства при детских столовых — помогают административному персоналу и осуществляют общественный контроль.

В этих столовых дети получают два блюда: суп и второе, 150—200 граммов хлеба. В числе детей бесплатно питающихся в этих столовых — Зюния Б. Ему 14 лет, а он уже глава семьи. Семья эвакуирована из Белоруссии. У Зюнии три сестрички: 7 месяцев, 3 лет и 7 лет. Семимесячная сестренка Зюнии хронически больна диспепсией, и мать принуждена, от времени до времени, в периоды обострения болезни, помещать ребенка в больницу и находиться там при нем. Две других девочки остаются тогда на попечении Зюнии. Когда Зюния пришел впервые в 38 комнату, он так все и рассказал: "Папа на фронте — красноармеец; мама в больнице с маленькой, а мне надо чем-нибудь накормить

двух сестренок". Зюния получил на себя и своих сестренок три бесплатных обеда. Когда он пришел поблагодарить общественницу, выдававшую ему талоны, т. Выгодская, спросила его: "Хороши ли были булочки, Зюния?" — "На эт. он степенно и в то же время энергично ответил: "Не попробовал и девочкам не дал — сухарики буду сушить для маленькой, из больницы выпишут — где возьму белых сухариков, если не насушу?" Этот же Зюния долго отказывался ехать отдыхать в санаторий. — "Как же я уеду — разве мама без меня управится?"

Вот еще один мальчик Гриша Р., у него отец на фронте — политрук. С августа 1941 г. семья утеряла с ним связь. Семья эвакуирована из Житомира. Мать Гриши душевно заболела. Кроме матери, у Гриши сестра 7 лет и брат 4-х, самому Грише 12. Он пришел в комиссию с просьбой: "Помогите мне, чтобы маму с нами оставить — она тихая, она никому не мешает, не надо ее в больницу. Мне "травяной доктор" сказал, а я ему верю, если твоя мама при вас, при детях папу дожидается — она выздоровеет, а в больницу ее отдашь — она уж никогда не поправится..." Надо видеть 12-летнего Гришу, какой решимостью он полон — "додержат маму до папы".

Сестра и брат Гриши устроены в детский сад. Сам Гриша имеет бесплатный обед, с его квартирной хозяйкой заключен договор на платное патронирование, но деньгами распоряжается Гриша. Он опекает мать, стирает на младших, отводит и приводит их в детский сад и еще сам посещает школу.

А вот и еще один 12-летний Шура Будман. Он появился в 38 комнате в апреле, когда еще не просохла на ташкентских улицах грязь, босой, в комбинезоне, перепачканном масляной краской. Из разговора выяснилось, что Шура совсем один в Ташкенте. Предложение поместить его в детский дом он энергично отверг: — "Разве вы не видите, что я работаю?" — и неповторимым жестом он показал на перепачканный краской комбинезон.

Шура устроился работать подручным в мастерской, он получает 105 рублей. — "Я зарабатываю, живу у хороших людей... Я сплю под столом — мне никто не мешает, там и я никому не мешаю — мне только башмаки..." Получив башмаки (увы! республиканская комиссия располагала в тот момент только туфлями для девочек на резиновой подошве, но не все ли равно доблестному Шуру, какие это туфли — лишь бы ноги были сухие) и талоны на бесплатные обеды, Шура уходит из комис-



сии удовлетворенный, зарегистрировавшись в отделе учета и розыска. Полгода спустя Шура, через комиссию, находит свою мать, работающую на эвакуированном из Донбасса заводе, в Новосибирске. Вернее, мать находит его по своему запросу. Комиссия отправляет Шуру к маме в Новосибирск. Как радостно и как благодарно он прощается.

Летняя оздоровительная кампания. Республиканская комиссия закупает путевки и отправляет особенно ослабленных, нуждающихся в отдыхе детей в санатории.

Вот эвакуированный из Ленинграда 13-летний Юра Герман. После месяца, проведенного в Хасанбае, он приходит в комиссию „показаться“: „Я хочу, чтобы все „тети“, которые меня отправляли, когда я „костями гремел“, на меня теперь взглянули бы...“

9-летний Адик Бреер, ученик Ленинградской консерватории, после месяца в Чимгане, приходит рассказать: „Моя бабушка ничего не любит, даже не хотела, чтобы я ей камушков привез. Она только любит, чтобы я хорошо питался. Ведь в Ленинграде в феврале, да почти всю зиму, до самого отъезда — до июня, я совсем не мог питаться, а теперь видите, как я питался в Чимгане. Я за месяц 4 килограмма прибавил...“

Есть и другие виды помощи детям: бес-

платное молочное питание для детей до 2 лет, приобретение обуви и одежды, единовременное денежное пособие матери, чтобы она могла „обернуться“ — стать на ноги — начать работать, прокормить себя и своих детей.

За первое полугодие 1942 г. республиканская комиссия израсходовала по Ташкенту на помощь эвакуированным детям 358 тыс. руб., а Ташкентская городская и районные комиссии — 48 тыс. руб.

Эти средства составляются из добровольных пожертвований граждан — единовременных и регулярных, а также от устройства концертов, гуляний и вечеров. Сфера деятельности комиссий помощи детям огромна: выявить всех детей, нуждающихся в помощи; установить форму помощи, осуществить ее, собрать безнадзорных, одиноких детей, определить их в соответствующие дет. учреждения (детские дома Узбекистана безотказно принимают детей до 14 лет) или устроить на работу; осуществлять систематический надзор за детьми, отданными отдельным гражданам на воспитание. Все это требует большой упорной работы. Мы насчитываем значительное количество общественных, самоотверженно занятых делом помощи детям. Но работы столько, что хотелось бы включить в нее еще новые, свежие кадры общественников.

...

Всеволод Иванов

ХАЛИМА НАСЫРОВА

1

Впервые, после долгой изнурительной болезни, мне разрешено было совершить прогулку.

Если перейти улицу и нырнуть в первый переулок, сразу же окунешься в сады, деревья, растущие вдоль потоков, а домов через двадцать-тридцать непременно увидишь вдали белые вершины гор. Я видал все это зимой, — и как все было прекрасно! И куда прекраснее весной!.. Я шел нетерпеливо.

Солнце грело лицо. Возле арыков, куда впервые пустили воду, узбекские мальчонки пускали бумажные змеи. Булькала ласково вода. На желтых дувалах колыхались расцветшие маки. Над маками склонялись ветви цветущего урюка. И все это, — цветы, змеи, муравьи, хлопотливо ползущие через дорогу, встречный ослик, торопливо перебирающий тоненькими ножками, — все это было близко и мило.

Я шел, наполненный до краев удивительным ощущением пробужденной торжествующей весны, шел и немножко негодовал на себя. Дело в том, что мне казалось, будто я чего-то все же не нахожу, чего-то мне не хватает...

Переулочек сменялся другим переулочком, воды арыков мешались, переливались. Я вышел к длинному, загибающемуся холму. Вершину его венчали тутовые деревья. Внутри холма булькала вода. Это был древнейший арык. Весной и осенью арыки очищают от ила. Так вот этот очищенный ил, выброшенный со дна арыка, и создал по обеим сторонам своим высокий холм — символ человеческого трудолюбия. Двадцать-тридцать лопат ила означали год. Сколько же лет прошло, чтобы мог вырасти такой высокий холм?

По ступенькам, выбитым кетменем, я поднялся на вершину холма. Тугая вековая до-

рожка огибала тутовые деревья и железные ворота, через которые разветвляется поток.

Я увидал под собой сады, корявые лозы виноградников, освобожденные от хвороста, которым их прикрывают на зиму, бесчисленные глиняные заборы, украшенные цветущими маками, услышал голоса, звон топора, что снимал лишние сучья с ивы, смех детей... Вдали сияли горы. „Скоро придут дни, — думал я, — когда мы пойдем по лугам, мимо скал, направляясь к какому-нибудь водопаду. Трепеща и вопя, поднимутся от скал горные куропатки? Я засмеюсь?“

Я знал, что безмятежность эта кажущаяся. Война отовсюду дышала на меня. В небе рвья пронеслись грузовые самолеты. Где-то, неподалеку, грохоча, прошел на ученье танк, и слышался тяжелый шаг пехоты. Однако, я, — как всякий выздоравливающий, — шел, старательно слушая и находя безмятежность, к ней прислонялся я, как прислоняется усталый путник к прохладной колонне здания или к дереву.

Я глядел на горы. Они стояли недвижно. Ни одно облачко не закрывало их невыносимо белого сияния. Ближе колыхалась великолепная молодая зеленая весна. Она растекалась среди дувалов, которые походили на потоки мутных вод, неподвижно застывших.

И вдруг, откуда-то из листьев, за дувалом, послышался непередаваемо знакомый и сладостный треск! Я вздрогнул. Это было то, что я ждал, — и все-таки это было крайне неожиданно. Треск перешел в мелодию, мелодия рассыпалась в повторах, в вариациях... и все, казалось, вокруг замерло! Дети стояли неподвижно. Мужчины опустили топоры. Женщины прекратили спор, даже ослик перестал перебирать ногами и, свесив добрые длинные уши, уткнулся взором в дорогу.

Это запел соловей!

Он пел, меняя бесстрашно самые разнообразные мотивы, не боясь браться выразить са-

мые глубокие чувства тоски, радости, надежды и горя. Голос соловья то отдавался у ваших ног, то поднимался высоко-высоко, так что еле видный самолет в небе словно замирал, пытаясь уловить песню.

Соловей пел!

И шли минуты, скоро они смешались,— и не стало счету времени, ибо пела вечность, пела страсть, пела жизнь, пела вечно-юная весна.

И вспомнилась мне другая песня,— песня человеческая. И когда я сопоставил их, мне подумалось, что человек и птица равны перед весной жизни, перед расцветом творчества. Они поют,— и песня эта вечна, и песня эта так прекрасна, что если назвать человека — Соловьем, а соловья — Человеком, то тогда можно что-то объяснить, да и то, пожалуй, не объяснишь, а дашь только намеки на объяснение.

И вспомнил я Москву...

2

Золото рассыпано по красному бархату, но это золото украшений и бархат, которым обиты кресла, уже не задерживают взоры наши, и зачем, собственно, гасить свет в зрительном зале и включать свет на сцене: напряжение наших чувств таково, что мы не замечаем игры света и золота. Мы все поглощены тем, что развращается перед нами в игре актеров, в истории их жизни, потому что мы знаем — где-где, а уж там, в Узбекистане, жизнь актера есть жизнь народа.

Мы смотрим не пьесу „Гюльсара“, нет! Мы смотрим жизнь узбекской женщины, скованной цепями шарията,— и освобожденной великой правдой мира, той правдой, которую принесли Ленин и Сталин. Эта правда берет все ваше сердце настолько, что незнакомый нам узбекский язык, мотивы его песен, танцы сливаются для нас в одно целое, которое словно огнем жжет нас, сотрясает нас с головы до ног.

Узбекский соловей! Ты поешь о счастье своего народа. Но понимаешь ли ты, что ты поешь и о нашем счастье,— о счастье творчества, которым охвачен народ русский? Узбекский соловушка, не в перелете ли ты присел на веточку на берегу Москвы-реки и, глядясь в медленные воды ее, запел о своей родине, которая и наша родина?

Да так оно и есть! Ходишь в антракте. Голова шумит, как весенний поток, наполненный чудесными мелодиями, вспоминаешь мо-

лодую женщину, которая играет главную роль в „Гюльсара“, и думаешь: „А ведь совершенно отчетливо можно разглядеть в душе Халимы Насыровой два сильнейших желания: не отрываясь глядеть в ложу, где находится Иосиф Вассарионович, и другое, нестерпимо великолепное желание артиста и соловья,— петь и играть возможно лучше. И разве не в каждом звуке ее голоса звенит: „Ведь это я, Гюльсара! Это мне Ленин и Сталин дали жизнь. Это — мое счастье, моя радость!“

Повторяю, это были очень смутные, но очень приятные ощущения, и я рад был, когда моя догадка подтвердилась: сама актриса записала об этих своих чувствах с силой, которую можно выразить только тогда, когда переживаешь все это сам. И мало того, актриса подкрепила эти чувства рассказом. Он короткий, но убедителен до крайности. Никакие тома историй не будут равны ему! Вот он:

„Я выросла в детском доме, одна, далеко от родного кишлака.

Отца своего я не помню. Мне было четыре года, когда сложенный нуждой и непосильным трудом умер мой отец — бедняк Насыр.

Однажды кто-то из ребятишек спросил меня:

— Халима, кто твой отец?

Не зная, что ответить, я подошла к воспитателю:

— Ока, кто мой отец?

Воспитатель взял меня за руку и подвел к портрету, висевшему в зале. Лучистыми, чуть прищуренными глазами, на меня смотрел Ленин.

Я возвратилась к детям и увлекла их в залу.

— Вот мой отец! — гордо сказала я, указывая на Ильича.

— И мой!.. и мой!... — раздалось вокруг“.

3

Халиме Насыровой нет и тридцати лет от роду. Великий артист, поэт или художник не имеет возраста, и если я говорю о детях, то потому, что раннее детство Халимы совпадает с возрождением, а прямее сказать — с рождением ее народа, с воскресением его, да и вся остальная жизнь ее тесно впаяна в рамки новой жизни узбекского народа.

Отец ее умер в 1918 году. Мать осталась с четырьмя малолетними детьми. Мать, чтобы заработать на хлеб, прала нитки из ваты. В те дни, возле кишлака Таглык, где жили Насы-

ровы, бродили басмаческие шайки. Однажды басмачи, засевшие надолго в кишлаке, ворвались в дом и забрали все, что можно забрать. Мать с тремя ребятами осталась голая, как осеннее поле. Тупо бродили ребятишки по пустым двум комнатам, вспоминая отца. Несчастье этим не кончилось. Пришел басмаческий староста, с ним мулла. Ссылаясь на то, что за Насыровыми числится задолженность на содержание мечети и старосты, они стали делить урожай с огорода, который был разбит матерью рядом с домом. Мало огорода, они хотели даже разобрать домишко, чтобы разделить между собой лесной материал!

Староста и мулла, зная независимый характер матери, говорили ей:

— Разве ты воспитаешь детей? Смотри, у тебя уже нет огорода! Смотри, не сегодня-завтра растащат твой дом.

— Я не хочу отдавать своих детей богатым людям на содержание.

— Так водится от века.

— Богатые продадут моих детей, как только они подрастут!

— А разве будет лучше, если ты их продашь русским?

Тогда мать сказала:

— Чем отдавать на воспитание своих детей таким правоверным мусульманам, как вы, грабители, которые тащете у меня все до последней нитки — я поеду в Коканд и отдам детей неверующим! Зато у русских есть совесть.

— Попробуй!

Как видите, у матери Халимы был очень смелый воспитатель: Октябрь уже овевал свежим ветром лицо узбекской женщины, срывая паранджу и предрассудки.

Мать переехала в Коканд. В то время в городе впервые организовались школы, детского дома, интернаты. Для того, чтобы отдать детей в школу или детдом, нужно было обладать большим мужеством: ишаны, бай, муллы вели усиленную пропаганду, а неподчиняющихся убивали из-за угла. „Русские развратят детей! — кричали они. — Они сделают их неверными“.

— Та вера, которая есть у вас, и есть неверная вера, — говорила им мать.

— От тебя откажутся родственники!

— Что сделаешь? Может быть, они попозже поймут меня.

— Тебя убьют!

— Зато дети мои будут счастливы.

Мать отдала младшую дочь Халиму и младшего сына в детский дом, старшую дочь в интернат, а сама поступила в инвалидный дом

уборщицей. Тяжелая работа не надломилась ее смелого духа: родственники пытались ее убить, но, она, одна из первых узбекских женщин в Коканде, сбросила паранджу, а когда ей в 1926 году удалось попасть работницей на шелкоматальную фабрику, она вступила там в партию и активно работала над раскрепощением восточной женщины. Она едет делегатом в Ташкент на Первый съезд женщин Средней Азии.

4

Путь артиста, даже при самых благоприятных обстоятельствах, тяжел и извилист. Как мучительно трудно найти ту правду художника, которая затем освещает весь его путь! А еще труднее найти применение этой правды, способ передачи ее людям! А поиски образа? А неизбежные ошибки и падения, при которых кажется, что все погибло, и ты уже не человек искусства?..

На Востоке же, особенно в те дни, когда Халима Насырова только нащупывала свой путь, артистическая жизнь была крайне сложна и трудна, а в особенности для женщины. Нужно сказать, что по обычаю, свято соблюдаемому, узбекские женщины не имели права входить в какое-либо увеселительное место. Женщины-узбечки ограничивались только женской половиной — „ичкари“ — где их собиралось человек пять-шесть. Они играли на дутаре, пели, танцевали. Но даже при этом, единственном и кротком развлечении их, если женщина, имевшая хороший голос, с успехом пропоеет что-нибудь и о пении пойдет только слух, надо ожидать, что ее начнет преследовать муж.

До Великой Октябрьской революции узбекский народ не имел возможности создать свой национальный театр.

Лишь в 1919 году в Ташкенте появился узбекский театр имени К. Маркса, ныне это — Академический театр имени Хамза. Женские роли исполнялись тогда мужчинами. Только с 1926 года на сцене узбекского театра начинают появляться узбечки. До этого на сцене узбекского театра была только одна женщина.

Х. Насырова говорит об этом очень любопытно и показательном факте:

„Всегда хочется отметить, как великий русский народ вел за собою народы отсталых братских республик. Это сказывалось всюду, и в театре тоже. В 1919 году в узбекский театр поступила первая женщина. Это была русская: М. Кузнецова, ее зовут теперь — Маруся-хан Кузнецова. Она приложила все

усилия к тому, чтобы изучить в совершенстве узбекский язык, всячески стремясь своим примером увлечь узбеков на сцену. Она играла и драматические вещи, и музыкальные, и характерные.

То, что в течение почти семи лет существования узбекского театра, — и при советской власти, заметьте, то есть, при полной поддержке, — на сцене не могла появиться женщина, указывает, как глубоко вросли пережитки прошлого в сознание людей, и как трудно было женщине не только выйти на сцену, но и подумать об этом!

И все же о сцене думали многие. Думала и Халима.

Конечно, думы эти были очень неясные, и выливались они, большей частью, в игры, в пение, в танцы среди обстановки детского дома. Халима вступает в пионерский отряд, — и здесь она устраивает песни, танцы, игры. Сестра ее Ойшах учится в интернате. Там работали кружки самодеятельности.

— Я ходила в интернат посмотреть, как выступает моя сестра, — рассказывает сейчас Халима, слегка улыбаясь. — Я смотрела, как она танцует, слушала, как она поет, и мне тоже очень хотелось быть на сцене. Я думала, какая я буду счастливая, если достигну такого положения, какого достигла моя сестра!

Только несколько лет спустя удалось Халиме увидеть настоящий театр. В город Коканд приехал артист Кари Якубов и Тамара Ханум с концертами. Давали концерт на летней сцене. В зрительный зал Халима попасть не могла, у нее не было денег на билет, — и она с ребятами из интерната видела и слышала концерт с деревьев, окружавших сцену.

— Я хотя и с деревьев видела и слышала постановку, — говорит она, улыбаясь мягкой улыбкой, — но все же у меня появилась очень большая тяга к театру!

Во время праздника «уразы» в открывшемся парке Коканда устраивались народные игры и увеселения. Халима ходила в парк со своей подругой из интерната. Между прочим, был в парке комический аттракцион — вращающиеся люльки с наименованием городов: «Тифлис», «Ташкент», «Баку»... Когда люльки останавливались, каждый, кто хотел прокатиться, выбирал любимый город, именем которого была украшена люлька. Халима всегда старалась попасть в люльку «Ташкент». Люлька качалась, неслась. Халима видела мысленно улицы, высокие дома и множество-множество театров и множество-множество институтов, где можно учиться, чтобы попасть в эти театры!

Люлька напроорочила ей. Интернат направил отличную ученицу на учение в Ташкентский женский педагогический техникум.

Здесь Халима училась и учила других. Она вновь вступила в пионерский отряд. Вскоре ее выбрали пионервожатой. Опять она пела, разучивала песни, играла, и даже была барабанщиком. В 1923 году организовался в техникуме музыкально-драматический кружок. Халима Насырова стала выполнять самостоятельно главные роли. Впервые же она выступила в пьесе «Туйгуйай». В конце 1924 года ее услышали те, кто искал узбекские дарования. Она пела. Ей сказали:

— Вам надо учиться.

— Я и хочу учиться, — ответила она с трепетом.

— В Баку есть театральная студия. Туда надо ехать учиться.

Каспийское море качало как люлька.

Во тьме морской ночи, как огненная подкова, вставал сказочный город. Это был Баку.

5

Халима Насырова училась в Баку три года. Вместе с нею на обучение было командировано из Узбекистана еще одиннадцать человек. В 1926 году, во время летних каникул, студенты Бакинского театрального техникума приехали погостить на родину. У них были приготовлены четыре пьесы, в которых Халима исполняла главные роли.

Народ встретил своих артистов прекрасно. Возбужденные огромным успехом студенты исполнились еще большей жаждой ученья. Только год ученья оставался им, — и они опять, теперь уже навсегда, вернутся в родные края.

Когда они высадились в Баку, им сообщили, что солистка Узбекского Академического театра им. Хамзы, прекрасная певица Турсун-ай Саид-Азимова убита в Узбекистане шайкой реакционеров, к которой был причастен муж актрисы. Гнев и желание работы переполняли сердце Халимы. Она жаждала мести — мести искусством.

После смерти Турсун-ай в театре им. Хамзы не осталось актрисы, имеющей хороший голос. Работа в театре почти остановилась. Многие пьесы не шли. В Баку получались телеграмма за телеграммой, — Халиму Насырову вызывали на родину, в театр.

С возвращением Халимы Насыровой театр ожил.

— На вас все надежды, — сказали ей, указывая на целую кипу ролей.

Она глядела на них с ужасом.

— Какой же мне срок на подготовку?

— Месяц.

— Позвольте, но ведь тут десять ролей?

— Больше. Пятнадцать!

И точно, — было пятнадцать. Тут и «Принцесса Турандот», и «Ревизор», и «Сигнал», и «Слуга двух господ», и «Кован-Охангер», и «Загмук», и «Яркын ай», и «Фархад и Ширин», и множество других не менее трудных. Халима всплеснула руками, — и однако же не отказалась от работы.

Спрашиваешь сейчас Халиму Насырову:

— Трудновато было?

— А когда же в искусстве бывает легко?

Но у нас то преимущество, что тяжесть от искусства, от работы в нем, как только воплотить в жизнь, так и забываешь. Кроме того, нас влечет жажда новой жизни...

Слова о новой жизни не только слова! Враг старается вредить всячески. Новую жизнь приходится защищать. Враг клеветает на актеров и актрис. Для того, чтобы подорвать авторитет актрисы, враг говорит, что у них испорченные нравы. Вот почему, дабы доказать, что нравы их не испорченные, актрисы рано выходят замуж. Так, например, едва достигнув совершеннолетия, вышли замуж актрисы N и N. Но, кроме клеветы, враг не останавливается и перед убийством. Убита Турсун-ай. Зверски убит кулаками один из виднейших организаторов советского театра Хамза Хаким-заде Ниязов. Он был первый популяризатор народных узбекских музыкальных произведений. Идея наперекор всем бытовым пережиткам и сопротивлению контрреволюционных националистов, Хамза в своих драматических и музыкальных произведениях непреодолимо стремился повысить музыкальную и певческую культуру узбекского фольклора. Это имело чрезвычайно большое значение в развитии музыкальных театров Узбекистана, особенно в развитии основного музыкального театра: Узбекского театра Оперы и Балета, куда вскоре вступила Халима Насырова.

В 1930 году в Музыкальном театре были поставлены пьесы «Уртақлар» и «Халима». С этими пьесами и репертуаром концертов театр впервые посетил Москву. И зритель Москвы увидел узбекское искусство!

Спустя несколько лет Узбекский театр приехал в Москву снова. Это уже была декада, — десять дней превосходного узбекского искусства, — и Большой театр, вся большая

Москва с любовью приветствовала талантливых представителей узбекского народа.

Народная артистка СССР Халима Насырова пела в пьесе «Гольсара», пела о счастье узбекской женщины и счастье всего народа...

6

И сейчас, когда я пишу эти строки, в соседней комнате поет радио. Я узнаю голос Халимы Насыровой.

Сюда, в Ташкент, из Сталинабада несется этот голос, призывающий народ к борьбе с фашизмом. Только что окончился митинг по случаю открытия Большого Гиссарского канала. Два народа, — таджикский и узбекский, — проплыли этот канал. Два народа соединились вместе, чтобы, роя канал, вырыть этим самым могилу немецкому фашизму. И могила будет вырыта. Мы знаем это и по работе народов, и по тому, как сражаются народы за счастье СССР!

Халима Насырова не только певец. Она и агитатор. Она говорит на митинге, а затем выступает и поет в концерте. Я слышу ее часто по радио, вижу ее в лазаретах, где она поет перед ранеными. Сорок дней она, вместе со своей группой узбекских артистов, ездila по Кавказскому фронту!

И мне кажется, что я вижу ее на палубе парохода. Пароход медленно подходит к Бакинскому рейду. Город темен. И она вспоминает, как почти десять лет назад подплывал также пароход к городу, и она мечтала об учении. Вот теперь она обучилась. Чувствует ли она себя удовлетворенной? Отдала ли она народу сторицей то, что приобрела для него? Сделала ли она то, что должен сделать каждый честный художник, живущий в народе и для народа?

Такие вопросы неизбежны для людей искусства. И неизбежен также ответ: «я не знаю, пусть судят другие». И мне думается, что другие судят о ней правильно. Вот суждение бойцов Красной Армии:

— Недавно Халима Насырова посетила Иран. Она пела в наших частях, пела, как представитель узбекского народа. После каждого концерта стихийно возникал митинг, и в речах каждого оратора, по-разному, звучало одно, звучало как металл, как несокрушимая решимость!

— Не отдадим Страны Советов фашистам! Не отдадим фашистам советское искусство, нашу правду жизни!

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

Наш славный современник, писатель Алексей Толстой, взяв на себя тяжелое и ответственное бремя: продолжил дело Максима Горького на боевом поприще публицистики. В месяцы Отечественной войны он выступил с серией публицистических статей огромной впечатляющей силы*. На фронте и в тылу читатель ждет их и горячо приветствует. Некогда из статей А. Н. Толстого явились событием литературной жизни; отдельные статьи получили не только всесоюзный, но и мировой резонанс. Завязалась дуэль по радио между Иозефом Геббельсом и Алексеем Толстым, и фашистский обер-брюхун был обличен, осмеян, опозорен перед лицом всего мира.

Чем особенно пленяют нас статьи А. Н. Толстого? В чем состоит волшебство их воздействия?

Авторов патриотических статей у нас много. Но другие авторы лишь зывают к чувству патриотизма, — Ал. Толстой в споспизводит его. Подобно тому, как романтик, изображая любовь своего героя к женщине, не ограничивается тем, что говорит об этом чувстве, называет его по имени, но и живо воспроизводит в картинах, так Ал. Толстой живописует нашу любовь к родине, наглядно воспроизводит ее, тем самым рождая отклик в наших душах, заставляя звучать самые затаенные струны. Что он, как крупнейший художник нашего времени, достигает этого в своих исторических романах, мы все хорошо знаем. Удивительно то, что он умеет достичь того же, оставаясь и в пределах публицистики.

А. Н. Толстой помогает нам глубже познать нашу кровную связь с родиной. Из глубин подсознания всплывают на поверхность образы детства, оживают полузабытые картины родной деревни, краски и запахи родной земли. Читая статьи Толстого, мы вновь видим села и поляны, реки и взгорья, на которых протекала наша юность. Проходят в памяти давние встречи, крепко запечатлевшиеся характеры цельных и сильных русских людей.

А. Н. Толстой поднимает как знамя историческую традицию русского народа, мучительные превратности и величие нашего прошлого. Волнующими словами, исполненными патри-

тической гордости, он воспевает воинскую доблесть нашего народа, его немеркнущие в веках военные победы. Он прославляет коллективный разум народа, его ни с чем несравнимое упорство в собирании земли и строительстве государства, его революционный почин в борьбе за коммунизм, его творческую смелость в пролагании новых путей к счастью всего человечества. Перед мысленным взором читателя проходят русские воины, оборонившие от варваров „землю отчий и дедичей“, „все наше зеконечное“, „гнездо наше — родину“, „пронзительно дорогое нам“, „как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы“. Развертывается бесконечно длинный, уходящий в века свиток героических деяний русского народа, его блистательные успехи в разнообразных областях жизни — общественной и культурной.

„Родина, — пишет Толстой, — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру и законность и неразрушимость своего места на земле“.

И писатель с истинным вдохновением говорит о богатстве русского языка, о мудрости и блеске нашей изустной литературы, о несравненном величии нашей художественной литературы, о звезде Пушкина, о великих деяниях русской науки и искусства, о неумирающем типе русского правдоискателя, о сосредоточии правды — Москве, о Ленине и Сталине, обо всем „наследстве нашего народа, сильного, свободолобивого, правдолюбивого, умного и не обиженого талантом“. И горячая речь писателя по-новому пробуждает чувство национальной гордости, волнует наше сердце, переплетая нитями связи с отчизной.

Многообразно раскрывает А. Н. Толстой в своих статьях особенности русского национального характера. О волшебных русских сказках он говорит, что в них отражена „сложная, богатая, талантливая, мечтательная, пытливая, веселая и вольнолюбивая душа“. О нашем искусстве прошлого века — что в нем отразилась „вся широкая, творческая, страстная, взыскующая душа народа русского“. О собирательном типе нашего летчика, о

сталинском соколе А. Н. Толстой пишет: „в глазах его, устремленных на врага, — ясность и гнев, твердость и расчетливая ярость умного бойца“. Это — правнук того славного русского воина, который, презирая смерть, отстаивал в веках, как драгоценнейшую святыню, честь и независимость родины.

Современный русский человек, свободный гражданин социалистической родины, и похож на своего пращура, и, вместе с тем, не похож. От прошлого он унаследовал лучшие черты, но в нем появились и новые, воспитанные в годы революции, в годы сталинских пятилеток, в месяцы Отечественной войны. Черты советского человека привлекают к себе особенно пристальное внимание Алексея Толстого. У нас, — говорит он, — „созрел человек борьбы — смелый, выносливый, перемичивый, бесстрашный в ярости.. русский человек таков, что если поставлена перед ним нравственно высокая задача, — именно — высоконравственная, — то уж пятиться он не может, — стыд для него страшнее смерти... Мы — народ гордый, рабочий, выносливый и, раз взявшись за дело и рассердясь, — доведем его до конца“.

В грандиозных планах врага, рассчитанных с немецкой педантичностью, неучтенной осталась, по Толстому, „Неизвестная Величина“. Она то спугала и опрокинула все расчеты Гитлера. Таинственное имя этой „Величины“ — психология советского человека. „Психология советского, русского человека изменила весь ход мировой войны, и она есть то чудо по Москве, на которое была способна только наша страна, наш народ и Красная Армия“.

Это писал Алексей Толстой после того, как гитлеровские орды были разгромлены на подступах Москвы и отброшены на Запад. А в день смертельной опасности для нашей столицы, 15 октября, он выступил со статьей „Москва угрожает врагу“. Статья эта, начинающаяся словами „Ни шагу дальше!“, прозвучала громовым раскатом. Писатель выступил, как народный трибун, и его мужественные слова, исполненные пафоса и мощи, разносились в эфире подобно звукам набата.

Радиорупоры возвещали: Черная гень легла на нашу землю. Вот, поняли теперь, — что жизнь, на что она, когда не будет родины!.. По-немецки мне, что ли, говорить? Подогнув дрожащие колени, стоять, откидывая со страху голову перед мордастым, свирепым лающим на берлинском диалекте, гитлеровским охранником, норовящим добраться кулаком до моих зубов? Потерять навсегда надежду на славу и счастье родины моей, забыть навсегда все,

все прекрасное, высокое, очищающее жизнь, — ради чего мы живем?.. Видеть, как Пушкин полетит в костер под циническую ругань бе-лобрысой немецкой сволочи, и пьяный немецкий офицер будет мочиться на гранитную скалу, с которой сорван и разбит бронзовый Петр, указавший России просторы беспредельного мира?

Нет, лучше смерти! Нет только смерть в бою! Нет, только победа и жизнь!..

Ни один будущий историк, описывая героическую защиту Москвы и до краев переполненный трагизмом день 15 октября, не сумеет миновать эту статью Алексея Толстого. Пламенная речь писателя вдохновляла героев и двигала их в бой. Нет сомнения в том, что те 28 гвардейцев, которые своими телами прикрывали ворота красной Москвы, слышали эту речь и шли в бой, воодушевленные теми же чувствами высокого патриотизма, безграничной, всепокрывающей любви к родине, которыми дышат слова писателя. Много артиллерийских батарей и тяжелых орудий защищали подступы к Москве, и в огненном ливне снарядов, обрушившемся на голову врага, гнев и пафос воззвания Ал. Толстого заняли свое место.

Патриотические выступления Ал. Толстого в печати мы называем статьями, но это, собственно, не точно. Некоторые из них напоминают скорее речь, произнесенную художником слова с трибуны, боевое воззвание, военную прокламацию.

Речь — воззвание — прокламация — одна из стилистических особенностей публицистики Ал. Толстого. Вторая особенность — поэтическая дума о родном народе, о его призвании среди других народов, о его судьбе в истории человечества. Описывая свои мысли на берегу Волги, у подножия памятника Валерию Чкалову, А. Н. Толстой говорит: „Здесь ум бродит по видениям шумного и богатого прошлого и мечтает о безграничных возможностях будущего“. Но нет! Это было не только на берегу Волги, не только у подножия памятника Чкалову. Поэтическая дума о русском народе лейтмотивом проходит во всех статьях Толстого и составляет одну из неотъемлемых стилистических особенностей его публицистики. Третья особенность — художественная красочность языка и образность мысли.

Статьи А. Н. Толстого необычны для публицистического жанра. Они крайне своеобразны и подлинно художественны. Во всей богатой русской литературе можно, пожалуй, назвать только один пример такого строения

* См. сборник его статей „Что мы защищаем“, вышедший в издательстве „Советский писатель“ в Ташкенте.

публицистики: Герцен. По внешности может казаться, будто писатель развертывает одну только логическую нить своих суждений, — на самом деле под логическим мышлением пульсирует образное. Оно пронизывает всю словесную ткань статей, проявляется в языке, в выборе эпитетов, порою прорывается наружу художественными зарисовками, картинными описаниями, лирикой личных воспоминаний, небольшими вставными эпизодами. Эпизоды эти приведены как будто лишь для иллюстрации мысли, но в действительности имеют вполне самостоятельную ценность. Рассказанные иной раз авторской речью, а иной раз речью персонажа с сохранением его речевой интонации, они раскрывают перед нами целую галерею интереснейших русских людей. Вся эта вторгающаяся в публицистику Толстого художественная „контрабанда“ придает ей особенное очарование и в большой мере предопределяет силу ее эмоционального воздействия.

Когда А. Н. Толстой рассказывает, как он в детстве слушал „высокого, похожего на коня, старика с вытекшим глазом“, то перед вами оживает этот старик, так скуп и так метко обрисованный двумя-тремя словами. В статье „Фашисты в Ясной Поляне“ автор мимоходом, в двух коротких фразах рисует портрет Льва Толстого: „Сидя на низеньком стуле за неудобным столиком, он работал здесь, маленький, с морщинистым, бородатым лицом, с седыми бровями, нависшими над непримиримым, блестящим от старой молодости, холодным взглядом его серых глаз... Здесь же стояла причуда русской совести — крестьянская соха, за которой — в поле, в ветреный день — его увекочил великий художник Репин“. Двух этих фраз достаточно для того, чтоб в вашем воображении возник образ Льва Толстого — теперь уже и бесчинства фашистов в Ясной Поляне становятся нагляднее, воспринимаются острее, пробуждают в вас еще больший гнев.

В статьях Алексея Толстого значительное место занимают описания, часто это — только беглые зарисовки мимоходом, но иногда — целые развернутые художественные картины, например, картина налета на Москву и воздушного боя, картины работы эвакуированных заводов, индустриальный ландшафт Горьковского края и т. д.

В статье вкраплены рассказы о боевых эпизодах, о подвигах и героизме наших людей. Великолепен рассказ летчика-истребителя. Он короток, приведу его целиком: „Как рой пчел — так вертелась вокруг меня самолеты противника. Шея заболела крутить головой. Азарт

такой, что кричу во все горло. Сбил троих, иду — прицепиться к четвертому. Сверху — то небо, то земля, солнце — то справа, то слева: кувыркуюсь, пикирую, лезу вверх, беру на прицел одного, а из-под меня выносятся истребитель, повис на тысячную секунды перед моим носом, вижу лицо человека, сильное, бородатое, в глазах мольба о пощаде... Нет пощады! Он кувыркнулся и задымил... Вдруг, у меня нога не действует, будто отсидал, значит — ранен. Потом в плечо стукнуло. И пулеметная лента — вся, стрелять нечем. Начинаю уходить — повисла левая рука. А до аэродрома далеко. Только бы, думаю, в глазах не начало темнеть от потери крови, и все-таки задержало мне глаза пленкой, но я уже сядил на аэродром, без шасси, на пузо“.

Из рассказа мы узнаем не только об интересном боевом эпизоде, не только о героическом подвиге, столь уже обычном в нынешнюю войну, — мы узнаем о человеке, об одном из храбрых наших воинов. В его характере легко различить спокон веку свойственные русским людям бесстрашие, присутствие духа, сметливость, азарт в бою. Крик во все горло вырывается у летчика-истребителя при нападении на врага в воздухе. С тем же криком и с тем же восторгом боя неслось его предки в атаку на печенегов и половцев, на рыцарей-псов и монгольские орды, на полчища Наполеона, на несметных врагов, посягавших в прошлом на русскую землю. Чувствуются в летчике и черты нового, советского человека, есть в нем и лично ему присущие, индивидуальные черты.

Пользуясь речевой интонацией рассказчика, как благодарнейшим средством художественной выразительности, А. Н. Толстой создает живой образ летчика. Только большое художественное мастерство позволяет писателю в столь немногих словах обрисовать человека целиком, с головы до ног, вылепить характер со всеми его чертами — унаследованными и новыми, роевыми и личными. Воспроизведенный автором коротенький рассказ летчика на 15—20 строк представляет собой законченное художественное произведение, а самый летчик — живой персонаж этого произведения. В статье А. Н. Толстого вкраплено множество таких художественных миниатюр, в статьях выведено множество живых лиц.

Персонажи в публицистике! — вот что действительно ново. Это и есть та новая литературная форма, которая рождена потребностями Отечественной войны и воплощена в жизнь плеядой советских писателей, Алексеем Толстым — в первую голову. Из новых потребо-

стей возникшая, возродилась в новых условиях литературная традиция Герцена, столь высоко оцененного Владимиром Лениным, Львом Толстым, Максимом Горьким.

„Война распахнула русскую душу“, — говорит наш автор и, как анатом человеческих душ, любовно изучает человека на войне. Писать о войне значит для него писать о народе в целом и о человеке в отдельности. Вот откуда это обилие персонажей. Писать о священной Отечественной войне значит прославить те высоконравственные начала, которые воплощены в новом советском человеке и во имя которых ведется борьба.

Так ширится кругозор патриотизма Алексея Толстого. Его любовь к родине — это не одна только физиологическая привязанность к родной земле и красоте ее природы, к соотечественникам и их национальному харак-

теру, не только общность языка, культуры, исторической судьбы. Нет! Любовь к советской родине с ее Сталинской Конституцией вмещает в себя, как неотъемлемую и притом решающую составную часть, любовь к общественному идеалу Советского Союза и к его человеку.

Этот новый, свободный, гордый, смелый, трудолюбивый, творческий человек бесклассового общества, — человек, не знавший омула крепостничества, полицейского произвола, каторги наемного труда, создатель всех ценностей и красоты мира, талантливый и неустанный борец за светлое царство коммунизма на всей земле есть могучее средоточие наших патристических чувств.

Человек будущего есть солнце нашего патриотизма. К этому солнцу зовет нас Алексей Толстой.

Корнелий Зелинский

УЗБЕКСКИЕ ПОЭТЫ И ВОЙНА

1

Современная узбекская поэзия молода. То поколение писательской интеллигенции, которое составляет цвет современной узбекской литературы, приобщалось к ней, училось слагать свои первые рифмы лишь в начале и середине двадцатых годов.

Нынешняя узбекская поэзия рождена Великой Октябрьской революцией и непосредственно тем глубочайшим переворотом в жизни народов Средней Азии, который принесли с собой Сталинские пятилетки. И сама эта поэзия есть тоже революция во всей прежней умственной жизни узбеков. Тот, кто помнит старые арабские книги, старый Самарканд, голубую майолику мечетей, медресе, книжную мусульманскую мудрость, кто помнит прятную эротику предреволюционной „светской“ поэзии, кто знает, как цепко все это владело здесь умами, — для того современная узбекская поэзия покажется чудом. Этот широкий кругозор, эта зрелость политической мысли, народность, нравственная чистота — все это кажется пришедшим сюда из другого

мира. Да так оно и есть. Это поэзия нового мира! Каков он?

То, что пережила „колыбель человечества“, древняя Средняя Азия, в годы торжества ленинско-сталинской национальной политики — само по себе звучит как музыка и говорит стихами. Вдохновенно строили народы свой новый советский дом. Узбеки перекраивали и творили свою страну. Все вместе: промышленность и песни, Ферганский канал и алфавит. Колхозы и театры. Чирчикстрой и стихи.

Отсюда рождалась новая поэзия! Большинство современных узбекских поэтов пришло из кишлаков, из маленьких уездных городков. Они — дети дехкан, мелких ремесленников. Их матери и отцы — неграмотны. Их детство — хлопковое поле, низкий глиняный домик, нужда, их игры — корабль из щепочки в арыке. Они начинали свое обучение еще в старомодной школе и лишь в советские годы пошли в русскую школу, в десятилетку и пединститут. Мне рассказывал один из узбекских друзей, прекрасный и тонкий поэт, что до революции он, живя в Ташкенте, не бывал в русской части города. Он жил в

своем „старом городе“, как в заколдованном царстве.

Революция расколдовала это царство. И в нем — поэт! Новая узбекская поэзия рождалась между сказками матери и газетой, между старыми народными песнями и русскими стихами, заучиваемыми наизусть в школе, между древними персидскими книгами (которые „заставляла учить дедушка“) и переводами Маяковского. Навои и Пушкин были для них современниками. Священные строки Востока смешивались с ясным голосом Севера. Молодая поэтическая мысль пробивалась сквозь извилины влияний узбекской классики, фольклорных мотивов и русских образов, чтобы найти свое собственное выражение. О молодой узбекской поэзии хочется сказать словами Герцена, что у нее „соответствие мира еще на губах не обсохло“. Это выражается в молодой приподнятости слога, что идет от романтического ощущения жизни и отчасти от народного стиха и речитатива, — и в простодушной вере в метафоры и сравнения. В ней много риторичности, в которую облекается однако настоящая правда человеческого сердца.

Поэзия — это око в мир, расширенное удивлением. Но краски и пропорции мира, который открывается в узбекской поэзии, расцвечены и расширены вдвойне и втройне. Все способствовало развитию романтики в узбекской поэзии: синее небо, вечно сияющее солнце, яркие цветы, одежды дехканина, богатырские пропорции героев народного эпоса Алпамыша и Гор Оглы, наконец, удивительнейшие дела эпохи социализма в Узбекистане. Вот почему богатырь в узбекской поэзии неизменно сравнивается со львом, губы — с тюльпаном, белая грудь — со снежной вершиной. Вот почему узбекская поэзия так вся пронизана светом, радостью, безграничным оптимизмом.

Коренная черта советской поэзии — ее оптимизм, настроение творческого подъема. И эта черта в узбекской поэзии усилена вдвое и втрое. В сущности это настроение, если говорить о предвоенной узбекской поэзии, родило почти всех узбекских поэтов от Гафур Гуляма до Шейхзаде и от Алимджана до Умари. Но, пожалуй, ни у кого этот общий мажорный мотив не выливался в такое неудержимое ликование, как у Амина Умари: „В груди растет блаженства бурный вал. О, песни птиц! О, волшебство природы!“ „Смеется мир под синим небосводом“ — вот каким открывался ему мир. „Весна — наш долг“ — восклицал он. „Весна — наш долг“, это очень

здорово сказано. Это напоминает песенку неунывающего гасконца Сирано де Бержерака из пьесы Ростана, которую так любил Горький, песенку о людях „с солнцем в крови“.

И вот ударил час войны

На морь, в небе, на земле тяжелый гул войны.
Здесь в бой извечных два врага вступили —
Тьма и свет —

так начинал Хасан Пулат свое стихотворение „Победа за нами“. Встрепенулся узбекский народ. Когда будут написаны книги о необыкновенных, героических делах советских людей, совершавших чудеса храбрости и трудовой доблести для победы над врагом, перед нами во всей полноте откроется картина тех замечательных дел, какие творились в Узбекистане.

В „Письме узбекского народа бойцам Великой Отечественной войны“, изложенном в стихах Гафур Гулямом, Хамидом Алимджаном и Чусты, — „Письме“, которое по советскому обычаю здесь подписали тысячи людей, говорится:

Наш Узбекистан не только земледелец;
Заводским гулом он зычно загудел;
Сам себе сказал: „Дела войны освою“, —
Круто повернул он к фронту повод свой.
Яблоки послать всегда мы рады вам, —
Счастливы послать теперь снаряды вам.

Перевели А. Пеньковский и В. Державин

Здесь оседали эвакуированные заводы, и отсюда улетали на Запад, в бой, новые самолеты. Здесь колхозники брали ленинградских детей к себе в семьи и отправляли своих старших сынов на фронт. Узбекистан весь ошестинился и закипел трудом. Два урожая в один год! Двойные размеры посевов! Пятенные нормы труда!

Восхищаясь отважным сыном своим,
Не боится труда Хольпошо-айм.
Выйдем в поле — всегда найдешь ее там,
Две-три нормы — вот мера ее трудам.
И Эсар Ажам — батыр у нас есть!
Он один выполняет пять норм и шесть.

Перевел А. Пеньковский

— так пишут в своей поэме „Священная война“ Амин Умар и Тимур Фаттах. В самом деле, Эсар Алиев назван батыром не только в порядке литературной традиции. Нет, это подлинно новый эпос. И слова узбекских былин, обновленные в своем содержании, не кажутся поэтическим преувеличением. Далекий от фронт узбекистан героическим трудом сво-

им открыл бой по ненавистному врагу. Как хорошо сказал Хасан Пулат:

Мой хлопок, хлеб и нефть моя приносит смерть врагу.
Мой труд, отвага, мощь, земля и синий небосвод
Помогу удар! Почувствуй страх, фашисты побегут!
Перев. Ю. Бикоревича

Великая Отечественная война, сплотив в едином устремлении все советские народы, показала, какие неисчерпаемые запасы творческой трудовой энергии таятся в народных толщах. Она показала, какие неисчерпаемые запасы героизма несет в себе в бою советский человек: русский и татарин, еврей и узбек, туркмен и грузин. Но она показала также нечто не менее важное, что совершается на „не видимом фронте духа“ (выражаясь словами поэта А. Майкова); она показала, в какую несокрушимую силу выросла советская дружба народов, как глубока любовь к родине у советского человека, как ясны его благородные цели, чиста душа. И вот эта душа советского человека нам сегодня открывается в поэзии.

В дни Отечественной войны пошла на фронт и узбекская поэзия. Пошли ее представители: более тридцати молодых узбекских поэтов сражаются в рядах Действующей Армии. Пошла она и в своем прямом качестве, как окрыленным образом слово, проникающее в души и сердца людей. Немало стихов и песен в отдельных книжках, листовках, по радио пошло в народ, вооружая его мысль и волю на борьбу с ненавистным врагом.

2

Остановимся подробнее на отдельных мотивах современной узбекской поэзии. Первая тема, которая проходит сегодня как лейтмотив, — это тема родины и дружбы народов.

Родина! — это слово есть на всех языках, и оно понятно всякому человеку, если он не нравственный урод. Слово — „мать“ есть первое слово, которое произносит человек. В своем стихотворении „День победы придет“ Айбек рисует образ матери, которая сидит усталой на корточках перед своим скудным ужином в котелке. Пять сынов послала она на фронт. Снова и снова она развязывает кончик своего платка и вынимает последнее письмо от своего младшего сына. Она целует его глазами, и из них „ручнется любовь“. И чудится ей, что пять тополей в ее саду шумят листвою и наклоняются к ней, точно ее сыновья. И выше их горит звезда. И звезда мерцает ей. И ветра бродят от дома к дому.

И все это вместе соединяется в великое могучее ощущение своего родного, исконного, в то, что никому нельзя отдать, что влияет неодолимые силы в сердце бойца. Любовь и родина — самое древнее из человеческих чувств. Настоящий поэт — Айбек, и хорошо он сказал в своем стихотворении „Все отныне отдай“, посвященном другу, уходящему на фронт:

Клялся родину ты защищать от врага
Эту землю целую, ты клятву скрепи!
Сердцу сына да будет как жизнь дорога
И сухая былинка в родимой степи!

Перевел Вл. Державин

Но в нашу советскую любовь к Родине вошло крепчайшей цементирующей связью новое чувство, — чувство дружбы народов. Наша любовь к родине свита из множества нитей, связующих всех нас, советских людей разных национальностей, в одно нерасторжимое целое — в великий Союз Советов.

С взволнованной, страстной любовью пишут узбекские поэты о своей земле, о своем Узбекистане. „Землю ее цветущих садов, что ни шаг целовать я готов“ — говорит в своей поэме Хамид Алимджан. „Я радостных глаз не могу отвести от вашего образа, горы родные“ — пишет о Чирчике Даврон. „Цвети, кишлак мой, радуй меня, благоухай весенним, пышным цветом!“ — пишет Умар.

Но в это свое, кровное, узбекское чувство у поэтов влетает мотив любви ко всем советским народам, ко всем землям нашим и, сливаясь, превращается в могучую симфонию единства.

Образ родины для узбекских поэтов естественно восходит к тем вершинам нашего патриотизма, который олицетворяется ныне в образе нашей родной всем народам Москвы, в образе великого вождя народов, Сталина. Шейхзаде пишет в своем стихотворении „Наша Москва“:

Мы все от Москвы получили нарек, —
узбеки — самое слово у з б е к,
звонкие песни — певцы-старички,
уменье читать и писать-кишлаки,
крепкую сталь — отточенный меч,
влагу — земля, а поэты — речь.
Мы все от Москвы получили родной, —
красавицы — локоп прелестный свой,
слагающий музыку — звуков красноту,
летчики — крылья, суда — быстроту,
художники — краски, оттенки, тона,
строй свой свободный — наша страна.

Перевел Н. Ушаков

„Узбеки бьются под Москвой за светлый свой Узбекистан“ — пишет Тимур Фаттах в своей поэме Ахмет Далиев „Москва моя! Любуй из нас

хранит тебя как сердце, как свое дыхание. Неколебим навеки твой гранит, неизбежно знамен твоих сияний!" — пишет Алимджан.

Но с особой силой и вдохновенным звучит голос узбекской поэзии, когда в круг ее помыслов и устремлений входит образ великого Сталина.

Сердцебиенье эпохи — ты!
Мог и горенье эпохи — ты!
Наше цветущее счастье — ты!
Наше грядущее — это ты!
Мастер великой победы — ты!
Все человечество к счастью зови,
Долго, долго, любимый, живи!

Перевел А. — ский

Так в "Солнце человечества" — говорит Алимджан. И ему вторит Шейхзаде:

Отчизна, мы принадлежим тебе, —
И жизни мы не пощадам в борьбе.
Великий полководец нас ведет,
Нам имя Сталина в борьбе — оплот.

Одним из интереснейших выражений новой поэзии дружбы народов является творчество Гафура Гуляма. Без преувеличения можно сказать, что и в нашей и в мировой поэзии вряд ли можно найти что-либо похожее на то, что делает в стихах Гафур Гулям. Необыкновенный темперамент, слова, изливающиеся речитативом, ломающим все каноны узбекского стиха (в чем Гулям перекликается с новаторством Маяковского в русском стихе) и огненная политическая мысль. Такого его замечательное стихотворение "Я еврей" (ответ Гитлеру). Здесь в лаве слов слились и великая ненависть к гитлеровской своре, и великая, поистине горьковская гордость за Человека, будь он еврей, узбек или русский. Да и когда это было видано в прежней поэзии, чтобы узбек, мысленно переселившись в душу человека другой, особенно угнетаемой и оскорбляемой Гитлером национальности — еврейской, — с таким достоинством и величием человеческим говорил за еврея, как бы от своего имени:

Я —
представитель людской расы.
По национальности я — человек!
Исчезнут с земли
и расы и классы,
А я — останусь навеки.
Душа не знает наркова религий.
Тело не знает недугов яда,
Я гражданин

Советской
великой

Нашей
земли — отрады!

Перевела С. Сомова

Только под знаменем Сталинской дружбы народов могла родиться такая поэзия. Только в Узбекистане, где нет колхоза, в котором бы не нашел свою новую семью эвакуированный ребенок, потерявший родителей, могли родиться чудесные, истинно человеческие строки стихотворения Гафура Гуляма: "Ты — не сирота": "Материнской глубокой любовью полна, бережет твоё детство большая страна...". "Я — отец! Станут счастьем моим все заботы мои".

Это Гитлер —

навозный коричневый жук,
Плотноядно тупые усы шевеля,
Захотел,
чтобы свой

предназначенный круг
По желанию его изменила земля,
Чтобы людям
без крова

по миру блуждать,
Чтобы детям
без ласки людской умирать,
На земле выносить его больше невмочь.
... Спи спокойно, мой сын.
Скоро кончится ночь!

Перевела С. Сомова

Только из подлинной тревоги и гордости отца, пославшего своего сына на фронт, могло родиться такое поэтическое создание как стихотворение Гафура Гуляма — "Жду тебя, сын мой!"

Не приемышами, а родными вошли украинские, ленинградские, белорусские, еврейские дети в узбекские семьи. Не далекими, а близкими стали их отцы, их города. Все тепло юга шлют узбекские поэты на родимый советский север, куда вторгся враг. Узбекские поэты поехали в Ленинград с делегацией узбекского народа, отвозившей подарки героическому Иллину наших дней (по выражению Н. Тихонова). И вот рождаются такие стихи, как "Ленинград — Узбекистан" Умари или "Крепость севера" Миртемира:

Стена батыров — дивный Ленинград.
Ты отразил ударов вражеских град.
Узбекистан — твой восхищенный брат.
Жизнь за тебя отдаю я буду рад.
О гордость моего народа, город.

Перевел В. Державин

Есть старинная узбекская легенда о том, как богатыри, идя в бой, брали в амулетах кровь своих сестер. Три капли этой крови исцеляли ран, и сохраняли богатырям жизнь. Поэт

Шейхзаде вспоминает об этом предании в своем стихотворении "Единокровие": "Не напрасно, родина моя, старую легенду вспоминаю я". Народы страны Советов кровью своей исцеляют раны друг друга. И сердце родины орошается слиянной кровью всех народов.

У народов стороны родной
Сердце и биенье одно:
В русском сердце есть грузина кровь,
В украинце — армянина кровь,
В сердце белоруса в эти дни
Кровь туркмена радостно звенит,
Кабардин, башкирец и узбек
Кровью породнились навеки.

Перевел Б. Петрова

В бою крепнет дружба людей. В бою же крепнет и дружба народов. Мы ныне испытали неодолимую силу этой дружбы, вкусили ее поэзию, познали ее животворящую мощь в бою и в труде. Никогда кровавому фашизму не поколебать этой силы.

3

Вторая тема, проходящая ныне через всю узбекскую поэзию — это мысль о фронте и его героях.

Каким бы трудом не были заняты сейчас люди в тылу, какой бы заботой не были поглощены, но главная забота и главная мысль всегда о фронте. Там наши близкие, и там решается судьба самой близкой всем нам отчизны. Фронтом дышит лирика сегодня. Повернет ли на Запад лицо свое муза поэзии, она видит в бою, в дыму, в громах милого джигита. "И чем дальше уходит друг, тем он ближе кажется ей" ("Верность" Алимджана). Повернет ли она глаза свои на Восток, ей, сквозь лепестки цветов и краски степей, чудится багровая рана войны. Сегодняшняя лирика Уйгуна, поэта сосредоточенного раздумья и песенной певучести, может быть в известной мере показательной для характеристики того настроения, каким живет сегодняшняя узбекская лирика. Вот, например, его стихотворение "Тюльпаны". Тюльпаны! при этом слове невольно улыбается каждый узбек. Он вспоминает свою юность, широкое поле, склон горы и море красных цветов, точно смеющихся вместе с весной. Это национальный цветок радости. Кто же не сравнивал губы своей милой с этим цветком весны. И вот сегодня

поэт в раздумьи стоит перед зрелищем цветущей игры природы:

Перед тобой пуанцовые поля:
Цветут тюльпаны, полагаешь ты,
Но ошибаешься, — красна земля,
Но это рдеет кровь, а не цветы.

Перевел Н. Ушаков

Вспомните песенку часового в "Думе про Опанаса" Вагрицкого: "Не алое пламя, пожар языкатый, лети мое сердце, лети!" Бывают времена, когда долг бойца, защищающего отчизну, становится мерой вещей. И войной нам ныне непростенно "жестокое зрение выдано" (К. Симонов). Этим "жестоким зрением войны", зорким, истинно человеческим зрением глядит ныне на мир и узбекская лирика. Другое ныне застилает нам глаза. И даже яркий цвет тюльпанов меркнет перед тем, что видит глаз:

И степи не в тюльпанах, а в крови,
На Украине миллионы бед,
И в рощах пули, а не соловьи.

Поистине с грозным поэтическим вдохновением пишет Уйгун, как "реки крови льются без конца", "кровь женщин и детей", "кровь брата твоего, и кровь отца, и кровь сестры, и матери твоей". И у каждого из нас только один ответ:

Но если хочешь смыть всю кровь с земли,
И если хочешь, чтоб цвели луга, —
Возьми винтовку и патрон дошли,
Прицелься лучше и убей врага.

Перевел Н. Ушаков

Гулям, такой южный, коричневый от солнца назвал русскую зиму "родимой зимой" ("Зима"). Уйгун, для которого ташкентская жара — родная стихия, воспекает "Снег". Почему? "Чтоб фашистам саваном стал нынешний снег, я очень хочу". Даже любовная лирика насыщена, как электричеством воздух в грозу, неотвратимой мыслью о фронте, о том самом главном, что решается на полях битв. Вот, например, стихотворение Уйгуна "Портрет". С лукавым юмором девушка отказывает в присылке портрета своему возлюбленному, потому что ее портрет — как подсказывают традиции народной поэзии, рассыпан в природе. Чтоб увидеть лицо — смотри на луну, брови — на молодой месяц, глаза — на звезды, щеки — на тюльпаны и т. д.

Ты хочешь зубы мои увидеть,—
Поведай жемчугу просьбу твою.
А чтобы всю меня поведать,—
Старайся быть первым героем в бою.

Перевел А. Пеньковский

Тема героического подвига в сегодняшней узбекской поэзии, тема сильная, увлекательная, собрала вокруг себя едва ли не всех современных поэтов. Тема героя естественно смыкается сегодняшнюю поэзию с той славной эпической стариной, которую благоговеяно чтит каждый узбек с детства. В стихотворении „Воображение певца“, посвященном замечательному народному бахши, нашему современнику Фазылю Юлдашу, Х. Алимджан говорит, что в его сказаниях „вмиг оживая, рвутся с языка преданья, были, битвы древних сил, проходят поколения и века“. Эти были и преданья естественно вплетаются в поэзию Отечественной войны, как живая патриотическая традиция народа. „Каждый наш боец и каждый командир храбр как Аламыш, как Гор-Оглы-батыр“,—говорит „Письмо узбекского народа бойцам Великой Отечественной войны“. И это не только дань любви к героическим сказаниям славного исторического прошлого узбекского народа. Это и сегодняшняя действительность. Поистине о делах и подвигах советских героев наших дней пристало говорить тем величавым языком, с тем важным достоинством, с которым белобородые старики когда-то напутствовали своих сынов, идущих в бой. Не так ли седой Ислам шаир, перебирая свою узкогорлую домбру и вскидывая косматые брови, поет, обращаясь к детям своим на фронте:

Возглавил вождь полки родной страны.
Как львы, стремятся в бой мои сыны,
Отвагой дочери мои полны.
В бой, как один, бросайтесь, удалцы мои.
Вставай, несокрушимые скалы,
Против врагов наш пращур Гор-Оглы.
Как воины его, как те орлы,
В бой, как один, бросайтесь, удалцы мои!

Перевел В. Державин

И впрямь узбекские удалцы и батыры показали себя. Вот прославленный Герой Советского Союза Кучкар Турдыев, ставший любимым героем узбекских поэтов, о котором говорят односельчане устами Тимура Фаттах: „Мы, наслаждаясь именем твоим, тебя приветствуем и говорим: „Кучкар Турдыев, богатырь, храбрец, свет наших взоров и восторг сердец, герой освободительной войны, все взоры на тебя обращены“. Вот артиллерист

Мухамед Ибрагимов, который вдохновил и народного бахши Ислама шаира, и верного последователя его традиции Чусты, и Тимура Фаттах с Амином Умари. Об Ибрагимове шаир говорит:

Жаркое сраженье воронам ты дал.
Пушкой одною сотни истреблял.
Стойкости подобной мир еще не знал.
Сталин—твой учитель, друг твой, Ибрагим.

Перевел С. Городецкий

На страницах сегодняшней узбекской поэзии мы встретим и поэтическое описание подвигов пулеметчика Рузмата Усманова, который в бою прижал к губам горсть „святой украинской земли“ (в стихотворении Умари). Мы встретим здесь героя боев за Москву кавалериста Ахмеда Далиева, который на своем коне привез пленного немецкого офицера (в стихотворении Фаттах, „Ахмед Далиев“).

В узбекской поэзии весьма распространенной формой является послание или стихотворное обращение. Такое обращение идет еще от традиций поэтических тостов на древних тоях и пирах. Этот жанр сегодня целиком обращен на дело воодушевления бойцов. К ним—и только к ним адресуются поэты со своей украшенной речью, которой внимает народ. Таков, например, „Привет бойцам-богатырям“ Чусты, написанный в духе торжественной речи на народном собрании:

Привет вам, славные бойцы, мой вам привет, богатыри!
Вы—щит отечества и меч его побед, богатыри!

Перевел А. Пеньковский

Таков, например, „Привет нашим гвардейцам“ Х. Алимджана: „Удар узбекского меча пускай узнает враг... Салам от ваших матерей, от братьев и отцов“ и т. д., или новгородный тост—„Другу бойцу“: „Я хлеб свой именем твоим украсил, друг!“ Сильно написано „Письмо узбекского народа бойцам Отечественной войны“. Это прекрасный образец жанра.

В сущности к такому же роду посланий относятся и стихи, посвященные героям. В них тот же ораторский жест и та же речь перед народом.

4

Узбеки, как и все другие советские народы—мирный народ. Благословенна его земля, дающая невиданные урожаи. Мирно журчат арыки зеленой Ферганской долины. Мирно по блескивают под луной тусклым зеркалом оро

сительные каналы Узбекистана. В них точно соединились замыслы и мечты далеких предков с весельем и дружным трудом сегодняшних колхозников. Но сегодня все это напоено иным чувством, иным настроением. Это чувство—ненависть к врагу, осквернившему советскую землю.

Ненависть к врагу—один из главных мотивов, который также движет сегодня узбекскую поэзию. Ненависть ворвалась в стихи, как пожар. Она огуливает сердце. Она точит клинок слов. Дерзко и подло должен был нас оскорбить враг, глубоко задеть наше чувство человечности, патриотического достоинства, чтобы отступили в наших душах настроения солнечного мира, нашей прежней жизни. Посмотрите, как пишет ныне Амин Умари, для которого раньше смеялся весь мир и открывался ему в „ярком блеске дня“:

Нет дороги врагу! Нет дороги врагу!
Я штыком ему грудь проколою на бегу,
Подползу и изрежу его на куски.
Задую его в тине глубокой реки,
Сердце вырву свое, высоко подниму
И гранатой брошу под ноги ему!

Какие прекрасные мужественные слова! Невольно вспоминается Данко, герой легенды Горького, который вырвал свое сердце и понес его как знамя. Да, в гранату превратим мы наше сердце, чтобы в последний миг швырнуть во врага. Швырнуть, но не пропустить.

Если немца сегодня, сейчас, не убью,
То меня он убьет, то убьет он тебя.
Дом родимый сожжет, истребит семью
Истребит все живое, зубами скрипя.

Перевела С. Сомова

Чтобы оканчить обзор основных тематических мотивов современной узбекской поэзии, следует сказать о мотиве труда в ней. Эта тема, однако, привлекает к себе недостаточно внимания узбекских поэтов.

Гимном побеждающего труда звучит поэма Чусты и А. Умари „Долина солнца“, посвященная республиканскому слету передовиков шелководов. Вот она, „долина вдохновенного труда“, где тысячи рук проворно, неустanno ткнут шелковую пряжу для парашютов, где „любая связка коконов—для боя стрелой обернется громовой“.

Такова сегодняшняя узбекская поэзия. Это—поэзия дружбы народов и поэзия гнева, поэзия труда и героических подвигов. Это—поэзия политически целеустремленная, острая, полная того внутреннего напряжения, каким живет Узбекистан в дни войны. Такова поэзия и такова жизнь. Каждый из поэтов Узбекистана внес свое оружие в общий поэтический арсенал советской поэзии. Амин Умари перекаивается в своих песнях гнева и ненависти с К. Симоновым и А. Сурковым, Алимджан—с Самедом Вургуню, Шейхзаде—с Леонидом. Нуждам войны сегодня служат и тонкий лиризм Миртемира, и задумчивый лиризм Айбека, и песенный дар Сабира Абдулы, и ораторская речь Чусты, и веское слово Уйгуна, и зазор Тимура Фаттах, и боевой клинок Хасан Пулата, великолепное безбрежное дарование Гафур Гуляма. Хорошо сказал Шейхзаде: „Борьба идет за все, „что нашим создано трудом“, „за светоч Сталина—в огонь атак, за ленинский непобедимый стяг, за Пушкина, борьба за Навои и за Бабурову газель—бои“.

Да, бои идут за всю нашу культуру, за настоящее и прошлое народа, за самое его бытие в веках. И недаром Айбеку чудится, что из глубины веков на него смотрит Навои—отец узбекской поэзии. „Он видит, я готов в бою отдать отчизне кровь свою, чтоб на земле, как соловьи, летали песни Навои“. И говорит поэт:

Вспомним отцов и дедов. Они на конях выросли.
Кривыми маленькими саблями гремели на весь мир.
За горы и за пустыни они врагов прогоняли.
Героев и полководцев потомок ты, богатырь.

Львиная мощь народа в нашей крови бьется,
Поэтому храбро сердце и горяча рука.
За счастье отчизны милой, за наше волюное сердце
И умереть не страшно, и радостно бить врага.

Перевела С. Сомова

Для милой отчизны „и умереть не страшно, и радостно бить врага“. Могучую уверенность в победе мы черпаем в героических делах народа на фронте и тылу, в его героическом духе, отраженном в поэзии наших дней. Сегодня каждый должен гореть как факел, возбуждая энергию народа в нынешней священной войне, освещающая путь к победе пылающим словом своим.

НАРОДНЫЕ СКАЗИТЕЛИ

(Ислам шаир и Фазыл шаир)

Поэт-сказитель занимает почетное место не только в истории устного поэтического творчества узбекского народа, он сыграл большую роль и в длительной борьбе народа за свободу, за счастливую жизнь.

Узбекский народ, противопоставляя сказителя-бахши духовенству, сложил остроумную посылку: „Аул с муллою—трус, аул с бахши—батыр“.

Бытующая среди народа на протяжении многих столетий, эта глубокосодержательная посылка тесно связана в сознании народа с другой: „Разрушенную страну благоустроит батыр“.

Сказитель-бахши, вернее—шаир является не только хранителем богатейшего поэтического наследия прошлого, но и создателем новых художественных произведений (поэм и песен) на актуальные темы своего времени.

Основной репертуар шаира—героические и лирико-романтические дастаны.

Герои и героини узбекских дастанов—мощные характеры, как Фархад и Ширин великого поэта Алишера Навои. Алпамыш, Гор-Оглы, Юсуфбек, Мурадхан, Кунтуммыш и другие герои узбекского эпоса наделены сказочной богатой силой, бесстрашием, благородством, высокими нравственными качествами. Героини узбекского эпоса—Барчин, Айдын-ай, Арыгыль, Юнус и Мискал, Дали, Кундуз, Гули Хираман и многие другие богаты наделены физической и душевной красотой. Дети этих героев и героинь, Ядгар, Аваз, Хасан, Раушан, Нурали, Джахангир, Рустам, Алибек и другие также замечательны, как их отцы и матери. С именами этих героев и героинь связано свыше ста дастанов, состоящих из нескольких циклов.

В узбекских дастанах прошлых столетий ярко выражены чаяния трудового народа, его глубокая ненависть к шахам, ханам, бекам, духовенству, его гневный протест против эксплуатации, несправедливости завоевателей и т. д. Дастаны воспевают героизм, храбрость и мудрость народа. Основными мотивами являются: страстная любовь к родине, к своему народу, любовь отцов и матерей к детям, детей к родителям, верность в дружбе.

Дастаны воспевают дружбу народов, помо-

гающую борьбе за освобождение и счастье всего человечества. Благодаря всему этому узбекские дастаны прошлых веков привлекают к себе живейший интерес народа и в настоящее время, и шаир пользуется большой популярностью.

Дастаны шаиrow имеют для нас не одно только историческое значение. Народные шаиры являются активными участниками в борьбе советских народов за дело Ленина и Сталина. Восстание узбекского народа в 1916 г. против царизма, Великая Октябрьская социалистическая революция, борьба за разгром бухарского эмирата, ликвидация вооруженного контрреволюционного движения—басмачества, земельно-водная реформа, колхозное строительство, борьба за хлопковую независимость СССР, великие пятилетки, многотысячное народное движение по строительству оросительных каналов, образы вождей Ленина и Сталина,— вот темы, вдохновлявшие узбекских сказителей, которые на основе многовекового опыта и лучших традиций узбекского фольклора создали новые дастаны: „Восстание 1916 г.“, „Ачилдан“ Фазыл шаира, „Товарищ Ленин“ покойного Эргаша Джуманбулбул, „Хасан батрак“ покойного Пулкана и др.

В дни Великой Отечественной войны народные шаиры Узбекистана с огромным воодушевлением воспевают подвиги доблестной Красной Армии, ее легендарных героев, глубокую ненависть советского народа к фашистам. Одним из замечательных сказителей является колхозник Ислам шаир Назаров.

Ислам Назар оглы родился в 1872 г. в кишлаке Акташ, Нарпайского района, Самаркандской области. Его отец—батрак и большую часть своей жизни был пастухом. Батрацкое положение отца заставило и Ислама еще с детства также быть пастухом. Единственным развлечением пастухов в то время была домбра. Молодой Ислам быстро научился играть на домбре и петь песни. Его интерес к народной поэзии возрастал изо дня в день, репертуар его обогащался песнями и отрывками из дастанов. В то же время он сам начал создавать новые песни на бытовые темы.

Свой репертуар Ислам исполнял громким звонким голосом, под аккомпанемент домбры

и привлек внимание не только простых слушателей, но даже известных в то время сказителей. Многие из них, как например Хайдар шаир (умер в 1915 г.), его брат Пардабай шаир, жена Хайдара поэтесса Зульфия, Тухтамыш шаир, Эрназар шаир, Джуманбулбул, Карим шаир и др. оказали огромное влияние на развитие творчества Ислама шаира.

Эрназар шаир, почувствовав талант молодого Ислама, взял его к себе на обучение. Исламу было тогда 24 года. Благодаря заботам поэта Эрназара, Ислам в течение двух лет сумел усвоить многие дастаны своего учителя с их мелодиями и техникой исполнения. Через два года Ислам пел дастаны уже самостоятельно и получил звание бахши (сказителя). Однако и после этого Ислам некоторое время учился у прославленного Тухтамыш шаира.

Неграмотный Ислам шаир обладает хорошей памятью. Он знает свыше 20 дастанов, объемом около 70—80 тысяч стихов и несколько десятков песен. Характерными в репертуаре Ислама шаира являются эпические поэмы: „Алпамыш“, „Арзыгюль“, „Гули Хиромон“, „Зульфизар“, „Кундуз и Юлдуз“, „Эрали и Шерали“, „Кунтуммыш“, „Сайедхан“. Также прекрасно исполняет он „Ширин и Шакар“, „Джахангир“, „Хасанхан“ („Далли“), „СахибкIRON“, „Дунахан“, „Лика Ахмад“, „Рустам Джалаад“, „Халдархан“, „Раушан“, „Нурали“, „Кесымхан“, „Гор-Оглы“ и др. Большинство дастанов, хотя и входит в репертуар многих крупных узбекских сказителей, но в устах каждого из них они имеют свои особенные отличительные черты, каждый из сказителей имеет не только свой стиль исполнения,—он вводит и новые эпизоды, мотивы, по-своему толкует образы. Глубокой содержательностью своего репертуара Ислам шаир завоевал широчайшую известность среди узбекского народа.

Ислам шаир—член колхоза им. Дзержинского с 1930 г. Он принят в 1941 г. в члены Союза Советских писателей СССР. Постановлением Совета народных комиссаров УзССР от 14 января 1940 г. о народных поэтах Ислам Назаров присужден пожизненная персональная пенсия и для работы с ним, для записи его репертуара, к нему прикреплен секретарь.

В дни Великой Отечественной войны творчество Ислам шаира расцвело с новой силой. С первых же дней вероломного нападения на наше отечество немецко-фашистских полчищ, бойдрй 70-летний старик громким голосом воспекает великую, несокрушимую дружбу народов СССР, их ненависть к фашистским палачам, героическую борьбу нашей доблест-

ной Красной Армии, подвиги отважных сынов родины, прославленных героев Кучкара Турдыева, Ахмеда Далиева, Николая Седова, Александра Петрова, Бундюка, Макляка и др. Любовь к родине, к великому Сталину—гордость и честь Ислам шаира. Он глубоко убежден в том, что:

Враги обречены, их ждет везде конец.
На небе, на земле и на воде—конец.
Не ливни хлещут их а палям и синец.
Отнажен, как Рустам, у нас любой боец,
Великой армии душа и разум—Сталин.

Три сборника стихов Ислам шаира на узбекском языке: „Джанг нома“ („Книга битвы“), „Кахрамон нома“ („Книга геройства“) и „Зафар нома“ („Книга победы“), созданные в дни Отечественной войны, полны глубокого патриотизма. Из них шестнадцать песен вышли отдельным сборником на русском языке в переводе В. Державина, под названием „Страна боевая“.

...

Другим замечательным сказителем является Фазыл шаир Юлдаш оглы. Он известен в узбекской печатной литературе еще с 1923 года.

Сын бедного дехканина, Фазыл родился в 1872 году. В пятилетнем возрасте он лишился отца и еще ребенком должен был сам зарабатывать себе на хлеб. До девятнадцати лет он был то пастухом, то батраком у бав в разных кишлаках Самаркандской области. В пастушеском быту Фазыл научился играть на домбре и петь песни. Еще в молодости он прославился импровизацией стихов. Когда ему исполнилось 20 лет, он оставил подневольную работу у бав и вернулся в родной кишлак Кырк (ныне Булангурского района) к горячо любимой матери. От отца ему достался небольшой клочок земли, он начал вести самостоятельную жизнь дехканина и за отличную работу на уборке получил прозвище „Урокчи“, т. е. хороший жнец.

Во второй половине XIX г. кишлак Кырк славился по всему Узбекистану тремя братьями-сказителями—Юлдаш, Кулаш и Суяр шаирами. Молодого, талантливого поэта Фазыла взял к себе на воспитание Юлдаш шаир. Ученик известного народного поэта Юлдаш Бульбула (бульбул—соловей), Юлдаш шаир имел свою школу, если можно так выразиться, в которой получили воспитание десять видных

* Ислам шаир—„Страна боевая“, перевод В. Державина, УзГиз Ташкент, 1942.

сказителей второй половины XIX и начала XX в. Такие видные поэты, как напр. Джуман Бульбул часто приезжали к Юлдаш шайру послушать в его исполнении старинный богатырский дастан „Алпамыш“.

Юлдаш шайр заботливо руководил развитием таланта молодого Фазыла, который менее чем в три года усвоил большую часть репертуара своего учителя. Юлдаш шайр с гордой радостью мог выпустить на публичное испытание своего одиннадцатого ученика. Двадцатидвухлетний Фазыл получил звание шайра.

Одно из первых самостоятельных произведений Фазыла шайра — песня „Саранча“ — получила широкую популярность. В этой песне Фазыл красочно описывает одно из тяжелых народных бедствий — нападение саранчи и примитивную борьбу с этим зредителем сельского хозяйства.

Фазыл-шайр занимает одно из виднейших мест среди сказителей-бахши. Его изумительная память сохранила до наших дней огромные богатства узбекского фольклора. Фазыл знает почти половину всех дастанов узбекского народа, объемом не менее 200 000 стихов и является замечательным исполнителем их в продолжении пятидесяти лет. Фазыл-шайр отличается знанием целых циклов дастанов. Он поет о детских годах Гор-Оглы и его сыновьях и внуках Авазхане, Бутакузе, Зульфизаре, Интигзаре Нурали (сыне Аваза), Джахангире (внуке Аваз-хана), Маширике, Балагардане и др. — из цикла „Гор-Оглы“. Кроме того, он поет дастаны об „Алпамыше“ и „Ядгаре“ (сыне Алпамыша); дастаны о Мурадхане, Султанхане, Рустамхане, Афтабери о ранении Нурата и др. Характерны его дастаны, по сюжетам близкие к Навои: „Фархад и Ширин“, „Лейли и Меджнун“, „Бахрам и Гуландам“.

Узбекский народ с огромным интересом читает вышедшие в свет дастаны. Фазыл шайра „Алпамыш“, „Ширин и Шакар“, „Маликаайёр“, „Балагардан“ и „Мурадхан“ (в ближайшее время выйдет из печати „Рустамхан“).

Фазыл шайр прославился не только как исполнитель старинных дастанов, он широко известен и своими новыми дастанами и песнями. В своей поэме „Маткарим Палван“ (1916 г.) он разоблачает воровство и обман царских чиновников, народный протест против несправедливости, борьбу народа против тирании. Герой дастана Фазыла историческое лицо — смелый дехкан Маткарим Палван. Народное восстание против царизма (1916 г.) не могло не возволновать поэта Фазыла, воспевавшего в продолжении многих лет мечты народа о сво-

бодной и справедливой жизни. Не могла не отразиться в его творчестве и героическая борьба народа с басмачеством в период гражданской войны. Внимательно следя за басмачеством в Самаркандской области, хорошо изучив организаторов и участников этого контрреволюционного движения, Фазыл шайр закончил в 1924 г. свой большой дастан „Ачил-див“. В этом дастане он изобразил ненависть народа к басмачеству, проанализировал его контрреволюционную сущность, показал, какую роль играли в нем авантюрист Энвер паша, турецкие офицеры, духовенство, баи, местные националисты и белогвардейцы. Яркими стихами в дастане изображены бои Красной Армии с крупными соединениями басмачей. Заканчивается дастан описанием полного разгрома басмачества.

Агитационно-пропагандистское значение творчества Фазыла шайра несомненно. Во всех своих произведениях он призывает народ сплотиться вокруг партии Ленина—Сталина, воспекает дружбу народов, коммунизм. В 1927 г. в песне „Приветствую Октябрь“ Фазыл пел:

Дехкан, рабочий, все, с кем дружкой связан труд,
С лица земли родной своих врагов сотрут.
На ленинский мы путь вступаем, как один,
Попадай пет врагам, пусть все они умрут!

О дружбе народов говорят следующие строки Фазыла из его стихотворения, посвященного Джаббулу (1937 г.)

Любимый Сталин — вожьд. Он нас соединил,
В стране народы все он дружкой скрепил,
В чудесный светлый сад Союз наш превратил.
В любви и дружбы сад Союз наш превратил.
Узбек, таджик, казах и русский — братья мне.
Отчизну я всегда, как верный сын любил.
И за нее готов погибнуть я в огне.

В дни Великой Отечественной войны Фазыл шайр в своих песнях воспекает героическую борьбу народа против фашизма. В одном из своих последних произведений, озаглавленном „Храбрые джигиты, в бой!“, Фазыл говорит:

Коль у тебя в горячем сердце есть
Любовь, отвага, мужество и честь —
Противостань врагу, как щит железный,
Чтоб в наш предел не мог дракон пролезть!
За нивы и сады родного края,
Где ты в отцовском доме рос играя,
За честь свою, за счастье — в бой! Вперед!
Кто храбр — врагу не покоришь тот!

Перевел В. Державин

Такова в кратких чертах жизнь славного поэта Фазыла шайра, члена Союза Советских писателей, получающего по постановлению правительства с 1928 г. персональную пенсию.

Истинной народностью и пламенным патриотизмом своих произведений Фазыл и Ислам шайры завоевали себе самую широкую популярность среди узбекского народа. Бывшие пастухи, ныне они — народные поэты Узбекской республики. Они желанные и почетные гости в каждом кишлаке, участники всех колхозных празднеств и торжеств. На всех строительных каналах песни их находят восторженный

Абрам Эфрос

БОЛЬШОЕ ДЕЛО МАЛЕНЬКИХ РУК

Я пишу об искусстве детей, о Ташкентской выставке детских рисунков, самой волнующей из всех, какие видел за время войны. Старая истина: дети — сейсмограф народа; то, что они делают — достовернейший свидетель состояния народных глубин, их скрытых энергий и пробивающихся на свет сил; каковы дети, таков народ.

Восьме лет назад, в 1934 г. в Москве, в Гос. Музее Изобразительных искусств, мне пришлось проводить экспозицию международной выставки детского творчества. Это была первая затея подобного рода, первая встреча малолеток-художников разных наций, первый тур мирового соревнования правительств, просвещенцев и ребят — в области, где еще никто не состязался. Мы были горды тем, что именно советский строй впервые поднял эту задачу и дал ей такой размах, что наш Наркомпрос был радушным хозяином, принимавшим в центральном московском музее гостей всех стран, что экспонатами были представлены шестнадцать государств — Англия, Франция, США, Япония, Германия, Польша, Турция, Норвегия, Швеция, Голландия, Испания, Дания, Финляндия, Австрия, Чехо-Словакия, — поистине без малого весь свет. Но к нашей гордости примешивалась тревога. Она была естественна: не отстаем ли мы? Не окажемся ли мы, если не затертыми, то отодвинутыми на скромное место превосходством гостей, с их более устойчивей или более тонкой, или более оснащенной культурой детского искусства.

отклик у многочисленных слушателей. Ни одно народное торжество не обходится без шайра-сказителя. В библиотеке писателя, на столе студента, в руках колхозника, отдыхающего в тени виноградника или под тутовым деревом, всегда можно увидеть издание „Алпамыша“, „Ширин и Шакара“, „Джангнома“ или какой-либо сборник узбекского фольклора.

Было о чем тревожиться: наши школы еще не прививали детям изобразительных навыков, а художники не интересовались ребятами этого возраста. Они занимались подростками. Но именно в возрасте 13—14 лет детское искусство исчезает так же естественно и непроизвольно, как начинается оно на грани этого искусства. Этих границ держалась международная выставка 1934 года и ныне держится ташкентская выставка.

Можно было ждать, что наши западные гости, особенно оттуда, где культура изобразительных искусств старше, тоньше, определеннее, чем у нас, или упорнее, устойчивее, техничнее — например, экспонаты Франции, Америки, Германии — будут ярче, внушительнее, а то и великолепнее, нежели наш массовый детский рисунок, собранный с пылу-горяча у рядового советского ребенка. Но вышло не так, совсем не так, — напротив.

Подавляющая часть того, что прибыло из-за границы, ни темой, ни техникой, ни оформлением не выделялась; здесь преобладали средний уровень, среднее качество, а то и просто серость, тусклость. Однако, и лучшее оказалось не таким, каким мы ждали. Рисунки были эффектны, парадны, щеголеваты, рафинированы, но не больше. В них выделялась одна господствующая черта: решительная зависимость от взрослого искусства, настойчивое стремление показать, что малыши рисуют совсем как большие, а большие побуждают детей быть взрослыми, своего рода ма-

лолетками-старичками. Словно учителям и родителям не терпится, и они считают, что дети излишне долго засиживаются в своем детстве, и надо их поскорее из этого состояния вывести.

Насколько другой была советская часть! Мы не отдели ей особого зала. Хотелось, наоборот, вплотную столкнуть два мира. Рисунки наших детей непосредственно примикали к иноземным. Сопоставление было наглядно. От нашего массива листов веяло иным воздухом. Четыре черты бросались сразу в глаза: во-первых, действительно детская непосредственность творчества, во-вторых, широчайшая разносторонность тем и сюжетов, в третьих, национальное многообразие художественных обликов и приемов, в четвертых — жаркий пафос реальной жизни, ее исканий, ее строительства. Длинные вереницы наших листов убедительно говорили о том, что здесь, в самом деле, ребенок работает карандашами и красками так, как хочет и может, что он выражает со всей неприкрытостью своего детского разума и вкуса, которые никто не ведет на веревочке и не втискивает в формы взрослых схем и штампов: свободная детская душа глядела, играла, размышляла в этих семистах рисунков, представлявших Советский Союз.

У наших ребят был детски-жадный глаз: он интересовался всем, подмечал все, усваивал все; он был так широк, что охватывал все возможные составитель семнадцать разделов: о Ленине, о Сталине, о Красной Армии, о социалистическом строительстве, о школе, о досуге, о природе, о животных, о чужих странах, и т. д. Более того, здесь свободно проявляло себя великое разнообразие национальных стилей: большую русскую группу обступило художественное творчество детей-украинцев, белорусов, грузин, абхазцев, армян, азербайджанцев, евреев, киргизов, татар, туркмен, башкир, чувашей, бурято-монголов, якутов, немцев и пр. — многоплеменная, многонародная советская страна глядела на посетителей с этих стендов. Наконец, на наших экспонатах лежала печать тридцатых годов, жар строительства, пафос первой пятилетки; под листами густо шли этикетки: „Днепрострой“, „Метро“, „Сельмашстрой“, „Соцгород“, „Новые цеха“, „Волховстрой“, „Турксиб“, „Беломорканал“, „На тракторах“, „Комбайны в поле“, „Красный обоз“, „Каракумский пробег“, „Полет в стратосферу“, — истинное зеркало советской жизни. Маленькие сердца бились заодно с большими, — великая стройка была своим делом для ребят. В ней

были и их стремления, и их помощь, и их мечта.

Это волновало больше всего. Это поднимало моральный уровень выставки на огромную высоту. Советский ребенок шел впереди всего мира, — маленький носитель величия своей социалистической родины, ее граждан, ее поэт, ее строитель, ее патриот.

Прошло несколько лет, и вот сейчас, в Ташкенте, дети художники снова наполняют нас волнением и гордостью. Выставка их рисунков невелика. Она в три-четыре раза меньше, чем в 1934 г.: она охватывает не тысячу, а 200—250 листов. Но дело не в числовых масштабах. Они скромны не потому, что экспонатов мало, а потому, что в перегруженной, уплотненной до отказа столице Узбекистана нельзя было найти помещения просторней. Иначе можно было размахнуться куда шире. У ребят собралось около двух тысяч работ, а поместилась лишь десятая часть. Отбор был вынужденно скуп. Выставке был предоставлен лишь один из павильонов парка ЦДКА.

Дети пришли с темой: „Великая Отечественная война“. Не только Ташкент и Узбекистан не видели еще такой выставки, я едва ли ошибусь, ежели скажу, что это вообще первая художественная выставка такого оборонного размаха. Ребята опередили взрослых. Управления искусств еще планируют, мастера кисти и карандаша еще ищут сюжетов или komponуют эскизы будущих работ, союзы художников готовятся к выступлениям, — а дети не ждут, им нетерпеливо, их ничто не задерживает, они идут в ногу с событиями великой войны — они красками, контурами, словами, играми тотчас же высказывают все, чем клокочет сердце у всех нас.

Благословенный детский сейсмограф! Когда художница Елена Фрадкина принесла показать несколько листов, сделанных ребятами в кружке, где она занимается рисованием, и заговорила о том, что по ее наблюдениям дети до краев переполнены образами героики и патриотизма, что это непроизвольно рвется из-под их карандашей и кисточек, — ее чутье нельзя было не поверить при первом же взгляде на то, что она взяла с собой на показ. Было волнующе и радостно глядеть на эти рисунки и думать, что их может быть много, сколько понадобится, чтобы маленькими руками поднять большое дело.

Теперь оно осуществилось. Итоги оказались значительнее и глубже, чем можно было предвидеть. Огромный напор детской наблюдательности и воображения хлынул по всем каналам:

тема „Великая Отечественная война“ была решена многодейно, многосюжетно, а не только „батально“. То душевное и телесное напряжение, какого полотораговые испытания требовали от советского ребенка, — то, что он видел, перенес, передумал, вообразил — ускорило его возмужалость, вызвало большую вдумчивость, большую вглядчивость, большую отзывчивость, чем это было бы возможно в мирную, спокойную пору. Если уже на выставке 1934 г. живої лиризм, непосредственная взволнованность сочетались в рисунках наших ребят с широтой взгляда на окружающую жизнь, со смелым охватом ее явлений, то нынешний гигантский размах событий наложил на детский рисунок невиданную раньше печать: лиризм детей-художников величал, их пафос эпичен. Взволнованность их образов приобрела то свойство, которое можно назвать лиро-эпическим, как лиро-эпичны народные сказ, народная былина, народная песня о событиях старины.

Вот почему единственная тема Ташкентской выставки оказалась такого сложного строения: это — облики Отечественной войны во всем ее объеме, от края и до края; это — фронт, это — тыл, тыл родной и тыл неприятельский, подвиги боя и подвиги труда, борьба на земле, на воде и в воздухе, дела взрослые, дела детские. Тут не было, да и не могло быть равномерности в материале. Огромное оказалось разделение фронта, но скудным, однообразным вышел запас рисунков, например, на тему: в тылу у немцев. Перед ребятами была поставлена задача дорассказать кое-что, и кое-что они дорассказали, но немного, неохотно, и мы не настаивали. Собранный материал и без того был велик. Это — свидетельство о виденном и пережитом. Это рассказ детей друг другу и нам. На стендах висят заглавия: „Мы едем в Ташкент“, „Мы в Узбекистане“, „В нашем колхозе“, „Будь героем“, „За родину, за Сталина“, „Наш Красный флот“, „Зверства фашистов“, „Партизаны“, „Забойтесь о раненом бойце“, „Колхозы помогают фронту“, „Мы победим“, — одиннадцать глав великой повести.

Она рассказана несколькими десятками детских голосов. Они не одинаковы, но среди них нет скучных и бесталанных. Таким мы не давали места. На выставке — массовые, но живые отклики увлеченных своим делом детей. Это типический разрез средней художественности у среднего советского ребенка. Но тут должны были встретиться и подлинные таланты. Они действительно встретились, их выразительность особенно ярка, легка, естественна.

Мне хочется упомянуть о двух малышах и о двух подростках, мимо которых не сможет пройти ни один внимательный глаз. Это прежде всего шестилетний Боря Власов. Я помню Славу Манухина, Никиту Флоровского, Мишу Сегаля на выставке 1934 г. Они возбуждали ожидание, что вырастут настоящими мастерами искусства. Так, видимо, и будет, — они только теперь входят в свою взрослую фазу. Но ничего похожего на то, что дает Боря, у них не было. Не было ни такой многогранности, ни такой наблюдательности, ни в особенности этой благословенной артистичности. Власова можно назвать „маленьким чудом“, как называли ребенка Моцарта. Боязно пророчествовать, когда дело идет о шестилетнем малыше, притом о мальчугане-озорнике, находящем исход своим силам в лихой шаловливости. Но если Боря изобразительный дар вдруг не оборвется в критическую пору перехода в отрочество, не переключится на иную профессию, на инженерию, медицину, естествознание, — если Власов будет продолжать заниматься искусством, — тогда есть все данные, что в советское искусство войдет первоклассный мастер. Возможно, что мы сегодня — свидетели первых шагов очень большого художника: его дорожные зарисовки по пути из Ленинграда в Ташкент, его акварельные рисунки воображаемых боев на фронте — незабываемы.

Его подруга — шестилетняя Маша Элькопен; это — не чудо, как Боря, но даровитейшее существо: ее сила в праздничности, в радостной декоративности отражений того, что она видит или воображает; поэтому ее узбекистанские сюжеты так солнечно цветисты, так многокрасочны, поэтому так запоминаются две ее акварели, изображающие будущие празднества нашей победы в разукрашенной Москве, где ликует всё: дома, улицы, Кремль, полотна лозунгов и особенно — нарядные дети на нарядных грузовиках, пронесшихся по советской столице.

Два старших имени — иного возраста, и иного склада: И. Юзифову — четырнадцать лет, Халиме Иногамовой — двенадцать. В их рисунках есть возмужалость, у Юзифова — даже зрелость. Оба сосредоточивают свое внимание в определенной сфере: Юзифов — баталист, Иногамова — декоративистка. В Юзифове удивительна сила зрительного воображения и лаконизм приема: он — местный житель, во фронтовой полосе он не был, но его графические наброски боевых схваток сделаны с убедительностью очевидца, закреплены многократным и послушным пером как бы на месте

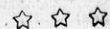
происшествия. Он несомненно будет профессионалом, отличным мастером графики, в особенности героической, „батальной“. У Иногамовой такой же профессиональный дар, но в декоративной композиции: ее букет стилизованных цветов с посвящением: „Кучкару Турдыеву“ совершенно превосходен по такту, по изяществу, по чудесной плавности контуров, по благородству расцветки: подлинное, национальное чувство ритма и цвета говорит в нем.

Оба этих старших имени — узбекские. Они не единичны на выставке. На целой полосе стэндов — родственные имена. Узбекский детский рисунок впервые предстал в таком разнообразии и художественности. Это важнейший показатель, это огромная радость! Что так должно было быть, — ясно всякому, кто знает, каковы художественные сокровища, созданные узбекским народом. Но не случайно на московской выставке рисунков узбекских детей не было. Это явилось следствием злокачественной теории национал-шовинизма, с тех пор разгромленного и выкорчеванного, будто „изобразительность“, искусство, отражающее живую жизнь — не в природе и не в традиции

бузекской натуры, будто ее дело — один только орнаментализм, отвлеченные композиции, стилизаторство. Ташкентская выставка не только еще раз воочию опровергла все это, но и дала большее: оказалось достаточно первого специального внимания к рисунку узбекских ребят, чтобы забила изобразительность такой силы, такой красочности, которая выдерживает соревнование с лучшими вещами маленьких „россиян“, прибывших из-за Волги и Каспия.

Нас — взрослых „россиян“ — эти рисунки коренных ташкентских и приташкентских, городских и колхозных детей, естественно, пленяют даже больше, чем столь уже привычные рисунки наших собственных детей: так полно, так сильно впервые ощущаем мы свежесть этих красочных сочетаний, певучую ритмичность этих контуров, сложные ходы композиционной изобретательности.

Они замечательны и сами по себе. Но они еще дороже нам потому, что особенно наглядно показывают общий для всех, всепроникающий поток детского патриотизма, силу ненависти к врагу, пафос любви к родной советской земле.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ХХV-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ	
Письмо узбекского народа товарищу Сталину	3
Приветствие защитникам Сталинграда от интеллигенции гор. Ташкента	4
Анна Ахматова. Мужество. Стихи	7
Виктор Гусев. Я русский человек. Стихи	8
Ондра Лысогорский. Песня о матери. Из поэмы: Пер. В. Левика.	9
Иосиф Уткин. Песня о родине и о матери. Стихи	—
Султанов Иват. Полет орла. Отрывок из пьесы	14
Шейхзаде. Единокровие. Стихи (Пер. В. Державина)	15
Бор. Бобович. Москва — Осень 1941 г. Из поэмы	—
Хамид Алимджан. Москва. Стихи (Пер. С. Сомовой)	16
Сабир Абдулла. Моя партия. Стихи (Пер. Н. Ашукина)	17
Ислам шаир. Полководец Сталин Стихи (Пер. В. Державина)	—

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Письмо узбекского народа бойцам	18
Фахрид Юлдаш. В бой, храбрцы. Стихи (Пер. В. Державина)	22
Хасан Пулат. Весна. Стихи (Пер. В. Державина)	23
Чуст. Звезда Шахимардана. Стихи (Пер. С. Сомовой)	25
Иосиф Уткин. Клятва. Стихи	26
Алексей Толстой. Рассказы Ивана Сударева	32
Михаил Голодный. Ненависть. Стихи	33
Уйгун. Снег. Стихи (Пер. А. Пенковского)	—
Ра'но Узакова. Подруга. Стихи (Пер. В. Державина)	34
Мать. Стихи (Пер. А. Пенковского)	—
Якуб Колас. Песня пилота. Стихи (Пер. С. Городецкого)	35
Лев Горнштейн. Рождение. Стихи (Пер. Е. Тараховской)	—
Даврон. Плакучей ивы тень (Пер. Е. Тараховской)	36
Всеволод Иванов. Ненависть (Главы из романа „Проспект Ильича“)	52
Султан Джума. Город Ленина. Стихи (Пер. В. Державина)	—
Амин Умари. Ленинград — Узбекистан Стихи (Пер. А. Кочеткова)	53
Миртемир. Крепость севера. Стихи (Пер. В. Державина)	—
А. Прокофьев. Здесь гибель настигнет врага. Стихи	54
Клятва. Стихи	—
Павел Герман. Ленинградские дни. Стихи	55
Анна Ахматова. Первый дальнебойный. Стихи	—
Памятка Вовочки Смирнова. Стихи	—
Статуя „Ночь“ в Летнем саду. Стихи	56
А. Рахмат. Детям Ленинграда. Стихи (Пер. Н. Ушакова)	—
М. Юфит. Полковой учитель. Рассказ	61
М. Яновская. Буду жить. Рассказ старшего политрука Урицкого	70
Н. Погодин. Капитан инженерных войск	74
Шейхзаде. Нет я не умер. Стихи (Пер. Н. Ушакова)	76
Хасан Пулат. Кровь. Стихи (Пер. С. Сомовой)	—

Ник. Ушаков. В степи. Стихи	77
Тимур Фаттах. Голос крови. (Пер. В. Державина)	78
Х. Гулям. Не забыть никогда. Стихи (Пер. Н. Ушакова)	79
В. Мейлах. Письма советских людей.	85
Айбек. Все отчизне отдай. Стихи. Другу, уходящему на фронт (Пер. В. Державина)	—
Амин Умари. Победа не придет сама. Стихи. Пер. В. Державина)	86
Письмо юга. Стихи (Пер. С. Сомовой)	87
Уйгун. Тюльпаны. Другу на фронт. Стихи (Пер. Н. Ушакова).	88
Портрет. Стихи (Пер. А. Пеньковского)	—
Хамид Алимджан. Любовь (Пер. А. Пеньковского)	89
Деревце. Стихи (Пер. С. Сомовой)	90
Зульфия. Садовник далеко. Стихи (Пер. В. Липко)	—
Р. Баумволь. Другу на фронт. Стихи (Пер. Н. Ушакова)	91
Н. Ушаков. Песня оруженосцев. Стихи	—
Айдын. Шестьдесят аршии веревки. Сказка	92
А. Чуковская и А. Жукова. Дети о войне	95
А. Дорошенко. Рассказ героя	97
К. Чуковский. Одолеет Бармадея. Монтаж сказки	—

ГЕРОИ ФРОНТА

Ислам шайр. Потомок наших львов (Кучкар Турдыев). Стихи (Пер. А. Пеньковского)	104
А. К'хар Кучкар Турдыев. Биографич. очерк (Пер. А. Соердотовой)	111
Х. Алимджан. Джигит	112
Б. Лавренев. Генерал Петров (биографич. очерк)	116
М. Юфит. У нее есть воля биографич. очерк о Ганиевой	118
Г. Ленобль. Зуфар. Очерк о Зуфаре Юсупове	121
Тимур Фаттах. Ахмед Далиев. Стихи (Пер. С. Сомовой)	123
С. Бобров. Лейтенант Сиратжиддин Валиев. Биограф. очерк	125
П. Антокольский. Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным. Стихи	—

В ТЫЛУ У ВРАГА

Мих. Голодный. Украина. Стихи	127
Вл. Липко. Письмо Стихи	128
М. Терещенко. Девушка с Украины Стихи (Пер. Н. Ушакова)	129
Баллада о мстителях (Перевод В. Левика)	130
С. Ашендорф. Баллада о повешенных (Пер. Н. Ушакова)	—
В. Владко, М. Терещенко и Н. Ушаков. Непокоренная Украина. Статья	140
Эди Онецвет. Мой Белорусский край. Стихи (Пер. Н. Ушакова)	141
Якуб Колас. Убийцам нет пощады. Стихи (Пер. С. Городецкого)	—
Белоруссы не будут рабами. Статья	146
Е. Тараховская. Таганрог Стихи	—
Иоаннес Бехер. Ясная Поляна. Стихи (Пер. В. Левика)	147
С. Городецкий. Иван Иванов. Стихи	148
А. Резапкин. Товарищ Эд. Стихи	149
Эмиль Мадарас. Тебе я сердце открою. Стихи (Пер. В. Левика)	—

УЗБЕКИСТАН В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ислам шайр. Крепче опояштесь. Стихи (Пер. В. Державина)	150
Алексей Толстой. Самоотверженность. Статья	152
Из писем строителей Катта Курганского водохранилища товарищу Сталину	154
Айбек. Народ-герой (очерк о Сев. рном Ташкентском канале) пер. А. Соердотовой	159
Шейхзаде, А. Умари, Т. Фаттах. Прославление братства. Стихи (Пер. В. Державина)	—
Абдулкасим Лахути. Открытие Большого Гиссарского канала. Стихи (Пер. Ц. Бану)	161

И. Гринберг. Чирчик (Рассказ старожилы)	162
Вл. Луговской. Узбекистан. Стихи	166
П. Лопатин. Ангрен. Очерк	167
С. Городецкий. Узбекистан. Стихи	173
Ефим Дорош. Черная кровь Ферганы. Очерк	177
С. Сомова. Ташкенту. Стихи	178
П. Лопатин. Зрелость. Очерк	181
Камтар Атабаев. Львы Узбекистана. Стихи (Пер. С. Городецкого)	—
Туробтула. Как ясный месяц. Стихи (Пер. С. Сомовой)	182
А. Палей. Шелк. Очерк	186
Чусты. Шелковые руки. Стихи (Пер. В. Державина)	—
Чусты, Амин Умари. Долина солнца. Стихи (Пер. В. Державина)	187
Миртемир. Песня девушки Стихи (Пер. Н. Ушакова).	188
Ю. Данилин. Шелковый комбинат	192
К. Шильдкрет. Хидоят (очерк)	195
Ефим Дорош. В тихом городе. Очерк	201
Ксения Львова. Мукаддас. Очерк	204
Айдын. Сиялаволи. Очерк	206
Жолмурза Аймурзаев. Айджамаль Стихи (Пер. С. Сомовой).	207
Садык Нурибегов. Ты джигит. Стихи (Пер. С. Сомовой).	—
Анатолий Шишко. Люди Ферганской долины. Очерк	211
Ивн. Хазин. Колхоз в степи. Очерк	216
Парда Турсун. Белое золото. Очерк	217
Хамид Алимджан. Баллада о бойце Турсуне. (Пер. В. Державина).	—
Сабир Абдулла. Тулпар. Стихи (Пер. В. Державина)	220
Ты сказала. Стихи. Н. Ушакова.	221
Гофур Гулям. Жаду тебя, сын мой. Стихи (Пер. С. Сомовой)	222
Айбек. День великий придет. Стихи (Пер. В. Державина)	225
Нина Раковская. Мальчишка Ленинграда (Рассказ)	229
Гофур Гулям. Ты не сирота. Стихи (Пер. С. Сомовой)	231
Е. Тараховская. Дружба. Стихи	—
Зульфия. Сыну. Стихи (Пер. С. Сомовой)	232
Зафар Дияр. Отличники. Стихи (Пер. Н. Ушакова)	233
Т. Иванова. Забота об эвакуированных детях. Статья	—

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Всев. Иванов. Халима Насырова	237
И. Лежнев. Патристические статьи Ал. Толстого	242
Корнелий Зелинский. Узбекские поэты и война	245
Х. Зарифов. Народные сказители (Ислам шайр, Фазыл шайр)	252
Абрам Эфрос. Большое дело маленьких рук (Выставка детского рисунка)	255